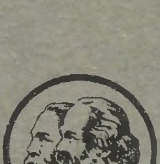
ИНСТИТУТ К. МАРКСА И Ф. ЭНГЕЛЬСА

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЛЕТОПИСИ МАРКСИЗМА

VII-VIII



1928

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ИНСТИТУТ К. МАРКСА и Ф. ЭНГЕЛЬСА

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЛЕТОПИСИ МАРКСИЗМА

(ЗАПИСКИ ИНСТИТУТА К. МАРКСА и Ф. ЭНГЕЛЬСА)

VII—VIII



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА ★ 1928 ★ ЛЕНИНГРАД

О Т П Е Ч А Т А Н О
в 1-й Образцовой типографии
Гиза. Москва, Пятницкая, 71.
Главлит А-32002. 50. II. 19. Гиз 29546.
Заказ № 322. Тираж 3000 экз.

*

К СТОЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

ДОКЛАДЫ, ПРОЧИТАННЫЕ 13 ДЕКАБРЯ 1928 г. НА ЮБИЛЕЙНОМ ЗАСЕДАНИИ В ИНСТИТУТЕ К. МАРКСА и Ф. ЭНГЕЛЬСА

А. ДЕБОРИН

ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Товарищи!

Мы собрались сегодня для чествования памяти Николая Гавриловича Чернышевского — крупнейшего русского мыслителя и великого революционера эпохи «освобождения крестьян».

Юбилейные речи обычно отличаются преувеличенными восхвалениями по адресу юбиляра и умалчиванием о его ошибках и заблуждениях. Чернышевский принадлежит к числу тех деятелей, которые не нуждаются в лицемерном «похвальном слове». Самая жестокая и придирчивая критика никогда не сможет умалить огромное значение Чернышевского как самостоятельного, оригинального мыслителя и великого борца за народное дело. Несмотря на все недостатки в его мировоззрении, объясняемые *историческими* условиями, Чернышевский в развитии русской общественной мысли занимал исключительное место как необходимое «звено», соединявшее крестьянскую революцию с грядущей пролетарской революцией, элементы народнической идеологии с элементами пролетарской идеологии. Печать переходной эпохи, в которую жил Чернышевский, отразилась и на его мировоззрении. Этим и объясняется то обстоятельство, что одни из исследователей готовы зачислить Чернышевского «по ведомству марксизма», в то время как другие склонны видеть в нем только утописта и идеалиста. Если на протяжении двух десятков лет в нашей литературе ведется спор по вопросу о том, в какой мере Чернышевский близок к марксизму, и если все юбилейные речи, доклады и выступления были главным образом посвящены тому же вопросу, то это обстоятельство уже доказывает, в какой мере Чернышевский нам близок.

В сравнении с историками и экономистами я нахожусь в несколько более выгодном положении, потому что я буду говорить только о философских взглядах Чернышевского, а что касается этих взглядов, что касается философии Чернышевского, то даже такой сравнительно строгий критик Чернышевского, как Плеханов, считал, что, во всяком случае, в области философии Чернышевский ближе к марксизму, чем в какой бы то ни было другой области. И действительно, Чернышевский занимает в истории нашей русской общественной мысли совершенно особое положение. Приходится пожалеть о том, что мы не имеем еще до настоящего времени марксистской истории русской общественной мысли, т. е. главным образом истории русского материализма, как он развивался с 40-х годов до настоящего времени, потому что такое исследование пока-

зало бы нам чрезвычайно любопытное явление, на которое уже в свое время указывал сам Чернышевский, оценивая философское творчество русских левых гегельянцев. Нет никакого сомнения в том, что русская общественная мысль развивалась в значительной степени самостоятельно. Это не значит, что—независимо от западно-европейской мысли, но крупные русские мыслители шли до известной степени самостоятельным путем в дальнейшем развитии гегельянства и материализма. Это обстоятельство имеет огромное значение, ибо мы тогда только и сможем оценить всю оригинальность и самостоятельность позиции, занятой в области философии Чернышевским. Чернышевский является несомненно самостоятельным мыслителем. Все изыскания, которые велись до настоящего времени насчет того, был ли Чернышевский знаком с работами Маркса, в какой мере влияла эта струя западно-европейской мысли на него, все изыскания в этой области пока что не привели к положительным результатам. Если это так, то мы должны констатировать параллельное течение западно-европейской и русской мысли по одному и тому же основному руслу, правда лишь до известного предела, определяемого прежде всего различным уровнем социально-политического развития Западной Европы и России.

В «Очерках гоголевского периода русской литературы» Чернышевский подчеркивает неоднократно самостоятельность русской мысли в деле дальнейшего развития гегельянства. «Развитие последовательных воззрений из двусмысленных и лишенных всякого применения намеков Гегеля совершилось у нас отчасти влиянием немецких мыслителей, явившихся после Гегеля, **отчасти — мы с гордостью можем сказать это — собственными силами. Тут в первый раз русский ум показал свою способность быть участником в развитии общечеловеческой науки**» [1].

В другом месте Чернышевский подчеркивает это обстоятельство еще более определенно. Он пишет: «Около того же самого времени, когда произошло у нас соединение односторонних направлений в одну общую, всеобъемлющую систему воззрений, подобное явление происходило и в Европе... Деятели, стоявшие тогда во главе нашего умственного движения, конечно, ободрялись тем, что согласие с ними всех современных мыслителей Европы подтверждало справедливость их понятий; но эти люди уже не зависели ни от каких посторонних авторитетов в своих понятиях. Мы уже говорили, что тот прогресс в понятиях, который сгладил прежнюю разрозненность, совершился у нас самостоятельным образом. Тут в первый раз умственная жизнь нашего отечества произвела людей, которые шли на-ряду с мыслителями Европы, а не в свите их учеников, как бывало прежде. Прежде каждый у нас имел между европейскими писателями оракула или оракулов; одни находили их во французской, другие в немецкой литературе. С того времени, как представители нашего умственного движения **самостоятельно подвергли критике гегелеву систему**, оно уже не подчинялось никакому чужому авторитету» [2].

---

[1] Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений. СПБ. 1906, т. II, стр. 185.— Подчеркнуто мною.—*А. Д.*

[2] Н. Г. Чернышевский, там же, стр. 201—202. Подчеркнуто мною.—*А. Д.*

«Самостоятельность» русской мысли, нам кажется, у Чернышевского несколько преувеличена. Вряд ли можно говорить о том, что представители нашего умственного движения самостоятельно подвергли критике гегелеву систему. Тем не менее в основном Чернышевский прав, указывая на известную самостоятельную работу мысли крупнейших представителей 40-х годов. И это обстоятельство действительно имеет огромное значение для выяснения места, занимаемого самим Чернышевским в истории русской общественной мысли.

Но прежде чем перейти к Чернышевскому, необходимо познакомиться с историей развития научного мышления на русской почве в связи с развитием его на Западе. Для этой цели воспользуемся прежде всего «Очерками» Чернышевского, где эволюция общественной мысли изложена с достаточной обстоятельностью. Центральной фигурой этого периода является Белинский. После кратковременного увлечения Шеллингом Белинский в 1836 г. под влиянием Н. В. Станкевича сменяет Шеллинга на Гегеля. Белинский, как и все примыкавшие к кружку Станкевича, в этот период интересовался главным образом чисто философскими вопросами. В то же время в недрах Московского университета образовался кружок во главе с Герценом, который занимался изучением произведений утопических социалистов. П. В. Анненков в своем произведении «Замечательное десятилетие» со слов самого Герцена рассказывает о взаимоотношении «философов» и «социалистов» следующее: «Он позже говорил мне, что и он, и его молодая партия смотрели очень подозрительно на Станкевича и Грановского, отзывались враждебно и насмешливо об их занятиях, как о приятном препровождении времени, найденном досужими людьми... Покамест в уме молодого социалиста жило полное презрение к чистому мышлению и к его представителям на Руси. Это так верно, что, когда Герцен возвратился из первой своей вятско-владимирской жизни (1839 г.) в Москву, кружок наших философствующих принял его довольно холодно и не скрыл, что считает его человеком еще неразвитым и отсталого образа мысли. Обстоятельство это и заставило Герцена обратиться к источнику благодати — к изучению Гегеля, которым он дотоле пренебрегал. Открытие, сделанное им тогда, имело важные последствия. Он усмотрел в системе учителя совсем не то, что видели его новые друзья» [1].

Герцен сумел сочетать идеи утопического социализма с учением Гегеля, заставив в то же время чистых «философов» перейти на эту новую позицию. Этим самым он толкнул своих друзей, бывших идейных противников, на путь политики, поскольку это было вообще возможно в условиях николаевского режима. Теоретически же, по крайней мере, был решен вопрос о соотношении между чистым мышлением и действительностью. Это новое направление, естественно, не могло оставаться на почве гегелевского идеализма и перешло на материалистические позиции, сохранив вместе с тем диалектический метод как наиболее ценный элемент в гегелевской системе. В этом смысле Чернышевский и говорит о самостоятельной критике гегелевой системы представителями русской философской мысли, сопоставляя эволюцию последней с эволюцией мысли на Западе, которая шла в том же

[1] П. В. Анненков, Литературные воспоминания. 1903, стр. 241—242.

направлении. И надо сказать, что некоторые произведения 40-х годов (как, например, «Письма об изучении природы» Герцена) действительно поражают своей глубиной и необычайной близостью многих формулировок к концепции диалектического материализма[1]. Задача, которая стояла перед передовыми деятелями 40-х годов не только в России, но прежде всего на Западе, состояла в необходимости создания на развалинах гегелевой системы и фейербахианства нового мировоззрения. Эту историческую задачу, вытекавшую из потребностей выступившего на общественную арену нового класса, пролетариата, выполнили только Маркс и Энгельс, которые формулировали новое мировоззрение в учении диалектического материализма. Но задача их этим не ограничивалась, ибо им предстояло дать научное обоснование социализма на основе раскрытия законов исторического развития вообще, на основе применения диалектического материализма к историческому процессу. Если наши русские мыслители, опираясь на результаты западно-европейской философии, могли сделать шаг вперед в смысле самостоятельной разработки чисто философских проблем, то уже им совершенно недоставало конкретной социально-исторической почвы для формулировки исторического материализма. Этим обстоятельством и объясняется разрыв между теоретическим, философским материализмом и историческим материализмом у наших крупнейших деятелей не только 40-х, но и 60-х годов.

С другой стороны, вопрос о самостоятельной критике гегелевой системы нашими русскими мыслителями не может быть разрешен в положительном смысле без всяких оговорок и ограничений. Ведь сам Чернышевский говорит, что русские деятели сначала считали абсолютною истиною учение Гегеля в том виде, как излагал его Гегель. «Но скоро познакомились они с сочинениями учеников Гегеля, которые, с строгою последовательностью развивая существенные идеи учителя, отвергли все, что в его системе противоречило этим основным принципам, и, наконец, преобразовали его систему так, как прежде он преобразовал систему Шеллинга. Без всякого преувеличения надобно сказать, что так называемою школою Гегеля образовано было совершенно новое фило-

[1] Вот как оценивал В. И. Ленин значение Герцена. «В крепостной России 40-х годов XIX века он сумел подняться на такую высоту, что стал в уровень с величайшими мыслителями своего времени. Он усвоил диалектику Гегеля. Он понял, что она представляет из себя «алгебру революции». Он пошел дальше Гегеля, к материализму, вслед за Фейербахом. Первое из «Писем об изучении природы»,— «Эмпирия и идеализм»,— написанное в 1844 году, показывает нам мыслителя, который даже теперь головой выше бездны современных естествоиспытателей-эмпириков и тьмы тем нынешних философов-идеалистов и полуидеалистов. Герцен вплотную подошел к диалектическому материализму и остановился перед историческим материализмом». (Н. Ленин, Собрание сочинений, т. I. стр. 96). Если вспомним, что в это время Маркс и Энгельс еще не выступали в качестве диалектических материалистов, то придется признать, что в лице Герцена, подошедшего самостоятельно вплотную к диалектическому материализму, мы действительно имеем первоклассного мыслителя. Нигде в Западной Европе, кроме Германии (Маркс и Энгельс), левое гегельянство, материализм, а затем марксизм, начиная с 40-х годов до настоящего времени, не имели таких блестящих представителей, как в России. Этим обстоятельством в значительной степени объясняется идейная гегемония русского марксизма в международном рабочем движении с того времени, как русский рабочий класс выступил на историческую арену и создал свою самостоятельную партию.

софское учение, которому система самого Гегеля служила не более как предшественницею, только в этом учении получившею свой смысл и оправдание. Тем завершилось развитие немецкой философии, которая, теперь в первый раз достигнув положительных решений, сбросила свою прежнюю схоластическую форму метафизической трансцендентальности и, признав тожество своих результатов с учением естественных наук, слилась с общей теорией естествоведения и антропологиею» [1].

Под новым философским учением, выросшим из гегельянства и слившимся с общей теорией естествознания и антропологией, Чернышевский подразумевает философию Фейербаха. Таким образом, и для русских гегельянцев толчком для перехода от идеализма к материализму послужило в первую очередь учение Фейербаха. Но они были знакомы не только с работами Фейербаха, а следили внимательно за всеми течениями немецкой философской мысли. Однако тот факт, что немецкие левые гегельянцы влияли на русских левых гегельянцев, не говорит еще ничего против известной самостоятельности в развитии русской мысли. Необходимо только подчеркнуть, что русская философская мысль так или иначе оплодотворялась немецкой философией, развиваясь дальше до известных пределов самостоятельно. Новый толчок она получила уже значительно позже от учения Маркса и Энгельса, не будучи в состоянии самостоятельно преодолеть достигнутый ею предел в 40-х, а затем и в 60-х годах.

Излагая процесс развития европейской и русской мысли, Чернышевский далее показывает, каким образом произошло слияние философии (немецкий «элемент»), т. е. отвлеченной теоретической мысли, с действительностью, с жизнью социально-политической, и, более определенно,— с социализмом (французский «элемент»). «Но немецкая философия, — пишет Чернышевский, — занималась по преимуществу только самыми общими и отвлеченными научными вопросами. Принципы общей системы воззрений на мир были, наконец, найдены ею и приложены к разъяснению нравственных и отчасти исторических вопросов; зато другие части науки, не менее важные, оставляемы были в Германии без особого внимания, — преимущественно должно сказать это о практических вопросах, порождаемых материальною стороною человеческой жизни. Французских мыслителей занимали всегда эти предметы более, нежели немецких, но очень долго они не постигались ими во всей глубине и разрешались или поверхностным, или фантастическим образом. Наконец, когда результаты немецкой философии проникли во Францию, а наблюдения, собранные французами,— в Германию, пришло время искать положительных и точных решений. Тогда односторонность науки исчезла; ее содержание было уяснено относительно всех ее существенных задач. Материальные и нравственные условия человеческой жизни и экономические законы, управляющие общественным бытом, были исследованы с целью определить степень их соответственности с требованиями человеческой природы и найти выход из житейских противоречий, встречаемых на каждом шагу, и были получены довольно точные решения важнейших вопросов жизни. Этот новый элемент также вошел в наше умственное развитие;

---

[1] Н. Г. Чернышевский, там же, стр. 162.

критика воспользовалась им, и ее основные воззрения во многих случаях получали бо́льшую определенность и жизненность» [1].

Из приведенных слов Чернышевского явствует, что он изображает путь развития европейской и русской мысли в 40-х годах в основных линиях правильно, но недостаточно полно и конкретно; из его поля зрения совершенно выпало основное течение, которому суждено было в будущем стать господствующим и дать действительно научный синтез философии, социализма и политической экономии. Мы имеем в виду марксизм. Однако если Чернышевский и не был знаком с этим движением, то он во всяком случае уловил тенденцию эпохи, которая пыталась соединить французский элемент с немецким, дать синтез материализма с социализмом. По этому пути шли представители 40-х годов. Но все возникшие тогда концепции, кроме марксизма, не преодолели всех трудностей и противоречий, стоявших на этом пути. Задачи эпохи в общем ясны для многих, отдельные мыслители пытаются нащупать новые пути, но в результате неудачно. Чернышевский очень хорошо говорит о недостатках и односторонности отдельных течений. Немцы по преимуществу интересовались общетеоретическими вопросами, французы — практическими. И вот задача состояла в том, чтобы слить теорию с практикой. Иной читатель, пожалуй, подумает, что Чернышевский, говоря о том, что в это время были исследованы «экономические законы, управляющие общественным бытом», имеет в виду марксизм. На самом деле, конечно, речь идет у Чернышевского здесь об утопическом социализме, который действительно много сделал для понимания материальных условий жизни и социальных противоречий, но который не видел путей и способов разрешения этих противоречий. «Законы, управляющие общественным бытом», в это время действительно были формулированы, но это новое учение было известно только очень немногим. Чернышевский, говоря о материальных и нравственных условиях жизни и об экономических законах, управляющих общественным бытом, подчеркивает, что они были исследованы «с целью определить степень их соответственности с требованиями человеческой природы». Естественно, что поиски в этом направлении не могли увенчаться успехом. Но как бы то ни было, тенденция эпохи, как было сказано, Чернышевским намечена в общем правильно. Верно, что передовые мыслители искали синтеза материализма с социализмом, теории с практикой. Но верно также и то, что они исходили из отвлеченных требований человеческой природы и поэтому, вопреки мнению Чернышевского, не могли прийти «к точным решениям важнейших вопросов жизни».

При таких условиях вполне понятно, что и русские передовые люди 40-х годов, невзирая на талантливость и даже гениальность многих из них, не могли уйти дальше западно-европейских утопистов. В области же философии они сделали, по нашему мнению, большие успехи, но подняться до исторического материализма они не смогли, а к диалектическому материализму лишь подходили. Но уже одно то, что наши мыслители вплотную подходили к диалектическому материализму, составляет их огромную заслугу и поднимает их очень высоко над многими западно-ев-

[1] Н. Г. Чернышевский, там же, стр. 162—163.

ропейскими учеными и мыслителями. Мы выше привели мнение Ленина о Герцене. Но и Плеханов, который относится к Герцену более строго, также подчеркивает, что в его «Письмах об изучении природы» есть поистине блестящие страницы, излагающие диалектический взгляд на мировой процесс» [1].

В другом месте Плеханов проводит параллель между Герценом и Энгельсом и указывает, что многие мысли Герцена очень похожи на мысли Энгельса. «А это поразительное сходство, — заключает Плеханов, — показывает, что ум Герцена работал в том самом направлении, в каком работал ум Энгельса, а стало быть и Маркса».

Непосредственными продолжателями Белинского и Герцена являются деятели 60-х годов — Чернышевский и Добролюбов. Чернышевский, подобно Герцену, также движется в направлении к марксизму, но, несмотря на то, что в сравнении с Герценом он сделал большой шаг вперед, он не в силах был подняться до диалектического, а тем более — до исторического материализма. В мою задачу не входит изложение исторических взглядов Чернышевского, которые, на-ряду с идеалистическими элементами, обнаруживают и вполне здоровые материалистические элементы. С другой стороны, Чернышевский, в отличие от Белинского и Герцена, уделяет много внимания буржуазной политической экономии, банкротство которой, по словам Маркса, он мастерски выяснил. В общем же о Чернышевском можно с бо̀льшим еще правом, чем о Герцене, сказать, что его ум работал в том самом направлении, в каком работали ум Маркса и Энгельса. «Главная заслуга его, — пишет Плеханов о Чернышевском, — заключается в том, что его теоретическая мысль работала в том самом направлении, в каком совершалась главная работа передовой общественной мысли Запада. Правда, общая отсталость России и неблагоприятно сложившиеся условия его собственной жизни привели к тому, что его мысль отставала в своем движении от передовой западно-европейской мысли». В другом месте Г. Плеханов высказывает предположение, что, живи Маркс и Энгельс в русских условиях, они, вероятно, тоже не пошли бы дальше усвоения философии Фейербаха. «Приняв во внимание эти условия (т. е. условия тогдашней русской жизни. — *А. Д.*), — продолжает Плеханов, — удивляешься не тому, что Чернышевский отстал от Маркса и Энгельса, а тому, что он так мало отстал от них» [2]. В сравнении же с русскими деятелями 40-х годов, т. е. с Белинским и Герценом, Чернышевский сделал огромный шаг вперед как в смысле углубления и большего оформления материалистического мировоззрения, так и в смысле большего уточнения диалектического метода. Но Чернышевский превосходил Герцена и в других отношениях. Он был последовательным революционером и боевым демократом. «От его сочинений — писал в 1914 г. справедливо Ленин, — веет духом классовой борьбы. Он резко проводил ту линию разоблачений измен либерализма, которая доныне ненавистна кадетам и ликвидаторам. Он был замечательно глубоким критиком капитализма, несмотря на свой утопический социализм» [3]. В ряду замечательных русских мыслителей Чернышевский

---

[1] Г. В. Плеханов, Сочинения, т. XXIII, стр. 375.

[2] Г. В. Плеханов, Сочинения, т. VI, стр. 341.

[3] Н. Ленин, Собрание сочинений, т. XX, стр. 451.

является непосредственным предшественником Плеханова и Ленина и продолжателем Белинского и Герцена (40-х годов).

Чернышевский продолжал итти по тому пути, по какому шли лучшие деятели 40-х годов. В философском отношении Чернышевский двигался в направлении к диалектическому материализму, стремясь синтезировать диалектический метод Гегеля и материализм Фейербаха. Но Чернышевский остановился на полпути и такого синтеза не дал. Поэтому совершенно правы Плеханов и Ленин, утверждая, что Чернышевский не сумел подняться до диалектического материализма. Однако для нас важно именно то, что Чернышевский работал в этом направлении. Будучи прекрасным знатоком Гегеля, он самостоятельно вскрыл в учении немецкого мыслителя целый ряд внутренних противоречий. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что критика Чернышевским гегелевой системы в основном совпадает с критикой Маркса и Энгельса. Мы здесь остановимся только на трех пунктах. Во-первых, на противоречии между системой и методом; во-вторых, на противоречии между отвлеченным и конкретным, как оно выступает в учении Гегеля, и в-третьих,— на противоречии между истиной и деятельностью, или теорией и практикой. Посмотрим, как изображает дело сам Чернышевский. «Принципы Гегеля,— говорит он,— были чрезвычайно мощны и широки, выводы — узки и ничтожны: несмотря на всю колоссальность его гения, у великого мыслителя достало силы только на то, чтобы высказать общие идеи, но недостало уже силы неуклонно держаться этих оснований и логически развить из них все необходимые следствия. Он провидел истину, но только в самых общих, отвлеченных, вовсе неопределительных очертаниях; увидеть ее лицом к лицу досталось на долю только уже следующему поколению. И не только выводов из своих принципов не мог он сделать — сами принципы представлялись ему еще не во всей ясности, были для него туманны» [1]. Чернышевский полагает, что материализм Фейербаха преодолел двойственность между общими идеями и содержанием или выводами из них, отличавшую систему Гегеля. Надо сказать, что Чернышевский был совершенно прав, указывая на противоречие между принципами, основными идеями, и выводами, которые делал из принципов сам Гегель и в особенности его ортодоксальные последователи. Останавливаться здесь на этом вопросе нет надобности. Достаточно только подчеркнуть правильность высказанного Чернышевским здесь положения. Мы увидим несколько ниже, что, говоря о принципах, Чернышевский имеет в виду основные идеи гегелева метода, в противоположность выводам, часто противоречившим основным положениям метода, но требуемым гегелевой системой. С другой стороны, Чернышевский, выдвигая мысль о том, что дальнейшее развитие гегельянства на Западе и у нас привело в гармонию основные идеи с содержанием, хочет сказать, что материализм (Фейербаха в первую очередь) не был простым отвержением учения Гегеля, а дальнейшим развитием последнего в смысле усвоения тех основных идей, которые действительно составляли новое слово. Надо сказать, что самые принципы, выставленные Гегелем, поскольку эти принципы диктовались диалектическим методом, не уживались с идеалистическими основами системы.

---

[1] Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. II, стр. 184.

Мне кажется, что Чернышевскому и это противоречие было достаточно ясно, хотя он не говорит о нем достаточно определенно.

Чернышевский хвалит Гегеля прежде всего за то, что тот сумел сделать шаг вперед в направлении к конкретному мышлению. Спекулятивное мышление Гегеля, говорит он, двигалось в направлении замены прежних отвлеченных понятий более живыми понятиями о действительных предметах. Схоластический метод ставил ум, как отвлеченную способность человека, во главу угла, игнорируя все остальные способности человека. В XVIII веке в этом отношении произошел значительный сдвиг. Идеалисты до-гегелевской эпохи занимались не живыми людьми, а призраками, отвергая «в человеке всякие способности и стремления, кроме ума, и из всех органов человеческого существа признавая достойным своего внимания только мозг»,— пишет Чернышевский. Это замечание, хотя и справедливо, требует, однако, поправки в том смысле, что даже и мозг рассматривался отвлеченно, ибо мышление, которое стояло в центре внимания, отрывалось от мозга. Совершенно в духе Фейербаха Чернышевский высмеивает прежних схоластов, которые не понимали связи мышления со всеми органами человеческого тела, с одной стороны, и с живой действительностью, с деятельностью человека — с другой стороны. Философия Гегеля рассматривается Чернышевским как **переход от отвлеченной науки к науке жизни**. В этом именно заключается ее историческое значение. Однако неправильно было бы думать, что гегелева система преодолела указанное противоречие между отвлеченным мышлением и реальным бытием. Она не в силах была преодолеть это противоречие потому, что сам Гегель в значительной степени оставался на почве отвлеченного идеализма, который противоречил сущности диалектического метода. В самом деле,—говорит Чернышевский,— гегелева система учила, что «истина существует только в конкретных явлениях, а, между тем, в эстетике своей ставила верховною истиною идею прекрасного, как будто идея эта существует сама по себе, а не в живом действительном человеке». Это противоречие между конкретным, действительным, реальным и отвлеченным, призрачным, идеальным также послужило причиною неудовлетворительности гегелевой системы. Сильную сторону ее, как говорит Чернышевский, составляло стремление к действительности и положительности, слабую же сторону—то, что это стремление остается неосуществленным, поэтому почти все **содержание** системы, вопреки основным **принципам**, остается отвлеченным и недействительным. Таким образом мы имеем в системе Гегеля противоречие между отвлеченной идеей и живой действительностью. Впрочем, и сама действительность понимается идеализмом отвлеченно. «Она обнимает собою только духовную жизнь человека,— говорит Чернышевский,— между тем как вся материальная сторона жизни признается «призрачною»: «человек ест, пьет, одевается — это мир призраков, потому что в этом нисколько не участвует дух его»; человек «чувствует, мыслит, сознает себя органом духа, конечною частностью общего и бесконечного—это мир действительности»,—все это чистый гегелизм» [1].

Стало быть, как ни велика заслуга Гегеля в деле противопоставления понятия **действительности** чисто отвлеченным идеям, он все же оста-

---

[1] Н. Г. Чернышевский, там же, стр. 216.

вался на почве отвлеченного мышления и не был в состоянии правильно разрешить вопрос о взаимоотношении мышления и бытия. Его решение состоит в том, что действительность исчерпывается жизнью духа и что материальный мир объявляется миром призрачным. Критика Чернышевским гегелевой философии идет, таким образом, в том же направлении, в каком шла она на Западе. Всякому известно, какую роль понятие действительности играло у наших деятелей 40-х годов и, в частности, у Белинского. Дело сводилось в конечном счете к необходимости открыть в самой действительности законы ее развития, чтобы иметь возможность воздействовать на ход этой действительности или, по крайней мере, понять ее. Понятие действительности ведет к утверждению той мысли, что истина состоит только «в конкретном осуществлении». «Но явления действительности,— говорит Чернышевский,— чрезвычайно разнородны и разнообразны. Она представляет много такого, что сообразно с желаниями и потребностями человека, и много такого, что решительно противоречит им. Прежде, когда пренебрегали действительностью, слишком гордясь фантастическими богатствами, полагали, что переделать действительность по фантастическим мечтам очень легко. Но когда фантастическая гордость смирилась, ученые и поэты должны были убедиться в том, что всегда было ясно в практической жизни для людей, одаренных здравым смыслом. Сам по себе человек очень слаб; всю свою силу заимствует он только от знания действительной жизни и уменья пользоваться силами неразумной природы и врожденными, не зависимыми от человека качествами человеческой натуры. Действуя сообразно с законами природы и души и при помощи их, человек может постепенно видоизменять те явления действительности, которые несообразны с его стремлениями, и, таким образом, постепенно достигать очень значительных успехов в деле улучшения своей жизни и исполнения своих желаний» [1].

Если отвлечься от некоторых неудачных «оборотов речи», то мы в приведенном отрывке имеем вполне правильное материалистическое решение основного вопроса об отношении между бытием и мышлением, между внешним миром и человеком. Только та деятельность плодотворна, которая вытекает из действительности и которая опирается на ее законы. Поэтому Чернышевский очень едко иронизирует над субъективными желаниями, фантастическими мечтаниями, которые лишены корней в самой действительности. «Прочное наслаждение дается человеку только действительностью,— пишет наш автор; — серьезное значение имеют только те желания, которые основанием своим имеют действительность; успеха можно ожидать только в тех надеждах, которые возбуждаются действительностью, и только в тех делах, которые совершаются при помощи сил и обстоятельств, представляемых ею. Достичь до такого убеждения и действовать сообразно с ним значит сделаться человеком положительным».

Мы видим, что Чернышевский в этих рассуждениях очень близко подходит к постановке той же проблемы у Маркса и Энгельса. Но что понимать под действительностью? Выставляя свое знаменитое положение: «все действительное

---

[1] Н. Г. Чернышевский, там же, стр. 205—206.

разумно, все разумное действительно». Гегель вовсе не имел в виду сказать, что все существующее разумно, как это одно время понимал Белинский. Чернышевский гораздо лучше понимает эту проблему. Он в этом отношении сделал шаг вперед в сравнении как с Белинским, так и с Герценом (40-х годов). Он очень ясно и просто развивает ту мысль, что фантастические мечты, не имеющие вовсе корней в действительности, и преклонение человека перед любым фактом действительности — одинаково нелепы. «Силы придаются человеку только действительностью»,— говорит он; но из этого вовсе не следует, что в действительности нет таких явлений, которые необходимо и возможно человеку изменить. Напротив того, внимательное изучение действительности дает нам возможность установить, что̀ в ней подлежит изменению и в каком именно направлении. До какой степени Чернышевский далек в своих общефилософских взглядах от «субъективизма», свидетельствует его понимание диалектики. По мнению Чернышевского, диалектический метод возник как антитеза против «субъективного мышления», которое заключалось в том, что мыслители стремились «оправдать дорогие для них убеждения», заботясь не об истине, а о поддержке своих предубеждений. «Гегель,— говорит Чернышевский,— жестоко изобличал эту пустую и вредную забаву. Как необходимое предохранительное средство против поползновений уклониться от истины в угождение личным желаниям и предрассудкам, был выставлен Гегелем знаменитый «диалектический метод мышления» [1].

Диалектический метод по самому существу своему враждебен «субъективному методу», ибо он имеет своею задачею объективное изучение действительности, воспроизведение в понятиях реального мира. Немецкая классическая философия, по мнению Чернышевского, отличается от французской и английской философии этой эпохи тем, что она стала рассматривать истину как «верховную цель мышления». В этом стремлении к истине, т. е. к объективному познанию, Чернышевский видит «плодотворнейшее начало всякого прогресса». Сущность диалектического метода состоит во всестороннем исследовании предмета, реальной действительности вообще, в изучении всех действительных качеств и свойств предмета с тем, чтобы можно было составить себе о нем «живое понятие», как выражается Чернышевский. Живое, конкретное понятие противоположно отвлеченному, мертвому понятию, которое схватывает предмет односторонне. Попытаемся, далее, выделить те основные моменты, которые Чернышевский считает характерными для диалектического метода. Мы убедимся, что во многих отношениях он стоит в своем понимании диалектики выше некоторых современных «марксистов».

Итак, диалектика предохраняет от субъективизма, так как она имеет своею конечною целью истину. Правда, Чернышевский не очень «осторожен» в выражениях, так что некоторые современные quasi-марксисты, наверное, обвинили бы его за это «в поповщине». Но мы смеем думать, что Чернышевский так же хорошо знал значение практики, как критерия истины, как и наши quasi-марксисты. Он также великолепно знал, что наука для нас важна лишь постольку, поскольку она служит средством для изменения

---

[1] Н. Г. Чернышевский, там же, стр. 187.

мира. В каждом теоретическом учении,—говорит в одном месте Чернышевский,—соединяются отвлеченное понятие об истине и отношение этого знания к действительности. Огромный недостаток гегелевой системы он видел как раз в том, что немецкий мыслитель ставил знание выше жизни, отвлеченное мышление выше живой действительности. Сближение с действительностью, т. е. изучение бытия, неизбежно разоблачает односторонность и ошибочность отвлеченного идеализма. Относительно Белинского Чернышевский очень тонко замечает, что его переезд в Петербург имел своим последствием переход великого критика от идеализма к материализму. «В Петербурге,—пишет он,—действительная жизнь настолько шумна, беспокойна и неотвязна, что трудно обманываться относительно ее сущности, трудно не разубедиться в том, что она движется вовсе не по идеальному плану гегелевой системы, трудно остаться идеалистом» [1] (подчеркнуто мною.—*А. Д.*).

Идеалист исходит из отвлеченной истины, не интересуясь тем, насколько она совпадает или противоречит действительности. Материалист же по самому существу не может не исходить в поисках истины из действительности, из бытия. Поэтому мышление, понятия, идеалы определяются бытием, жизнью, действительностью. Связь теоретической истины с практикой выражается в том, что теоретическая истина ведет к практически полезным результатам, в то время как заблуждение ведет за собою практически вредные результаты. Словом, утверждение, что цель мышления, как такового, есть прежде всего истина, совершенно справедливо. Но это только одна сторона дела. Если бы мы были обуреваемы буквоедством, то могли бы обвинить Чернышевского в односторонности, в непонимании значения практики и пр. В действительности же дело обстоит таким образом, что Чернышевский превосходно понимал связь теории с практикой. «Теория без практики,—писал он,—почти неуловима для мысли, и общие понятия, ими (речь идет о Самарине и К. Аксакове.—*А. Д.*) высказываемые, неопределенны в своей отвлеченности» [2].

В другом месте Чернышевский еще более определенно подчеркивает значение практики для теории. Так, в своей рецензии на «Эстетические отношения искусства к действительности» он пишет: «Практика, этот непреложный пробный камень всякой теории...» [3] «практика—великая разоблачительница обманов и самообольщений не только в практических делах, но также в делах чувства и мысли. Потому-то в науке ныне принята она существенным критериумом всех спорных пунктов. Что подлежит спору в теории, начистоту решается практикою действительной жизни» [4].

В доказательство того, что Чернышевский якобы неправильно понимал, в чем состоит сущность диалектики, приводится обычно известное место из «Очерков гоголевского периода русской литературы», где автором дается характеристика диалектического метода. «Сущность его,—пишет Чернышевский,—состоит в том, что мыслитель не должен успокаиваться ни на каком положи-

---

[1] Н. Г. Чернышевский, там же, стр. 198. Подчеркнуто много.—*А. Д.*

[2] Н. Г. Чернышевский, там же стр. 429.

[3] Н. Г. Чернышевский, Там же, т. X, ч. 2, стр. 173.

[4] Там же, стр. 174.

тельном выводе, а должен искать, нет ли в предмете, о котором он мыслит, качеств и сил, противоположных тому, что представляется этим предметом на первый взгляд; таким образом, мыслитель был принужден обозревать предмет со всех сторон, и истина являлась ему не иначе, как следствием борьбы всевозможных противоположных мнений. Этим способом, вместо прежних односторонних понятий о предмете, мало-по-малу являлось полное, всестороннее исследование и составлялось живое понятие о всех действительных качествах предмета. Объяснить действительность стало существенною обязанностью философского мышления» [1].

Эта формулировка диалектического метода вызвала критическое к себе отношение со стороны Г. В. Плеханова. Но высказанные Г. В. Плехановым соображения не могут быть признаны убедительными. В самом деле, что̀ говорит Плеханов? Комментируя приведенные выше строки, Плеханов говорит о Чернышевском: «Он был неправ, видя главную отличительную черту диалектического метода во внимательном отношении к действительности, принуждающем мыслителя обозревать предмет со всех сторон... Диалектический метод характеризуется прежде всего и главным образом тем, что он в самом явлении, а не в тех или других симпатиях и антипатиях исследователя, ищет сил, обусловливающих собой развитие этого явления» [2].

Во-первых, Чернышевский вовсе не говорит, что главную отличительную черту диалектического метода составляет «внимательное отношение к действительности». Он лишь указывает, что объяснение действительности, самого бытия, стало со времени Гегеля существенною обязанностью философского мышления. Так как диалектический метод, как его понимал сам Гегель, имеет своею задачею воспроизведение в сознании движения, изменения самого предмета, то естественно, что Чернышевский имел полное право подчеркнуть эту сторону вопроса. Он имел тем большее право это сделать, что проблема действительности в 60-х годах стояла в центре внимания русских прогрессивных деятелей. С другой стороны, Чернышевский определенно противопоставляет объективизм, логику самой действительности, субъективизму, идеализму и пр. Ввиду этого совершенным недоразумением является критическое замечание Плеханова по адресу Чернышевского, что диалектический метод характеризуется тем, что он в самом явлении, а не в тех или других симпатиях и антипатиях исследователя, ищет сил, обусловливающих собой развитие этого явления. Г. В. Плеханов делает Чернышевскому два взаимно исключающих упрека: с одной стороны, он указывает на требование со стороны Чернышевского внимательного отношения к действительности, а с другой стороны, он упрекает его в приверженности к «симпатиям и антипатиям» исследователя, т. е. субъекта. Помимо этого, надо сказать, что основное возражение Г. В. Плеханова бьет вообще мимо цели, ибо, говоря, что сущность диалектического метода состоит в том, что необходимо искать в самом предмете качеств и сил, противоположных тому, что представляется предметом на первый взгляд, Чернышевский высказал на своем языке ту же мысль, что и Плеханов.

---

[1] Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. II, стр. 187.
[2] Г. В. Плеханов. Сочинения, т. V, стр. 229.

словами: «в самом явлении надо искать сил, обусловливающих собой развитие этого явления». Разве Чернышевский не отстаивал именно этого положения? Но если даже согласиться с Г. В. Плехановым, что вышеприведенная характеристика диалектики Чернышевским не вполне удачна, то надо сказать, что сущность диалектики для нашего автора не исчерпывается этой характеристикой.

В своей книге «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» сам Плеханов пишет, что «основа, главная отличительная черта диалектики, указывается у него (т. е. у Чернышевского. — *А. Д.*) в следующих словах: «Вечная смена форм, вечное отвержение формы, рожденной известным содержанием или стремлением, вследствие усиления того же стремления, высшего развития того же содержания...» Эта формула Чернышевского стала классической, и Г. В. Плеханов часто пользовался ею для характеристики диалектического метода. Обвинять Чернышевского в непонимании сущности диалектического метода нет решительно никаких оснований. Можно, пожалуй, говорить о том, что Чернышевский был не силен в деле применения диалектики к конкретным явлениям и процессам. Это будет вернее. Но теоретическое понимание диалектики у Чернышевского было довольно глубокое. И Плеханов подчеркивает, что в «Критике философских предубеждений против общинного владения» Чернышевский выступает блестящим диалектиком. Правда, Плеханов делает здесь оговорку,— в данном случае совершенно правильную,— что эта диалектика не вполне материалистична; но это вопрос особый.

Чернышевский прекрасно понимал, что диалектика есть наука о наиболее общих законах развития природы, истории и мышления. Диалектика, говорит он, «в каждой сфере жизни открывает тожество законов природы и истории с своим собственным законом диалектического развития». Заслугу Гегеля он видел в том, что великий немецкий мыслитель раскрыл те общие формы, по которым движется всякий процесс развития. Некоторые из этих общих форм были нами уже формулированы. В «Критике философских предубеждений против общинного владения» Чернышевский аргументирует некоторыми основными законами диалектики, в частности законом отрицания отрицания, согласно которому «высшая степень развития по форме сходна с началом, от которого оно отправляется». Этим законом Чернышевский хотел доказать, что русская община может стать исходным пунктом для перехода к социализму.

В отличие от славянофилов и народников, Чернышевский видел в русской общине не «прирожденную черту нашей национальности», а общечеловеческую принадлежность известного периода в жизни каждого народа. Но ошибка в рассуждениях Чернышевского состоит в том, что он хотел обосновать необходимость общины на отвлеченном законе развития. Однако и здесь не следует перегибать палки в другую сторону. Теоретические рассуждения Чернышевского сами по себе заслуживают пристального внимания. Несмотря на все свои ошибки, Чернышевский и в этой работе обнаруживает себя блестящим диалектиком в понимании общих форм и законов развития. Мы видели, что Г. В. Плеханов упрекал Чернышевского в непонимании того, что в самом явлении следует искать сил, обусловливающих развитие этого явления. Я уже указал, что это обвинение не совсем справедливо. Но вот послушаем, как Чернышевский по-

нимает этот закон развития. Конец развития по форме является возвращением к его началу, но содержание на высшей ступени безмерно богаче, чем в начале развития, причем причины, содействующие восстановлению начальной формы в конце развития, противоположны тем причинам, от которых зависело ее существование при начале развития. «Доходя до высокой интенсивности,— говорит Чернышевский,— те самые обстоятельства, которые в менее сильной степени были враждебны первобытной форме, обращаются в неизбежный вызов к ее восстановлению... Избыток качества действует на форму способом, противоположным тому способу, каким действовала более слабая степень того же качества»[1]. Иначе Чернышевский выражает ту же мысль, когда говорит, что «превосходная степень действует на форму способом, противоположным тому, каким действует простая положительная степень» (подчеркнуто мною.— *А. Д.*). И это, разумеется, совершенно правильно. Но Чернышевский в дальнейших своих рассуждениях иногда действительно скатывается к диалектике понятий. Он обнаруживает подчас слишком большую склонность опираться на чисто логический процесс развития понятий. Но эти частные ошибки не следует преувеличивать. Из «общих мировых законов» развития Чернышевский выводит вообще необходимость коммунизма на высшей ступени развития, необходимость того, что общинное владение должно быть вообще высшей формой общественных отношений. Но, совершенно другой вопрос, достигнута ли уже в настоящее время та ступень развития, когда общинное владение может стать этой высшей формой. «Этот вопрос,— говорит Чернышевский,— решается не посредством общих отвлеченных понятий, а анализом фактов». Здесь мы имеем известную двойственность в рассуждении Чернышевского: прав Г. В. Плеханов, упрекая Чернышевского в том, что он рассматривает вопрос об общинном землевладении с точки зрения какого-то развития вообще, независимо от условий времени и места. Но, с другой стороны, в защиту Чернышевского надо сказать, что он отделяет вопрос общетеоретический от вопроса практического, вопрос об общинном владении, как высшей форме развития поземельных отношений вообще, от конкретного вопроса о русской общине при данных исторических условиях.

В той же статье Чернышевский поднимает в высшей степени важный как в теоретическом, так и в практическом отношении вопрос о взаимоотношении логических и реальных моментов в процессе развития, о возможности при известных условиях ускорения процесса развития и пропусков отдельных его ступеней. Чернышевский, ссылаясь на Гегеля, говорит, что «средние логические моменты чаще всего не достигают объективного бытия, оставаясь только логическими моментами. Довольно того, что известный средний момент достиг бытия где-нибудь и когда-нибудь, этим избавляется процесс развития во всех других временах и местах от необходимости доводить его до действительного осуществления»[2]. Исходя из этих теоретических рассуждений, наш автор ставит вопрос о том, обязательно ли пройти средний момент развития — фазис частной собственности — всем народам, и не может ли быть эта фаза, как

[1] Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. IV, стр. 319.
[2] Н. Г. Чернышевский, там же, стр. 329.

средний момент, пропущена. Самая постановка вопроса у Чернышевского в высшей степени любопытна. Ее не следует смешивать с рассуждениями эпигонов народничества по этому вопросу. Они никогда не поднимались до той теоретической высоты, до какой поднимался Чернышевский. Мы не имеем возможности подвергнуть критике точку зрения великого «просветителя». На-ряду с совершенно правильными и глубокими соображениями в его рассуждениях имеются большие погрешности. Нам представляется, что Чернышевский находится здесь под слишком сильным влиянием гегелевского идеализма. Если согласиться, что «средние логические моменты чаще всего не достигают объективного бытия, оставаясь только логическими моментами», то придется признать, что собственность в качестве «среднего момента» чаще всего остается только логическим моментом, не достигая осуществления... Вопрос о соотношении логического и реального Чернышевским вообще разрешен неправильно, но входить в это мы здесь лишены возможности. Несмотря на все ошибки Чернышевского, для нас несомненно, что он был крупнейшим диалектиком, и если он не справлялся с целым рядом вопрбсов и ослеплялся иногда иллюзиями «логического развития понятий», то это объясняется особенностями тогдашней русской действительности.

Обычно привыкли смотреть на Чернышевского только как на последователя Л. Фейербаха. Но это не вся истина, а только часть истины. Не подлежит сомнению, что в лице Чернышевского мы имеем самостоятельного мыслителя, попытавшегося синтезировать материализм Фейербаха с диалектикой Гегеля. А это означает, что он шел тем же путем, что и Маркс и Энгельс, что его путь развития есть путь к марксизму. Поэтому прав Ленин, когда, с одной стороны, называет Чернышевского великим диалектиком и великим материалистом, а с другой стороны, подчеркивает, что вследствие отсталости русской жизни он не сумел подняться до диалектического материализма Маркса и Энгельса.

Между диалектическим методом и материализмом у Чернышевского существует разрыв. Если в области метода он склонен придавать некое самостоятельное значение логическому развитию понятий, то его материализм носит на себе явственные следы механического понимания. Но его огромная заслуга состоит в том, что он «единственный действительно великий русский писатель, который сумел с 50-х годов вплоть до 1888 года остаться на уровне цельного философского материализма» (Ленин). Свои материалистические взгляды он изложил в систематической форме в работе «Антропологический принцип в философии». Он стоит в этой работе на почве фейербаховского антропологизма. «Принципом философского воззрения на человеческую жизнь,—говорит он,—со всеми ее феноменами служит выработанная естественными науками идея о единстве человеческого организма; наблюдениями физиологов, зоологов и медиков отстранена всякая мысль о дуализме человека. Философия видит в нем то, что видят медицина, физиология, химия; эти науки доказывают, что никакого дуализма в человеке не видно, а философия прибавляет, что если бы человек имел, кроме реальной своей натуры, другую натуру, то эта другая натура непременно обнаружилась бы в чем-нибудь, и так как она не обнаруживается ни в чем, так как все происходя-

щее и проявляющееся в человеке происходит по одной реальной его натуре, то другой натуры в нём нет» [1].

Чернышевский, как и Фейербах, исходит из человека, считая, что раз решен вопрос о человеческом мозге, то тем самым решены и все основные вопросы материалистического миросозерцания. Единство человеческого существа связано, однако, с двумя противоположными рядами явлений: материальными и психическими. То, что эти явления различны, не исключает их единства. «Соединение совершенно разнородных качеств в одном предмете,— говорит Чернышевский,— есть общий закон вещей. Но в этом разнообразии естественные науки открывают и связь,— не по формам обнаружения, не по явлениям, которые решительно несходны, а по способу происхождения разнородных явлений из одного и того же элемента при напряжении или ослаблении энергичности в его действии» [2]. Эту последнюю мысль можно формулировать таким образом, что качественные различия обусловливаются чисто количественными различиями. Но когда Чернышевский различия между двумя качествами понимает чисто количественно, как «разницу между 2 и 200», то это уже упрощение вопроса, тем более, что он сам подчеркивает в другом месте, что в новом качестве мы находим такие свойства, которые не присущи элементам, из которых оно образовано.

В основе всего сущего лежит материальная субстанция; различными формами ее существования является неорганическая и органическая природа. Жизнь есть сложный химический процесс. Различие между разными областями явлений, скажем — между неорганическим и органическим миром, Чернышевский пытался объяснить чисто количественно, т. е. механически, не видя, что различные качества подчинены также и различным закономерностям.

В этом отношении не безынтересно вспомнить герценовскую формулу, которая почти дословно совпадает с энгельсовской. По вопросу о соотношении между качеством и количеством он пишет следующее: «Категория количества — одно из существеннейших качеств всего сущего, однако она не исчерпывает всего качественного, и, если держаться в изучении природы исключительно за нее, то дойдем до декартова определения животного гидравлико-огненной машиной, действующей рычагами и проч. Конечно, оконечности представляют рычаги, и мышечная система представляет очень сложные машины,— однакож, Декарту не удалось объяснить влияние воли, влияние мозга на управление частями машины через нервы. Понятие живого непременно заключает в себе механические, физические и химические определения, как те низкие степени, которые долженствовали быть побеждены или сняты для того, чтобы явился сложный процесс жизни; но именно единство, их снимающее, составляет новый элемент, не подчиняющийся ни одному из предыдущих, а подчиняющий их себе» [3].

Возвращаясь к Чернышевскому, мы считаем нужным сказать два слова об его отношении к Спинозе. Наш мыслитель справедливо считает, что антро-

---

[1] Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. VI, стр. 194.
[2] Там же, стр. 195—196. (Подчеркнуто мною.— *А. Д.*).
[3] А. И. Герцен, Полное собрание сочинений и писем, т. IV, стр. 158.

пологический принцип до Фейербаха был выдвинут Спинозой, в котором он вообще видит предшественника немецкого материалиста. Спинозовскую систему Чернышевский трактует материалистически, и мы можем сказать, что в этом отношении он в русской литературе еще до Плеханова, под влиянием, разумеется, Фейербаха, положил начало материалистической интерпретации спинозизма: Спинозу он ставит выше не только Локка, Юма, но выше Канта, Фихте и даже Гегеля... «До появлении Фейербаха, — пишет он, — надобно было учиться понимать вещи у Спинозы,— устарелого ли, или нет: например в начале нынешнего века, но все равно: единственного надежного учителя» [1]. Замечательно, далее, что под спинозовской субстанцией Чернышевский, в отличие от некоторых современных марксистских новаторов, понимает материю. Все, что существует, есть материя. Но этот вполне правильный взгляд сочетается у него с метафизическим представлением о веществе как неизменной сущности. Таким образом, Чернышевский не освободился от метафизического материализма, и это обстоятельство, с своей стороны, должно было наложить известный отпечаток на все его мировоззрение. Неправильное понимание вопроса соотношения между качеством и количеством должно было повести к стиранию границ между различными областями явлений и к недооценке специфических закономерностей в них. Чернышевский, повидимому, склоняется к мысли о возможности сведения всех явлений, в том числе и общественных, к физико-химическим закономерностям. Мы говорим: «повидимому склоняется», потому что он, с другой стороны, иногда предостерегает от простого перенесения биологических законов на социальные явления. Но по существу все же он считает общественные науки частью естествознания. Надо полагать, что он ничего качественно специфического в социальных явлениях не видит, ибо он мечтает о применении естественно-научных методов к общественным явлениям. Правда, мы не знаем, что́ он понимает под естественно-научными методами. Иногда речь идет у него как будто о законе причинности. В этом случае он, конечно, прав.

Он полагает, что естествознание должно вытеснить целиком философию. В этом вопросе, как и в других, он опирается на Фейербаха. Но точка зрения последнего, нам кажется, сводится к требованию тесного союза между философией и естествознанием. Но тот же Чернышевский — и это его сильная сторона — очень резко подчеркивает узость современного эмпирического естествознания. Тут он идет уже по тому пути, по которому идет Энгельс, и попытка формулировать характер современного естествознания совпадает с мыслями Энгельса по тому же вопросу. Узкий ограниченный эмпиризм современного естествознания не может обойтись без философии, но, с другой стороны, естественники, поскольку они начинают философствовать, обнаруживают себя как плохие философы, совершенно неспособные дать широкие обобщения. Поэтому современное естествознание является лишь совокупностью эмпирических фактов, которые подтверждают правильность материалистического мировоззрения. Но самый материализм почерпнут не у современного естествознания, его приходится брать у философов — раньше у Спинозы, а теперь у Фейербаха.

[1] «Чернышевский в Сибири», вып. II, стр. 126.

Так обстоит дело с вопросом о соотношении между философией и естествознанием, причем надо подчеркнуть, что Чернышевский прекрасно понимает значение философии вообще, когда он выставляет то положение, что философия есть совокупность понятий, на которых строится наука.

Подведем итоги. Чернышевский двигался в сторону диалектического материализма, но не дошел до него в смысле создания целостной системы диалектического материализма. Не подлежит, однако, никакому сомнению, что у Чернышевского мы имеем вполне здоровые, зрелые элементы, из которых вполне самостоятельно мог развиться диалектический материализм на русской почве. К этому выводу приходит и Плеханов. Путь Чернышевского есть путь к марксизму. Но в самой системе Чернышевского существовал разрыв между его диалектикой и материализмом. Диалектика его была проникнута идеалистическими элементами, а его материализм элементами механическими.

И. РУБИН

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ КАК ЭКОНОМИСТ

Товарищи!

Чернышевский занимает выдающееся место не только в истории русского социализма, русской критики и философии, — ему принадлежит также выдающееся место в истории русской политической экономии. Чернышевский был первым русским публицистом-социалистом, который уделил не мало сил разработке экономических вопросов. Свои экономические исследования Чернышевский тесно связал с тем делом, которому он отдал всю свою жизнь, — с делом борьбы за социализм.

Своим глубоким интересом к изучению экономических вопросов Чернышевский, несомненно, является одним из предшественников марксистов. В области философии Чернышевский имел в России предшественников в лице кружка Белинского, в лице русских шеллингианцев, гегельянцев, фейербахианцев; в области же политической экономии в России Чернышевскому приходилось строить на пустом месте. В этой области Чернышевский почти не имел предшественников в России и совершенно не имел их среди русских публицистов; долгое время он не находил и последователей. Наиболее блестящие публицисты, писавшие одновременно с Чернышевским и после него, не уделяли экономическим вопросам никакого или почти никакого внимания. Достаточно назвать имена Добролюбова, Писарева, Герцена, Лаврова, Михайловского. Только после того, как идеи марксизма стали находить доступ в Россию, формируя взгляды сперва отдельных лиц, находившихся под влиянием Маркса (например, Зибер, Николай—он), а впоследствии и более широких кругов, политическая экономия заняла почетное место и стала одной из необходимых составных частей социалистического мировоззрения. В своем выдающемся интересе к экономическим вопросам Чернышевский в России далеко опередил свое время и является одним из предшественников марксизма.

Экономические интересы Чернышевского были очень многообразны. Огромный общественно-политический темперамент Чернышевского толкал его прежде всего к исследованию тех вопросов, которые имели общественную злободневность и от разрешения которых зависела судьба народных масс. Россия переживала период подготовки к отмене крепостного права, и Чернышевский пишет статьи «Устройство быта помещичьих крестьян» и свою знаменитую статью «Критика философских предубеждений против общинного владения». Либеральные русские профессора отстаивали учение о невмешательстве государства в экономическую жизнь. Чернышевский в статье «Экономическая

деятельность и законодательство» доказывает отсталость и противоречивость идей экономического либерализма. Другие либеральные профессора старались перенести на русскую почву идеи вульгарной либеральной политической экономии, которая в 50-х годах пышно расцвела в Европе, особенно во Франции. Чернышевский в статье «Капитал и труд» с жестокой критикой обрушивается на вульгарную политическую экономию. Отметим еще превосходную статью Чернышевского о государственном кредите — «Кредитные дела» — и ряд интереснейших рецензий, в которых он вскрывает противоречия вульгарных экономистов (особенно интересна его рецензия на книгу Рошера в VIII томе Собрания сочинений). Наконец, в 1860 г. Чернышевский предпринимает большой труд: в обширных примечаниях к сочинению Дж.-С. Милля «Основания политической экономии» — в «Очерках политической экономии по Миллю» — он атакует вульгарную политическую экономию по всему фронту. Особого упоминания заслуживает данная им критика закона народонаселения Мальтуса.

Неустанная борьба Чернышевского против вульгарной политической экономии составляет его великую заслугу. Именно за нее Маркс высоко ценил экономические работы Чернышевского, этого «великого русского ученого и критика», который мастерски показал «банкротство буржуазной политической экономии» (слова Маркса в предисловии ко 2-му изданию первого тома «Капитала»).

При чтении экономических работ Чернышевского нельзя удержаться от чувства удивления и восхищения перед той проницательностью и силою мысли, которую он обнаруживает. Без преувеличения можно сказать, что страницы его сочинений представляют собою настоящие россыпи блестящих и глубоких мыслей, нередко напоминающих мысли Маркса. И все же мы должны признать, что, несмотря на ряд блестящих и даже гениальных мыслей, высказанных Чернышевским в его экономических работах, ему не удалось построить цельную экономическую теорию и открыть для экономической науки новые пути, как это сделал Маркс. Чернышевский шел по тому же пути, по которому шел Маркс, по пути соединения социализма с политической экономией; но дать синтез социализма и политической экономии Чернышевскому не удалось. Отчасти, быть может, причиной этого является то обстоятельство, что экономические теории наиболее тесно связаны с реальной экономической действительностью, и отсталые хозяйственные условия России середины XIX века должны были сильнее сказаться на экономических работах Чернышевского, чем на его работах философских или литературно-критических. Правда, Чернышевский не упускал ни одного случая использовать богатый опыт Европы, практический и теоретический. Он следил за промышленным развитием Европы и обнаруживал подчас удивительное понимание тенденций ее экономического развития. Также внимательно следил он за экономическою литературою Европы. Но как раз в середине XIX века экономическая мысль в Европе переживала тяжелый кризис, вернее — находилась в тупике, из которого только Марксу удалось ее вывести благодаря счастливому сочетанию целого ряда условий. В Европе в это время господствовали идеи вульгарных экономистов, которые извратили экономическую теорию классиков и отказались от изучения внутренних закономерностей капиталистического хозяйства, ограничиваясь изучением его по-

верхностных явлений. В противовес этим вульгарным апологетам капитализма, которые ограничивались изучением поверхностных явлений хозяйства и отвергали закон трудовой стоимости, установленный Смитом и Рикардо, — социалисты-утописты взяли за исходный пункт всех своих рассуждений принцип трудовой стоимости. Социалисты-утописты превратили закон трудовой стоимости в этическую норму, в постулат, на основании которого они требовали передачи всей стоимости продукта труда рабочим. Если вульгарные экономисты исходили из поверхностных явлений капиталистического хозяйства и отвергали закон трудовой стоимости, то социалисты-утописты, наоборот, признавали закон трудовой стоимости и на этом основании отвергали закономерность явлений капиталистического хозяйства (денег, капитала и т. д.). В их руках принцип трудовой стоимости из теоретического закона, объясняющего реальные явления капитализма, превратился в практический постулат, на основе которого должно быть построено социалистическое хозяйство.

Социалисты-утописты не сумели из принципа трудовой стоимости объяснить явления капиталистического хозяйства, и эта слабость их экономической теории сказалась очень сильно на всех экономических воззрениях Чернышевского. Чернышевский, продолжая лучшие традиции классиков, придавал огромное значение закону трудовой стоимости. Но он не развил из него целый ряд следствий и выводов, которые дали бы возможность объяснить реальные явления капиталистического хозяйства. Следуя по пути социалистов-утопистов, он из закона трудовой стоимости прежде всего выводил требование переустройства общества на социалистических началах. «С человеческой точки зрения весь продукт обязан своим возникновением труду, стало быть — весь он должен составлять принадлежность того самого организма, трудом которого создан» (т. VII, стр. 150). В этой формулировке принципа трудовой стоимости Чернышевский следует за социалистами-утопистами.

Но если Чернышевский не сумел использовать закон трудовой стоимости для объяснения явлений капиталистического хозяйства, то он очень искусно использовал его как острое оружие для разоблачения ложности и противоречивости вульгарной политической экономии. Главная задача Чернышевского заключалась в борьбе против вульгарных экономистов, в борьбе против ограниченности их кругозора внешними, поверхностными явлениями капиталистического хозяйства. В этой борьбе Чернышевский обнаружил огромной силы ум и огромную проницательность.

В своей критике вульгарных экономистов Чернышевский часто прибегает к следующему остроумному приему: он показывает, что те внешние, видимые, поверхностные явления хозяйства, на которые ссылаются вульгарные экономисты, никоим образом не могут дать нам познания сущности хозяйства. Для доказательства этого Чернышевский обычно берет образы яркие и примеры всем доступные. Например, один из часто выдвигаемых им аргументов против вульгарных экономистов заключается в следующем. Возьмем для примера парижских рабочих, которые работают на знаменитой фабрике Эрара, где изготовляются рояли. Эта фабрика отсылает рояли помещикам в Казань, из Казани сало отправляется в Лондон, из Лондона стеариновые свечи едут в Шеффильд, где покупаются за них бритвы; бритвы эти едут в Нью-Йорк; из Нью-Йорка

идет за них хлопчатая бумага в Ливерпуль и т. д. Вы видите целый ряд денежных сделок, «механизм обменов», в которых каждая сделка как будто выгодна и разумна. Буржуазные экономисты, наблюдая эту бесконечную цепь обменов и денежных сделок, приходят в восхищение от того, как разумно, успешно и выгодно работает механизм капиталистического хозяйства. «Восторг, восторг!», повторяют они: «должно быть, все это очень умно и выгодно!». Но под этою видимостью умных и выгодных сделок скрывается глупая и вредная затрата труда на предметы роскоши. Мы не замечаем этого потому, что безграничная цепь обменов не вводит нас в сущность экономических явлений, а отдаляет нас от познания истинных законов хозяйства.

«Бродя по бесконечной цепи обменов, вы теряетесь в многосложной путанице их; но приведите вопрос к простейшему виду, к тому факту, что у эрарова работника плохое продовольствие, и вы сознаетесь, что этому работнику следовало бы заботиться о производстве хлеба, в котором нуждается, а не о производстве роялей, которые ему не нужны и которыми он не пользуется» (т. VII, стр. 443). Если вы «потрудитесь обратиться от этого механизма обменов к простой сущности дела», вы увидите, что парижский работник, который нуждается в хлебе, изготовляет рояли, вместо того, чтобы изготовлять средства существования, необходимые для него и для трудящихся народных масс. Если вы сорвете с капиталистического хозяйства денежные покровы, его окутывающие, вы найдете истинную сущность вопросов хозяйства. И Чернышевский в своей борьбе против вульгарных экономистов не устает повторять, что мы не должны ограничиться исследованием поверхностных явлений рыночного обмена, а должны проникнуть в сущность дела. Эта мысль Чернышевского настолько важна, что я позволю себе привести ряд его выражений. Он противопоставляет «внешнюю форму» дела его «существенным качествам», «внешнюю принадлежность» — «сущности дела», «поверхностные симптомы» — «сущности дела», «производные наружные явления» — «основным фактам», «временные формы экономического устройства» — «коренной сущности явлений» (т. VII, стр. 28, 29, 77—78, 156, 326, 328 и др.). Не обманывайтесь внешними формами явлений,— говорит Чернышевский экономистам,— отбросим их и постараемся найти за ними «коренной смысл дела», «коренную сущность дела», «коренные элементы» «коренные элементы производства» (там же, стр. 28, 29, 156, 328 и др.). За внешним, обманчивым покровом экономических явлений Чернышевский хочет найти их «коренную», истинную сущность.

Эта «коренная» сущность хозяйства заключается в правильном распределении труда: «Мы располагаем известным количеством рабочего времени и рабочих сил; в какой пропорции выгоднее всего для нас распределить эти силы, это время между разными производствами на удовлетворение разных своих надобностей?» (там же, стр. 328—329). В этих словах выражена центральная идея Чернышевского: тайна всей хозяйственной жизни заключается в правильном, пропорциональном распределении общественного труда между различными отраслями производства в целях удовлетворения насущных нужд народных масс.

К этой мысли о необходимости пропорционального распределения труда Чернышевский возвращается постоянно. Картина общины, планомерно распределяющей свой труд, составляет центральное ядро всей экономической теории

Чернышевского. Он неоднократно прибегает к примеру такой общины, которая располагает известным количеством рабочих сил или рабочего времени (там же, стр. 59, 329, 447 и др.). Он указывает, что рабочее время должно быть распределено прежде всего для удовлетворения насущных потребностей низших классов населения. Только после удовлетворения этих насущных потребностей производительные силы могут быть перераспределены для производства предметов, удовлетворяющих более тонкие потребности. Производите сперва предметы необходимости и только после этого предметы комфорта и роскоши,— эта формула постоянно повторяется в статьях Чернышевского и составляет скрытую основу всех его экономических рассуждений. Чернышевский порицает капитализм именно за то, что в нем господствует нерасчетливое расхищение производительных сил, которые тратятся на производство предметов роскоши для высших классов населения. В капиталистическом хозяйстве отсутствует «точный счет общественных сил и потребностей» (там же, стр. 336). Капитализм «не соблюдает первого условия экономических дел — не ведет счетов» (стр. 332).

Как видим, Чернышевский хотел дефетишизировать все формы капиталистического хозяйства. За этими обманчивыми формами он ищет сущность явлений и в этих поисках как будто стремится к тому же, к чему стремился и Маркс. Но разница между ними заключается в следующем. В то время как Маркс под сущностью экономических явлений понимал производственные отношения людей, присущие капиталистическому хозяйству, Чернышевский открывает коренные элементы, присущие всякому производству. Он открывает те элементы производства, которые присущи не только капитализму, но одинаково присущи всякой другой форме хозяйства. «Вы хотите разбирать, какие формы принимает труд для содействия производству: берите же ход производства и рассматривайте, какими способами соприкасается труд с производством продукта в разных фазах этого производства. Вы увидите, что для производства нужны: материал, инструмент и работник; вот вам труд на добывание материала, на выделку инструмента, на заготовление пищи работнику и на приготовление самого работника к делу... Таков метод исследования, приличный для науки: берите сущность дела и анализируйте ее» (там же, стр. 78).

Как видно из этой цитаты, Чернышевский в своих поисках «сущности дела» отбрасывает в сторону «временные формы экономического устройства» (стр. 156), т. е. социальные, исторически-преходящие формы капиталистического хозяйства; он берет коренные элементы материально-технического производства, которые присущи одинаково всем историческим эпохам. Эта точка зрения не могла дать Чернышевскому ключа для понимания капиталистического хозяйства; она уводила его в сторону от такого понимания.

Чем объясняется преобладающий интерес Чернышевского к «коренным элементам» всякого материально-технического производства и игнорирование им специфической формы, присущей именно капиталистическому производству? Это обстоятельство объясняется прежде всего общею методологическою точкою зрения Чернышевского, которая роднила его с социалистами-утопистами. Подобно последним, Чернышевский не столько хотел объяснить явления капиталистического хозяйства, сколько хотел показать, как следует организовать

хозяйство на социалистических началах для наилучшего удовлетворения насущных потребностей народных масс. Однако эта причина, отмеченная в работах Плеханова и Стеклова о Чернышевском, не единственная, которая толкала Чернышевского в сторону исследования коренных элементов, присущих всякому хозяйству, а не только капиталистическому. В эту сторону влекло его также желание сорвать покров, который скрывал сущность экономических явлений и давал вульгарным экономистам удобное средство для оправдания капитализма. Чернышевский хотел бить вульгарных экономистов их собственным же оружием. Вульгарные экономисты строили всю свою теорию на анализе потребностей, потребительной стоимости, закона спроса и предложения, принципа экономического расчета. Чернышевский берет у них эти же понятия и с величайшим диалектическим мастерством доказывает необходимость отрицания той формы, которую они принимают в капиталистическом хозяйстве. Вы исходите, говорит он экономистам, из человеческих потребностей; организуйте же хозяйство так, чтобы оно действительно служило удовлетворению этих потребностей. Вы исходите из потребительной стоимости продуктов; сорвите же с них ту форму меновой стоимости, которую они принимают при капитализме. «Отрицать меновую стоимость не мы хотим, а хочет тот самый принцип, который провозглашают основным началом политической экономии сами последователи рутинной школы» (т. VII, стр. 440). Привести вульгарную политическую экономию к ее собственному самоотрицанию,—такова задача, которую ставил себе Чернышевский.

На одном ярком примере мы покажем, как Чернышевский, сходясь с Марксом в стремлении дефетишизировать экономические явления, уходит в своих исследованиях в другую сторону, чем Маркс. Чернышевский очень метко указывает, что вульгарные экономисты смешивают капитал как вещь, как средство производства, с теми людьми, которые владеют капиталом. Он говорит, что «вместо понятия о материальных вещах, продуктах труда, подстановляется (экономистами.—*И. Р.*) понятие человека, владеющего этими продуктами» (т. VII, стр. 133). Это характерное для капитализма смешение вещей и общественных отношений людей бросалось в глаза Чернышевскому так же, как Марксу. Но в то время как Маркс отбросил распространенное у буржуазных экономистов смешение капитала со средствами производства и дал свое гениальное учение о капитале как выражении производственных отношений людей, Чернышевский избрал противоположный путь. Он разорвал связь между капиталом и определенною социальною формою хозяйства и определил капитал как «продукты, которые нужны для нового производства» (т. VII, стр. 141). В капитале Чернышевский видит лишь искаженную форму средств производства, в меновой стоимости—искаженную форму потребительной стоимости, в капиталистическом хозяйстве—искаженную форму общественного распределения труда. Отвлекаясь от «временных форм экономического устройства» (а тем самым от меновой стоимости, денег, капитала и т. п.), Чернышевский сосредоточивает все свое внимание на материально-технических или «коренных элементах дела» (т. е. потребительной стоимости, средствах производства и т. п.) именно для того, чтобы показать, что эти элементы могут быть с большею пользою для народных масс организованы на социалистических началах.

Обрисованная нами общая установка экономической теории Чернышевского не могла дать ему средства для того, чтобы вывести политическую экономию из того тупика, в котором она находилась. Открыть перед экономической наукой новые горизонты Чернышевский не сумел. Но все же мы должны сказать, что в целом ряде вопросов Чернышевскому удалось наметить правильную точку зрения. Даже в ошибках его, — как это часто бывает у глубоких мыслителей, — мы нередко открываем зерно истины. В указанных нами выше мыслях Чернышевского о распределении труда между различными отраслями производства мы должны отметить не только слабую, но и сильную сторону. Слабая сторона заключается в отвлечении от социально-исторических форм, в которых развивается хозяйство в период капитализма. Сильная сторона заключается в том, что все внимание Чернышевского направлено на пропорциональное распределение труда общества между различными сферами производства. А это обстоятельство действительно является основным для понимания всех явлений хозяйства и положено также Марксом в основу его теории стоимости. В пристальном внимании Чернышевского к проблеме пропорционального распределения общественного труда сказался не только страстный темперамент социалиста-реформатора, но и глубокий ум исследователя-экономиста.

Разрешите мне еще на нескольких примерах показать, как причудливо сплеталось у Чернышевского гениальное понимание экономических явлений с ложным и подчас наивным объяснением их. Возьмем вопрос о возникновении капитализма. Очень часто Чернышевский высказывал мысль о том, что капитализм возник в силу завоеваний и удерживается в силу невежества народных масс, — совершенно идеалистическое объяснение возникновения капиталистического хозяйства. Но на-ряду с этим вы найдете следующую глубокую мысль у Чернышевского в его примечаниях к Миллю:

«При грубых процессах производства, какими ограничивалась техника варварских обществ, рабский труд не представлял несообразности с орудиями, к которым прилагался: то и другое было одинаково дурно. Когда техника несколько развилась, когда явились довольно многосложные и деликатные орудия, грубый труд раба оказался непригодным: машина не терпит подле себя невольничества: она не выдерживает тяжелых рук его беспечности. Не выдерживают невольничества и все те мастерства, в которых введены сколько-нибудь усовершенствованные инструменты. Для них необходим вольный человек» (т. VII, стр. 212).

Как видим, переход от рабского труда к вольнонаемному был вызван, по мнению Чернышевского, переменами в характере орудий производства. Мимоходом отметим, что очень часто мы находим в сочинениях Чернышевского замечательное совпадение с мыслями Маркса. Маркс также говорит, что применение рабского труда невозможно при сложных машинах, поэтому в южных штатах Америки, где был распространен рабский труд, нарочно употребляли самые грубые, неуклюжие орудия труда, так как более усовершенствованные орудия труда были бы испорчены рабами (Маркс, «Капитал», т. I, гл. V, прим. 17). Вы видите в данном случае, как и во многих других, полное совпадение замечаний Маркса и Чернышевского, но было бы ошибочно делать отсюда вывод о влиянии одного из них на другого. Совпадение замечаний

Маркса и Чернышевского в данном случае объясняется просто тем, что оба они живо интересовались положением дел в Америке. Маркс цитирует несколько книг, описывающих положение рабов в Америке, и единством источников, которыми могли пользоваться Маркс и Чернышевский, объясняется в данном случае это совпадение их мыслей.

Если изменение характера орудий труда вызвало переход от труда рабского к вольнонаемному, то дальнейшее изменение орудий труда сделало, по мнению Чернышевского, необходимым переход от труда наемного к труду, организованному на социалистических началах. «Но когда производство совершенствуется до того, что требует ведения в широком размере, для него становится недостаточным одно то условие, чтобы работник был свободен» (там же, стр. 212). Развитие крупного производста делает необходимым переход от труда наемного к социалистическому.

Ниже мы увидим, какими наивными доводами Чернышевский обосновывает эти свои рассуждения, но, тем не менее, нельзя не отметить его глубокой мысли об изменении социальных форм труда в зависимости от изменений характера орудий труда. И Чернышевский заканчивает приведенные рассуждения следующим общим выводом: «Мы видим, что перемены в качествах труда вызываются переменами в характере производительных процессов. С одной стороны, это значит, что если изменился характер производительных процессов, то непременно изменится и характер труда, и что, следовательно, опасаться за будущую судьбу труда не следует: неизбежность ее улучшения заключается уже в самом развитии производительных процессов» (там же, стр. 213. Подчеркнуто нами. — *И. Р.*) Нельзя не преклоняться перед гениальностью ума Чернышевского, когда встречаешь в его сочинениях такие глубокие мысли, поразительно напоминающие основные идеи теории исторического материализма.

Уже цитированные слова Чернышевского показывают, какое огромное значение придавал он развитию крупного промышленного производства. Чернышевский удивительно ясно понимал, что закон концентрации производства является основным законом капиталистического хозяйства. И опять-таки нельзя не удивляться и не восхищаться, когда читаешь его рассуждения о том, что основная черта всего промышленного развития капитализма заключается в увеличении размеров производства, в устройстве крупных предприятий. В одном месте Чернышевский замечает, что характерная черта развития хлопчатобумажной промышленности в Англии состоит не в увеличении числа фабрик, а в увеличении их размеров. И с удивительной чуткостью Чернышевский понимал также и предсказывал, что концентрация производства не ограничится промышленностью, а непременно должна захватить и сельское хозяйство. «Скоро исчезнут причины различия между земледелием и фабричной промышленностью по отношению к выгодности производства в большом размере» (т. VII, стр. 209). «Нет рациональных причин считать сельское хозяйство исключением из общих законов промышленной деятельности. Перевес выгод, даваемых делу усовершенствованными процессами, требующими обширных размеров производства, так велик, что ни в какой отрасли экономического быта мелкое хозяйство не может выдерживать соперничества с большим, как скоро процесс технологии и механики открывает возможность усовершенствованных

процессов в этом деле и начинает прилагаться к делу капитал большими массами» (т. VII, стр. 361).

Чернышевский не только понимал, что концентрация производства есть основной закон капиталистического развития,— закон, от действия которого не свободно и сельское хозяйство. Он чувствовал также, как мы уже видели, что именно развитие крупного производства создает основу для перехода от капиталистического хозяйства к социалистическому. Но как доказывал он эту мысль? Если мы обратимся к его доказательствам, то увидим яркий пример того, как великий ум Чернышевского в поисках конкретного жизненного материала, могущего подтвердить его гениальные догадки и мысли, натыкается на ограниченные, отсталые условия окружающей его России и черпает из них аргументы, наивность которых бросается в глаза.

Как доказывает Чернышевский, что развитие крупного производства вызывает необходимость перехода от капитализма к социализму? В большом предприятии, говорит он, хозяин не может уследить за наемным работником. Он может следить за ним только в мелком предприятии, в крупном же предприятии работник, не имея постоянного строгого надзора за собою, ленится и тратит половину времени зря (т. VII, стр. 212—213). Поэтому в крупном предприятии работник должен быть уже не вольнонаемным, а должен быть сам заинтересован в результате своего труда, т. е. должен работать на правах члена социалистической общины. В другом месте Чернышевский развивает ту же мысль с другой стороны. «Предположим,— говорит он,— что хозяин возьмет управляющего, который будет надзирать за рабочими. Но разве мы не знаем, что всякий управляющий работает небрежно, недобросовестно и старается прибрать себе хозяйские деньги? Да, кроме того, сам хозяин, по мере того как увеличивается его предприятие и благосостояние, теряет интерес к делу. Он начинает с жиру беситься, «делать пустые глупые расходы, приобретает привычку к дурачествам, которые скоро переходят в мотовство. И если не разорится сам хозяин, наверняка разорятся его дети» (т. VII, стр. 404).

В приведенных рассуждениях о ленивом работнике, недобросовестном управляющем и расточительном хозяине,— персонажах, как будто взятых из купеческой драмы Островского,— ярко сказалась отсталость тех хозяйственных условий, в которых действовал гениальный мыслитель. Когда Чернышевскому приходилось брать конкретный жизненный пример для подкрепления отвлеченной мысли, он брал его нередко из отсталой хозяйственной действительности, которая была перед его глазами. Для подкрепления широких, иногда гениальных, концепций привлекались, так сказать, местные, узко ограниченные в своем действии факты, навеянные окружающей действительностью. И в этом была трагедия Чернышевского-экономиста. Этот обширный, мощный, постоянно действующий ум нуждался в огромном материале, жизненном и теоретическом, для переработки. Но жизненный материал он должен был черпать из отсталых хозяйственных условий России эпохи разоряющихся Собакевичей и богатеющих Колупаевых. Теоретический материал он вынужден был черпать,— если не говорить о классиках,— в сочинениях современных европейских экономистов вульгарной школы. Из этого неблагодарного, сухого жизненного и теоретического материала Чернышевскому при помощи усилий гениального ума уда-

валось высекать блестящие искры научного познания. Но ограниченность этого материала вместе с тем не могла не ограничивать и размаха научной деятельности Чернышевского. Она помешала ему выработать стройную систему экономической теории, а тем более открыть для политической экономии новые пути, — задача, которую благодаря стечению целого ряда счастливых условий сумел выполнить только Маркс.

Если в области чисто теоретических вопросов Чернышевский нередко делал ошибки, то его чутье великого публициста давало ему возможность безошибочно определять классовую природу различных экономических школ. Только у Маркса можно найти такие меткие и сжатые характеристики различных направлений буржуазной политической экономии. О классической школе Чернышевский писал:

«Писатели этой школы (Адама Смита. — *И. Р.*) были представители стремлений биржевого или коммерческого сословия в обширном смысле слова: банкиров, оптовых торговцев, фабрикантов и всех вообще промышленных людей. Нынешние формы экономического устройства выгодны для коммерческого сословия, выгоднее для него всяких иных форм; потому школа, бывшая представительницею его, и находила, что формы эти самые лучшие по теории» (т. VII, стр. 138). В другом месте о той же классической теории читаем: «Дух ее совершенно соответствует положению среднего сословия в обществе и роду его занятий. Среднее сословие составляют хозяева промышленных заведений и торговцы; потому важнейшими из экономических явлений школа Адама Смита признает расширение размера фабрик, заводов и вообще промышленных заведений, имеющих одного хозяина с толпою наемных работников, и развитие обмена» (т. VI, стр. 24).

Чернышевский, хотя и ясно видел буржуазную природу классической политической экономии, высоко ценил ее представителей: Адама Смита и Давида Рикардо. Он противопоставлял им вульгарных экономистов, апологетов капиталистического строя:

«Смит и Рикардо, когда писали свои произведения, вовсе не думали о коммунистических теориях, которые во время Смита не существовали, а во время Рикардо казались невинною шуткою, не обращавшею на себя ничьего серьезного внимания. Нынешний французский экономист, которому каждая блуза, встречаемая на улице, представляется символом коммунизма, грозящего разрушением французскому обществу, который был несколько раз в пух и прах побит Прудоном, осмеявшим его, выставившим его перед публикой за идиота и невежду, — французский экономист не может ни одной буквы написать, не думая о коммунизме» (т. VI, стр. 30). И потому вся деятельность вульгарных экономистов направлена не на открытие внутренних законов капиталистического хозяйства, а на поиски аргументов для оправдания его и защиты против нападок социалистов. Ту же апологетическую цель преследует и историческая школа, и классовую природу последней Чернышевский беспощадно разоблачает в своей замечательной рецензии на книгу Рошера: «Если разум говорит против тебя, хватайся за историю, она выручит» (т. VIII, стр. 139).

Анализ различных направлений политической экономии приводит Чернышевского к выводу, что на деле существуют две политические экономии, две

теории: «теория капиталистов» и «теория трудящихся» (т. VI, стр. 33). И Чернышевский страстно зовет политическую экономию стать «теорией трудящихся», выражением «простонародного элемента жизни и мысли» (т. VII, стр. 30). Он ставит перед экономической наукой высокую задачу, — занять определенное место в борьбе за освобождение рабочего класса и всего человечества, задачу содействия успеху этой борьбы. В этом страстном призыве разрешать основные задачи, стоящие перед рабочим классом, Чернышевский жив и сегодня и в каждом из нас должен найти своего последователя.

Ц. ФРИДЛЯНД

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ КАК ИСТОРИК

Товарищи!

Дать в кратком докладе характеристику Н. Г. Чернышевского как историка — задача сложная прежде всего потому, что мы имеем здесь дело не с отдельными специальными монографиями, а со всей массой публицистических и научных очерков великого мыслителя, в которых по крупицам рассыпаны замечания и отрывки, представляющие для нас огромный интерес с точки зрения марксистской историографии. Выполнить эту задачу можно лишь в специальном исследовании о Н. Г. Чернышевском как историке.

Приступая к докладу, необходимо, однако, сделать одно предварительное замечание. В Н. Г. Чернышевском более, чем в каком-либо другом писателе-революционере, синтетически объединены характерные черты публициста и подлинного ученого. В интересной статье: «Чичерин как публицист» он иронизирует над попыткой Чичерина изобразить публициста «как беспристрастного наблюдателя»[1]. Н. Г. Чернышевский считает безусловно необходимым отделить задачи профессора от задач публициста. «Публицист,— пишет он,— воображающий себя профессором, так же странен, как профессор, воображающий себя фельетонистом»[2]. Публицист следит за актуальными проблемами дня; он должен «чувствовать биение пульса повседневной борьбы». «Для публициста, — пишет Н. Г. в указанной выше статье, — кроме знания потребностей общества необходимо также понимание форм, по которым движется общественный прогресс»[3]. Таким образом, противопоставление профессора публицисту отнюдь не значит, что с точки зрения Н. Г. Чернышевского публицистика и наука находятся в различных плоскостях. Понятие публицистики органически связано у него с задачами научного исследования, во всяком случае — с задачами внимательного изучения исторического процесса. Историк, по словам Чернышевского,— отнюдь не беспристрастный летописец; о нем нельзя сказать, что он «спокойно зрит на правых и виновных, добру и злу внимая равнодушно, не ведая ни жалости, ни гнева». Историк — политик, в своем исследовании защищающий те или другие убеждения. «Не проводить свои убеждения могут только те из историков, которые не имеют их». «Если бы Чичерин,—пишет Чернышевский,—подумал о том, были ли равнодушны Фукидид,

---

[1] Собр. соч., т. IV; статья напечатана в № 5 «Современника» за 1859 г. [2] Ibid., тр. 467. [3] Ibid., стр. 468.

Тацит, Макиавелли, Де-Ту, Тьерри, Шлоссер, Гиббон или даже хотя бы такие историки, как Гизо, Тьер, Маколей, к тем самым событиям и людям, о которых писали, он увидел бы, что ни один сколько-нибудь сносный историк не писал иначе, как для того, чтобы проводить в своей истории свои политические и общественные убеждения»[1]. Таким образом, Чернышевский мыслил себе историка как борца, задача которого — выяснить пути развития будущего общества на основании анализа прошлого. В самом Н. Г. Чернышевском этот образ публициста-революционера и историка воплотился наилучшим образом.

Характерно, что Н. Г. Чернышевский придает большое значение чисто технической выучке историка. В небольшой заметке о книге Медовикова «Историческое значение царствования Алексея Михайловича»[2] он обращает внимание читателей на изучение первоисточников как основы подлинной исторической работы. Н. Г. Чернышевский перечисляет затем добродетели историка: «Автор, — пишет он о Медовикове, — не старается поколебать доверия к трудам своих предшественников для того, чтобы возвысить контрастом достоинства собственного труда. Другая, не менее приятная черта сочинения — отсутствие стремления придумывать новые воззрения и ставить эти воззрения краеугольным камнем здания, воздвигаемого автором»[3]. Н. Г. Чернышевский, как подлинный историк, обращал внимание и придавал большое значение всяким подсобным историческим дисциплинам, критике исторических документов, — отмечая особое значение в этой области Нибура, — лингвистике и т. д. Отсюда его большие симпатии к Шлоссеру, при характеристике которого он отмечает добросовестность его работ, его стремление, как подлинного ученого историка, в своем писании взвешивать каждое слово.

Н. Г. Чернышевского живо интересовали проблемы методологии истории. Мы в его писаниях найдем также не мало интересных замечаний к истории нашей науки. В статье о Грановском он указывает, как на начало подлинного исторического знания, на работы Вико. От Вико или, точнее, от Монтескье и Гердера он начинает историю истории, но особенное значение Чернышевский придает работам Гегеля и считает, что философия Гегеля породила подлинно-научный дух классических исторических изысканий новейшего времени. Гизо, Нибур, Шлоссер — вот, по Чернышевскому, отцы современной исторической науки. Здесь же он указывает на то характерное в процессе ее развития, что сделало историю наукой. Собственно, пока история ограничивалась изображением политических событий или даже историей умственного развития в тесном кругу интересов имущих классов, она не была наукой, утверждает он. «Она стала таковой, обратив внимание на историю нравов». Но эта область прошлого до сих пор еще привлекала к себе мало внимания. «О материальных условиях быта, — пишет Чернышевский, — играющих едва ли не первую роль в жизни, составляющих коренную причину почти всех занятий и в других высших сферах жизни, обычно едва упоминается, да и то самым слабым и неудовлетворительным образом, так что лучше было бы, если бы совсем не упоминалось».

---

[1] Ibid., стр. 479. [2] Собр. соч., т. I; статья напечатана в № 10 «Современника» за 1854 г. [3] Ibid., стр. 167.

С этой точки зрения он и критикует, и подвергает внимательному анализу «программу чтений» Гизо и Шлоссера.

Идеалом для Н. Г. Чернышевского является тесный союз истории с точными науками, ее превращение в точную науку. С особенными симпатиями отмечает он в статье о Грановском роль статистики в истории, подчеркивая здесь заслуги Кетлэ. Правда, в излишнем подчеркивании связи между историей и естественными науками, выдвигании так называемого «натурного момента» исторического познания, проявляется одновременно и слабая сторона его методологии истории; это свидетельствует скорее о методологической незрелости Чернышевского как историка. Н. Г. Чернышевский не всегда ясно видит то, что отличает естественные науки от исторических, и тем самым не всегда ясно учитывает роль и значение экономического фактора и классовой борьбы в историческом процессе.

Мы не имеем в виду дать здесь подробный разбор исторических этюдов Н. Г. Чернышевского. Мы хотели бы только сконцентрировать ваше внимание на некоторых методологических проблемах, которые интересовали Н. Г. Чернышевского как историка. Приступая к изданию истории Вебера в последний период своей жизни, Чернышевский попробовал выяснить, по крайней мере в главных чертах, свое понимание «основных принципов» исторического процесса [1]. Он начал с анализа и критики широко распространенной расовой теории и дал нам интересный разбор этой теории. Прежде всего, любопытно отметить то, что в анализе расовой проблемы Чернышевский устанавливает классовый характер самого происхождения этих теорий. Так, критикуя работы Агассиза, одного из виднейших защитников расовой теории в Северной Америке, он отмечает, что этот профессор всецело подчинился южным плантаторам и выполнял задачу, поставленную ими перед ним. «Когда они (рабовладельцы), — читаем мы у Н. Г. Чернышевского, — серьезно встревожились за судьбу своих плантаций и увидели надобность защиты от нападений аболиционистов, то нашлись у них на ораторскую, газетную и ученую борьбу громадные силы, как нашлись они после на военную. Как при начале вооруженного столкновения большинство специалистов по военному делу стало на сторону рабовладельцев, так и в ученой борьбе плантаторы располагали трудом людей более авторитетных, чем антропологи аболиционистов... Рабовладельцы были люди белой расы, невольники — негры. Потому защита рабства в ученых трактатах приняла форму теории о коренном различии между разными расами людей» [2].

Отвергая расовую теорию как особенно шаткую, он выдвигает деление людей прежде всего по социальному признаку. Большое значение Н. Г. Чернышевский придает роли языка в формировании народов. Лингвистические взгляды Н. Г. Чернышевского ждут еще изучения, но любопытно отметить, что и в данном случае, как и в вопросе расовой теории, Чернышевский предупреждает историков от односторонних увлечений. Языковое отличие не является, с его точки зрения, решающим фактором исторического процесса. Он пишет: «Когда довольно многолюдная часть людей известного языка пере-

[1] Собр. соч., т. X, часть 2. Предисловие к русскому переводу «Всеобщей истории» Вебера, т. VII. [2] Ibid, стр. 82.

селится в другую страну и составит особое государство, или, по крайней мере, общество, живущее своей особой жизнью, отдельной от народа, из которого вышло, то через несколько времени это новое государство, или общество, непременно приобретет какие-нибудь различия от народа, из которого вышло; или народ тот изменится, между тем как вышедшее из него особое общество сохранит старину»[1].

Естественно, что одновременно серьезное внимание Н. Г. Чернышевского привлекала проблема климата и его роли в историческом процессе. Он остроумно опровергает утверждение некоторых авторов, которые готовы считать, что отличия северо-американской и английской истории определяются особенностями климата двух стран. Климат Северной Америки, говорят эти исследователи, «сушит тело», но, — иронически замечает Чернышевский, — «не превращает переселенцев в краснокожих». Правда, шея северо-американских простолюдинов длиннее, чем у их соплеменников-землепашцев и чернорабочих в Европе, прежде всего в Англии. Эти особенности внешности двух народов объясняются, однако, отнюдь не климатическими различиями. «В Соединенных Штатах простолюдины приобретают такой рост, такое телосложение, какое в Западной Европе имеет большинство дворянства» [2]. Таким образом, даже отличие во внешности англичан и северо-американцев Н. Г. Чернышевский пытается свести к различиям социальным, отмечая, что материальные условия существования американских рабочих гораздо лучше, чем материальные условия рабочих в Англии. «Дело тут, — пишет он, — не в климате, а в особенностях экономического быта, в распространенности надежды подняться до высокого положения в обществе. Масса европейских простолюдинов лишена этой надежды. У американцев каждый энергический простолюдин имеет ее» [3].

Большой интерес представляет критика Н. Г. Чернышевским национальных предрассудков и роли «национального фактора» в историческом процессе. Он с большой иронией и с большим знанием дела анализирует, как сложились в истории нелепые предрассудки «о качествах» древних народов. Обратим внимание на его остроумный анализ традиционных представлений о «трусливом или храбром характере» древних греков[4]. «Не события греческой истории, — пишет он, — разъясняются нашими знаниями о качествах греков, а, наоборот, качества греков известны нам по фактам их жизни» [5]. Национальные особенности каждого народа являются прежде всего продуктом исторической среды. В каждый данный период народ обладает известной суммой национальных особенностей, которые не являются постоянной и вечной категорией, а меняются от эпохи к эпохе. Национальные особенности находятся в тесной связи, как пишет Чернышевский, с обычаями или профессиями членов данной национальности. Сангвинический или флегматический характер, скажем, земледельца зависит от состояния сельского хозяйства в той или другой стране. Вообще говоря, «природный темперамент», которым так любят оперировать историки, всегда, по словам Чернышевского, заслоняется влияниями общественной организации. «Каждый из народов Западной Европы, — пишет он, — имеет свой

[1] «О классификации людей по языку». Вебер, т. VIII. Собр. соч., т. X, часть 2, стр. 123.
[2] Ibid., стр. 128. [3] Ibid., стр. 130. [4] «О различиях между народами по национальному характеру». Вебер, т. IX. Собр. соч., т. X, стр. 132. [5] Ibid., стр. 133.

особый язык и особый национальный патриотизм... Но он имеет сословные и профессиональные отделы. Каждый из этих отделов во всех отношениях умственной и нравственной жизни, кроме языка и национального чувства, имеет свои особые черты быта: ими он походит на существующие сословные отделы других западных народов. Эти сословные или профессиональные особенности так важны, что каждый данный сословный или профессиональный отдел западно-европейского народа, помимо своего языка и патриотизма, менее похож умственно и нравственно на другие отделы своего народа, чем на соответствующие отделы других западно-европейских народов [1]. Так, земледельческий класс всей Западной Европы представляет собой как будто бы одно целое. То же самое можно сказать о ремесленниках, о сословии богатых простолюдинов и о знатном сословии. «В международных делах нация, пишет Чернышевский, имеющая государственное единство или стремящаяся приобрести его, действительно составляет одно целое, по крайней мере при обыкновенных обстоятельствах. Но по внутренним делам она, во всяком случае, состоит из сословных или профессиональных отделов, отношения между которыми приблизительно таковы же, как между разными народами. В истории всех западно-европейских народов бывали случаи, когда и при международной борьбе нация распадалась на части, враждебные одна другой, и слабейшая из них призывала иноземцев на помощь себе против внутренних врагов или радостно встречала иноземцев, без ее призыва пришедших покорить ее родину...» [2] Рассказывая о жизни народа, историк постоянно должен помнить, что народ — соединение разных сословий, «связи между которыми в прежние времена не имели такой прочности, чтобы выдерживать порывы взаимного ожесточения». Впрочем, теперь все историки, — утверждает Н. Г. Чернышевский, — понимают важность сословных ссор и если часто говорят о народе, как об одном целом, в рассказе о делах, по которым разные сословия не были единодушны, эта ошибка их происходит не от незнания, а только от временного забвения или, — как замечает он иронически, — от каких-нибудь других причин» [3].

Не забудем, что Н. Г. Чернышевскому приходилось почти всегда оперировать эзоповским языком и часто его высказывания являются аллегорией или просто намеками, но внимательное чтение даже приведенных выше цитат убеждает нас, что Чернышевский при анализе прошлого придавал огромное значение материальным условиям исторического процесса, социальной борьбе как движущей силе исторического развития.

«Стремление объяснять историю народа особенными неизменными умственными и нравственными качествами, — пишет он, — имеет своим последствием забвение о законах человеческой природы». Конечно, самое оперирование понятием «человеческая природа», как и беспрерывное подчеркивание роли и значения образования и науки, вообще «духовного начала» в историческом развитии, свидетельствует о дуализме исторического мировоззрения Н. Г. Чернышевского, дуализме, который он — сын своего времени — преодолеть

---

[1] Ibid., стр. 153. [2] Ibid. [3] Ibid. стр. 154.

не мог. Это дает себя знать и в его рассуждениях, скажем, о климате, где на-ряду с указанными выше блестящими замечаниями о социальной обусловленности влияния климата на исторический процесс мы находим (см. статью об «Астрономическом законе распределения солнечной теплоты») и рассуждения другого порядка[1]. В статье об «Астрономическом законе» климат и климатические условия становятся решающими и определяющими ход исторического развития. То же самое и в оценке роли и значения орудий труда и умственного прогресса в истории. И здесь дуализм исторических взглядов Чернышевского остается характерной особенностью его взглядов.

Обратим, наконец, внимание на своеобразный, ярко выраженный интернационализм, который характеризует Чернышевского как историка. Стоит только обратить внимание на его рассуждения о колониальной политике. Чернышевский решительно отбрасывает положение о прогрессивной миссии цивилизованных народов в колониях. «Некоторые из ученых, — пишет он, — стыдящиеся требовать насилия над жизнью своего народа, не считают постыдным говорить, что правительство цивилизованной нации имеет обязанность принимать насильственные меры для улучшения обычаев подвластных ему цивилизованных иноплеменников». Но завоевание слабого народа всегда нарушает справедливость. Оно никогда не может быть объяснено интересами самообороны, ибо интересы каждого народа требуют независимости и спокойствия в своем развитии. Естественно поэтому его отрицательное отношение к господству Англии в Индии. Имело бы смысл также обратить внимание на его рассуждение о китайской истории. Правда, есть все основания считать, что под Китаем он понимает Россию, но характерно, что в рассуждении об отсталости восточных народов Н. Г. Чернышевский подчеркивает также роль и значение социальной борьбы, однако не без уступок дуализму. «Китайская история, — пишет он, — не неподвижность, а ряд падений цивилизации под гнетом нашествий, завоеваний варваров. После каждого упадка китайцы оправлялись, успевали иногда подняться до прежнего уровня, иногда и выше его, но снова падали под ударами варваров»[2]. И дальше он обращает внимание на то, что одновременно с этим следует внимательно учесть и те внутренние процессы, которые определяли возможность этой победы варваров.

Этими краткими методологическими указаниями мы не исчерпали вопрос, но сказанного достаточно, чтобы видеть в Чернышевском, конечно, не марксиста, но предшественника марксизма как метода исторического исследования. Попробуем теперь обратиться к отдельным конкретным образцам исторических работ и высказываний Н. Г. Чернышевского. Здесь прежде всего следует отметить невероятно широкий объем его интересов. Н. Г. Чернышевского одинаково интересует русская история, как и история западно-европейских народов, история Америки, как и история Востока, древняя история, как и средние века, новое время, как и новейшее время. Когда мы говорим о Чернышевском как о «русском историке», нам следует прежде всего учесть огромное значение его чисто публицистических работ. Там, где Чернышевский пишет о русской

---

[1] «Очерк научных понятий по некоторым вопросам всеобщей истории». Собр. соч. т. X, часть 2, стр. 188.[2] «Очерк научных понятий». — «О расах».

общине, он пытается вскрыть ее исторические корни, ее происхождение и пути ее развития; там, где он говорит о реформе 1861 г., он вскрывает борьбу классов вокруг реформы; Н. Г. Чернышевский — историк даже там, где он выступает как революционер-публицист и революционер-практик (прокламация «К барским крестьянам»). Работы Н. Г. Чернышевского служат для нас не только ключом к пониманию его эпохи; они показывают нам, каким образом революционная публицистика может служить образцом исторического исследования. Мы оставляем, однако, в стороне эту часть его литературного наследства. Она скорее касается вопроса о Чернышевском как революционере.

Обратим внимание на некоторые его замечания чисто научно-исторического характера и прежде всего отметим здесь заметку о книге Петра Бартенева: «Собрание писем царя Алексея Михайловича» [1]. В этой краткой заметке Чернышевский отмечает значение показаний иностранцев, как одного из важнейших источников изучения нашего прошлого. Показания Флетчера, Олеария, Герберштейна служат для него, в связи с обсуждением книги Мейнерса «Vergleichung des ältern und neuern Russlands» (1798), поводом, чтобы подчеркнуть основную его мысль о параллелизме русского и западноевропейского исторического процесса. Подчеркивая роль и значение показаний европейцев как одного из первоисточников для изучения нашего прошлого, он остроумно замечает, что славянофилы, настаивая на отказе от европейской цивилизации, тем самым рассматривают как нечто положительное, долго определявшее развитие Руси—татарское влияние. Не меньший интерес представляет краткая рецензия Н. Г. Чернышевского на книгу Соловьева «История России с древних времен» [2]. В этой статье он высказывается против преувеличений в вопросе о роли колонизации в нашей истории. Мы видим, таким образом, что если в отдельных случаях, скажем — в оценке «сказаний иностранцев о московском государстве», с полной очевидностью сказывается влияние Чернышевского на Ключевского, то в других случаях, — в вопросе о роли колонизации как одного из основных факторов русского исторического процесса, Н. Г. Чернышевский значительно превосходит В. Ключевского. В той же заметке на книгу Соловьева Н. Г. Чернышевский подчеркивает роль и значение процесса феодализации в русской истории для того, чтобы лишний раз иллюстрировать свою основную мысль о параллелизме русского и западно-европейского развития. Мы ограничимся этими краткими замечаниями, чтобы показать, как плодотворна была мысль историка Н. Г. Чернышевского, гениального предшественника марксизма в России.

Обратимся к двум-трем примерам из его экскурсов в область западно европейской истории. Статья Н. Г. о «Падении Римской империи» ни в коем случае не является чисто историческим произведением, так же, как и многие другие аналогичные работы Н. Г. Чернышевского. Мы имеем здесь дело с публицистической статьей, направленной против славянофилов и против тех передовых мыслителей его времени, как Герцен, которые в отдельных случаях готовы были, под влиянием неудач европейского революционного движения, пойти в Каноссу

[1] Собр. соч., т. III. «Современник», № 3 за 1857 г. [2] Собр. соч., т. I. «Современник» за 1854 г., № 11.

к славянофилам. Н. Г. Чернышевский решительно высказывается в этой своей статье против теории об «истощении» древнего мира, теории постепенной деградации Рима, но заменяет ее не менее неудачной теорией катастрофы, гибели древнего мира, на развалинах которого возникла европейская цивилизация. Он усиленно подчеркивает решающую роль и значение армии и войны в истории Рима. Но этот свой взгляд на римскую историю Н. Г. Чернышевский пересмотрел в более поздний период жизни, и в заметках к переводу истории Вебера мы находим другое объяснение катастрофы античного мира. Он формулирует теперь свою мысль таким образом: «Сделав огромные завоевания, римляне стали ослабевать и были, наконец, покорены варварами. Из этого выводится, что они выродились. Но у тех же самых историков рассказываются факты, достаточно объясняющие разрушение Римской империи и без этого фантастического предположения» [1]. «С той поры как историки, — пишет он дальше, — считают надобным изучать политическую экономию и толковать о разделении труда, они в книгах о последних временах Римской республики и о Римской империи сами разъясняют нам, какими экономическими силами была произведена замена войска, состоящего из граждан-домохозяев, войском солдат по ремеслу, и потом — замена итальянцев на военной службе уроженцами областей менее цивилизованных народов и иноземными варварами. Потому давно пора было бы бросить фантазию о вырождении римлян, следовало бы говорить лишь о том, что масса итальянского населения перестала образовывать главную массу войска, непрерывно ведущего войны на отдаленных границах и живущего там в укрепленных лагерях» [2]. Н. Г. Чернышевский теперь ищет объяснения падения Рима в каких-то вновь установившихся отношениях труда, в перевороте в области аграрных отношений древнего мира.

Мы не будем здесь анализировать заметок Н. Г. Чернышевского по истории средневековья; мы обратимся к последнему разделу его исторических работ, который является, в конце концов, основным в его литературном историческом наследстве. Я имею в виду огромное количество заметок и высказываний Н. Г. Чернышевского по вопросам истории новейшего времени. В краткой рецензии на книжку Лоренца «Новейшая история» он отмечает огромное политическое значение изучения этого раздела западно-европейской истории. В этой области его нередко интересуют и частные проблемы исторического развития. Обратим внимание, скажем, на его отзыв о книге Токвиля: «Старый порядок и революция», где Чернышевский сумел подметить самое характерное в этой книге, а именно — борьбу двух начал в старом порядке: феодального и капиталистического начала [3]. В одном из замечательных политических обзоров за январь 1859 года Чернышевский пробует дать нам свою «философию истории» новейшего времени. Он обращает внимание на то, что с 1848 г. в Европе господствует реакция. Многие приходят в отчаяние, но Н. Г. Чернышевский — оптимист, он спрашивает: «Но что же тут удивительного, что редкого? В каком же веке не бывало в двадцать раз больше мрачных лет, нежели светлых?.. История

[1] «О различиях между народами по национальному характеру», т. X, ч. 2, стр. 139.
[2] Ibid., стр. 143. [3] Собр. соч., т. III. «Современник», № 7 за 1857 г.—«L'ancien régime» Токвиля и «De l'avenir politique de l'Angleterre» Монталамбера.

любит прикрашивать прошедшее, как старые кокетки любят говорить, что некогда наслаждались непрерывным рядом сладких побед, но люди, бывшие свидетелями их прошедшего, слушают эту болтовню с улыбкой, думая про себя: однако же самохвальство очень легкое дело; мы помним, что никогда вы не были так хороши, как воображаете»[1]. И он отмечает, как характерную особенность исторического процесса, именно его болезненный, конвульсивный характер. Н. Г. Чернышевский подчеркивает диалектический путь развития исторического прошлого, беспрерывную смену революции и реакции как характерную особенность истории буржуазного общества. «Прогресс совершается чрезвычайно медленно, — пишет он, — в том нет спора, но все-таки девять десятых того, в чем состоит прогресс, совершается во время кратких периодов усиленной работы. История движется медленно, но все-таки почти все свое движение проводит скачок за скачком...»[2] «Таков,— продолжает он, — общий вид истории: ускоренное движение и вследствие этого его застой, а во время застоя возрождение неудобств, к отвращению которых была направлена деятельность, но с тем вместе и укрепление сил для нового движения, и за новым движением новый застой и потом опять движение, и такая очередь до бесконечности. Кто в состоянии держаться на этой точке зрения, тот не обольщается излишними надеждами в светлые эпохи одушевленной исторической работы. Он знает, что минуты творчества непродолжительны и влекут за собою временный упадок сил, но зато не унывает он и в тяжелые периоды реакции. Он знает, что из реакции по необходимости возникает движение вперед, что сама реакция приготовляет и потребность, и средства движения. Он не мечтает о вечном продолжении дня, когда поля облиты радостным, теплым светом солнца, но когда охватит их мрачная, сырая, холодная ночь, он с твердой уверенностью ждет нового рассвета и, спокойно всматриваясь в положение созвездий, считает, сколько именно часов осталось до появления зари»[3]. Так рассуждает революционер и историк-диалектик Н. Г. Чернышевский. В этой же статье он пытается установить циклы революционного развития в истории и утверждает, что для повторения революции нужно примерно около 15 лет, в течение которых «по простому арифметическому закону физической смены поколений» состав общества обновляется[4]. Он выводит это положение о 15-летнем цикле исторического развития из анализа истории с конца XVIII века по 1848 год.

Н. Г. Чернышевский, как историк революционного движения первой половины XIX века, уделяет очень много внимания прошлому Франции. Лионское восстание, революция 48 г. — вот темы его исторических работ. К этому следует прибавить его заметки и высказывания о чартистском движении, о гражданской войне в Америке, о национально-освободительном движении в Италии, о революционном движении в Венгрии, Испании и т. д., и т. п. Статьи и журнальные обозрения Н. Г. Чернышевского представляют собою не только заметки публициста, но также и интереснейший исторический материал, значение которого для изучения истории 50—60-х годов XIX века до сих пор еще в недостаточной степени оценено. Интерес к Февральской революции возник у Н. Г. Чер-

---

[1] Собр. соч., т. V, стр. 484. «Январь 1859 г.». [2] Ibid., стр. 491. [3] Ibid., стр. 491—492. [4] Ibid., стр. 493.

нышевского рано, в дни его юности. В своем дневнике он отмечает: «Надобно сызнова писать всю среднюю и новую историю, чего еще не сделано, не начато» [1]. Двадцатилетний юноша мечтает выполнить эту задачу. Он иронически замечает, что, собственно, между всеми государствами Западной Европы имеется одно общее — это их политика по отношению к обездоленным. «Имея независимое правительство,— пишет Чернышевский,— каждое государство имеет и свои особенные законы: в Англии — вешают, во Франции — рубят головы — разница; в Англии солдат набирают вербовкой и секут (ныне уж очень мало), во Франции набирают солдат конскрипцией, но вовсе не секут» [2]. Внимательное чтение газет в продолжение безумного года рождают у Н. Г. Чернышевского мысли «об уничтожении пролетарства и вообще всякой материальной нужды». Февральская революция рано сделала его революционером-демократом той эпохи, когда, по словам Ленина, между демократом и социалистом, по крайней мере, в России, не было еще разницы. Чернышевский мечтает в это время о завоевании государственной власти работниками, поденщиками и земледельцами для уничтожения «нужды и нищеты». Двадцатилетний юноша объявляет себя сторонником партии «ультра» — Луи Блана, Ледрю-Роллена, Ламартина, — он считает себя «террористом и последователем красной республики». Под влиянием революционных событий в нем начинает оформляться та мысль, что «чистый республиканизм», говорящий о свободе только в законах, а не вводящий ее в жизнь, не уничтожающий социального права, «при котором, — как пишет Чернышевский, — девять десятых народа—рабы и пролетарии» — смешон и вреден. Так постепенно формируются революционно-демократические идеи Чернышевского, так постепенно формирует он свой идеал «пожертвовать своей жизнью во имя свободы, равенства, братства, довольства и уничтожения нищеты и порока» [3].

Чернышевский выступает перед нами как историк европейских революций первой половины XIX века. В статьях: «Борьба партий во Франции при Людовике XVIII и Карле X», «Июльская монархия», в историческом очерке «Кавеньяк» наконец, в многочисленных заметках о Наполеоне III его интересует одна и та же тема — о путях развития европейской революции. Н. Г. Чернышевский опирается в своих работах на труды Луи Блана, но спустя 10—15 лет после поражения Февральской революции он расценивает его взгляды критически и нередко пытается вскрыть слабые стороны исторических писаний отца современного реформизма. Анализируя лионское восстание 1831 года и подчеркивая значение кризиса шелкоткацкой промышленности Лиона как предпосылки выступления пролетариата, он замечает: «Странное впечатление произведено было на Францию лионским восстанием. Непонятно казалось оно и потому сначала наполнило умы тревогой. Лионские работники поднялись не за Генриха V, не за Наполеона II, не для провозглашения республики. Зачем же они восстали? Чего хотят? Чего-то, чуждого понятиям всех порядочных людей, даже самых увлеченных крайними республиканскими понятиями — «жить работая или умереть в бою!» Это — девиз, чуждый всем партиям. Что

---

[1] «Литературное наследство», т. I. «Из автобиографии», стр. 81. [2] Ibid. стр. 102. [3] Ibid. «Дневник второй половины 1848 г.»

же будет такое? Могут ли все партии считать для себя безопасным этот класс, или все они должны соединиться против него?» «Забота эта была, — пишет Чернышевский, — новая, непривычная для тогдашнего поколения, уже забывшего о Бабефе» [1].

Н. Г. Чернышевского начинает все больше и больше интересовать история пролетариата, этого нового класса, освободителя человечества. В одной из статей, в которой он попутно анализирует учение Сен-Симона, наш историк выясняет основную проблему новейшей эпохи — борьбу фабриканта с работником за размер платы, борьбу бедняка против машины. Н. Г. Чернышевский особенно внимательно следит за тем, как «работники начинают сами заботиться о своем благосостоянии», как они сами формируют свое освободительное движение. Этот процесс формирования пролетариата и пролетарского движения занимает его и при обсуждении, скажем, такого частного вопроса, как вмешательство государства в дело охраны труда или при освещении жилищного вопроса. Под углом зрения интересов рабочего класса он и пытается осветить революцию 1848 года. Этим интересны его статьи о Кавеньяке, об июльской монархии. Статьи Н. Г. Чернышевского обнаруживают поразительное совпадение по целому ряду вопросов с блестящими страницами Маркса из «18 Брюмера». История революции 1848 года представлена нам как история классовой борьбы. В центре Н. Г. Чернышевским поставлены июньские дни. Их наступление показано как неизбежный результат двусмысленной политики Временного правительства, как неизбежный результат глубочайших противоречий в рядах социального блока, создавшего Временное правительство в первый период революции. Н. Г. Чернышевский показывает нам, подобно Марксу, как из торжества «чистых республиканцев» над рабочими неизбежно выросло торжество реакции над этими «чистыми республиканцами». Он показывает нам, как буржуазии удалось выпутаться из затруднений первых дней революции всякими обещаниями, как она рассчитывала выиграть время проволочками, надеясь, что настойчивость работников остынет мало-по-малу, что дела как-нибудь уладятся счастливыми случайностями и что Временное правительство впоследствии приобретет силу воспротивиться работникам. Временное правительство дождалось этого момента, и Чернышевский, подобно Марксу и в отличие от Луи Блана, подчеркивает то своеобразное «двоевластие», которое создалось в революции и которое благодаря слабости пролетариата привело к торжеству буржуазной реакции над рабочим классом. Он выясняет также гибельную роль соглашательской политики Луи Блана и его сторонников, показывает нам вред, который принесла их мысль о том, что насилие ни в коем случае не может вести ни к чему хорошему, что «все в мире лучше, нежели быть виновником смуты» [2].

Но что особенно важно здесь отметить, это его анализ причин и исторического значения июньского восстания. «Робость, овладевшая средним и высшим классами после февральских событий мало-по-малу рассеивалась, — пишет Н. Г. Чернышевский, — когда они увидели, что низший класс в массе ожидает

---

[1] Собр. соч., т. VI, стр. 97—98. «Современник» за 1860 г. [2] См. «Кавеньяк» — Собр. соч., т. IV.

улучшения своей участи от закона, не прибегает к насилию, что предводители этого класса — крайние республиканцы и социалисты — не захватывают силою диктатуру в свои руки, а ожидают достичь торжества путем порядка и законности» [1]. Изображение дальнейшего хода событий революции, всех перипетий внутренней борьбы в рядах буржуазии, где особенно требовалась от историка острота классового анализа, удались Чернышевскому блестяще. Он вскрывает причины победы Луи Бонапарта над буржуазными республиканцами в результате общего страха всей собственнической массы перед новым восстанием пролетариата. И в этом случае он, независимо от Маркса, приходит к тем же выводам.

Следовало бы, для полноты нашего краткого очерка исторических взглядов Н. Г. Чернышевского, остановиться на анализе его политических обозрений и заметок, посвященных, как мы отмечали выше, революционному и национально-освободительному движению в Англии, Италии, Венгрии, Испании и Америке, но сделать это в одном докладе нет никакой возможности. Отметим только, что Чернышевского очень интересовало чартистское движение, и здесь проявилась незрелость исторических взглядов Чернышевского. Выдвигая рабочих и их руководителей-чартистов как авангард той исторической борьбы за избирательную реформу, которая развернулась в Англии к половине XIX века, подчеркивая значение шести пунктов Хартии, Чернышевский особенно настаивает на тайной баллотировке в интересах, как он пишет, «бедной части средних домохозяев и простолюдинов», так как в Англии, по его словам, нужны особенные гарантии для независимости масс: «в Англии, в отличие от Франции, Бельгии и Германии, основная масса трудящихся не владеет землей и не принадлежит к ремесленникам, а превращается в наемных и фабричных работников, следовательно, — в наиболее неустойчивый элемент» [2]. Мы видим, таким образом, что, хотя Чернышевский понимал историческую роль рабочего класса, пролетариат мыслился ему отнюдь не как Марксу, в виде растущего и крепнущего фабрично-заводского пролетариата, а как ремесленный пролетариат эпохи промышленного переворота в Европе. Но интерес Чернышевского к классу работников, его внимание к каждому шагу подлинно-революционного движения, несмотря на все противоречия его исторического мировоззрения, делают нашего историка предтечей современной рабочей партии и ее теории.

В статьях об итальянской революции Чернышевский умел провести резкую грань и вскрыть социальную сущность программ реакционеров, умеренных и революционеров. В статье «Кавур» он сделал удачную попытку социального анализа национального освободительного движения в Италии [3].

Но особенно блестящи его статьи о г р а ж д а н с к о й в о й н е в А м е р и к е. Стоит сравнить эти статьи со статьями Маркса, чтобы понять величие «русского самородка». Для Н. Г. Чернышевского вражда Юга с Севером есть «сословная вражда, ненависть патриция к темным плебеям, вражда высшего сословия к республиканскому устройству». Южным джентльменам хочется быть придворными. Иначе говоря для него — э т о в о й н а к л а с с о в. Он пре-

---

[1] Ibid., стр. 15. [2] «Январь 1859 г.», стр. 518. [3] Собр. соч., том VIII, стр. 207.
[4] Собр. соч., том VIII, стр. 452, «Май 1861 г.».

красно понимает, почему английская буржуазия стала на сторону южноамериканских плантаторов. «Победа севера,—по его мнению,—помешала бы работам на хлопчатобумажных плантациях, так как Европа терпела бы недостаток в хлопке; ей грозило бы, таким образом, серьезное экономическое бедствие». Вот почему английская буржуазия желала подчинения Севера Южным штатам, сохранения невольничества на Юге. Н. Г. Чернышевский пытается показать, как общее руководство войной попало на Севере в руки тех, кто был победителем во внутренней классовой борьбе: «Диктатура и террор,—замечает он,—здесь, как везде и повсюду в гражданской войне, должны повести к победе». Анализируя причины гражданской войны в Америке, Н. Г. Чернышевский считает необходимым подчеркнуть историческую неизбежность победы Севера над Югом, и в этом случае, как во многих других, его, как историка-революционера, характеризует революционный оптимизм, уверенность в победе и торжестве европейской революции. Н. Г. Чернышевский не дал монографии по тому или другому частному историческому вопросу, но все его высказывания и заметки по целому ряду исторических проблем свидетельствуют о том, что в его лице мы имеем гениального предшественника марксизма и революционной пролетарской партии.

Д. РЯЗАНОВ

МАРКС и ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

Товарищи!

Мне не удалось найти ни писем Маркса к Чернышевскому, ни писем Чернышевского к Марксу. Мне не удалось найти никаких рукописей Чернышевского, в которых он говорил бы о Марксе. Тов. Алексеев, несмотря на положительное обещание выкопать что-нибудь в этом роде, тоже оставил нас без всяких новых данных.

Один из товарищей спрашивает меня в записке: «Маркс несомненно читал Чернышевского. Как же это Чернышевский не читал Маркса?»

Маркс чрезвычайно высоко ценил Чернышевского, которого он в предисловии ко второму изданию «Капитала» называет «великим русским ученым и критиком, мастерски осветившим банкротство «буржуазной» экономии». Маркс хотел «напечатать что-нибудь о жизни и деятельности Чернышевского, чтобы вызвать сочувствие к нему в Западной Европе». Он перевел на немецкий язык «Письма без адреса» Чернышевского. Маркс внимательнейшим образом читал не только «Примечания к Миллю», но и другие сочинения Чернышевского. Это видно из его многочисленных пометок.

Другое дело — Чернышевский. Мы не имеем никаких достоверных свидетельств. Существуют только легенды. В сочинениях и письмах Чернышевского мы не находим ни одной ссылки, которая бы позволила нам утверждать, что он читал какие-либо произведения Маркса и даже Энгельса. Правда, Чернышевский очень редко цитирует авторов, которых он,— как, например, Фейербаха,— больше всего ценил и изучал. И, наоборот, он часто упоминает таких авторов, имена которых могли действовать успокоительно на цензоров и уже во всяком случае не настораживали их внимание.

В 1848—1849 гг. Чернышевский был, правда, еще совсем зеленым юношей, но из него уже вырабатывался революционер. Из дневника его видно, как внимательно следил он за тогдашними революционными событиями, и все же мы не встречаем никаких следов знакомства с «Neue Rheinische Zeitung», органом Маркса и Энгельса. Главным источником для Чернышевского служили французские газеты, пропускавшиеся николаевской цензурой.

В библиотеке петрашевцев имелась «Нищета философии» Маркса, но в дневнике Чернышевского нет никаких указаний, которые свидетельствовали бы, что кто-нибудь указал ему на эту книгу. «Коммунистический манифест» вряд ли кому-нибудь был известен в то время в России, да и в Германию он попал

только летом 1848 г. в весьма незначительном числе экземпляров. Из русских знали Маркса только эмигранты, как Бакунин и Сазонов, или «туристы» вроде Анненкова. После 1849—1850 гг. имя Маркса надолго исчезает со страниц немецкой и европейской печати.

Вообще в тот период, когда складывалось миросозерцание Чернышевского, т. е. в 1849—1853 гг., нельзя говорить о влиянии марксизма не только на Россию, но и на Западную Европу. Сомнительно, чтобы хотя один экземпляр не только газеты «Neue Rheinische Zeitung», но и политико-экономического обозрения, выходившего под тем же названием, попали в тогдашнюю Россию. О «18-м Брюмера», напечатанном в Соединенных Штатах, и говорить нечего.

Положение несколько изменилось к 1859 г. После долгого перерыва Маркс выступил с «Критикой политической экономии», в предисловии к которой он впервые формулировал основные принципы материалистического понимания истории. А в 1860 г. он выпустил свой блестящий памфлет против Фогта.

Чернышевский к этому времени был вполне самостоятельным мыслителем. Достаточно напомнить, что в 1858 и 1859 гг. появились уже такие работы его, как «Кавеньяк», «Борьба партий во Франции», «Тюрго» или «Экономическая деятельность и законодательство» и «Капитал и труд», и что даже напечатанные в 1860 г. «Антропологический принцип в философии» и «Примечания к Миллю» относятся к тому же кульминационному периоду в духовной жизни Чернышевского, когда он вряд ли мог познакомиться с названной работой Маркса и уже наверное не успел ее «переварить».

Наоборот. Можно с уверенностью сказать, что в статьях Чернышевского за этот период (1857—1862 гг.) мы не находим никаких следов знакомства его с «Критикой политической экономии» или другими произведениями Маркса. Несомненно только одно: Чернышевский не мог не знать имени Энгельса как автора книги о «Положении рабочего класса в Англии». Книга Бруно Гильдебранда, в которой было отведено не мало места полемике с Энгельсом, была ему известна, а напечатанные в 1861 г. в «Современнике» статьи Шелгунова о «Рабочем пролетариате в Англии и Франции», в которых использована была работа «одного из лучших и благороднейших немцев», прошли через его редакцию. Но Энгельс в 1845 г. не был «марксистом». Да и сам Шелгунов не имел никакого представления об отношениях Энгельса к Марксу.

Как мало были известны основоположники научного социализма в то время, лучше всего показывает тот же «Современник». Автор статьи о Лассале, напечатанной в этом журнале в 1863 г., через полтора года после Чернышевского, упоминает в своем очерке историю социализма в Германии, «Rheinische Zeitung» и Вейтлинга, но ни разу не называет ни имени Маркса, ни имени Энгельса как предшественников Лассаля. Только через два года, когда Чернышевский уже ушел на каторгу, тот же автор (Ватсон) в новой статье ссылается на «живущего в Англии немецкого политико-эконома Карла Маркса», но не указывает, что приводимая им цитата взята из плохо понятого им «Учредительного адреса» Международного товарищества рабочих. Вообще только после основания I Интернационала, и в особенности после Брюссельского конгресса, имя Маркса — как руководителя международного движения рабочих и автора «Капитала» — стало известным в Европе.

Как бы то ни было, мы не рискуем ошибиться, если скажем, что Чернышевский до 1864 г. не имел случая познакомиться ни с сочинениями, ни с политической деятельностью Маркса. Возьмем «Примечания к Миллю».— Несмотря на всю их оригинальность и самостоятельность, они стоят ниже, поскольку речь идет об их месте в истории развития экономической мысли, не только «Критики политической экономии», но и «Нищеты философии». А последняя является первым крупным произведением («Немецкая идеология» осталась в рукописи), в котором Маркс впервые выступает в качестве «марксиста». Если бы Чернышевский действительно читал «Нищету философии» и усвоил себе ее основные мысли, он был бы тоже «марксистом». Но «Примечания к Миллю» скорее надо сравнить с первыми работами Маркса по политической экономии в 1844—1845 гг. и с «Очерками критики политической экономии» Энгельса. Чернышевский, точно так же как Маркс и Энгельс в этих работах «до-марксистского периода», опирается, с одной стороны, на критику великих утопистов — в особенности Фурье,— а с другой — на философию Гегеля и Фейербаха. Этим объясняется, что Чернышевский вполне самостоятельно пришел в своей критике Милля — на это обратил уже внимание в своем докладе т. Рубин — к некоторым выводам и формулировкам, которые заставляют нас вспомнить аналогичные выводы и формулировки Маркса.

Поэтому вопрос о том, читал ли Чернышевский «Капитал» и в какой степени усвоил себе его значение, имеет с нашей точки зрения второстепенное значение. Для нас важно определить, имело ли место непосредственное влияние Маркса на Чернышевского в тот период, когда складывалось миросозерцание «великого русского ученого и критика». Как оригинальный мыслитель, Чернышевский закончил свою жизнь в день гражданской смерти —19 (31) мая 1864 г. И если мы не можем сказать, что Маркс повлиял хотя бы в малейшей степени на развитие взглядов Чернышевского, то остается только решить другой вопрос, сильно занимающий наших товарищей: можно ли сравнивать Чернышевского с Марксом или в какой степени Чернышевский до 1862 г. был «марксистом»? Так поставлен был этот вопрос Плехановым в его первых статьях о Чернышевском.

Так вот для решения этого вопроса все статьи и работы, написанные Чернышевским после 1864 г., не имеют решающего значения. Тов. Фридлянд только что цитировал вступительные статьи, которые были написаны Чернышевским для предпринятого им перевода «Всеобщй истории» Вебера. Все они не дают ничего нового по сравнению со статьями периода 1857—1862 гг. То же самое приходится сказать о философских статьях, написанных после возвращения из ссылки. Они остаются на уровне «Антропологического принципа в философии», когда Чернышевский считал философию Фейербаха «самым последним звеном в ряду философских систем», «действительно последней, вышедшей из гегелевской философии», когда он знал и Бруно Бауэра, и Штирнера, когда он прекрасно понимал отличие материализма Бюхнера, Молешотта и Фогта от материализма Фейербаха, но не имел никакого представления ни о Марксе, ни о том, что именно Маркс является «самым последним звеном» в развитии философии Гегеля и Фейербаха. Иначе,— я, к сожалению, опоздал на доклад т. Деборина,— Чернышевский не остался бы до конца дней своих

фейербахианцем. Будучи вполне последовательным материалистом, прошедшим школу Гегеля,— я не скажу механическим, ибо Чернышевский был далек от пошлостей вульгарного материализма,— он все-таки не был диалектическим материалистом.

Но не только в философских и экономических статьях Чернышевского вы встречаете зачастую мысли и тезисы, от которых «отдает» марксизмом. Не менее часто встречаем мы такие мысли в тех статьях, в которых Чернышевский выступает в качестве историка, повествующего о прошлом или о «текущем моменте».

Тов. Фридлянд приводил в своей речи эпизод с известной статьей Чернышевского «О причинах падения Рима». Эту статью толковали на разные лады. А между тем эта статья в сущности является не чем иным, как подробным развитием одного резкого замечания в первом издании «Капитала», замечания, в котором Маркс обвиняет Герцена, что он хочет омолодить Европу при помощи кнута и переливания калмыцкой крови. В своей блестящей статье Чернышевский не менее резко критикует «вздорные мечтания» Герцена, что «Западная Европа отжила свой век», что она «может возобновиться падением западных народов и заменою их новыми, свежими племенами».

Кто внимательно прочитал эту статью, тот поймет, что Чернышевский стоял неизмеримо выше не только Герцена, но и Бакунина, и вообще всех наших, в большей или меньшей степени славянофильствовавших, народников. Такую статью мог написать только русский марксист, совершенно освободившийся от всяких следов «великорусской или славянской гордости». И вполне понятно, почему Маркс видел в Чернышевском своего союзника, почему он, не выносивший Герцена и весьма мало выносивший Бакунина (поскольку последний является исправленным, а иногда и неисправленным изданием Герцена), так высоко ценил Чернышевского. При тех условиях, в которых жил «великий русский ученый и критик», только марксист мог быть таким последовательным интернационалистом.

Возьмите Западную Европу конца 50-х годов. Попробуйте найти в публицистике любой страны того времени кого-нибудь, кто мог бы сравниться с Чернышевским по остроте и силе анализа «текущего момента», кто соединял бы в себе такое огромное богатство философских, экономических и исторических познаний, кто обладал бы такой самостоятельностью и оригинальностью творческой мысли, какая отличает статьи Чернышевского по истории и политике.

Конечно, в Лондоне жил тогда Маркс, в Манчестере — Энгельс, но со времени «Новой рейнской газеты» прошло уже несколько лет, а попытка основать новую газету в Лондоне окончилась неудачей. Правда, Маркс тогда еще — вместе с Энгельсом — работал для «Нью-Йоркской трибуны», но только в качестве гостя, а не хозяина, сотрудника, но не редактора. Марксу приходилось считаться с цензурой американских редакторов, которые печатали его статьи лишь постольку, поскольку это диктовалось потребностями «текущего момента», американской «злобы дня». Чернышевский должен был считаться с царской цензурой, но он писал в своем журнале, и потому, несмотря на всяческие препятствия, превратил его в трибуну, с которой раздавался голос по-

следовательного революционера, разделавшегося со всеми предрассудками политического либерализма и буржуазной демократии.

Позвольте мне обратиться к моим воспоминаниям. Не все первые русские марксисты — в том числе и ваш покорный слуга — соглашались с плехановской оценкой Чернышевского, в особенности с первыми статьями Плеханова в «Социал-демократе». Позднее основоположник русского марксизма изменил свои взгляды на Чернышевского. В старое время, когда он сам переходил на социал-демократическую точку зрения, он прекрасно знал, что одним из его главных учителей является Чернышевский. В эпоху Казанской демонстрации Плеханов преклонялся перед ним как величайшим учителем русской революционной молодежи. В эпоху зарождения группы «Освобождение труда», когда он писал ее программную брошюру, Плеханов считал Чернышевского «родоначальником русской социальной демократии».

Это часто случалось с молодыми людьми. В поисках истины они переходили от одного «апостола правды и науки» к другому, сегодня увлекались Писаревым, завтра—Добролюбовым и Чернышевским и послезавтра — Михайловским: судьба подбрасывала все новые откровения, в голове образовывалась эклектическая смесь, происходила борьба различных точек зрения, и, в конце концов, в зависимости и от определенной комбинации объективных условий, в результате такой борьбы устанавливалось то или другое определенное миросозерцание. И если мы спросим себя, кто именно из русских мыслителей и публицистов ближе всего подводил нас к марксизму, то возможен только один ответ: этим мыслителем был Чернышевский.

Я бы сказал, если мне позволено будет употребить знакомое вам из нашего политического жаргона выражение, что Чернышевский был без пяти или десяти минут марксист (о количестве минут, конечно, спорить не будем).

В области философии, в истории русской философской мысли, до учеников Маркса нет более оригинального философа-мыслителя, чем Чернышевский. Вместе с Марксом и Энгельсом он является продолжателем Фейербаха, развившим его основные мысли в таких областях, в которых его учителю не удалось это сделать. Но философия Чернышевского является только «количественным» развитием философии Фейербаха. Хронологически она остается на уровне «Святого семейства». Чернышевскому не удалось, в силу определенных социальных условий, сделать еще один шаг вперед и «снять» философию Фейербаха так, как это удалось Марксу и Энгельсу в «Немецкой идеологии».

Несколько слабее Чернышевский в области политической экономии. «Эстетические отношения искусства к действительности» по своей оригинальности стоят выше «Примечаний к Мюллю». Я уже сказал, что экономические работы Чернышевского можно сравнивать только с «Очерками критики политической экономии» Энгельса и с первыми, не опубликованными еще, работами Маркса, в которых последний, так же как и Чернышевский, особенно усердно занимается вопросом о «трехчленном делении продукта», о ренте, прибыли и заработной плате. Чернышевский, — я воспользуюсь тем же выражением, — «отстал на десять минут» не только от «Капитала», но и от «Нищеты философии». Но все же Чернышевский формулирует основной вопрос планового хозяйства—в какой

пропорции выгоднее всего для нас распределять рабочее время и рабочие силы между разными производствами на удовлетворение разных своих потребностей?— почти в тех же самых терминах, как и Маркс в «Нищете философии». Если Маркс отвечает, что этим критерием будет полезность, то Чернышевский доказывает, что «основанием расчета будет служить классификация надобностей с соображением того, какая доля труда может быть обращена на удовлетворение известной надобности без вреда для других надобностей, не менее или более настоятельных».

Чернышевский в области политической экономии является одним из наиболее непосредственных предшественников Маркса. Среди социалистов, сделавших «эгалитарные» выводы из теории Рикардо, он занимает первое место, потому что, вместе с Марксом и Энгельсом, он в своей критике буржуазной политической экономии опирался не только на Сен-Симона, Оуэна и Фурье, но и на Гегеля и Фейербаха.

В истории русской экономической мысли Чернышевский занимает бесспорно первое место как самый оригинальный русский экономист. И когда почтенный проф. Железнов, которого немецкие профессора политической экономии считают «марксистом», но который на самом деле беспомощно шатается между различными полюсами экономической мысли, в своем очерке развития политической экономии в России не находит места для Чернышевского, то он лишний раз показывает неспособность вульгарных катедер-экономистов уловить действительный прогресс экономической теории, если она выступает не в «профессорском» мундире.

Что касается русской революционной молодежи, то можно смело сказать, что, начиная с Плеханова и кончая Лениным, «Примечания к Миллю» Чернышевского служили для нее лучшей подготовительной школой к изучению «Капитала». Мастерская критика буржуазной политической экономии, которую она нашла в работах Чернышевского, научила ее относиться критически ко всякому новому «прогрессу» в области буржуазной экономической мысли.

В области исторической науки Чернышевский, как уже указывал т. Фридлянд, не являлся специалистом. Ему не удалось написать ни одного исторического труда. Правда, ни одного исторического труда не удалось написать ни Марксу, ни Энгельсу,—конечно, такого исторического труда, за который человек может попасть в какую-нибудь Академию наук. У нас и теперь есть такие ученые, которые «научность» определяют числом примечаний.

В другом месте, в Обществе историков-марксистов, я уже доказывал, что работы Чернышевского по истории Франции изобилуют замечаниями и оценками, которые поразительно напоминают высказывания Маркса в параллельных работах. Я сказал там, что во всей литературе о революции 1848 г. нет ничего, что можно было бы поставить в сравнение с статьей «Кавеньяк», за исключением «Классовой борьбы во Франции» и «18 Брюмера Луи Бонапарта». Я указал там, что мы можем найти еще только одного человека, который тоже не был марксистом, но был таким же революционным коммунистом, который по резкости оценки событий 1848 г. так же сходится с Марксом, как и Чернышевский: этого революционера звали Огюстом Бланки. Против этого спорили, но в тезисах комиссии под председательством М. Покровского мы читаем теперь,

что «исторические работы Чернышевского дали такой классовый анализ 1848 г. во Франции и его подготовки, который уступает только анализу Маркса».

Когда труды Чернышевского станут предметом исследования не только Коммунистической академии, но Всесоюзной академии наук, то придется поставить и вопрос о влиянии Чернышевского на русскую историографию как в области русской истории, так и всеобщей. Меня уже давно интересует этот вопрос и не только в связи с Чернышевским.

Нужно исследовать, каким образом идейные споры, борьба и полемика в революционных кружках XIX столетия определяли и устанавливали главные вехи в развитии русской исторической литературы. Для этого необходимо проследить развитие основных идей русской историографии и сравнить с соответствующим развитием основных идей подпольной и «надпольной» журналистики. И тогда не трудно будет установить непосредственное влияние «Современника» на русских историков — Щапова и Ключевского в первую очередь. Если в русской исторической литературе мы замечаем уже с 60-х годов выдвигание на первый план «экономического фактора», усиленный интерес к изучению социальной истории и истории сословий, то это в значительной степени объясняется влиянием Чернышевского и его самого талантливого ученика — Добролюбова, которые в области изучения истории подводили нас к «историческому материализму».

Конечно, Чернышевский не марксист. Но он остановился в своем развитии, вернее, был раздавлен жестокой судьбой, когда шел по верному пути, по которому шел и развивался Маркс. В русской литературе он не имел никаких учителей, но и в западно-европейской литературе он не имел тогда учителей, у которых он мог бы учиться непосредственно. Ему приходилось, — правда, опираясь на Гегеля и Фейербаха, на великих утопистов — доходить до всего «своим умом». На примере Лассаля мы видим, что даже знакомство с «Коммунистическим манифестом», с работами Маркса до «Капитала» еще не делало марксистом. Лассаль остался самым закоренелым идеалистом в области истории и философии, а как политик он выступил слишком поздно, чтобы иметь какое-нибудь влияние на Чернышевского.

Революционное движение конца 50-х и начала 60-х годов, роль, которую сыграл в нем Чернышевский, еще мало изучены. Видеть в нем только революционного буржуазного демократа можно лишь сквозь очки вульгарнейшего «экономического материализма».

Если в области политической деятельности, если в области революционного действия Чернышевский не мог быть «марксистом», то только Бланки с его жестокой критикой всей политики либеральных, радикальных и демократических деятелей 1848 г. стоит на том же уровне, что и Чернышевский, в критике либералов и буржуазных демократов российского происхождения. И Чернышевский, и Бланки своей решительной критикой всех иллюзий буржуазной демократии толкали своих читателей и последователей на тот путь, который Плеханов в статье для «Вестника народной воли» назвал «социально-демократическим». Когда говорят о «народничестве» Чернышевского, то не надо упускать из вида, что это — «народничество» особого типа, что это то самое народничество, которое в наиболее чистой и яркой своей форме выявилось

в «Народной воле», в наиболее якобинском и бланкистском течении нашего революционного движения, которое тоже опиралось на «простолюдинов» и явилось непосредственным прологом русского революционного рабочего движения.

В истории не только русской, но и западно-европейской литературы (ибо «Рейнская газета» в 1842—1843 гг. находилась в более благоприятных условиях) мы не найдем другого такого примера, когда при наличии нелегального, свободного от цензуры, журнала — мы говорим о «Колоколе» Герцена — настоящим революционным, неизмеримо более крайним органом печати является выходящий под надзором царской цензуры журнал и когда, вместе с тем, революционная пропаганда велась бы так последовательно, как это делали в «Современнике» Чернышевский и Добролюбов. Только бестактная полемика, которую Герцен затеял против «Современника», показала властям предержащим, что журнал, выходящий в Петербурге, несравненно опаснее нелегального журнала, печатающегося в лондонской «вольной типографии». Непримиримость и революционная последовательность Чернышевского пугала Герцена не меньше, чем непримиримость и революционная последовательность Бланки и Маркса — бланкистов и «марксидов».

В последнее время, в связи с юбилеем, Чернышевского сравнивали с различными революционерами. Вспомним о Бакунине. А между тем «апостол разрушения», несмотря на более крупный масштаб исторического действия, является, как революционный характер, маленькой фигурой не только в сравнении с Чернышевским, но даже Нечаевым. Только у другого «вечного узника», только у Бланки, можно найти ту непреклонную вражду против «царюющего зла», ту революционную ненависть ко всякому угнетению, которая отличает Чернышевского и которая так ярко светила революционному поколению 60-х и 70-х годов.

Марксу, который всегда жестоко бичевал революционную бесхарактерность, который когда-то сурово клеймил революционную дряблость Кинкеля, Чернышевский внушал уважение не только как «великий ученый и критик», но и как непреклонный революционер.

Не случайно, что в первой же своей крупной работе Маркс подчеркнул значение характера, непреклонности и непримиримости в борьбе с существующим злом. Самым великим и святым мучеником в философском календаре является для него Прометей, в котором легенда и поэзия воплотили яркий образ мыслителя и борца. В Чернышевском он увидел тот же образ, то же соединение революционной мысли и непримиримости. И действительно, в истории русского революционного движения нет ни одной фигуры, в которой так гармонически слились бы революционный мыслитель и революционный деятель, как в Чернышевском.

Вот почему он ближе, чем кто-либо другой, стоит к великим учителям пролетариата — Марксу, Энгельсу, Ленину.

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДСТВА К. МАРКСА и Ф. ЭНГЕЛЬСА

ПИСЬМА Г. ЛОПАТИНА к Ф. ЭНГЕЛЬСУ

ПРЕДИСЛОВИЕ Д. РЯЗАНОВА

Мы печатаем ниже несколько писем Лопатина к Энгельсу. Они относятся к периоду от 1874 г. до 1883 г. После неудачной попытки освободить Чернышевского Лопатин пробыл в ссылке несколько лет и только в 1874 г. опять бежал за границу, направившись сначала в Цюрих, а затем — в Париж. Мы знаем из его автобиографии, что Лопатин «отказался от сотрудничества в принципиальной части» журнала «Вперед», издававшегося Лавровым. Первые два письма к Энгельсу подтверждают это показание. Статьи Энгельса, о которых пишет Лопатин, посвящены были, между прочим, и Лаврову. Они помещены были в «Volksstaat» (№№ 117 и 118, 6 и 8 октября 1874 г.).

Лопатин пробыл за границей до 1879 г., «не принимая правильного участия в деятельности революционных партий внутри России, не принадлежа номинально ни к одной из них, но поддерживая дружеские связи с представителями всяких групп и оказывая им посильные практические услуги». В течение этого времени он несколько раз ездил в Россию. Письмо от 17 апреля 1878 г. писано, вероятно, после одной из таких поездок. В нем между прочим идет речь о фотографической группе осужденных по процессу 193-х, приговор по которому последовал только в феврале 1878 г.

Жена Энгельса умерла 12 сентября 1878 г. То обстоятельство, что Лопатин откликнулся на это известие только в январе 1879 г. свидетельствует, что он опять был долго в отсутствии. Возможно, что к этому времени относится «долгое проживание в Москве» в 1878 г., о котором Лопатин говорит в своей автобиографии. Сын, о котором он пишет Энгельсу, это — Бруно Барт (Лопатин), позже—помощник присяжного поверенного в Петербурге. Очень скоро после этого письма Лопатин опять уехал в Россию и уже в апреле 1879 г. был опять арестован.

Только в марте 1883 г. Лопатину удалось бежать из Вологды в Париж и, как видно из письма к Энгельсу от 28 марта 1883 г., уже после смерти Маркса, в сентябре 1883 г., он переехал в Лондон. К этому времени относится его последнее письмо к Энгельсу. Существует, однако, еще один документ, датированный одним днем раньше, а именно письмо Лопатина к Полонской (Ошаниной) от 20 сентября 1883 г., в котором он сообщает ей содержание своего разговора с Энгельсом. Оно было опубликовано в 1893 г. в «Материалах для истории русского социально-революционного движения».

Мы перепечатываем письмо, потому что оно, несмотря на субъективную окраску, дает интересный материал для характеристики взглядов Энгельса на русское революционное движение накануне организации группы «Освобождение труда».

Лондон, 20 сентября.

«... Не могу не поделиться с Вами результатом моего первого свидания с Энгельсом, думая, что некоторые из его мнений будут приятны для Вас.

«Мы много говорили о русских делах, о том, как пойдет, вероятно, дело нашего политического и социального возрождения. Как и следовало ожидать, сходство взглядов оказалось полнейшее; каждый из нас то и дело договаривал мысли и фразы другого. Он тоже считает (как и Маркс, как и я), что задача революционной партии, или партии действия, в России в данную минуту не в пропаганде нового социалистического идеала и даже не в стремлении осуществить этот далеко еще не выработанный идеал с помощью составленного из наших товарищей временного правительства, а в направлении всех сил к тому, чтобы 1) или принудить государя созвать Земский собор, 2) или же путем устрашения государя и т. п. вызвать такие глубокие беспорядки, которые привели бы иначе к созыву этого собора или чего-либо подобного. Он верит, как и я, что подобный собор неизбежно приведет к радикальному, не только к политическому, но и социальному, переустройству. Он верит в громадное значение избирательного периода, в смысле несравненно более успешной пропаганды, чем все книжки и сообщения на ухо. Он считает невозможной чисто либеральную конституцию без глубоких экономических перестроек и потому не боится этой опасности. Он верит, что в фактических условиях народной жизни накопилось достаточно материала для перестройки общества на новых началах. Конечно, он не верит в моментальное осуществление коммунизма или чего-либо подобного, но лишь того, что уже назрело в жизни и в душе народа. Он верит, что народ сумеет найти себе красноречивых выразителей своих нужд и стремлений и т. д. Он верит, что, раз начавшись, это переустройство, или революция, не может быть остановлено никакими силами. Важно поэтому только одно: разбить роковую силу застоя, выбить на минуту народ и общество из состояния косности и неподвижности, произвести такой беспорядок, который принудил бы правительство и народ заняться внутренним переустройством, который всколыхнул бы спокойное народное море и вызвал бы всенародное внимание и всенародный энтузиазм к делу полного общественного переустройства. А результаты явятся сами собою, и именно те, которые возможны, желательны и осуществимы для данной эпохи.

«Все это чертовски кратко, но обстоятельнее я теперь писать не могу. К тому же все это, быть может, не вполне понравится Вам, а потому спешу передать Вам с буквальной точностью другие его мнения, которые очень лестны для русской революционной партии. Вот они:

«Все зависит теперь от того, что будет сделано в ближайшем будущем в Петербурге, на который устремлены ныне глаза всех мыслящих, дальновидных и проницательных людей целой Европы».

«Россия, это — Франция нынешнего века. Ей законно и правомерно принадлежит революционная инициатива нового социального переустройства».

«... Гибель царизма, уничтожив последний оплот монархизма в Европе, упразднив «агрессивность» России, ненависть к ней Польши и многое другое, поведет к совершенно иной комбинации держав, расшибет вдребезги Австрию и вызовет во всех странах могучий толчок в сторону внутреннего переустройства».

«... Едва ли Германия решится воспользоваться русскими беспорядками, чтобы двинуть свои войска в Россию для поддержания царизма. Но если бы она сделала это, тем лучше. Это было бы гибелью ее нынешнего правительства и началом новой эры. Присоединение к ней балтийских провинций бессмысленно и неосуществимо. Подобные захваты противоположных [?] или принадлежащих узких побережий и клочков и получившиеся отсюда нелепые формы государств были возможны только в XVI и XVII веках, а не теперь. К тому же ни для кого не тайна, что немцы составляют там ничтожное реакционное меньшин-

ство». (Прибавляю этот пункт для Ю. П. в виду ее ультра-патриотических мнений по этому пункту.)

«И я, и Маркс находим, что письмо Комитета к Александру III положительно прекрасно по своей политичности и спокойному тону. Оно доказывает, что в рядах революционеров находятся люди с государственной складкой ума».

Надеюсь, что все это достаточно лестно и приятно для Вас и что Вы поблагодарите меня за эти строки? Помните, я говорил, что сам Маркс никогда не был марксистом? Энгельс рассказывал, что во время борьбы Брусса, Малона и К° с другими Маркс говорил смеясь: «могу сказать только одно, что я не марксист!..»

1

[С английского.]

15 октября [1874 г.]
124, Rue d'Assas. Paris.

Дорогой господин Энгельс!

Один из моих русских друзей просил меня достать для него 117 и 118 номера «Volksstaat» с Вашими статьями об «эмигрантской литературе». Но здесь, в Париже, сделать это совершенно невозможно. Хотя я получил их на некоторое время от редакции журнала «Вперед», но я должен был вернуть их по прочтении. Не могли ли Вы быть так любезны и прислать мне их, если у Вас остались экземпляры, или не могли ли бы Вы написать в редакцию «Volksstaat» и попросить ее прислать мне их? Излишне говорить, что Вы очень меня обяжете этим.

Что касается меня, то я прочел их с большим интересом и должен признать правильность аргументации. Но по форме они слишком язвительны. Вы очень злы, в самом деле. Я не мог удержаться от смеха, хотя Вы так строго отнеслись к моим друзьям.

Я надеюсь, что г-жа Энгельс и маленькая Пумпс здоровы и не очень пострадали от испуга по поводу взрыва? Я вчера получил очень милое письмо от миссис Маркс и посылаю ей сердечный привет, а также м-ру Марксу и всей его семье.

Искренне преданный Вам

Г. Лопатин.

2

[С английского.]

1 ноября [1874 г.]
124, Rue d'Assas.

Дорогой г. Энгельс!

Очень благодарен Вам за статью, которую я тотчас же отправил в Петербург. Прошу извинить меня за несвоевременное извещение о том, что я получил ее в целости. Но все это время я был сильно занят. Не пишу больше, потому что надеюсь скоро видеть Вас и тогда поговорить с Вами de viva voce обо всем.

Сердечнейший привет Вашей семье и семье Маркса.

Преданный Вам

Г. Лопатин.

3

[С французского.]

17 апреля 1878 г.
Hôtel de la Gare, Vernex-Montreux, Canton de Vaud.

Дорогой Энгельс!

Вернувшись третьего дня из довольно продолжительной деловой поездки, я нашел у себя на столе Ваше письмо от 3 апреля, которое здесь, однако, было получено только 10 числа. Судя по почерку на конверте, я думаю, что оно было переслано мне Гиршем, хотя внутри конверта не было ни строчки от него.

Объяснив Вам запоздание моего ответа, я прямо перехожу к тому маленькому делу Бракке, о котором Вы говорите.

Мне кажется, что у Вас имеется группа осужденных в формате обыкновенной фотографической карточки. Такая же самая группа имеется также в виде кабинетной карточки. В настоящий момент у меня нет под руками ни одной карточки этого последнего формата. Но я уже просил Смирнова послать такую карточку Вам или Бракке. Я просил его также присоединить к этому тот номер «Graphic'a» в котором она недавно была помещена. Может быть Бракке предпочтет просто приобрести английское клише. Может быть, даже Смирнов найдет также у себя несколько карточек осужденных по последнему процессу 193-х, которые он сможет предоставить Бракке. Но я не уверен в том, что у него имеются такие карточки.

Что касается статьи, о которой просит Бракке, то я лично не могу ее написать по двум причинам. Во-первых, потому что у меня нет здесь под руками необходимых материалов, а во-вторых, потому что я в настоящее время страшно завален спешной работой, которой я не могу пренебрегать из-за моего материального положения, да еще в связи с нашим возмутительным курсом в настоящее время. Я просил Смирнова заменить меня в этом деле. В качестве фактического редактора журнала «Вперед» он специально занимается собиранием и обработкой подобных материалов, и потому ему это легко будет сделать. Я думаю также, что он гораздо лучше мог бы написать по-немецки, чем я по-французски или по-английски. Но если бы оказалось, что он также откажется от этой работы, то я постараюсь поручить это дело одному из моих друзей эмигрантов, который довольно хорошо владеет немецким языком.

Я в последнее время вижу очень мало немецких журналов и поэтому не знаю, о какой статье из 5-го тома «Вперед» Вы говорите. Но, во всяком случае, одно я могу утверждать, что ни одна из статей не написана Лавровым, который не состоит больше в редакции и уже довольно давно не сотрудничает в этом журнале.

Я также должен попросить Вас об одном деле. Вы недавно напечатали в «Vorwärts'e», целый ряд очень интересных статей о философии и политической экономии Дюринга. Может быть, эти статьи появились уже отдельно, в виде «отдельного оттиска»? В таком случае я буду очень Вам обязан, если Вы пришлете мне один или два экземпляра этого отдельного издания. Второй экземпляр я хотел бы иметь для некоторых своих друзей из русских социалистов, которые часто связывают воедино исключающие друг друга вещи и де-

лают общую смесь (правда, очень революционную) из Прудона, Маркса и Дюринга по той лишь причине, что все трое находятся в крайней оппозиции и что все трое в большей или меньшей степени находятся под запретом и преследованием у нас в России.

Меня очень огорчает нездоровье Вашей жены и г-жи Маркс. Что касается меня, то мои семейные дела не улучшились. Моя жена и до сих пор еще не вполне оправилась. Начиная с июля месяца 1877 г. она все еще находится в Швейцарии. Я провел вместе с ней сентябрь и октябрь, а теперь я с февраля опять в Швейцарии. Я думаю, что останусь здесь до июня. Вы можете себе представить, во что должны обходиться все эти вынужденные путешествия при нашем теперешнем курсе, который падает часто до 237, а иногда и ниже, а что будет дальше, я и представить себе не могу и даже стараюсь об этом не думать. Каждый день может вспыхнуть новая война, если Англию не удержит перспектива того большого промышленного и торгового кризиса, о котором Вы говорите. Может быть, даже, наоборот, именно эта перспектива неизбежного кризиса и ускорит ее решимость к войне. Поживем — увидим.

А затем - до свидания. Мой сердечный привет Вашей жене и всей семье Маркса.

Ваш Г. Лопатин.

4

[С французского.]

23 апреля 1878 г.
Hôtel de la Gare, Vernex-Montreux
Canton de Vaud, Suisse.

Дорогой Энгельс!

Я получил ответ от Смирнова. Он сам пошлет Вам фотографические карточки осужденных. Что касается статьи о процессах русских социалистов, то ее берется написать г. Даль — второй фактический редактор журнала «Вперед»; это автор статьи («Плоды реформ»), перевод которой был помещен в «Vorwärts'е». Он живет в настоящее время в Лейпциге под фамилией Майера (28, Elsterstrasse W., bei Herrn Wilecke). Его статья будет написана по-немецки, что удобнее для Бракке.

Я посылаю Вам это письмо через Смирнова, с тем, чтобы он мог прибавить к нему все необходимые подробности.

Сердечный привет Вашей супруге, Пумпс и всей семье Маркса.

Ваш Г. Лопатин.

5

[С французского.]

15 января 1879 г.
5, Rue Malebranche.

Дорогой Энгельс!

С чувством величайшей скорби узнал я о смерти госпожи Энгельс. Я живо вспоминаю дружескую сердечность, которую она всегда проявляла по отношению ко мне, и я никогда не забуду, как смягчал мою былую одинокую

жизнь в Лондоне тот дружеский прием, который я всегда встречал у Марксов и у Вас. Да будет легка земля этой бедной доброй душе!

Ваши советы, может быть, очень благоразумны и очень хороши. Но мне кажется, что я не в состоянии буду долго оставаться за границей и что я скоро вернусь на родину, конечно под чужой фамилией. Мой авангард (моя жена и мой ребенок) уже там. Моя жена, с которой я никогда не сочетался законным браком вследствие отсутствия необходимых документов, не носит моей фамилии, что могло бы ей только повредить. Что же касается моего ребенка, то он живет там в качестве маленького подданного «of her Brittanic Majesty»[1] (что стоило мне в то время только маленькой ложной присяги в Лондоне). Сейчас я еще не могу сказать Вам, когда я окончательно уеду. Прежде всего надо заработать немного денег. Все это последнее время я лихорадочно работал. Вот почему только сегодня я отвечаю на Ваше письмо. Я надеюсь, что Вы простите мне это. Не правда ли? Мне незачем прибавлять, что я прошу Вас считать этот вопрос строго конфиденциальным.

Я со всех сторон слышу, что Маркс закончил уже свой второй том и что он послал уже первые листы этого тома в типографию в Гамбург. Правда ли это в самом деле? Мне трудно этому поверить. Но если это правда, у меня будет еще одна работа по переводу. Если этот том нельзя будет издать в России, я надеюсь найти издателя, который согласится издать его на русском языке за границей.

«Начало» больше не выходит. Вместо него теперь в С.-Петербурге есть другой журнал, «Земля и воля», с менее неопределенной программой, чисто «социально-революционной». Правительство бесплодно разыскивало тайную типографию, которая великолепно действует.

Своими реакционными мерами Ваше немецкое правительство почти конкурирует с нашим. Запрещение вашего «Дюринга», произведений Лассаля и последнее предложение Бисмарка о введении парламентской цензуры прямо великолепны.

Поздравляю Вас и Марксов с Новым годом и желаю вам всем всякого счастья. Лавров присоединяется к этому пожеланию. А за сим до свидания, если это будет возможно.

Ваш Г. Лопатин.

6

[С английского.]

28 марта 1883 г.
9, Boulevard de Port Royal.

Дорогой Энгельс!

Надо ли говорить Вам, как тяжело мне было узнать о смерти Маркса? Должен ли я говорить Вам, как искренне и глубоко я сочувствую Вашему собственному горю? Я надеюсь, что Вы достаточно хорошо знаете меня и избавите меня от выражения Вам на ломаном английском языке сокровеннейших моих чувств по поводу этого горя.

---

[1] Ее величества королевы Великобритании.

Я слышал от Лаврова о Вашем последнем письме к нему, и я постараюсь узнать через одного из московских студентов фамилии лиц, пославших эту телеграмму.

Вместе со всем научным и социалистическим миром я с нетерпением жду результатов первого просмотра бумаг Маркса.

Примите еще раз выражение моего самого глубокого сочувствия Вам и уверение в искренней преданности Вам.

Г. Лопатин.

7

[С английского.]

21 сентября 1883 г.
6. Alfred Place, W. C.

Дорогой Энгельс!

Не будете ли Вы так добры, не дадите ли мне рекомендацию к администрации Британского музея и не заполните ли с этой целью прилагаемый при сем бланк? Мой хозяин, являющийся содержателем меблированных комнат, не может сделать этого для меня, своего собственного жильца.

Я обращаюсь к Вам письменно, потому что я боюсь, что не буду иметь возможности зайти к Вам раньше, чем завтра или послезавтра.

Я пытался увидеть мисс Тусси, но не мог ее найти ни у нее дома, ни в музее.

Преданный Вам

Г. Лопатин.

8

[С французского.]

23 сентября 1883 г.

Получил от Ф. Энгельса для передачи П. Лаврову сумму в £ 1.13.9 как остаток от суммы, присланной для возложения венков на могилу К. Маркса.

Герман Лопатин.

ПИСЬМО Ф. ЭНГЕЛЬСА к НЕИЗВЕСТНОМУ о РУССКИХ ДЕЛАХ

[С немецкого]

Лондон, 22 октября 1883 г.

Глубокоуважаемый господин!

Я получил Ваше почтенное письмо от 15 с. м. с очень испорченной печатью. Прилагаю ее к вящшей чести господина Стефана.

Я также с 1848 г. часто высказывал убеждение, что русский царизм является последним убежищем и огромной резервной армией европейской реакции. Но за последние 20 лет кое-что в России изменилось. Так называемое освобождение крестьян создало безусловно революционное положение, поставив крестьян в такие условия, при которых они не могут ни жить, ни умереть. Быстрое развитие крупной промышленности и путей сообщения, банки и т. д. только обострили это положение. Россия находится накануне своего 1789 года. Нигилисты, с одной стороны, финансовая нужда, — с другой, являются симптомами этого положения. До последнего займа положение было таково, что русское правительство не могло достать денег даже в Берлине, т. к. заем был невозможен без гарантии представительного собрания. Даже Мендельсон ставил такое условие. Но тут, когда царизм находился в крайне критическом положении, вмешался в дело Бисмарк и сделал возможным заем, правда, только в 15 миллионов ф. с.; это капля, упавшая на горячий камень, но этого достаточно для отсрочки гибели на пару лет. Этим Бисмарк подчинил себе Россию, которая без него и теперь не может достать денег, а с другой стороны, он этим отдалил русскую революцию, которая ему также неудобна. Это в первый раз Бисмарк, работавший против своей воли и косвенным путем для нас, сделал нечто такое, что оказалось для нас невыгодным, и если он будет так продолжать, то он для нас совершенно бесполезен.

Получит ли Россия еще деньги, в сущности зависит от Бисмарка, а если он это разрешит, то немецкий денежный филистер с восторгом бросится в поставленные ему сети. Мне совершенно безразлично то обстоятельство, что он при этом потеряет свои деньги, наоборот, это будет ему поделом, а так называемый немецкий национальный капитал также не много при этом потеряет, так как та его часть, которая нас интересует, состоит из фабрик, заводов и других орудий производства, которые нельзя ссудить русским. Так называемый денежный капитал, который будет выкачан, это по большей части фиктивный капитал, кредитные бумаги, а это не имеет большого значения. Гораздо важнее

было бы затруднить России кредит или не дать его ей, но в этом отношении немецкий денежный Михель больше доверяет Бисмарку, чем нам. У меня теперь абсолютно нет времени заняться вопросом, как велики реальные шансы для русского государственного кредита. Такой труд во всяком случае имел бы большое значение и был бы очень своевременен, но для этого необходимо изучение русских условий по русским источникам. Специально для финансов достаточно было бы установление размеров русского государственного долга и изучение курсовых бюллетеней за последние годы, но чтобы составить себе правильный взгляд на внутренние экономические условия страны, надо много работать. Самым ценным произведением является обработанное русским военным министерством исследование под заглавием «Военно-статистический сборник», IV. Россия, Петербург, 1871. Затем: Скребицкий, Крестьянское дело в царствование императора Александра II, Бонн, 1862—68, 4 тома, около 5000 страниц. Затем сборники статистических сведений по отдельным губерниям, в особенности Московской и Тверской, и Янсон, Сравнительная статистика России и западно-европейских государств, Петербург, 1880, несколько томов.

Русские бюджеты не стоят той бумаги, на которой они написаны. Одна только ложь и фальсификация, в гораздо большей еще степени, чем прусские бюджеты до 1848 г.

Что же касается оценки современных армий, реорганизованных по прусскому образцу, то она совершенно невозможна. Одно только несомненно, что Австрия, и еще в гораздо большей степени Россия, нуждаются в многочисленном образованном классе, который один только может доставить достаточное число подготовленных офицеров, необходимых для столь многочисленных армий, и что ведение войны русскими в Турции в 1878 г., по описанию их собственного генерала Куропаткина, было ниже прусского в 1806 г.

При сем возвращаю Вам письмо Либкнехта.

Уважающий Вас и преданный Вам

Ф. Энгельс.

И. КНИЖНИК-ВЕТРОВ

ГЕРОИНЯ ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ 1871 г. Е. Л. ТУМАНОВСКАЯ («ЕЛИЗАВЕТА ДМИТРИЕВА»).

Из русских женщин, принимавших участие в Парижской Коммуне 1871 г., имя «Елизаветы Дмитриевой», о деятельности которой упоминают многие исторические документы и мемуары, покрыто до сих пор наибольшей тайной.

В любом документе или мемуаре, где упоминается имя «Елизаветы Дмитриевой», ей уделяется всего несколько строк, и до сих пор в печати даже не названо настоящее имя «Елизаветы Дмитриевой»—Елизавета Лукинична Тумановская, а вместо этого она ошибочно фигурирует под именем Елизаветы Дмитриевны Томашевской [1].

Цель настоящей статьи — критически сопоставить все имеющиеся о «Елизавете Дмитриевой» скудные сведения, установить ее подлинное имя, отчество и фамилию, рассказать о попытках, предпринятых нами для изыскания дальнейших сведений о ней, и тем самым дать толчок к сообщениям тех лиц, которые могли бы дать необходимые дополнительные сведения об этой замечательной женщине, но не дают их, не учитывая всей их исторической важности [2].

I. «Дмитриева — агент» К. Маркса

Впервые имя «Дмитриевой» появляется в летописях революционной жизни в начале 1871 г. в связи с именами Карла Маркса и Михаила Бакунина и с их борьбой в I Интернационале. Сведения о «Дмитриевой» мы находим у друга Бакунина — Джемса Гильома, автора четырехтомной книги о I Интернационале, полной злобных выпадов против Маркса и его сторонников.

В начале марта 1871 г. в Женеве на общем собрании секций Интернационала обсуждался вопрос, была ли секция Альянса (основанного Бакуниным с целью проникнуть в Интернационал и подчинить его своему влиянию) допущена лондонским Генеральным советом в Интернационал. Секретарь Альянса Николай Жуковский

---

[1] По этому вопросу см. Сообщение И. К. Луппола, Из переписки К. Маркса с М. Ковалевским в «Летописях марксизма», 1928, № 6.

[2] В результате розысков, предпринятых Институтом К. Маркса и Ф. Энгельса, удалось установить, что Тумановской (или Томановской) Елизавета Лукинична называлась лишь по первому своему браку. В ближайшем номере «Летописей марксизма» будут опубликованы материалы, устанавливающие ее «настоящее имя», т. е. девичью фамилию.— Прим. ред.

представил в доказательство принятия Альянса в Интернационал два письма за подписью членов Генерального совета Эккариуса и Юнга: одно от 28 июля 1869 г. об единогласном принятии в Интернационал секции Альянса Генеральным советом, а другое — от 25 августа 1869 г. о приеме Генеральным советом членских взносов этой секции. Тогда Николай Утин и его друзья, сторонники Маркса, заявили, что эти письма подложны, в доказательство чего сослались на «хорошо осведомленную особу, прибывшую из Лондона, которая им сказала об этом».

«Эта особа,— добавляет далее Джемс Гильом,— была Дмитриева, друг Утина, русская еврейка, как и он. Госпожа Дмитриева, известная также под именем гражданки Elise,— фанатическая поклонница Маркса, которого она называет, в стиле синагоги, современным Моисеем. Она только что пробыла некоторое время у Маркса в Лондоне (в феврале) и затем поехала в Женеву, повидимому снабженная конфиденциальными инструкциями. После ее приезда снова всплыл вопрос об Альянсе, и на общем собрании женевских секций сделано было это знаменитое заявление, что Альянс никогда не был принят в Интернационал» [1].

Гильом далее цитирует рукопись Робена, члена Интернационала, составленную им в 1872 г. под заглавием «Mémoire justificatif», где рассказывается, как последний в марте 1871 г. читал в Генеральном совете письмо секретаря Романского федерального комитета Перре (H. Perret) из Женевы с отчетом об общем собрании секций Интернационала в Женеве, где сторонники и противники Альянса сильно ругались. Противники Альянса опирались на свидетельство гражданки Elise (г-жи Дмитриевой), которая, прибыв из Лондона, где ей было поручено собрать справки по вопросу об Альянсе, утверждала, что это общество никогда не было признано секцией Интернационала [2].

Из указанных здесь сообщений можно заключить, что «Елизавета Дмитриева» была сторонницей Маркса, в феврале 1871 г. была у него в Лондоне, и ей было поручено им собрать справки об Альянсе и заявить о подложности писем от имени Генерального совета о принятии Альянса в Интернационал и о приеме от него членских взносов.

Повидимому всем интернационалистам Женевы «Елизавета Дмитриева» была достаточно хорошо известна. Важно также отметить, что она была в дружбе с Николаем Исааковичем Утиным, который, в качестве студента Петербургского университета, получил золотую медаль за сочинение об Аполлонии Тианском (серебряную получил Д. И. Писарев), участвовал в студенческом движении 1861 г, за что был заключен в Петропавловскую крепость, в марте или апреле 1862 г. вступил в члены «Земли и воли», был членом ее ЦК и в качестве такового во время польского восстания вел переговоры с польскими революционерами, в июле 1863 г. эмигрировал за границу, осенью 1868 г. устроил в Женеве первую русскую секцию Интернационала и с октября 1868 г. руководил ее органом, «Народное дело», после того как из него ушли его основатели М. А. Бакунин и Н. И. Жуковский [3].

---

[1] G. Guillaume, L'Internationale, t. II, p. 157—158. Paris 1907.

[2] См. там же, стр. 158—159.

[3] Об Н. И. Утине см. Л. Ф. Пантелеев, Из воспоминаний прошлого, стр. 312—314, Спб. 1905, и З. Ралли, М. А. Бакунин, в «Минувших годах», 1908, октябрь, стр. 153. См. также В. А. Горохов, I Интернационал и русский социализм, стр. 10, М. 1925.

Была ли «Елизавета Дмитриева» еврейкой, как сообщает Гильом, для нас весьма сомнительно. Как известно, Бакунин, а вслед за ним и Гильом были склонны считать евреями-интриганами всех своих политических противников, в том числе и некоторых заведомых не-евреев. Как увидим ниже, ряд данных заставляет думать, что «Елизавета Дмитриева» не могла быть еврейкой.

Что Маркс мог давать поручения «Елизавете Дмитриевой», так как близко знал и высоко ценил ее, мы видим из одного письма Маркса к М. Ковалевскому, которое хранится в Институте К. Маркса и Ф. Энгельса. Хотя имя «Елизаветы Дмитриевой» в нем не названо, не может быть никакого сомнения, как увидим ниже, что речь идет именно о ней. Здесь Маркс называет ее «русской дамой, которая оказала большие услуги партии», и «нашим другом» [1]: «Большие услуги партии» — это, конечно, прежде всего помощь «Елизаветы Дмитриевой марксистскому крылу Интернационала против Бакунина и его сторонников, а затем значительная работа, выполненная по поручению Маркса «Елизаветой Дмитриевой» (письмо о ней писано 9 января 1877 г.). Маркс хорошо ее помнит и старается помочь ей в ее беде в Москве из Лондона. Откуда Маркс узнал о постигшей «Елизавету Дмитриеву» беде? Из ее собственного письма к нему или из письма третьего лица? Ответ на это, может быть, дадут дальнейшие разыскания в переписке Маркса и Энгельса. Во всяком случае, приходится думать, что М. М. Ковалевский, которому Маркс писал о деле «Елизаветы Дмитриевой», не называя ее имени и прося его заинтересовать ею присяжного поверенного В. И. Танеева, также известного Марксу,— был осведомлен, о ком идет речь в письме.

Повидимому, сейчас же после исполнения поручения Маркса в Женеве «Елизавета Дмитриева» поехала по его же поручению в Париж, где назревали события 18 марта 1871 г. и все, что за ними последовало. М. П. Сажин (Арман Росс), друг Бакунина, поехавший в Париж в самый разгар событий Коммуны, сообщает, что «Елизавета Дмитриевна (еврейка) была специально прислана из Лондона, между прочим, для информации» [2]. М. П. Сажин здесь и в другом месте [3] называет «Елизавету Дмитриеву» — Д м и т р и е в н о й, полагая, что у нее была какая-то другая фамилия, и в этом расходится со всеми другими мемуаристами и официальными документами, всегда называющими «Дмитриеву» — Д м и т р и е в о й. Впрочем, сам М. П. Сажин в той же статье о Парижской Коммуне, помещенной в его «Воспоминаниях», на стр. 77—78 называет ее также Д м и т р и е в о й, не оговариваясь, что не помнит ее фамилии. В своем указании на еврейскую национальность «Елизаветы Дмитриевой» М. П. Сажин, повидимому, следует за Джемсом Гильомом. Но указанию М. П. Сажина на то, что «Елизавета Дмитриева» была прислана из Лондона для информации, мы можем верить, так как знаем и другой случай, когда будущий член Коммуны Серайе (Serrailler), бывший с начала 1870 г. членом Генерального совета в Лондоне, после революции в Париже, 6 сентября 1870 г., был послан в Париж, чтобы следить за событиями и бороться с влиянием людей, недавно пришедших к власти. После подписания перемирия

---

[1] См. указанное выше сообщение И. К. Луппола, где на стр. 69 приведено письмо Маркса.

[2] См. М. П. С а ж и н, Воспоминания, М. 1925, стр. 56.

[3] См. М. П. С а ж и н, Героические дни и падение Парижской Коммуны, стр. 24, М. 1926.

с немцами Серрайе поехал в Лондон и вновь приехал оттуда в Париж 17 марта 1871 г., накануне Коммуны, привезя с собою средства для пропаганды Центральному комитету национальной гвардии, в котором он работал, не подписывая его афиш [1].

8 марта 1871 г., незадолго до Коммуны, от Генерального совета был послан в Париж ювелир Ландек для осведомления на месте о настроении [2].

Можно допустить, что и «Елизавета Дмитриева», так же как и Серрайе, была прислана Генеральным советом в Париж сейчас же после того, как она исполнила его поручение по поводу Альянса на общем собрании секций Интернационала в Женеве. Повидимому, она прибыла в Париж еще до 18 марта.

II. «Дмитриева» — деятельница Парижской Коммуны

О работе «Елизаветы Дмитриевой» во время Парижской Коммуны мы имеем наиболее подробное сообщение в книге члена Коммуны Бенуа Малона «La troisième défaite du prolétariat français», р. 274—279 (Neuchâtel 1871): «...Молодая русская, которая подписывалась Elise Dmitrieff, принялась за работу. Под влиянием великой революционной традиции Парижа и страстной преданности народному делу, она хотела объединить в активную (militante) Лигу работниц Парижа, чтобы оказать Коммуне ценную помощь и создать точку опоры для освобождения женщин. Она начала с объединения нескольких женщин с прекрасным сердцем, среди них гражданки Лемель (Lemel), одной из основательниц общества переплетчиков и переплетчиц Парижа и временной секретарши одного из потребительских обществ, основанных Варленом. Маленький комитет решил основать клубы женщин. Эти клубы имели успех. Комитет принял название «Центрального комитета союза женщин». Пропагандисты все умножались: днем они выступали в собраниях, затем вечером в своих клубах, и члены примыкали к ним толпами. Они открывали клубы и в кварталах, подвергавшихся бомбардировке, и в других, и толпа валила к ним постоянно.

Вскоре основано было 20 комитетов по 11 членов во всех 20 округах Парижа, и они были сгруппированы федеративно вокруг Центрального комитета, заседавшего в мэрии 10-го округа.

Возбуждая к преданности революции и настаивая в Коммуне, чтобы им дали оружие и опасные посты, они пропагандировали социальные идеи Интернационала, образовывали ячейки обществ работниц и их синдикальных камер и домогались основания международной федерации работниц Парижа. Они не пренебрегали и настоящим. Они образовали отряды гражданок, которые требовали только оружия, чтобы пойти на передовые позиции, и на все места сражений посылали отряды санитарок, чтобы подбирать и перевязывать раненых. Вскоре все походные госпи-

---

[1] См. Clère, Les hommes de la Commune, р. 172—173, Paris 1871; Vapereau, Dictionnaire universel des contemporains. Supplément à la 4-me édition par L. Garnier, р. 159, Paris 1873.

[2] См. книгу анонимного автора «Histoire de l'Internationale par un bourgeois-républicain». За отсутствием этой книги в ленинградских библиотеках цитируем ее здесь по Н. Лукину, Парижская Коммуна. Третье издание Коммунистической академии. 1926, стр. 134.

тали, к великому удовлетворению раненых, были в руках жен революционеров-федератов.

Вот воззвание, поистине международного характера, с которым они обратились «к гражданкам Парижа»:

Париж подвергнут блокаде, Париж подвергнут бомбардировке...

Гражданки, где наши дети, наши братья и наши мужья? Слышите ли вы рев пушек и священный призывный звон тревоги?

К оружию! Отечество в опасности!

Чужеземец ли сделал опять нашествие на Францию? Легионы ли объдинившихся европейских тиранов убивают наших братьев, надеясь уничтожить вместе с великим городом даже память о бессмертных победах, которые куплены в течение целого столетия нашей кровью и которые люди называют свободой, равенством и братством?..

Нет, эти враги, эти убийцы народа и свободы — французы!..

Это братоубийственное безумие, овладевшее Францией, эта борьба на смерть — конечный акт вечного антагонизма между правом и силой, трудом и эксплоатацией, народом и его палачами!..

Наши враги, это — привилегированные существующего социального строя, все те, которые всегда жили нашим потом и жирели нашей нуждой...

Они видели, как народ восстал, восклицая: «Нет обязанностей без прав, нет прав без обязанностей!.. Мы хотим труда, но чтобы самим пользоваться его плодами... Не надо эксплоататоров, не надо хозяев!.. Труд и благосостояние для всех, самоуправление народа, Коммуна, жить и работать свободно или умереть в борьбе!!

И вот страх предстать перед народным судом побудил наших врагов к величайшему преступлению — гражданской войне!

Гражданки Парижа, потомки женщин Великой революции, которые во имя народа и справедливости отправились в Версаль и привели пленным Людовика XVI, мы, матери, жены и сестры французского народа, допустим ли мы, чтобы нужда и невежество сделали врагов из наших детей, чтобы отец пошел против сына и брат против брата, чтобы они убивали друг друга на наших глазах для прихоти наших притеснителей, которые желают уничтожить Париж после того, как они предали его иностранцам?

Гражданки, настал решительный час. Надо покончить со старым миром! Мы хотим быть свободными! И не одна Франция теперь поднимается,— глаза всех цивилизованных народов направлены на Париж, они ждут нашей победы, чтобы в свою очередь освободиться. Даже Германия, королевские армии которой опустошали наше отечество, обрекая на смерть его демократические и социальные стремления,— даже она потрясена и пронизана дыханием революции. Вот уже шесть месяцев, как она в осадном положении, а ее рабочие представители в тюрьме. Даже в России, едва гибнут защитники свободы, как на их место появляется новое поколение, готовое в свою очередь бороться и умереть за республику и социальное переустройство.

Ирландия и Польша умирают лишь для того, чтобы возродиться с новой энергией; Испания и Италия нашли утраченную мощь, чтобы присоединиться к международной борьбе; в Англии вся народная масса пролетаризована и живет одной заработной платой и делается революционной по своему социальному положению; в Австрии правительство вынуждено подавлять одновременно восстание самой страны и славянских княжеств. Не указывает ли это постоянное столкновение между правящими классами и народом, что дерево свободы, целые века увлажняемое потоками крови, принесло, наконец, свои плоды?

Гражданки, перчатка брошена, надо победить или умереть! Пусть матери, женщины, говорящие себе: «что мне в торжестве нашего дела, если я должна потерять тех, кого люблю»,— пусть они убедятся, что единственное средство спасти тех, кто им дорог,— мужа, поддерживающего их, или дитя, в котором они видят всю свою надежду,— это принять деятельное участие в завязавшейся борьбе, чтобы прекратить

навсегда эту братоубийственную борьбу, которая или может кончиться только торжеством народа, или возобновиться в ближайшем будущем!

Горе матерям, если народ будет еще раз побежден! Их сыновья заплатят за поражение, ибо участь наших братьев и мужей уже решена и реакция разгуляется во всю!.. Милосердия мы не хотим — ни мы, ни наши враги!..

Гражданки, решимся, объединимся, поможем нашему делу! Будем готовы к защите и к мести за наших братьев! К воротам Парижа, на баррикады, в предместья,— все равно куда! Будем готовы в нужный момент помочь им! Если негодяи, расстреливающие пленных и убивающие наших вождей, дадут залп по толпе безоружных женщин, тем лучше! Крик ужаса и негодования Франции и всего мира закончит то, что мы начали. И если оружие и штыки разобраны нашими братьями, — у нас останутся еще булыжники с мостовой, чтобы сразить ими изменников!..

Група гражданок.

Мы привели все это воззвание целиком потому, что возможно, что оно составлено было «Елизаветой Дмитриевой». Судя по тому, что оно напечатано было в «Официальной газете» (Journal Officiel) Коммуны 11 апреля, можно думать, что оно составлено было сейчас же после начала наступления версальцев и неудачного контр-наступления коммунаров 3—5 апреля.

В той же «Официальной газете» Парижской Коммуны от 14 апреля 1871 г. находим подпись «Елизаветы Дмитриевой» среди подписей гражданок-делегаток под адресом Центрального комитета гражданок, направленным к Исполнительной комиссии Коммуны. Вопрос здесь идет о создании работницами Парижа «регулярных отрядов для обслуживания походных госпиталей или рот, готовых в минуты крайней опасности... строить баррикады и драться на них... сражаться и победить или пасть в бою»... Делегатки парижских гражданок просят в своем адресе Исполнительную комиссию Коммуны приказать мэрам предоставить в их распоряжение помещения для заседаний и напечатать за счет Коммуны их циркуляры, афиши и извещения.

Повидимому, этот адрес был принят на собрании ЦК гражданок 13 апреля, объявление о котором находим в газете «Mot d'Ordre», № 50, от пятницы 14 апреля 1871 г., где оно было напечатано уже после того, как собрание состоялось. Объявление это гласит: «Гражданки патриотки извещаются, что завтра, в четверг, 13 апреля, в 8 часов вечера, в мэрии 3-го округа, на улице Тампль, ЦК гражданок, основанный для организации движения женщин для защиты Парижа, созывает свое второе собрание. Комитет надеется, что все гражданки ответят на призыв и присоединят свои усилия к его усилиям, чтобы работать сообща для торжества народного дела».

Как видно из этого объявления, оно является извещением о втором собрании ЦК гражданок.

Точной даты первого собрания мы не знаем, но, повидимому, афиша Комитета женщин, напечатанная в «Murailles Politiques» (том I, стр. 183), является извещением об этом первом собрании.

Афиша эта гласит:

Свобода, Равенство, Братство, Общественная солидарность. Комитет женщин улицы Аррас, 3.

Комитет улицы Аррас, 3, созывает всех примыкающих к нему женщин из всех округов, равно как и всех женщин, интересующихся социальной целью, которую он себе ставит, на публичное собрание, которое состоится в ближайшее воскресенье на авеню Монтэнь, 55, в гимназии Трна, в 3 часа пополудни.

Мужчины будут допущены на это собрание.

Плата за вход 20 сантимов.

Порядок дня:

Общий отчет операций комитета.

Доклады 20 округов.

Различные предложения и дискуссии.

Организация публичных собраний социальной Коммуны.

Комитет женщин улицы Аррас, 3, занимается всеми вопросами, интересующими женщин в обществе.

Он насчитывает теперь более 1800 членов, 160 активных комитетов и центральные секретариаты в каждом округе.

Центральный комитет перенес свое местопребывание в центр города, на улицу Монастыря Нотр Дам, 14, у М-м Женевьевы Вивьен, и установил свое общее постоянное дежурство на улице Эколь, 8, в организованном им походном госпитале Монж, куда можно обращаться ежедневно для всякого рода справок, относящихся к операциям комитета.

Судя по тому месту, где афиша эта напечатана в «Murailles Politiques» (между афишей, помеченной 11 октября 1870 г., и декретом от 11 октября 1870 г. об организации национальной гвардии), можно было бы думать, что первое собрание Комитета женщин происходило 11 октября 1870 г. Но можно сказать с уверенностью, что редактор собрания афиш поместил афишу Комитета женщин не там, где ей следовало быть. Повидимому, автор смешал Комитет женщин с «Республиканским комитетом бдительности гражданок 18-го округа», председательницей которого была Луиза Мишель. Последний комитет тоже созывал на свои собрания делегаток всех республиканских женских комитетов Парижа, как это видно из объявления за подписью Луизы Мишель в «Patrie en danger» (№ 40 от 20 октября 1870 г.). Но из этого же объявления видно, что 20 октября 1870 г. еще только впервые речь шла об объединении женских комитетов «для спасения отечества», между тем в афише о первом собрании Комитета женщин, улица Аррас, 3, говорится о завершившемся уже объединении 160 комитетов. Повидимому, эта афиша появилась одновременно с воззванием «группы гражданок», приведенным нами выше по книге Малона, т. е. не раньше 11 апреля 1871 г.

Интересно также отметить, что в том же помещении на улице Аррас, 3, помещалась и секция Интернационала Гобелен, так как в газете «Mot d'Ordre» № 4 от 6 февраля 1871 г.) находим объявление, в котором «члены, принадлежащие к Международному товариществу рабочих секции Гобелен, извещаются, что окончательное ее местопребывание — на улице Аррас, 3. Собрания происходят по вторникам в 8 часов вечера».

В «Официальной газете» Коммуны от 8 мая 1871 г. находим, среди прочих, подпись «Дмитриевой» под манифестом, протестовавшим от имени Исполнительной комиссии Центрального комитета гражданок против анонимной прокламации группы реакционеров, утверждавшей, что парижские женщины взывают к великодушию Версаля и просят во что бы то ни стало мира. Манифест уверяет, — и мы знаем, что это не было фразой, — что «женщины Парижа докажут Франции и всему миру, что они сумеют в минуту крайней опасности, если реакция ворвется в Париж, на баррикадах и укреплениях отдать, подобно своим братьям, свою кровь и жизнь за Коммуну и ее торжество»...

В собрании афиш «Murailles Politiques» (том II, стр. 522) находим следующее «воззвание к работницам», относящееся к 17 маю 1871 г.:

«ЦК Союза женщин для защиты Парижа и ухода за ранеными, имея поручение от Комиссии труда и обмена Коммуны организовать труд женщин Парижа и основать синдикальные и федеральные камеры объединенных работниц,

ввиду тожества синдикальных и федеральных камер рабочих и групп работниц в цеховых секциях, образующих свободные федерированные производительные ассоциации,

посему приглашает всех работниц собраться сегодня, в среду 17 мая, на Бирже, в 7 часов вечера, чтобы назначить делегаток от каждой корпорации для образования синдикальных камер, которые, в свою очередь, пошлют каждая по 2 делегатки для образования Федеральной камеры работниц.

Обращаться за всеми справками в ЦК Союза женщин, организованный и работающий по всем округам.

Местопребывание ЦК Союза: улица предместья Сен-Мартен, в мэрии 10-го округа.

Видел и одобрил:
Делегат при Комиссии
труда и обмена Лео Франкель.

Исполнительная комиссия ЦК:
Наталия Лемель, Алина Жакье,
Лелу, Бланш, Лефевр, Коллен,
Жарри, Елизавета Дмитриева.

Наконец, в том же собрании афиш («Murailles Politiques» т., II, стр. 546) находим еще одно, последнее объявление, подписанное всеми указанными членами Исполнительной комиссии ЦК Союза женщин: «ЦК Союза женщин для защиты Парижа и ухода за ранеными приглашает работниц всех корпораций собраться в воскресенье 21 мая, в 1-м часу пополудни, в мэрии 4-го округа, в зале празднеств, для окончательного образования синдикальных и федеральных камер работниц. Париж, 20 мая 1871 г.»

Как видно из всех приведенных здесь документов, ЦК Союза женщин использовал уже существовавшие до него под председательством Луизы Мишель женские комитеты бдительности различных округов Парижа. Но под влиянием «Дмитриевой» он яснее определил их «социальную цель», связав их с Интернационалом, тогда как раньше лозунгом женских комитетов бдительности была «всемирная республика», но не социальная революция (см. воззвание «К женщинам Парижа» в газете «Patrie en danger», № 7 от 14 сентября 1870 г.).

Повидимому, до 11 апреля была уже произведена большая предварительная организационная работа по привлечению новых членов и по организации секретариатов во всех 20 округах Парижа. Но необходимость обороны Парижа от версальцев вынуждала ЦК Союза женщин тратить всю энергию на образование военных женских отрядов и отрядов санитарок при походных госпиталях, и профессиональная организация работниц подвигалась поэтому медленно. Как мы видели, только 17 мая было созвано первое собрание работниц для образования синдикальных камер работниц, а 20 мая — второе собрание — «для окончательного образования синдикальных и федеральных камер работниц».

Центр деятельности ЦК Союза женщин тоже за это время переместился. К концу Коммуны он связался с Комиссией труда и обмена Коммуны, во главе которой стоял член Интернационала марксист Франкель, и переехал из 5-го округа (где помещается улица Аррас) в 10-й.

Парламентская комиссия, обследовавшая восстание 18 марта 1871 г., установила, что все женщины, обслуживавшие национальную гвардию, «рекрутировались

комитетами бдительности, организованными в каждом округе Парижа и получавшими инструкции от Центрального комитета Союза женщин, заседавшего в мэрии 10-го округа под председательством M-lle Дмитриевой»[1].

Луиза Мишель в своих мемуарах упоминает о Дмитриевой как об «участнице Кордери» [2] и деятельнице народных школ [3].

М. П. Сажин свидетельствует, что «Елизавета Дмитриева» во время Коммуны вела усиленную пропаганду и агитацию в Париже среди женщин-работниц, организовывая их в различных округах города [4].

Тот же М. П. Сажин рассказал пишущему эти строки при личном свидании 6 апреля 1928 г., что, будучи высокой, очень красивой брюнеткой, «Елизавета Дмитриева» выступала очень эффектно на собраниях, одетая в черное манто и нося под ним красный шарф, а на поясе маленький револьвер. По мере воодушевления во время речи она раскрывала полы манто и всем видны были красный шарф и револьвер. Излюбленные темы ее речей были: о Тьере, о гражданской войне и о Парижской Коммуне. Содержание речей было ей внушено, по словам М. П. Сажина, Малоном, с которым она была интимно близка.

Так как мы знаем, что Центральный комитет Союза женщин для защиты Парижа и помощи раненым с 11 апреля по 14 мая 1871 г. провел 24 публичных собрания по всем округам Парижа [5], и можно предположить, что на всех этих собраниях выступала и «Дмитриева», то это дает некоторое представление о размахе ее пропагандистской деятельности.

Шпион Тьера в командовании Коммуны, Барраль де-Монто, сын крупного мануфактуриста с юга и полковник штаба 7-го округа в войсках Коммуны, говорит в своем показании парламентской следственной комиссии о «Дмитриевой» следующее:

«Г-жа Дмитриева — любовница Урскина, председателя Женевского комитета Интернационала (здесь речь идет, повидимому, об Утине, Николае Исааковиче). Она держала в своих руках Комитет женщин, имевший в каждом округе могущественное бюро, основанное под предлогом ухода за ранеными. Это бюро производило выбор наиболее способных женщин и посылало их к членам Коммуны... Комитет был под руководством одной Дмитриевой и работал только для Интернационала. Все документы его клубов имели заголовок «Всемирная республика». Различные социалистические клубы были клубами Интернационала. Одно время они были достаточно сильны, чтобы издать приказ об увольнении из мэрии всех служащих, не бывших участниками этих клубов. Надо было обязательно быть республиканцем и коммунаром и иметь рекомендацию какого-нибудь клуба» (См. «Enquête parlementaire» в одном томе, стр. 289).

---

[1] См. приложения к показанию полковника Гайяра, приведенные в «Enquête parlementaire sur l'insurrection du 18 Mars» (перепечатка в одном томе), стр. 549, Paris 1872.

[2] Помещение Федерального совета Интернационала, федеральной камеры рабочих организаций и ЦК национальной гвардии (См. Jules de Gastyne, Mémoires secrets du Comité Central et de la Commune, стр. 19—20, Paris 1871.)

[3] Луиза Мишель, Коммуна. Из воспоминаний, стр. 116, Гиз. 1926.

[4] См. М. П. Сажин, Воспоминания, стр. 78.

[5] См. об этом «Le Cri du Pueple» от 14 мая 1871 г.

Но одной пропагандой работа «Дмитриевой» в Париже во время Коммуны не ограничивалась. М. П. Сажин сообщает, что 22 мая он забежал на квартиру «Дмитриевой», но его встретила ее квартирная хозяйка и сказала, что «Дмитриева» еще 21 мая «поздно вечером оставила квартиру, забрав с собою все свои вещи»[1]. Можно думать, что «Дмитриева» исчезла с парижского горизонта ночью 21 мая.

Между тем участник Коммуны Луи Баррон, социалист, служивший в штабе Коммуны при Клюзере и Росселе, рассказывает в своем дневнике под датой «Вторник, 23 мая:

«На рассвете отряд воинственных женщин, с ружьями на перевязи или на плече, с красными кокардами на головных уборах, дерзко заложенных на уши, появляется для защиты коммунального дома. Во главе их, как их капитан, шествует княжна Дмитриева с длинными волосами, развевающимися по ветру, с грудью, покрытой красным шарфом. Нежным и сильным голосом она говорит «В то время как наши братья идут сражаться на баррикадах, мы требуем чести охранять народный муниципалитет: мы будем его защищать до последней капли крови»[2].

Единственный из французских марксистских историков, писавший о Коммуне 1871 г., Дюбрейль, сообщает, что «на площади Бланш батальон женщин, под командой героической Луизы Мишель и русской Дмитриевой, уже накануне (22 мая. — *И. К.*) сражавшийся в Батиньоле, обнаружил чудеса храбрости. Когда позицию уже невозможно было удерживать, батальон отбежал на несколько сотен метров далее, на площадь Пигаль, где вновь боролся с неприятелем; и так, отступая с одной баррикады, чтобы возобновить эту жестокую борьбу на следующей, батальон этот сражался до последнего дня»[3].

Упоминает о «Дмитриевой», «русской, хорошо известной революционерам», как о сражавшейся 22 мая на баррикадах Монмартра, «при повороте на улицу Лепик», и член Коммуны Лефрансе[4].

Историк Коммуны Лиссагаре в своей «Истории Коммуны 1871 г.», стр. 244, (изд. «Колокол», М. 1905), говорит о ней: «Одна молодая русская, богатая, знатного рода, прекрасная собой, называвшая себя Дмитриевой, была Теруанью этой революции»[5].

Наконец, секретарь русского посольства в Париже Обресков в своем донесении начальнику III Отделения графу Шувалову из Парижа от 24 июня — 6 июля 1871 г., хранящемся в секретном архиве III Отделения, в дополнение к пересланной 30 апреля — 12 мая печатной прокламации с подчеркнутым красным карандашом именем Елизаветы Дмитриевой среди подписей под патриотическим воззванием «Союза женщин для защиты Парижа и для помощи раненым», поясняет: «Я знал, что эта опасная женщина, русская подданная, уже давно

---

[1] См. «Воспоминания», стр. 77.

[2] Louis Barron, Sous le drapeau rouge, p. 178—179, Paris, Savine, 1889.

[3] Луи Дюбрейль, Коммуна 1871 г., стр. 223—224, Гиз. 1920.

[4] См. его «Воспоминания коммунара», стр. 125, Гиз. 1925.

[5] Теруань де-Мерикур (1762—1817), одевавшаяся амазонкой и носившая оружие, выступала с речами в клубах якобинцев и 10 августа 1792 г. предводительствовала толпою женщин и рабочих.

бросилась в социалистическое движение, что она интересовалась бесконечно больше действиями Коммуны, чем ранеными своего походного госпиталя, и что она принимала активное участие в беспорядочных (échevelées) манифестациях ей подобных в Ратуше. Она организовала в мэрии 10-го округа Центральный женский комитет, имевший целью содействие защите Парижа, и можно было предвидеть, что она сыграет заметную роль в конечном периоде восстания. Действительно, 23 мая, когда армия атаковала этот квартал, Елизавету Дмитриеву видели на баррикадах; она воодушевляла федератов к сопротивлению, раздавала им амуницию и сама стреляла, стоя во главе около пятидесяти мегер. Считают достоверным, что она содействовала, словом и делом, пожарам, обездолившим Париж»... [1]

Итак, целый ряд свидетелей удостоверяет, что «Дмитриева» до последнего дня Коммуны сражалась в рядах ее самых храбрых защитников в течение всей так называемой «кровавой недели», стоя во главе женского отряда и воодушевляя своим примером мужчин.

Повидимому, о «Дмитриевой», не называя ее имени, говорит и Сюттер-Ломан в своей «Истории национального гвардейца»: «На улице Аббатства... я вижу — проходит толпа женщин с ружьями на плече, с пороховницами по бокам, с поднятыми высоко юбками. Они кричат: «Да здравствует Коммуна!» Одна из них держит красное знамя, которым она лихорадочно машет. Этими женщинами, числом до 20, командует очень красивая девушка, брюнетка, с вьющимися волосами. Она высока, стройна, хорошо сложена и носит бодро на кончике уха тирольскую фетровую шляпу, украшенную длинным петушиным пером и багровой кокардой. Отряд направляется к улице Лепик» [2].

Кроме Лиссагаре, Поль и Виктор Маргерит в своем романе о Парижской Коммуне, основанном на их собственных воспоминаниях и документах эпохи Коммуны, также упоминают о «Дмитриевой» как об очень красивой русской княжне. Повидимому, русской княжной «Дмитриеву» считали многие коммунары, хотя, как увидим далее, мнение это было ошибочным.

III. Судьба «Дмитриевой» после Коммуны

Что же сталось с «Дмитриевой» потом, после «кровавой недели» мая 1871 г.?

Из официальных документов о судьбе «Дмитриевой» говорят упомянутое выше письмо секретаря русского посольства в Париже Обрескова от 24 июня — 6 июля 1871 г. и донесение агента III Отделения из Парижа от 28 октября — 9 ноября 1872 г.

В письме Обрескова сообщается, что судьба ее неизвестна. «Какова судьба этой сумасшедшей? Казнили ли ее среди других, не установив ее личности? Перевезли ли ее в Версаль и оттуда в какой-нибудь морской порт под ложным именем, выдуманным ею самой? До сих пор невозможно было узнать что-либо на этот счет».

---

[1] Письмо это, написанное по-французски, было предоставлено нам в копии П. Е. Щеголева.

[2] Sutter-Laumann. Histoire d'un trente-sous (1870—1871), p. 304, Paris 1981.

В донесении агента III Отделения 1872 г. сообщается: «Елизавета Дмитриева», председательница женского комитета Коммуны, присуждена к ссылке в крепости» [1].

Но это последнее донесение ложно. Из отчета об осужденных участницах Коммуны, сообщенного парламентской следственной комиссии, явствует, что всего 4-му военному суду предано было 1051 женщина, из них 1032 француженки, 5 немок, 6 бельгиек, 4 польки, 2 итальянки, 1 испанка и 1 швейцарка. Среди них нет ни одной русской [2].

«Дмитриевой», повидимому, удалось ускользнуть от преследований палачей Коммуны.

Затем известный жандармский историк революции Голицын в «Истории социально-революционного движения в России (1861—1881. Глава десятая. СПБ, Типография министерства внутренних дел, 1887), отпечатанной всего в числе 50 экземпляров, под словом «Эльпидин» на стр. 172—173 сообщает, что в январе 1872 г. Эльпидин, Озерова, и студентка Дмитриева «составили как бы триумвират для вербования членов Интернационала; с этими же лицами он подписал протест в пользу парижских коммунаров в то время, когда дело о выдаче их или невыдаче рассматривалось в Главном союзном совете Швейцарии» [3].

Можно было бы подумать, что речь идет о «Елизавете Дмитриевой». Но то же сообщение Голицын повторяет и под словом «Дмитриева, Софья Петровна» (стр. 93—94), где речь идет о цюрихской студентке, жившей под этой фамилией, именем и отчеством, которые не были псевдонимами, так как за такою же подписью она в 1878 г. и 1879 г. подавала в департамент полиции прошение о разрешении держать поверочное испытание на доктора, но оба раза ей было отказано.

Тверитинов, ездивший в Швейцарию в 1874 году, рассказывает, что Малон был большим почитателем Чернышевского и что он «развился под влиянием одной русской (Елизаветы Дмитриевны Томашевской) (здесь разумеется «Дмитриева»—*И. К.*), которая много ему наговорила о Чернышевском».

Метранпаж и наборщик Брисме, бельгийский делегат на Гаагском конгрессе Интернационала, близкий к «Альянсу» Бакунина (у этого Брисме Тверитинов печатал свои переводы Чернышевского на французский язык), по словам Тверитинова всякий раз, когда вспоминал о «Дмитриевой», восклицал: О, чорт возьми, как она прекрасна!» (O, sacré nom de Dieu, qu'elle est belle!)[4]

Итак, «Дмитриева» «много наговорила» члену Коммуны Малону о Чернышевском. Мы знаем уже со слов М. П. Сажина, что во время Коммуны «Дмитриева» была близка с Малоном, и он внушал ей содержание ее речей в клубах. Теперь мы узнаем, что «Дмитриева» оказала в свою очередь влияние на идейное развитие Малона, познакомив его с идеями Чернышевского. Последнее могло произойти во время Коммуны в Париже или в Швейцарии, так как после Коммуны Малон также

---

[1] Документ передан нам также в копии П. Е. Щеголева.

[2] См. «Enquête parlementaire», стр. 548.

[3] В Полном собрании сочинений А. И. Герцена под ред. М. К. Лемке том 18-й, стр. 222—223, Гиз, это место цитировано неточно. Речь идет не об Озерове, а об Озеровой (Ольге).

[4] А. Тверитинов, Об объявлении приговора Н. Г. Чернышевскому и т. п.— стр. 30—31 и 70, Спб. 1906.

бежал в Женеву и там вместе с Лефрансе и Разуа издавал газету «La Revanche», закрытую швейцарским правительством в феврале 1872 г. [1].

О дальнейшей судьбе «Дмитриевой» мы имеем два свидетельства. Переводчик книги Дюбрейля о Коммуне, покойный Н. С. Тютчев, старый революционер, живший в ссылке в Красноярске, в примечании 2-м на стр. 223 названной книги сообщает, что «Дмитриева» вернулась после Коммуны в Россию и вышла замуж за некоего Давыдова, осужденного затем по общеуголовному делу «червонных валетов» в ссылку, в Сибирь. Дмитриева добровольно последовала за мужем и в конце 80-х годов жила в Красноярске».

М. П. Сажин в своих «Воспоминаниях» (стр. 77—78) сообщает, что Дмитриева «после падения Коммуны вернулась в Россию и одно время жила в Красноярске с мужем, судившимся по какому-то уголовному делу и сосланным на поселение. Когда всех нас, политических преступников, содержавшихся в 70-х годах в двух центральных каторжных тюрьмах Харьковской губернии, переводили в Восточную Сибирь тоже на каторгу, она в Красноярске безуспешно пыталась повидаться со мною в тюрьме».

Из свидетельств Н. С. Тютчева и М. П. Сажина явствует, что Дмитриева по возвращении вышла замуж за человека, осужденного по уголовному делу и сосланного на поселение в Сибирь, и что она жила в Красноярске в 70-х годах (по М. П. Сажину) или в конце 80-х годов (по Н. С. Тютчеву).

Указание на дело «червонных валетов», по которому осужден был муж «Дмитриевой», позволяет нам, по ознакомлении с толстой книгой об этом деле — «Клуб червонных валетов. Уголовный процесс» (Издание Н. Н. З. Москва 1877, стр. 591), установить, что Н. С. Тютчев неточно называет фамилию мужа «Дмитриевой» — Давыдов. Звали его Иван Михайлович Давыдовский [2].

Судя по характеристике Давыдовского, данной на суде его защитником, присяжным поверенным В. М. Томашевским, и по другим указаниям, имеющимся в деле, Давыдовский — дворянин; он учился в гимназии и 4 года в университете («Клуб червонных валетов», стр. 286). Он «когда-то принадлежал к разряду состоятельных людей, но, не умея разумно пользоваться средствами, разоряется, оставляет провинцию [3] и переезжает в Москву» (раньше 1868 г.). «Здесь он сталкивается с... эксплоататорами, которые окончательно его запутывают и доводят до несостоятельности» (стр. 449). «Этот человек достаточно испытал в жизни и для него настала пора отдохнуть в семейной жизни» (стр. 500), тем более, что у него на руках дети, родившиеся, повидимому, от первого брака (стр. 498). Но осенью 1876 г. Давыдовского заключают под стражу (стр. 227) по делу об убийстве Славышенского, юрисконсульта мошенников, в среду которых Давыдовский попал (стр. 223 . В то время он как раз собирался жениться на Елизавете

---

[1] См. о Малоне большой Larousse и Гуго и Штегман, Справочная книга социалиста. т. II, стр. 467, Спб. 1906.

[2] Об этом см. сообщение И. К. Луппола, «Из переписки К. Маркса с М. Ковалевским («Летописи марксизма» 1928, № 6, стр. 73): «Наш вывод:... Елизавета Дмитриева и есть жена «червонного валета» Давыдовского. Этот вывод если и не документально очевиден, то и не просто возможен, а весьма вероятен, почти достоверен». — Прим. ред.

[3] Повидимому, Одессу. См. стр. 501 той же книги.

Лукиничне (в книге напечатано «Лукьинишне») Тумановской (стр. 500). В тюрьме он сидит 9 месяцев и ничего не знает о ходе следствия (стр. 500).

По жалобе, поданной еще 20 августа 1871 г. прокурору московского окружного суда женой почетного гражданина Еремеевой, Давыдовский обвиняется вместе с еще 6 лицами в обманном получении от ее мужа безденежных векселей и других документов, которые Еремеев подписывал в состоянии беспамятства, будучи напоен коньяком и ромом [1].

В одиночном заключении Давыдовский заболел. «Болезнь, боязнь, чтобы не поверила наветам Е. Л. Тумановская, на которой он собирался жениться, заставила его наговорить на себя следователю, будто ему принадлежал револьвер, которым был убит Славышенский, и он был освобожден под домашний арест («Клуб червонных валетов», стр. 500). Кроме того, Давыдовский сознался на суде, что выдал векселя от имени своей матери и сестер по не существующей доверенности (там же, стр. 203). «На суде же оказалось, по показанию Протопопова, что Давыдовский оговорен ложно из личных видов его, Протопопова, относительно разных льгот, обещанных ему следователем» (стр. 34).

Защитник Давыдовского — присяжный поверенный Томашевский — был глубоко убежден в невиновности Давыдовского и в том, что его оговорили другие подсудимые, чтобы облегчить свое наказание.

Журналист того времени, посвятивший делу «червонных валетов» целый фельетон в «Русских ведомостях» от 6 марта 1877 г. за подписью «Скромный наблюдатель», замечает: «Предварительное следствие по настоящему процессу производилось далеко не безупречно»... Как только некоторые подсудимые изъявляли желание дать показания, обвиняющие новых лиц, следователь освобождал их из-под ареста, а они потом несли всякий вздор. «При подобной системе судебного следствия... никто из нас не гарантирован от обвинения в каком-нибудь преступлении».

Тем не менее на суде, продолжавшемся с 8 февраля до 5 марта 1877 г., Давыдовский признан виновным в том, что «14 августа 1871 г., по предварительному соглашению с другими лицами, приведя почетного гражданина Еремеева хмельными напитками до беспамятства в пьяное состояние и дав ему 200 руб., уговорил его подписать, а затем выманил у него, из корыстных видов, безденежные вексельные бланки и таковой же вексель в 20 000 руб. на имя Мазурина»... «Протопопов и Давыдовский признаны действовавшими как члены преступного сообщества» (уголовного) [2]. Давыдовский лишен всех прав состояния и сослан в Сибирь на поселение в места не столь отдаленные [3].

Сам Давыдовский в своем последнем слове не признавал себя виновным ни в чем (см. «Голос», № 64 от 5 марта 1877 г.). Е. Л. Тумановская, ставшая официально женой Давыдовского, повидимому уже после того как он был привлечен к суду по делу «червонных валетов», говорила на суде, что судебный следователь предпринимал неправильные действия по изобличению ее мужа, отвергала свидетельские показания против ее мужа и описывала его нравственные качества с положительной стороны («Голос», № 48 от 17 февраля 1877 г.).

---

[1] См. обвинительный акт по делу «червонных валетов», напечатанный в приложении к № 40 петербургской газеты «Голос» от 9 февраля 1877 г.

[2] См. «Голос», № 66 от 7 марта 1877 г.

[3] См. «Клуб червонных валетов», стр. 587.

Довольно подробную характеристику Давыдовской дает автор «внутреннего обозрения» петербургского журнала «Дело» Н. Ш. (это — Н. В. Шелгунов [1]).

Повидимому, и приговор суда, признавшего Давыдовского виновным, не поколебал «Дмитриеву» в ее убеждении в невиновности ее мужа, так как она последовала за ним в Сибирь, решив это сделать еще до суда, как об этом можно заключить по упомянутому выше письму Маркса к Ковалевскому.

Остается неясным только один пункт. Маркс говорит в своем письме: «Я узнал, что одна русская дама, которая оказала большие услуги партии, не может найти в Москве адвоката для своего мужа за отсутствием денег. «Между тем сама «Дмитриева» заявила на суде, что она — «далеко не бедная женщина», а мужа ее защищали на суде два адвоката — Томашевский и Кутырин (см. «Голос», № 41 от 10 февраля 1877 г.). Сам Маркс в том же письме указывает, что «M-me предоставила управление своим состоянием мужу»; значит, и Маркс знает, что у нее есть состояние, и, таким образом, непонятно, почему у нее отсутствуют деньги для адвоката [2].

Как бы то ни было, из дела «червонных валетов» мы узнаем подлинное имя, отчество и фамилию по первому мужу «Дмитриевой», так как Елизаветой Лукиничной Тумановской ее называет неоднократно в своей речи адвокат Томашевский, и нельзя допустить, чтобы он ошибался в обозначении ее имени. Напротив, приходится признать, что Тверитинов, называющий «Дмитриеву» — Елизаветой Дмитриевной Томашевской, ошибается в обозначении ее отчества и фамилии.

Повидимому, «Дмитриева» в начале 1877 г. еще имела, непосредственно или через третьих лиц, письменные сношения с Карлом Марксом, о чем свидетельствует упомянутое письмо его к М. М. Ковалевскому. Попав вслед за мужем в Сибирь, в Красноярск, она, по свидетельству М. П. Сажина, пытается повидаться с ним в тюрьме.

М. П. Сажин сообщил нам еще при личном свидании, что впоследствии «Дмитриева» воспитала двух своих дочерей так, чтобы они ничего не знали о революции. В дальнейшем никаких следов о «Дмитриевой» мы не находим ни в каких революционных документах.

IV. Розыски «Дмитриевой»

В заключение сообщаем о попытках, предпринятых нами, чтобы разыскать какие-нибудь сведения о Е. Л. Тумановской-Давыдовской, в надежде, что эти попытки будут использованы и другими лицами, которые заинтересуются личностью «Дмитриевой».

Мы обратились к старожилу Красноярска, врачу Владимиру Михайловичу Крутовскому, который знал всех революционеров и уголовных поселенцев Красноярска за последние 50 лет как врач и как общественник.

---

[1] «Дело», 1877 г., № 3, стр. 143—170. Об этом см. И. Луппол, op. cit. («Летописи марксизма», 1928, № 6, стр. 72). — Прим. ред.

[2] У Давыдовской было собственное имение, где жил ее муж. См. «Клуб червонных валетов», стр. 162.

Вот что он нам ответил:

13 июня 1928 г., Красноярск.

Многоуважаемый Иван Сергеевич!

Исполнить Вашу просьбу я не мог. Сам я никакой Давыдовской не знал. Здесь жил декабрист Давыдов, который здесь и умер, и его могила известна. Из «червонных валетов» было много: и Лавров, знаменитый по «Петербургским трущобам», и известный Юханцев, Арбатский, Рыков, герой Скопинского банка, но Давыдовского не было.

Я справки наводил у старых людей — никто ничего не знает.

Справлялся в отделе музея «Старый Красноярск», и здесь ничего не известно.

Таким образом, помочь я Вам не могу.

В. Крутовский.

5 июня 1928 г. мы обратились с запросом о Давыдовской, по совету одного старого народовольца, к Марии Осиповне Шебалиной, живущей теперь в Москве, но раньше много лет жившей в Красноярске. К сожалению, мы никакого ответа не получили.

15 июня 1928 г. мы послали одно и то же письмо Николаю и Сергею Николаевичам Тумановским, живущим в Москве (первый — Мясницкая, 15, кв. 5, а второй — Станция Лосино-Островская, Северных ж. д., 2-я линия, дом Сидорова), с просьбой ответить на следующие вопросы: 1) Не являетесь ли вы родственником Е. Л. Тумановской - Давыдовской? 2) Если являетесь, то не можете ли сообщить что-либо о ее родителях, — чем они занимались, где ее учили и т. п.? 3) Были ли они еврейского происхождения, как утверждают некоторые историки, французские и русские? 4) Нет ли у Вас фотографии Елизаветы Лукиничны, чтобы снять с нее копию? 5) Что Вы знаете о судьбе ее после замужества? 6) Если сами не знаете о ней ничего, не можете ли указать адрес ее родных, которые могли бы сообщить просимые сведения.

В ответ мы получили следующую открытку от Н. Н. Тумановского:

I—VI—28 [В оригинале ошибочно обозначено 1 июля. — *И. К.*]

Многоуважаемый Иван Сергеевич!

О вашей просьбе сообщил родственникам в провинцию и по получении от них каких-либо сведений немедленно Вам сообщаю. Я же ничего о Е. Тумановской не знаю. С приветом

Н. Тумановский.

Несколько обращений наших к старейшим революционерам-народовольцам также не дали результатов, так как «Дмитриева» осталась им неизвестной.

Лишь в конце декабря 1928 г., будучи в научной командировке в Москве, нам удалось в два приема лично переговорить с упомянутой выше народницей Марией Осиповной Шебалиной и записать сообщенные ею сведения о жизни Е. Л. Давыдовской в Сибири.

М. О. Шебалина, урожденная Валесюк, окончила в 1893 г. фельдшерские курсы в Красноярске и, будучи проникнута народническими идеями, постаралась сейчас же поступить на службу в село, чтобы работать «в народе». Село Заледеево было в 20 верстах от Красноярска, и М. О. прожила в нем два года, не теряя связи с ссыльной колонией Красноярска. Село было большое, с церковью и волостным правлением, и стояло на Владимирском тракте. Здесь М. О. пришлось

лечить, между прочим, и семью Давыдовских, и она очень близко сошлась с ними.

Жили Давыдовские довольно уединенно у самой церкви, где владели двухъэтажным маленьким домиком. Хотя Елизавета Лукинична могла иметь прислуг, она все делала сама, даже за коровой и лошадью сама ухаживала и всю черную работу по дому делала.

При этом она еще очень много («целый день») занималась со своими двумя взрослыми дочерьми и никуда их не выпускала одних в гости, хотя одной было уже около 25 лет, а другой около 17. Учила она дочерей больше всего языкам и, вероятно, астрономии, так как сама часто целые ночи проводила на дворе, на морозе, изучая звезды. Из-за этого изучения звезд по целым ночам ее многие считали ненормальной.

Елизавете Лукиничне было лет 50, но черные волосы, черные глаза и крупная фигура делали ее очень моложавой на вид. По наружности ее можно было принять за еврейку, однако во всех комнатах у нее висели иконы.

Муж Елизаветы Лукиничны — Иван Михайлович Давыдовский — не был замкнутым человеком, как его жена, и производил отличное впечатление своею общительностью и преданностью общественным интересам. Так, он когда угодно давал лошадь для поездки в Красноярск за 20 верст за лекарством, если оно кому-нибудь нужно было в селе. С населением села он жил дружно, и его все уважали. Когда Марию Осиповну, как подозрительную в политическом отношении, хотели уволить от фельдшерской службы и заменить пьяницей-фельдшером, по инициативе И. М. Давыдовского был созван волостной сход для вынесения приговора, что селу нужна именно Мария Осиповна, а не пьяница-фельдшер, и сход вынес постановление согласно предложению И. М. Давыдовского. Но в делах он не был практическим человеком, хотя был предпринимателем; он устроил, между прочим, скипидарный завод, но прогорел, как и в других предприятиях. Был он честный, но безалаберный человек.

До Заледеева Давыдовские жили много лет в Енисейске. Там они держали кондитерскую, в которой Елизавета Лукинична сама работала, но и это дело у них прогорело.

О своем прошлом Елизавета Лукинична рассказывала Марии Осиповне, когда с ней сблизилась, и дала ей свою семейную фотографию, отобранную впоследствии при обыске жандармами. Когда Елизавета Лукинична рассказала ей, что была секретарем Маркса и участвовала в Парижской Коммуне, Мария Осиповна не поверила ей, так как ссыльная колония, с которой Мария Осиповна общалась, предупреждала ее против Елизаветы Лукиничны, что политическое ее прошлое «подозрительно», не допуская, чтобы «секретарь Маркса» и «участница Парижской коммуны» вышла замуж за осужденного по делу «червонных валетов». Поэтому, при всей симпатии Марии Осиповны ко всей семье Давыдовских, где ее принимали как родную, у нее была все же настороженность по отношению к ней в политическом отношении.

Теперь, узнав с моих слов, что Елизавета Лукинична действительно была дружна с Марксом и участвовала в Парижской Коммуне, что подтверждается многими документами, Мария Осиповна очень жалеет о своей былой предубежденности по отношению к политическому прошлому Елизаветы Лукиничны, так как

при другом отношении не пропустила бы мимо ушей сообщенных ей многих подробностей о прошлой революционной работе Елизаветы Лукиничны. Теперь замкнутость Елизаветы Лукиничны объясняется Марией Осиповной именно недоверием к ней со стороны ссыльной колонии. Мария Осиповна припоминает, что Елизавета Лукинична много писала, и возможно, что это были воспоминания о ее прошлой жизни за границей, в Лондоне, Женеве и Париже.

Прожив два года в селе Заледееве, Мария Осиповна вышла замуж за ссыльного Лебедева (по первому браку) и уехала в Красноярск, но и потом нередко вместе с мужем бывала у Давыдовских в гостях и знает, что в 1897 или 1898 г. Давыдовский получил амнистию и со всей семьей переехал в Москву. Младшая дочь Давыдовских, Вера Ивановна, жила в Москве до самой революции, а может быть и после нее.

ДВА ПИСЬМА Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО К СЫНОВЬЯМ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Печатаемые ниже два письма Н. Г. Чернышевского от [8/III 1878 г.] и 6/IV 1878 г., посланные им из Сибири сыновьям (А. Н. и М. Н. Чернышевским) и характерные для его философских воззрений, были задержаны, вместе с другими шестью письмами, якутским губернатором.

В своем донесении генерал-губернатору Восточной Сибири якутский губернатор в апреле 1878 г. сообщал следующее:

«Государственный преступник Чернышевский в письмах своих к детям в виде назидательных бесед помещал свои в ученом смысле рассуждения, со вставками мнений и других авторов. Во всем этом ничего предосудительного не было, и письма отправлялись по адресу.

Ныне же с тремя последними почтами из Вилюйска, с 8 марта по 6 апреля, в числе полученных писем от Чернышевского восемь, по рассмотрению, обратили на себя особое внимание собственно своим содержанием, а именно под № 1 — и 3—рассказ из воспоминаний Чернышевского про своих дедов, под № 4—рассказ Брет-Гардта, перевод Чернышевского с английского, и под № 5, 6, 7 и 8 уже не есть продолжение прежних бесед с детьми его (как называет Чернышевский), а труд самостоятельный по всеобщей истории с философической точки зрения.

Все восемь писем, подразделенные мною на три категории: рассказ, переводы и философские рассуждения, хотя и не заключают в себе ничего предосудительного, но представляют собою уже труд самостоятельный, вполне годный для печати, и тем более, что Чернышевский, увеличив число и объем своих писем, обещает и продолжение их.

А поэтому и ввиду неопределенности 12 § инструкции, присланной при предписании предместника Вашего Высокопревосходительства от 18 ноября 1871 г. за № 82, и на основании 15 § той же инструкции имею честь представить все восемь писем на благоусмотрение Вашего Высокопревосходительства и почтительнейше просить указания, как поступать на будущее время с подобными письмами Чернышевского, видимо переходящими из простых родственных писем и назиданий его детям к авторскому труду.

При этом имею честь почтительнейше доложить, что впредь до получения предписания Вашего Высокопревосходительства по настоящему предмету вновь получаемые подобные письма от Чернышевского мною будут задерживаться».

Генерал-губернатор запросил шефа жандармов и получил следующее разъяснение:

«По поводу представленных Вашему Высокопревосходительству при донесении Якутского губернатора от 28 апреля сего года за № 41, а Вами доставленных ко мне писем государственного преступника Николая Чернышевского, имею честь Вас, милостивый Государь, уведомить, что так как на основании инструкций, разновременно последовавших относительно корреспонденции государственных

и политических преступников, находящихся как в каторжной работе, так и на поселении, им разрешается только извещать о себе родных, Чернышевский же, в помянутых своих письмах, кроме того рассказывает о предметах совершенно посторонних, то означенные его письма признаны мною не подлежащими отправлению по назначению.

Обращаясь затем к вопросу Вашего Превосходительства относительно будущей корреспонденции Чернышевского, считаю долгом сообщить, что я разделяю мнение Ваше о полезности доставлять таковую во вверенное мне управление, но при этом признаю справедливым предупредить и Чернышевского, что на основании установленных правил он имеет право в письмах своих к родным лишь извещать их о своем положении в приличных формах и выражениях, не касаясь вовсе посторонних обстоятельств». (Шеф жандармов Мезенцов — генерал-губернатору Восточной Сибири 18 июля 1878 г., № 1257.)

Задержанные письма Н. Г. Чернышевского пролежали в тайниках департамента государственной полиции вплоть до революции 1917 г., когда сыну Николая Гавриловича, покойному Михаилу Николаевичу Чернышевскому, удалось разыскать их. Ниже печатаются два из этих писем, характеризующие общефилософские взгляды Николая Гавриловича; текст их (равно как и текст вышеприведенной переписки) сообщен редакции «Летописей марксизма» Н. А. Алексеевым.

Оба эти письма Н. Г. Чернышевского под оболочкой иногда шутливой, иногда нарочито грубоватой речи заключают в себе критику идеализма и принципиальное обоснование материалистического мировоззрения. Чернышевский рассматривает отношение философии и естествознания нового времени; его задача — показать, что успехи, достигнутые после Ньютона и Лапласа естествознанием (в связи с которым он рассматривает и математику), блестяще подтвердили тот факт, что основной истиной для естественных наук является признание своим предметом объективно реального внешнего мира, т. е. материалистическая точка зрения.

В письме от 8 марта 1878 г. Чернышевский ставит вопрос о том, «какой судьбе подвергло себя большинство всех вообще специалистов по естествознанию, в том числе и астрономов, то есть математиков, подчинившись плохо узнанным и еще меньше того понятым теориям идеалистической философии».

Ряд резких выпадов Чернышевского против Гельмгольца, Лобачевского, Гаусса, его защита тех «элементарных комбинаций, о которых говорит Эвклид», могут быть оценены по существу только в том случае, если твердо помнить, что всюду у него речь идет о противоестественном соединении естествознания и идеализма. Готовый признать авторитет буржуазных естествоиспытателей в пределах их специальности, Чернышевский неутомимо подчеркивает, что громадное большинство из них придерживается идеалистического мировоззрения, и вот здесь-то он признает за собой не только право, но и обязанность решительнейшим образом с ними бороться.

Так, высказываясь по поводу исследования Гаусса «О мере кривизны поверхностей», Чернышевский заявляет: «Я полагаю, что эта работа Гаусса — работа дельная и очень важная. Так ли, не знаю. Но думаю: так. Я готов превозносить за нее Гауса. Но очевидно, что Гаус был сбит с толку философиею Канта и, когда пускался философствовать, завирался».

Против «диких фантазий Гауса во вкусе Канта» Чернышевский выставляет ту «реальную истину», что «три измерения, это — качество вещества, это — сама природа вещей»; тем самым он вплотную подходит к вопросу о кантовском трансцендентализме, противополагаемом им учению «Дидро и его друзей», т. е. французскому материализму XVIII века.

Замечательна характеристика, данная Чернышевским кантовским «трансцендентальным формам». Эти «формы, — говорит Н. Г., — придуманы Кантом для того, чтобы отстоять свободу воли, бессмертие души, существование бога, промысл божий о благе людей на земле и о вечном блаженстве их в будущей жизни, — чтобы отстоять эти дорогие сердцу его убеждения от — кого? — собственно от Дидро и его друзей; вот о чем думал Кант».

По твердому, годами выношенному убеждению Чернышевского, принять точку зрения Канта — это значит разбить вдребезги все естествознание, разбить в прах все формулы математики.

Таким образом, для Чернышевского ясно, что если французский материализм XVIII века находился в тесном союзе с естественными науками, то, наоборот, кантианство, как идеалистическая философия, посягает на самые основы научного мировоззрения. Вот почему голос, раздававшийся из далекой Сибири и по воле царских сатрапов не дошедший по адресу, так резко, с такой силой убеждения восстает против союза, заключенного буржуазными естествоиспытателями с идеалистической философией.

Чернышевский прекрасно учитывает общественно-реакционную роль буржуазного идеализма — «исправленной доктрины Петра Ломбардского, Томаса Аквинатского и Дунса Скотта», «исправленных практических стремлений Петра Дамиани и Бернара Клервосского».

И, разъясняя своим детям, в чем состоит истинное научное миропонимание, Чернышевский прямо указывает, что это — материализм — «точка зрения Людвига Фейербаха».

В письме от 6 апреля 1878 г. Чернышевский продолжает изложение основ материалистической философии. «То, что существует,— вещество»,— такова по его указанию первая предпосылка научного мировоззрения.

С удивительной ясностью Чернышевский формулирует задачи материалистической теории познания в ее отношении к естествознанию. Он подчеркивает, что основным вопросом здесь является не то, насколько прав тот или иной представитель естествознания,— самое существенное здесь — проблема объективной реальности.

«Прав ли Коперник, или Ньютон, или Лаплас, это нимало не занимательно лично для меня. Лично для меня важно лишь то, что прав Левкипп, или — чтобы говорить о современной Лапласу науке,— что прав Гольбах. А Левкипп одинаково прав, если б и не прав был Архимед. Истина, которую разъяснял Левкипп, шире и глубже хоть и великих, хоть и фундаментальных открытий Архимеда. И Гольбах прав независимо от того, правы ли Коперник и Галилей, и Кеплер, и Ньютон, и Лаплас».

Основная мысль Чернышевского в том, что материалистическое утверждение объективной реальности «вещества» ничуть не колеблется в зависимости от тех или иных открытий в области естественных наук, которые, наоборот, постольку и являются великими открытиями, поскольку все с новых точек зрения освещают «природу вещей».

Познаваемость реально существующего «вещества» — таково гносеологическое утверждение, отличающее материализм от идеализма:

«Мы знаем предметы. Мы знаем их точно такими, каковы они на самом деле».

В противовес этому идеализм, говорит Чернышевский, придерживается взгляда о непознаваемости материального мира: «В той чепухе говорится, будто мы видим не то, что мы видим, или будто нам кажется, что мы видим то, чего мы не видим».

Следует признать, что в этой характеристике основного отличия между материализмом и идеализмом Чернышевский вплотную подходит к теории познания диалектического материализма. Более того — его анализ новейшего естествознания в его связи с идеалистической философией, его указание на действительный материалистический смысл научного познания в значительной мере необходимо рассматривать как исторический прототип ленинской постановки вопроса о новейшем естествознании в его связи с философским понятием материи.

Науки о природе, составляющие непосредственный предмет рассмотрения Чернышевского в данных письмах, столь тесно связаны для него с материалистическим мировоззрением, что в нарушении этой связи он видит гибель научного естествознания: «Помните сказку об умном мужике, усердно рубившем сук, на котором уселся. Этот мужик, уму которого дивились проезжие и прохожие, —

несомненно «общий предок» всех тех философствующих по Платону и Канту натуралистов».

Когда натуралисты утверждают, что «мы знаем не предметы, каковы они сами по себе, а лишь наши ощущения от предмета, лишь наши отношения к ним», то они лишь повторяют мысли, заложенные в учениях Платона и Канта.

Платон, по мысли Чернышевского, «был враг научной истины», более того — его философия была тесно связана с его реакционной политической позицией. То же встречается и у Канта: «отрицание всякой научной истины, какая не по вкусу Канту или людям, нравящимся Канту».

И вот Чернышевский спрашивает: почему же натуралисты, стремящиеся познать истинную «природу вещей», в то же время принимают на веру направленные против истины дикие фантазии идеалистической философии? Ответ Чернышевского на этот вопрос настолько же неудовлетворителен, насколько удачен анализ общефилософских предпосылок материализма в их связи с естествознанием.

Естественники, заявляет Чернышевский, болтают идеалистическую чепуху «по простофильству», «они хотят щеголять в качестве философов — вот и все; мотив невинный, лишь глупый».

Подобное объяснение целиком неприемлемо для марксизма, вскрывающего социальные корни идеалистических увлечений представителей современного естествознания; да и сам Чернышевский при более подробном обосновании своей позиции по данному вопросу навряд ли удовлетворился бы этим объяснением.

Основная же мысль Чернышевского в данных письмах сохраняет свое глубокое философское значение и для нашего времени: естествоиспытатели, действительно преданные задачам научного познания мира, должны бросить «попугайскую философию», копирующую идеалистические системы, и твердо стать на почву материалистического миропонимания. И совершенно прав Чернышевский, говоря, что весьма далеки от истинной науки «люди, сбитые Кантом с толку до того, что уж не знают, действительно ли существует солнце или только «кажется» им, будто бы оно существует».

Отмеченные нами особенности публикуемых писем Чернышевского позволяют считать их весьма существенными и важными не только для понимания мировоззрения их автора, но и для характеристики развития материалистической философии в России.

Мих. Дынник.

1

[8 марта 1878 г.]

Милые мои друзья, Саша и Миша!

Продолжаем наши беседы о всеобщей истории.— Мы просматривали астрономический отдел предисловия к ней. Мы говорили о ньютоновой гипотезе, то есть о мысли Ньютона, что движение небесных тел по закону природы, открытому им и называемому нами ньютоновой формулой, производится силою всеобщего взаимного притяжения вещества. И мы остановились на том, что я сказал: для разъяснения судьбы ньютоновой гипотезы в наше время надобно рассмотреть, какой судьбе подвергло себя большинство всех вообще специалистов по естествознанию, в том числе и астрономов, то есть математиков, подчинившись плохо узнанным и еще меньше того понятым теориям идеалистической философии.

И я продолжаю:

Мои милые друзья, всякая отдельная группа людей имеет свою особенную амбицию. Мы поговорим об этом очень важном, разумеется, неразумном, потому вредном, элементе человеческой жизни, когда, по порядку предметов, дойдет очередь до анализа влечений человека. Здесь довольно сказать, — по научному мировоззрению я держусь непоколебимо такой мысли: всякая иллюзия оказывает дурное действие на ход человеческих дел; и тем более вредны такие иллюзии, которые, как превознесение своей группы во вред другим людям, имеют источником своим не какую-нибудь невинную ошибку, а побуждение дурное.

Ограничиваясь этим кратким замечанием о вредности всяких иллюзий, и особенно сильной вредности дурных иллюзий, взглянем повнимательнее лишь на один тот разряд дурных иллюзий, к которому относится дело, охватывающее собой историю ньютоновой гипотезы в наше время, столь изобильное удивительными подвигами большинства натуралистов, воскипевшего непомерно горячим усердием совершать великие открытия и прославлять тем себя.

Во всяком ремесле, или профессиональном занятии, большинство мастеров своего технического дела — невежды во всем, кроме того узенького дела, которым занимаются они по профессии. Так, например, большинство сапожников — невежды во всем, кроме сапожничества. А гордиться чем-нибудь — необходимость для невежд. Человек с широкими понятиями и чувствами находит достаточным для себя разумное чувство гордости тем, что он — человек. Но невежда сапожник очень мало интересуется тем, что он — человек. Он умеет шить сапоги,— вот, по размеру его понятий и чувств, единственный понятный и нравящийся ему предмет гордости

для него. И давши ему хоть на полчаса простор самохвальствовать перед нами, мы услышим его поучающим нас и, в лице нашем, весь род человеческий, что сапожничество — самое важное на свете дело, а сапожники — первоклассненйшие из всех благодетелей рода человеческого.

То же скажет нам о своем ремесле невежда портной; то же — невежда парикмахер; то же — невежда каменщик; то же — невежда столяр; то же — всякий другой ремесленник-невежда.

Но ремесленники этих и подобных им профессий, все вообще,— подобно сапожникам, портным и т. д., — очень редко могут находить терпеливых и почтительных, доверчивых и благодарных слушателей своему самохвальству. Чтоб услышать их дикие фантазии о том, что они — первейшие благодетели наши, надобно нарочно устроить такой разговор без присутствия посторонних. Иначе нам не удастся услышать ничего истинно замечательного: по первому же слову слабого, еще колеблющегося приступа к своей назидательной речи самохвал будет прерван всеобщим хохотом и забит сарказмом неосторожно допущенной нами к присутствию при опыте посторонней публики.

Не такова доля тех профессиональных людей, которые занимаются по ремеслу специальностями более почетными, чем сапожничество, парикмахерство и столярство. Публика слушает этих почетных людей с почтением. И самохвальство их непрерывно поучает и услаждает, на все лады их профессиональной интонации хвастовства, преклоняющийся до земли, в признательности к этим своим благодетелям, род человеческий.

Почетных профессий очень много сортов. Например, архитектура, живопись, скульптура и т. д.; музыка, пение, танцы и т. д.; юриспруденция и т. д.; история и т. д.

Вы знаете, что знаменитый танцор Вестрис не на шутку считал себя благодетелем целой Франции и всего цивилизованного мира. Он был простодушный болтун. Только тем он и выдался по тщеславной болтовне из ряду обыкновенных специалистов. Сущность мыслей у всех невежд, по всем специальностям, одинакова с наивною болтовнею Вестриса.

Милые друзья мои, вы будете помнить: я равно говорю о всех самохвалах своим специальностям. Музыканты не обижены мною сравнительно с юристами; танцовщицы не обижены сравнительно с проповедниками морали: я сказал, что они поют о себе один и тот же гимн хвалы, лишь с подстановкою одной специальной терминологии вместо другой.

И если я буду говорить теперь о невеждах натуралистах и в особенности о невеждах астрономах-математиках, то обиды им перед другими почетными специалистами-невеждами тут нет. Я нимало не нахожу, что их невежество более предосудительно для них, чем невежество живописцев или юристов, певиц или танцовщиц, или проповедников, для этих специалистов и специалисток. И самохвальство их не более нелепо, не более дурно и вредно. Я лишь должен говорить именно о них потому, что собственно они; а не танцовщицы или музыканты, занимаются наставлениями роду человеческому о том, что такое ньютонова гипотеза. Если бы человечество спрашивало решения по этому делу у юристов или у танцовщиц, а не у натуралистов, и, в частности, у астрономов-математиков, то я оставил бы на этих листках натуралистов вообще, и, в частности, астрономов-математиков,

непотревоженными, даже вовсе неупоминаемыми, а порицал бы за невежество юристов и танцовщиц.

Но человечество не догадывается, что и от юристов и от танцовщиц оно услышало бы о ньютоновой гипотезе решение не менее ученое и не менее основательное, чем слышит от господ астрономов-математиков с компаниею: «ньютонова гипотеза, это — гипотеза». Что может быть проще такого решения? И какая певица, или танцовщица, или хоть прачка затруднилась бы дать его?

И я порицал бы за него даже прачку или поселянку-жницу, как порицаю астрономов-математиков: вопрос о ньютоновой гипотезе так общепонятен, что не суметь понять его было бы предосудительно и для поселянки-жницы, если бы, давши ей часа два выслушать и обдумать факты, потребовали от нее правильного решения.

Но господа натуралисты, и, в частности, господа астрономы-математики, уверили доверчивую массу образованных людей, что в «вопросе», — вопросе! — о ньютоновой гипотезе есть нечто неудобопостижимое ни для кого, кроме специалистов по естествознанию, в особенности по математике, — в этом «вопросе», для решения которого не нужно ничего из математики, кроме таблицы умножения; в котором не трудно добраться до решения даже и вовсе безграмотному человеку, не знающему цифр, считающему лишь при помощи слов, обозначающих числа на обыкновенном разговорном языке, заменяющему умножение сложением и производящему сложение перебиранием пальцев. Эти господа специалисты отняли решение дела у массы образованных людей, объявили себя единственными судьями «вопроса» о ньютоновой гипотезе, — вопроса, — такого же вопроса, как «вопрос» о том, действительно ли дважды два составляют четыре. Им угодно было поставить дело так. И благоугодная им постановка дела в зависимость исключительно от них принудила меня говорить о них.

Не моя воля на то. Их воля.

Милые мои дети, вашему отцу тяжело и больно говорить о большинстве натуралистов и, в данном деле, по преимуществу о большинстве математиков так, как говорит он.

Но как быть? Эти господа вынуждают его к тому. Всему должна быть граница. Должна она быть и невежеству специалистов. И у всякого рассудительного человека есть граница уступчивости и снисходительности. И, наперекор желанию вашего отца, он принужден поставить вопрос: до какой степени понятны большинству господ великих математиков нашего времени простейшие, фундаментальнейшие из специальных научных истин по их специальной науке — математике?

Милые мои дети, мне тяжела эта необходимость. Я ценю заслуги тех ученых, о которых ставлю такой унизительный вопрос. Мне больно, что я должен поставить его. Но я должен.

И материалом для ответа на него я имел статью Гельмгольца «О происхождении и значении геометрических аксиом». Я знаю ее, разумеется, лишь по русскому переводу. Он помещен в журнале «Знание» за 1876 год, № 8 — я буду цитировать перевод буквально.

Первые строки статьи:

«Задачею настоящей статьи является обсуждение философского значения новейших изысканий в области геометрических аксиом и обсуждение возможности

создания аналитическим путем новых систем геометрии с иными аксиомами, чем у Эвклида».

Это говорит г. Гельмгольц, один из величайших — это я знаю — натуралистов и — читал я, охотно верю, сам по этой его статье отчасти вижу — один из самых лучших математиков нашего времени.

Все в этой статье я совершенно ясно понимаю.

И я говорю: он — он, автор — он не понимает, о чем он говорит в ней и что он говорит в ней. Он перепутывает математические термины и в путанице их запутывает свои мысли так, что у него в голове сформировалась совершенно бессмысленная чепуха, которую он и излагает в этой статье.

Я буду поправлять его ошибки в употреблении терминов, и техническая часть его статьи получит при этих поправках правильный смысл. Без них в ней сплошная бессмыслица.

Заметим одно словечко в тех первых строках статьи. Гельмгольц хочет обсудить философское значение предмета статьи. «Философское». А в «философии» он ничего не смыслит. В этом-то и причина падения его в бессмыслицу.

Он вычитал где-то что-то такое, чего не понял. Мы увидим, где и что он вычитал. Но это увидим мы. Сам он этого не знает. Углубляясь в те непонятные для него мысли, он вообразил, будто бы «возможно создать аналитическим путем новые системы геометрии», различные от геометрии «Эвклида».

Это — дикая фантазия невежды, не понимающего, что он думает и о чем он думает.

Дело, в сущности, так просто, что вполне понятно, во всех своих технических подробностях, даже мне, при всей скудости моих математических знаний. Оно состоит вот в чем:

У каждой геометрической кривой есть свои особенности. Эллипс имеет не те качества, как гипербола, или циклоида, или синусоида. Кому это не известно?— Я очень плохо знаю эллипс; гиперболу — и того меньше; но я понимаю: это разные линии. А когда они различны, то и уравнение эллипса — понятно мне — различно от уравнения гиперболы. Я не знаю ни той, ни другой из этих формул. Но они различны, это понятно мне. Синусоиду я почти вовсе не знаю; но знаю: у нее есть свое особое уравнение. Что такое циклоида — я тоже почти вовсе не знаю. Но знаю: и у нее есть свое особое уравнение.

Итак? — Не все, что применимо к эллипсу, применяется к тем трем линиям. То же и о каждой из них. То же и о всякой другой геометрической линии.

Теперь, угодно ли нам будет употреблять такие выражения: «геометрия эллипса» — вместо: «глава конических сечений, рассматривающая свойства эллипса»; — «геометрия гиперболы» вместо: «другая глава конических сечений, рассматривающая свойства гиперболы»,— и так далее? Можем говорить так, если хотим, но тогда мы должны говорить: «геометрия равносторонних прямолинейных треугольников на плоскости», «геометрия равнобедренных и т. д. треугольников», и т. д. — И в конце концов у нас будет столько «геометрий», сколько — разных формул в «геометрии» по обыкновенному выражению.

Но, «создавая» эти тысячи, пожалуй миллионы «геометрий», мы — что такое «создаем»? — Новые словосочетания только. Мы должны помнить это. Дело у нас лишь в словах.

А Гельмгольц, — на этом, — на этом сбился, бедняга.

Он и какие-то, — не помню в эту минуту, но после найдем, какие именно, — он и какие-то другие «новейшие» мастера рисовать формулы успели нарисовать какие-то уравнения каких-то линий, о которых воображается им, что эти их «открытия» очень важны. Так ли? Открытия ли это? — Я полагаю: это мелочи, которых не вписали в свои трактаты и статьи Эйлер или Лагранж, собственно, лишь потому, что пожалели бумаги и времени писать такие пустые и очевидные даже для меня решения пустяков. Вы лучше меня можете рассудить, так ли, но, — так ли, не так ли, мои милые друзья — для сущности дела все равно. Пусть эти «открытия» Гельмгольца с компанией — действительно «открытия», и притом даже «великие»; какой же убыток от этих «открытий» аксиомам Эвклида? — Никакого, разумеется.

Всякая высшая геометрическая фигурочка — лишь особенная комбинация тех же самых элементарных комбинаций, о которых говорит «Эвклид». Например: будем растягивать круг, — получим эллипс; разрежем эллипс на половины большой полуоси, будем разгибать половину эллипса, — получим сначала параболу, после — гиперболу. — Я выражаюсь, вероятно, неправильно. Но вы понимаете, что я хочу сказать: все формулы криволинейной геометрии — лишь видоизменения и комбинации элементарных решений «Эвклида». — Пусть геометрия совершенствуется; это прекрасно; но — ровно ничего несогласного с Эвклидом в ней не только теперь нет, но и никогда не будет.

Так, никакое развитие математики вообще не внесет в математику вообще ровно ничего несогласного с правилами сложения и вычитания и — спустимся еще ниже по лестнице знаний — ничего несогласного даже с арифметикой дикарей, умеющих считать только до трех.

Неужели Гельмгольц не знает этого? — Сбился, зафилософствовавшись; вот и весь его грех; только.

Так. Он лишь сбился. Но каково же он сбился-то, это курьез.

Нашел он с компанией какие-то — по-моему, пустяки, по его мнению, — великие открытия. Пусть великие открытия. Нашел их и вообразил: найдены «новые системы геометрии», несогласные с «Эвклидом». Вот до чего доводит «обсуждение философского значения», когда пустится философствовать человек, ни уха, ни рыла не смыслящий в философии!

И надобно отдать справедливость этим «новым системам геометрии»: в них такие новости, что читать приятно. — Приведу примеры:

Страница 4, строка 9. — «Вообразим себе мыслящие существа только двух измерений». Эти существа «живут на поверхности», и вне этой поверхности «нет пространства» для них. Они сами «существа двух измерений» и «пространство» у них имеет лишь «два измерения».

Что это за глупая нескладица? — Этак позволительно болтать лишь маленькому ребенку, едва начавшему учиться элементарной геометрии и сбившемуся, по нетвердому знанию первого урока, в ответе на вопрос учителя: «что такое геометрическое тело»? — Малютка перепутал слово «поверхность» со словом «тело» — и говорит по «новой системе геометрии» Гельмгольца. Но сам Гельмгольц говорит по «системе геометрии» этого малютки от избытка «философских изысканий».

Дальше, на той же странице, Гельмгольц пресерьезно рассуждает о «пространстве четырех измерений»; — да, четырех измерений. Это что такое?

Дело просто:

Напишем букву a; припишем с правого бока, вверху, маленькую цифру 4; будет что? Будет a^4. А это что? — Это — количество или величина a в четвертой степени. Переложим на геометрический язык. Степень, на языке геометрии, называется «измерение». Что же будет это a^4? — Будет «пространство четырех измерений». А если вместо 4 напишем, например, 999, то будет скольких измерений пространство? Будет «пространство девятисот девяноста девяти измерений». А если вместо 999 написать $^1/_{10}$, то будет? — «Пространство одной десятой доли одного измерения». — А ведь оно точно: очень, очень недурны «новые системы геометрии».

Но Гельмгольцу воображается, что сочинившаяся у него в голове белиберда о «пространстве двух измерений» и «о пространстве четырех измерений» — нечто, имеющее важный смысл. И он рассуждает о «возможности» таких «пространств» совершенно серьезно. Например, — на той же 4-й странице:

«Так как никакое чувственное впечатление от такого неслыханного события, как появление четвертого измерения, нам неведомо, так же как неведомо и впечатление от образования нашего третьего измерения гипотетическим существом двух измерений, то представление четвертого измерения для нас столь же недоступно, как недоступно для слепорожденного представление о цветах».

Итак, — несуществование четвертого измерения для нас лишь следствие особенного устройства наших чувств. — Это не факт, что пространство имеет три измерения, — это лишь так хочется нам. Это не природа вещей — иметь три измерения, — это лишь иллюзия, производимая плохим устройством наших чувств. Мы в этом отношении лишь «слепорожденные».

Милые мои друзья, — возможно-ли человеку, находящемуся в здравом рассудке, иметь такую нелепую белиберду в голове? — Пока он не «философствует», невозможно. Но если он, не будучи подготовлен к пониманию и оценке философии Канта, пустится философствовать во вкусе — он полагает, Канта, — то всякая бессмыслица может образоваться в его голове от возникновения в этой его бедненькой голове комбинации слов, смысл которых не ясен ему. И, не понимая, о чем и что думает он, может он вообразить всякую такую бессмыслицу глубокомысленною премудростью.

Вообразим, что какая-нибудь русская деревенская женщина, не знающая по-французски, хочет щегольнуть в качестве великосветской дамы, прекрасно говорящей по-французски. Она ловит налету кое-какие французские фразы; вслушаться в чуждую ей интонацию она не умеет; да и те звуки, которые удалось расслышать ей, она не умеет порядочно выговорить; а конструкция фраз вовсе непонятна ей. И что выйдет из ее великосветского французского разговора? — Она окажется дурою, говорящею нечто совершенно идиотское. Но она, быть может, очень умна; лишь один порок в ее уме: глупое желание щегольнуть своею великосветскостью. Только. Но до чего может довести ее эта ее слабость? — Границ глупостям и бедам, которым она может подвергнуться через эту свою фанаберию, нет никаких: но обыкновенно дело не доходит до того, чтобы такие дуры теряли рассудок в медицинском смысле слова, хоть и до этого доходят многие из них. Обыкновенно бедствия таких дур ограничиваются тем, что они попадают в руки плутов и плутовок, бывают обобраны и, обобранные, осмеянные, оплеванные, возвращаются в свою деревенскую глушь.

Мы увидим, что с Гельмгольцем и подобными ему товарищами по естествознанию, любящими щеголять в качестве философов, происходит тоже лишь маленькое, сравнительно говоря,—лишь маленькое бедствие: они не утрачивают рассудка; они лишь попадаются в руки недобросовестных людей. Только.

Возвращаемся к статье этой мужского пола мужички, очень умной деревенской бабы в своей деревне, но — к сожалению — бабы, пустившейся в столицу дивить столичных жителей своею великосветскостью. Математика? — Что математика!—Кому она интересна, кроме математиков?—Это глухая деревня, до которой никому нет дела, кроме ее жителей. Философия —вот это совсем иное. О философах идет говор по всему образованному обществу целого света. Это столичные люди, вельможи в столице. И что будет, что, если та баба появится на бале столичных вельмож? Она прославит себя на весь свет своим умом и великосветскими своими знаниями и талантами.

И вот мы видели. Эта почтенная, не спорю, напротив, сам говорю — глубокоуважаемая мною за свою хорошую деревенскую деятельность,— баба мужского пола, г. Гельмгольц, предприняла экскурсию в столицу, и мы уже созерцали с восхищением первые подвиги ее на бале в вельможеском салоне Канта. Баба щегольнула в качестве «гипотетического существа двух измерений» и очень занимательно изобличала людей: они не знают пространства четырех измерений лишь потому, что у них недостает физиологического органа для восприятия впечатлений от четвертого измерения.

Почтенная персона приобрела апломб, торжествуя успешность этих своих подвигов. Дальше она очень грациозно объясняет нам, что «разумные существа двух измерений» могут жить в разных, совершенно разнохарактерных «пространствах», имеющих по «два измерения».

Друзья мои,—ведь это буквально так в статье этой деревенской бабы, господина Гельмгольца. Это на 5-й странице его статьи.

Из разных пространств двух измерений первое «пространство» есть «бесконечная плоскость» (страница 5, строка 8).

В этом «пространстве» существуют, как и в нашем, «параллельные линии». Кто открыл, что «плоскости», то есть наша мысль о границе геометрической части пространства, о границе геометрического тела, есть само уж «пространство», — из статьи Гельмгольца не видно. Кто этот родоначальник «новых систем геометрии»? — Я не знаю. Я предположил, в нашей прошлой беседе, что это Гаус. Верна ли моя догадка? — Не знаю, разумеется. Но я желал бы, для чести математики, чтобы оказалось: я не ошибся в моей догадке. Потому что, иначе, позор распространяется на всех, на всех великих математиков, живших после Лагранжа и Лапласа. Все эти эпигоны, все окажутся виновниками позора, если не виновен в нем лишь один из них, величайший из них, Гаус. Я поговорю о неизбежности этой «рогатой дилеммы»: если не один Гаус, то все авторитетные математики, жившие после Лапласа и живущие теперь. Я делаю мою догадку о Гаусе лишь для того, чтобы сохранить для себя возможность не винить хоть других. А Гаус уж во всяком случае виноват. То — буду винить лишь его — рассудил я в прошлой нашей беседе. Вдумываясь в дело, я стал видеть после того: едва ли возможно оправдать и других его сотоварищей. Но мы поговорим об этом, а пока возвращаемся к просмотру белиберды Гельмгольца.

Итак, первый сорт—«пространства двух измерений» — бесконечная плоскость.— Кто сочинил это нелепое сочетание слов, не знаю. — Хочу думать: Гаус. — Так ли?— Для сущности дела все равно.

Второй сорт — «сферическая поверхность». В этом «пространстве» нет «параллельных линий». — И много у него других оригинальностей, несогласных с «геометриею Эвклида». Все эти оригинальности, впрочем, известны мне: я еще не забыл теорем «Эвклида» о поверхности шара. Они вовсе не те, какие относятся у «Эвклида» к фигурам на плоскости. Начать хоть с того, что, например, треугольник на плоскости — вовсе не «сферическая поверхность». Это, и все тому подобное, не только изложено у «Эвклида», но и памятно до сих пор мне, хоть я забыл почти всего «Эвклида».

Есть еще «яйцеобразная поверхность». И это я знаю. Теорем о ней не знаю. Но все то, что толкует о ней Гельмгольц, вот уж лет сорок знаю, — лет с десяти знаю, с той поры, когда учился «Эвклиду». У «Эвклида» об этой поверхности не говорится. Но все те разницы ее от сферической поверхности, о которых толкует Гельмгольц, известны всякому, знающему теоремы «Эвклида» о поверхности шара. — Точно так же с десятилетнего возраста известно мне и все остальное, о чем толкует техническая, собственно — геометрическая часть статьи Гельмгольца. Вся эта новооткрытая премудрость известна со времени «Эвклида» всем, хоть немного учившимся «Эвклиду». Новость лишь то, что «новейшие» мудрецы, г. Гельмгольц с компаниею, избитые кулаками Канта, воображают, в расстройстве мыслей от головной боли, эти «поверхности», эти границы геометрических тел, «пространствами». Новость такого же рода, как то, что можно, например, возводить «пару сапогов» в квадрат или куб, или извлекать из «пары сапогов» квадратный корень.

Новейшие создатели новых «систем» математики, разумеется, не затруднятся задачею возвести «пару сапогов», например, в квадрат. Стоит им написать формулу:

$$П^2\ А^2$$

и они тотчас сообразят: «пусть А будет сапог; пара сапогов будет $2a$, и, возводя $2a$ в квадрат, они получат

$$4a^2$$

и прочтут это так: «пара сапогов, возведенная в квадрат, равняется четырем сапогам в квадрате». Но что же это такое — четыре сапога в квадрате? — Для нас, говорящих по-русски, очевидно, что это такое: четыре сапога в квадрате, это — сапоги в смятку. — Так легко разрешается по «новой системе математики» задача, совершенно несовместная с человеческим смыслом, по ошибочному мнению людей, держащихся старой, общеизвестной «системы математики».

Вот другая задача, которую так же легко разрешит Гельмгольц с компаниею: «Дано сборище из 64 педантов, одуревших от избытка тщеславия; требуется: извлечь квадратный корень». — Ответ будет: «8 квадратных корней таких педантов». — Так. А кубический корень? — Ответ: «4 кубических корня таких педантов».

Возвращаемся к статье бедняги, сбившегося с толку на щегольстве своим знакомством с философией Канта.

Яйцеобразное пространство двух измерений неудобно для жизни разумных существ двух измерений: передвигаясь по нем, они растягивались бы и сжимались бы неравномерно, вроде того, как мнется передвигаемый по скорлупе яйца кусочек плевы того яйца. Это правильно, я знаю. И точно: какой уж тут был бы «разум» у «существ двух измерений», когда их головы были бы постоянно размяты растягиванием и сжиманием. Но... но.. но... если предположить, что эти «разумные существа двух измерений» — устрицы двух измерений?—Тогда они сидят, приросши к месту, и неудобства им нет; да и голов-то у них нет. Какое же затруднение для них яйцеобразность их пространства?—Ах, да, впрочем. Устрицы не имеют рук; писать книг не могут поэтому. А для Гельмгольца вся сущность «разумной жизни» — писание книг и статей о математике. Понятно: о «яйцеобразном пространстве двух измерений» не стоит и толковать: разумным существам двух измерений не стоит жить в нем.

Но «сферическое пространство двух измерений» — очень хороший сорт пространства.

Третий прекрасный сорт — «псевдосферическое пространство двух измерений». Его вид? — Поверхность кольца, сделанного из проволоки, согнутой и спаянной концами. Изобретатель этого пространства — известный, по словам Гельмгольца — известный! — чем же именно? глупостью?— итальянский математик Бельтрами. Я надеюсь, эта его глупость была у него, — как я надеюсь того же и о Гельмгольце, — лишь мимолетным расстройством мыслей, и известен он не этою своею глупостью, а какими-нибудь дельными работами. — В этом отношении, впрочем, очень прискорбна эта, хоть и мимолетная, глупость. Образумившись, Бельтрами должен был бы отступиться от нее. А он этого, повидимому, не сделал. Итак: он еще не вполне исцелился, и она продолжает давить, как свинцовая дурацкая шапка, его голову. Да, впасть в глупость легко невежде, одолеваемому тщеславием. Исцелиться трудно. Потому-то и непростительна коренная глупость тщеславных невежд: глупость оставаться невеждами, когда им хочется философской славы. Поучились бы — авось, и тщеславие исчезло бы вместе с невежеством. А то лишь стыдят себя и позорят свою специальность своими дикими фантазиями.

«Псевдосферическую поверхность», по словам Гельмгольца, имеют и некоторые другие фигуры, кроме фигуры проволоки, согнутой в кольцо. Он перечисляет эти разные формы псевдосферической поверхности.

Все они — формы очень элементарные. Были ль даны каждой из них особые формулы до Бельтрами — не знаю. Но даже для меня ясно: все эти формулы — очень легкие видоизменения формул линии второй степени. Например: поверхность кольца из круглой проволоки имеет своими формулами очень легкие видоизменения формул цилиндрической поверхности прямого цилиндра, то есть формулы поверхности того кольца очень легко и просто выводятся из формул круга, и я полагаю: если у Бельтрами в той его глупости есть какие-нибудь формулы, не находящиеся в трактатах или статьях Эйлера и Лагранжа, то лишь потому не напечатали этих формул Эйлер и Лагранж, что находили их не заслуживающими печати, очевидными для всякого порядочного математика короллариями других формул.

Но так ли или нет, — для сущности дела все равно. Пусть Бельтрами в той своей глупости дал какие-нибудь новые формулы, не совсем маловажные. Все-таки неизмеримо глуп общий характер обеих его работ, на которые ссылается Гельм-

гольц. Это видно по самым заглавиям их. — «Опыт истолкования не-Эвклидовой геометрии» и «Основная теория пространств постоянной кривизны». — Я рад был бы свалить всю вину глупости на Гельмгольца, предположивши, что он вложил сам дикую фантазию свою в работы Бельтрами, имеющие лишь дельную, разумную цель найти формулы для тех поверхностей: кольцеобразной, дву-седловидной и бокалообразной. Важны ли, не важны ли эти формулы, новы ли они или не новы в науке, — было бы все равно: цель работ — дельная; и если автор доискивался решений, уж данных другими, лишь неизвестных ему, это могло бы оказаться лишь случайным его незнанием, и я рад признавать все такие случаи извинительными. Но — нет! — Бельтрами сочинял «не-Эвклидову геометрию», — он сам, не Гельмгольц вложил в его работы эту невежественную фантазию; он сам хвалится: он изобрел новую геометрию. И не Гельмгольц внес в его работы нелепое перепутывание понятий «линия» и «поверхность» с понятием «пространство»; нет, он сам говорит о «кривых пространствах»; — о, урод!

Гельмгольц нашел, впрочем, что Бельтрами имел предшественника. Этот предтеча сочинителя «кривых пространств» — бывший профессор в Казани, некто Лобачевский. Еще в 1829 г., — говорит Гельмгольц, — «была составлена Лобачевским система геометрии», которая «исключала аксиому параллельных линий; — и тогда еще было вполне доказано, что эта система столь же состоятельна, как и Эвклидова». И система Лобачевского «вполне согласуется» с новою геометриею Бельтрами.

Дурак ли от природы Бельтрами, я, разумеется, не знаю. Но каков был ум его предтечи, мне известно. Лобачевского знала вся Казань. Вся Казань единодушно говорила, что он круглый дурак. О нем даже писались стихотворения. Одно из них я до сих пор помню. Это смех и срам серьезно говорить о вздоре, написанном круглым дураком.

Что такое «геометрия без аксиомы параллельных линий»? — Ребятишки забавляются тем, что прыгают на одной ноге. Быстро подвигаться вперед этим способом они, разумеется, не могут; и передвинуться далеко — например, версты на две — не могут. Но при усердии все-таки не очень медленно передвигаются на расстояния, не вовсе ничтожные: иной, прыгая, не отстает от человека, идущего тихо, и провожает его целую четверть версты. Это очень трудный подвиг и достойный всякой похвалы. Но лишь когда это — шалость ребенка. А если взрослый человек, — и не для шалости, а серьезно, по своим серьезным делам, — пустится путешествовать, прыгая на одной ноге, это будет путешествие не вполне безуспешное — нет! — только — совершенно дурацкое.

Можно ли писать по-русски без глаголов? — Можно. Для шутки пишут так. И это бывает иной раз довольно забавною шалостью. Но, — Вы знаете стихотворение:

Шелест, робкое дыханье,
Трели соловья, —

только и помнится мне из целой пьесы. Она вся составлена, как эти два стиха без глаголов. Автор ее — некто Фет, бывший в свое время известным поэтом. И есть у него пьесы очень миленькие. Только все они такого содержания, что их могла бы написать лошадь, если б выучилась писать стихи — везде речь идет лишь о впечатлениях и желаниях, существующих и у лошадей, как у человека.

Я знавал Фета. Он — положительно идиот. Идиот, каких мало на свете. Но — с поэтическим талантом. И ту пьесу без глаголов он написал как вещь серьезную. Пока помнили Фета, все знали эту дивную пьесу, и когда кто начинал декламировать ее, все, хоть и знали ее наизуст сами, принимались хохотать до боли в боках: так умна она, что эффект ее вечно оставался, будто новость, поразителен.

Вы знаете — необходимейшая из согласных на французском, итальянском или испанском языках буква l; — она входит в состав «члена», — того местоимения, без которого мудрено сказать десять слов к ряду. И что ж? — Во времена щегольства побеждением лингвистических законов были писаны, во множестве, на этих языках стихотворные вещицы без буквы l. На испанском языке есть даже целая эпическая поэма, целая огромная книжища, без буквы l. Имя глупца, автора ее, уж забыл. Можете, если хотите, справиться в каком-нибудь трактате об испанской поэзии «времен упадка вкуса» в XVII столетии.

Мало-ли каких фокусов-покусов может выделывать, желающий выделывать фокус-покусы? Для шутки в часы отдыха, это, пожалуй,—не глупая забава. Но кто фокусничает не для забавы, а серьезно усердствует сочинять ребусы, шарады, каламбуры, воображая «пересоздать» науку этими дурачествами, тот занимается дурацким трудом, и если не родился, — как родился бедняжка Лобачевский, — то добровольно становится глупцом.

Продолжать ли разбор глупости Гельмгольца? — «Довольно», — давно думаете, вероятно, Вы. — Нет, мои милые дети, — по-моему, следовало бы продолжать. Я люблю доводить все до прозрачнейшей ясности, и не знаю сам, не хочу замечать в других утомление длиннотою моих разъяснений. Но — пора кончать, потому что через несколько часов будет пора отдавать письмо на почту, и я оставляю без разбора все дальнейшие подробности белиберды Гельмгольца. Перехожу к восстановлению математической истины, изуродованной этою белибердою.

В чем реальный смысл формул, дурацки примененных Гельмгольцем с компаниею к понятию «пространство»? — Это формулы «о пути луча света».

В нашем непосредственном соседстве, на расстоянии нескольких метров от наших глаз, путь луча света, при обыкновенных условиях прозрачности и температуры атмосферы,— прямая линия.

Если мы берем пук лучей, он, расходясь по прямым линиям, образует простой конус, прямой конус, конус — «Эвклида», — единственный конус, формулу которого я знаю. Правильно ли я называю этот конус элементарной геометрии?— Все равно; дело не о том, знаток ли я математики; я не знаю и не хочу знать ее. Мне некогда узнавать ее. И никогда у меня не было досуга на то. Дело лишь о том, чтобы Вам были понятны мои мысли. Я говорю о том конусе, который для удобства нашего анализа мы рассматриваем как геометрическое тело, производимое вращением прямолинейного, плоского прямоугольного треугольника около одного из катетов; этот катет будет «ось», другой катет даст базис конуса; гипотенуза даст поверхность конуса. Правильны ли мои выражения? — Плевать я хочу на то. У меня дело не о словах. Я хочу лишь, чтобы Вы видели, о каком конусе я говорю.

Этот конус, конус Эвклида, конус пука лучей света — в нашем непосредственном соседстве. Вот об этих-то прямолинейных лучах света верны формулы, глупейшим образом превращенные нелепостью фантазии — чьей? — не знаю; хочу думать: — фантазии Гауса — в формулы «гомалоидного пространства трех измерений», или «Эвклидова пространства». Кто сочинил термин «гомалоидное пространство»? — Повидимому, только уж сам Бельтрами, сочинитель «кривых пространств», а не Гаус. Но все равно, во всех нелепостях ничтожного ученика виноват великий учитель. Все эти разные «пространства» повытасканы из учения Гауса «о мере кривизны поверхностей». Я полагаю, что эта работа Гауса — работа дельная и очень важная. Так ли, не знаю. Но думаю — так. И готов превозносить за нее Гауса. Но, очевидно, что Гаус был сбит с толку философиею Канта, и когда пускался философствовать, завирался. И в исследовании ли «о мере кривизны» или в каком другом своем труде он зафилософствовался, по Канту, о «формах нашего чувственного восприятия», о предмете вовсе чуждом его специальности. И, зафилософствовавшись, сбился; ему вообразилось, что Кант отчасти прав, отчасти не прав в своей «теории чувственного восприятия». И он принялся поправлять Канта, оставаясь в сущности, — он, простодушная, невежественная деревенщина по этому «диалектическому», а вовсе не математическому вопросу, — по вопросу о достоверности наших чувственных восприятий, — одурачен Кантом. Ему ли, неотесанному мужику из глухой деревни, бороться с Кантом? — Он даже не понял Канта и, опровергая его, повторил его мысли в изуродованном виде. Об этом — после. Довольно пока того, что у Канта нет таких мужицких несуразностей невежественной деревенской нескладной речи, как «пространство двух измерений» или «четырех измерений». — Сам ли Гаус сочинил эти глупости или только наболтал такой чепухи, что Гельмгольц, Бельтрами и компания нашли в этой чепухе материал для своих собственных глупостей, — это по отношению к сущности дела все равно. Но для чести математики было бы лучше, если бы эти глупости оказались высказанными у самого Гауса. Тогда, — тогда, — я не винил бы других авторитетных математиков, что они или повторяют Гауса, или молчат, не хохочут, читая нелепости Гельмгольца, Бельтрами, Римана, Либмана и компании, цитируемых Гельмгольцем в качестве сподвижников. Сила гения Гауса — сила гиганта сравнительно со всеми жившими после Лапласа и нынешними математиками. Пигмеи охвачены руками гиганта, — чего требовать от них, Гельмгольца с компанией? — Как винить их? — Дрыгают ручками и ножонками и пищат, как велит гигант. А остальные пигмеи, — масса «великих», — великих, — но пусть они «великие», — масса остальных великих математиков, — эти посторонние, эти зрители, пигмеи — трепещут, и недоумевают, и давятся, и молчат; — как винить и их?

Так судил бы о них я, — если виноват собственно Гаус: не презирал бы я их, а лишь сожалел бы о них. Они были бы, собственно говоря, невинные жертвы Гауса.

Но едва ли так. Вникая в тон статьи Гельмгольца, я нахожу себя принужденным полагать: правда, непосредственным образом именно из Гауса почерпнули свою белиберду Гельмгольц, Бельтрами и компания. Но те дикие фантазии Гауса во вкусе Канта, — это, повидимому, общие фантазии всех авторитетных математиков нашего времени. Все они возводят сапоги в квадрат, извлекают кубические корни

из голенищ и из ваксы, потому все совершенно благосклонны к пространствам и двух, и четырех. и миллион-четырех измерений, и пространствам и треугольникам и яйце-образным, и табако-образным, и шоколадно-образным, и чае-образным, и дубо-образным, и дубино-образным, и болвано-образным,— словом, ко всему дурацки-бессмысленному.

Это горько писать. Но тон статьи Гельмгольца ведет к такому предположению.

Отчего положение дел в математике таково, что приводит меня к такому предположению,— хочу надеяться, все-таки ошибочному?— Вы видите, я все еще только добираюсь до изложения первой причины, основной причины тому, до зависимости естествознания вообще, и, в частности, математики, от доктрин идеалистической философии и, главным образом, от системы Канта. Мы доберемся до этого. Но прежде покончим со статьею жалкого бедняка Гельмгольца, раскрывшею передо мною позор несчастной, осиротевшей по кончине великого старика Лапласа, бедной, преданой на поругание людям средневекового мрака, несчастной, обесчещенной математики.

К чему писал простофиля-деревенщина, баба-мужичка мужского пола, великий — знаю — натуралист и великий — охотно верю — математик Гельмгольц свою злополучную статью?

Прежде чем цитировать идиотски-самохвальный финал ее, припомним реальную истину, искаженную философскою белибердою его диких фантазий.

Луч света идет в непосредственном соседстве наших глаз — положим на пространстве нескольких метров — при обыкновенном состоянии атмосфер по прямой линии. Пук лучей света в этом случае — прямой конус. Те чудаки начинают свои фантазии,— сознательно ли, или, повидимому, вовсе бессознательно,— с мыслей, относящихся к этому факту, с мыслей правильных. Но Кант выбил из их бедных голов научную истину: «три измерения, это — качество вещества, это — сама природа вещей». Они хотят щеголять в качестве философов. Они забывают о конусе лучей света; раздумывают лишь о базисе этого конуса; базис этот — поверхность, происшедшая от вращения одного из катетов, — то есть от вращения прямой линии, то есть это — плоскость. Они расширяют эту плоскость «до бесконечности» и воображают, что они изобрели «гомалоидное пространство двух измерений». Как пойдут лучи света по этому «пространству»? О конусе лучей они уж давно забыли. И решают: лучи пойдут параллельными линиями по этой плоскости. Но и о лучах они забывают; и — готовы «формулы аналитического исследования», создающего «геометрию гомалоидного пространства двух измерений».

Мило. Но — и сам-то конус лучей света совершенно ли прямой? Луч света, доходящий до нас,— от солнца ли, от свечи ли под носом у нас,— безусловно ли прямая линия? Они забыли: нет, никогда; фактически это невозможный лучу путь. Падая от солнца через атмосферу, луч гнется. Идя от свечи, переходя из горячего воздуха в прохладный, он гнется. Этот изгиб ничтожен при обыкновенных обстоятельствах. Но он неизбежен. А при мираже кривизна велика. Но мираж — это лишь очень высокая степень того, что постоянный факт обо всех лучах, идущих под углом не далеким угла = 0 с горизонтальной линиею: все нижние слои воздуха — путаница слоев и клочков воздуха различных температур. Потому:— но кто ж не знает всего, что сказано мною, и всего, что следует из того?

И эти чудаки знают. Но в их избитых Кантом жалких, больных головенках все перепутывается, расплывается в тумане, и из тумана вырастают дикие фантазии о сферическом и псевдо-сферическом пространствах.

А простой научный смысл дела в чем? — Путь луча света не совершенно прямая линия; на пространстве нескольких метров этот изгиб при обыкновенных обстоятельствах ничтожен, но иногда кривизна и велика.

Словом? — Эти чудаки перепутали «диоптрику», одну из глав оптики, с формулами абстрактной геометрии. Они перепутали свою деревенскую геодезию, совершаемую растопыриванием рук или пальцев руки, — «вот три сажени», — «вот пять четвертей с вершками», — они перепутали свою деревенскую геодезию с законами вселенной.

Только беды, в серьезном смысле слова, никому от того нет. Да? Так ли? Но пусть беды нет; пусть дело лишь в том, что сами они оказались дураками и предали свою науку, математику, на поругание людям средневекового мрака. Только. Беда не велика. Да. Что за беда была бы, если бы от времен первобытного дикарства счетом по пальцам, потом арифметикою и т. д. занимались только дураки? — Мы не имели бы Архимеда, Гиппарха, Коперника и т. д. до Лапласа, — мы оставались бы полудикими номадами. Только.

Итак — беда от ослиной премудрости Гельмгольца с компаниею не велика? Но нельзя ж сказать: «не особенно велика». Они, одуревши, проповедуют, вместо научной истины, одуряющую доктрину дикого, невежественного фантазерства. Только. Беда — не велика? — Да, сравнительно с чумою или сильным неурожаем не велика.

Довольно об этом. И перейдем к финалу статьи Гельмгольца, к дифирамбу победы, который воспевает он в честь себе и своим сподвижникам.

Перед удивленной вселенной раскрывается непостижимая умом цель бессмысленной статьи: автор торжествует, как оказывается, победу; и одержал он эту победу, — оказывается, — над Кантом, мысли которого в изуродованном виде составляли весь материал его изумительных мудрствований. Он провозглашает:

«Подвожу итоги:

«I. Геометрические аксиомы, взятые сами по себе, вне всякой связи с основами механики, не выражают отношений реальных вещей».

Душенька мужичок, заврался ты. Не смыслишь ты, ничего не смыслишь ни в механике, ни в геометрии. — Треугольник сам по себе неужели ж не треугольник? И неужели ж у него не три угла? А аксиомы, это — элементы, известная комбинация которых дает треугольник. Как же они сами по себе не выражают «отношений реальных вещей»? Неужели ж треугольник становится треугольником, лишь передвинувшись с одного места на другое? — Душенька мужичок, «механика» говорит о «равновесии» и о движении», а «геометрия» — о телах и элементах геометрических тел независимо от того, лежат ли они или двигаются, — так в элементарнейшей части геометрии; в «теории функций» — иная точка зрения. Но ты, душенька, не умеешь различать «Эвклида» от «Теории функций». — Правда, и у «Эвклида» говорится: «проведем линию», «будем обращать линию около одного из ее концов» и т. д.; но это, душенька, лишь «учебные приемы»; это — на «предмет» аксиом; это лишь «учебные приемы» для облегчения тебе, душенька; а ты, по своему невежеству, сбился на этом и перепутал «Эвклида» с механикою. — Продолжай, душенька мужичок.

«Если мы,— продолжает деревенщина-простофиля, — если мы, таким образом изолировав их» (аксиомы геометрии от механики), «будем смотреть на них вместе с Кантом» (Ох, берегись мужичок. Прихлопнет тебя, простофилю, Кант), «вместе с Кантом будем смотреть на аксиомы» — «как на трансцендентально данные формы интуиции, то они явятся»...

Душенька, ни математику, ни вообще натуралистику непозволительно «смотреть» ни на что «вместе с Кантом». Кант отрицает все естествознание, отрицает и реальность чистой математики. Душенька, Кант плюет на все, чем ты занимаешься, и на тебя. Не компаньон тебе Кант. И уж был ты прихлопнут им, прежде чем вспомнил о нем. Это он вбил в твою деревянную голову то, с чего ты начал свою песнь победы — он вбил в твою голову это отрицание самобытной научной истины в аксиомах геометрии. И тебе ли, простофиле, толковать о «трансцендентально данных формах интуиции»? Это — идеи, непостижимые с твоей деревенской точки зрения. Эти «формы» придуманы Кантом для того, чтобы отстоять свободу воли, бессмертие души, существование бога, промысл божий о благе людей на земле и о вечном блаженстве их в будущей жизни, — чтобы отстоять эти дорогие сердцу его убеждения от — кого? — собственно, от Дидро и его друзей; вот о чем думал Кант. И для этого он изломал все, на чем опирался Дидро со своими друзьями. Дидро опирался на естествознание, на математику, — у Канта не дрогнула рука разбить в дребезги все естествознание, разбить в прах все формулы математики; — не дрогнула у него рука на это, хоть сам он был натуралист получше тебя, милашка, и математик получше твоего Гауса. Таковы вельможи столицы: они добрее тебя, дурачок, дурачок с одеревенелой душой: ты — дерево; они — люди; и для блага человечества не церемонятся разрушать приюты разбойников. Такой приют — твоя деревушка. Кант был родом из нее. Любил ее. Но благо людей требует, — и он истребил эту деревушку, бывшую приютом разбойников. Таков-то был Кант. Человек широких, горячих желаний блага людям. И тебе ли, дурачок, для которого твоя деревушка дороже всего на свете, — тебе ли дерзать хоть помыслить: «буду компаньоном Канта»? — Он ведет людей во имя бога и вечного блаженства и земного счастья на истребление твоей деревушки. — Прав ли он? — Не тебе, простофиля, судить. Но ты беги от него, беги.

Но эти мизерно-головые людишки, для которых «благо людей» — пустяки, а важны лишь «резонаторы», да «аккорды верхних созвучий», — эти мизерно-головые людишки не в состоянии понимать великих забот Канта. Они воображают, что Кант, как они сами, думал лишь об акустике или оптике. — Прав ли Кант? — Мои мысли об этом достаточно высказаны мною в первой из этих наших бесед. Но Кант понимал, что он говорил.

Продолжать ли переписывание финала глупенькой статьи? — Нет у меня времени. Пора письмо отдать на почту. Потому скажу лишь:

Весь этот финал — сплошь переложение мыслей Канта, отрицающих естествознание и математику, на нескладное деревенское наречие математики. Мысли выходят изуродованными. А дурачок, оплеванный своим руководителем Кантом, воображает, что опроверг его своею глупостью о «сферическом пространстве двух измерений», — глупостью, подсказанною ему Кантом, разбивавшим в прах всю математику для спасения, на благо людей, исправленной доктрины Петра Ломбардского, Томаса Аквинатского и Дунса Скотта, — для спасения, на благо

людям, исправленных практических стремлений Петра Дамиани и Бернара Клервосского.

Моя точка зрения на это? — Точка зрения Лаланда и Лапласа, — точка зрения Людвига Фейербаха. — И хотите — не только знать, что думаю я, но и то, что чувствую я? — то прочтите — не «Фауста» Гете, — нет, это писано с точки зрения чрезмерно устарелой, — но — «Коринтскую невесту» Гете.

Nach Korinthus von Athen gezogen
Kam ein Jüngling dort noch unbekannt —

только и помню наизуст. И стыжусь, что не знаю всей этой дивной маленькой поэмы наизуст. Читайте ее, мои милые дети.

И будьте здоровы.

Жму твою руку, мой милый Саша, и твою, мой милый Миша.

В следующей беседе мы побольше поговорим о Ньютоне и о Лапласе, о естествознании, не выданном на оплевание Петру Ломбардскому, на истребление Бернару Клервосскому, о естествознании, просвещающем разум людей и дающем руке человека силу работать с успехом для устроения себе жизни безбедной, мирной и честной.

Жму Ваши руки, милые мои дети.

Ваш отец, но более важно, чем что Ваш отец, — тоже и друг Ваш,

Н. Ч.

2

6 апреля 1878 г., Вилюйск.

Милые мои друзья, Саша и Миша!

Будем продолжать наши беседы о всеобщей истории.

Для ясности хода моих мыслей в этой беседе полезно будет нам припомнить содержание прежних.

Предисловие к истории человечества составляют:

Астрономическая история нашей планеты.

Геологическая история земного шара.

История развития того генеалогического ряда живых существ, к которому принадлежат люди.

Это — научная истина, известная с давнего времени.

Большинство натуралистов благоволило признать ее за истину лишь недавно.

И я сказал: большинство натуралистов до недавнего времени интересовалось научною истиною меньше, нежели следовало, мало знакомо с нею и теперь. Мне придется много спорить против них из-за этого.

Чтобы ясно было, какие именно понятия признаю я истинными, я сделал характеристику научного мировоззрения по отношению к предметам естествознания.

Существенные черты этой характеристики таковы:

То, что существует, — вещество.

Наши знания о качествах вещества, это — знания о веществе, как веществе, существующем неизменно. Какое нибудь качество, это — само же вещество, существующее неизменно, рассматриваемое с одной определенной точки зрения.

Сила, это — качество, рассматриваемое со стороны своего действования.

Итак: сила, это — само же вещество.

Законы природы, это — способы действования сил. Итак: законы природы, это — само же вещество.

Я сказал: никто из натуралистов, сколько-нибудь уважающих себя и сколько-нибудь уважаемых другими натуралистами, не решится сказать, что он не находит этих понятий истинными; всякий скажет, что это — его собственные понятия.

И я прибавил: да, все они скажут: «это так»; но очень многие — почти все — скажут, сами не понимая, что прочли, что у них знакомство с этими понятиями очень плохо и образ мыслей очень во многом не соответствует этим понятиям.

Сделав эти общие заметки об отношениях большинства натуралистов к научной истине, я перешел к обзору содержания астрономического отдела предисловия к истории человечества.

История нашей солнечной системы, и, в частности, нашей планеты, разъяснена Лапласом. Этот его труд — ряд очень простых, совершенно бесспорных, с научной точки зрения, выводов из ньютоновой формулы, которая всеми астрономами принимается за истину, не подлежащую ни малейшему сомнению, и из нескольких общеизвестных фактов, достоверность которых никем из астрономов не отрицается.

Как это теперь, совершенно так это было и в то время, когда Лаплас обнародовал свою работу; оставалось так и во все последующее время: никто из астрономов не подвергал и не считал возможным подвергать ни малейшему сомнению ни ньютонову формулу, ни какой из общеизвестных фактов, на которые опираются выводы Лапласа.

Дело так просто и достоверность выводов Лапласа так ясна, что, с самого обнародования их, признавали их за несомненную истину все те знакомые с ними люди, которые имели серьезную любовь к истине и обладали знанием, что о делах, понятных всякому образованному человеку, всякий образованный человек может и должен судить сам.

Таких людей было очень много.

Но большинство образованного общества издавна приучено большинством астрономов полагать, что никто, кроме астрономов, не может иметь самостоятельного мнения ни о чем в астрономии.

Наиболее умные люди между астрономами всегда старались разъяснить обществу, что это не так. Для того, чтобы находить правильные решения астрономических вопросов, — говорили они обществу, — действительно необходимо иметь специальные знания. Но когда решение найдено, то может оказаться, что оно основывается на общепонятных выводах из общеизвестных фактов. И выводы Лапласа об истории солнечной системы таковы.

Но большинство образованного общества подчиняло себя авторитету большинства астрономов. А большинство астрономов изволило находить, что «Гипотеза Лапласа», — как назывался тот ряд выводов, — «лишь гипотеза».

Так это говорилось лет шестьдесят или больше.

И вот, наконец, был открыт способ видеть химический состав тел через наблюдение их спектров. Он был применен к спектрам небесных тел.

И всякий, специалист ли, нет ли, увидит: в составе планет и спутников планет нашей системы, в составе нашего солнца, других солнц, туманных пятен находятся некоторые из так называемых «химически простых тел», известных нам по нашей планете.

И большинство астрономов признало: Лаплас прав.

А между тем, факты, открытые спектральным анализом относительно состава небесных тел, сами по себе вовсе не свидетельствуют о том, прав или не прав Лаплас. Из них видно только: химический состав небесных тел более или менее подобен составу нашей планеты. Это мысль несравненно более давняя, чем «лапласова гипотеза», и, сравнительно с нею, очень неопределительная.

Но масса образованного общества, заинтересовавшись результатами наблюдений над спектрами небесных тел, вдумалась в спор меньшинства и большинства

астрономов о гипотезе Лапласа, рассудила взять решение спора под власть своего здравого смысла, решила: меньшинство астрономов говорило правду; лапласова гипотеза — гипотеза лишь по имени, а на самом деле она — бесспорно достоверный ряд совершенно правильных выводов из несомненных фактов.

И большинство астрономов покорилось решению массы образованного общества.

Такова-то история так называемой «лапласовой гипотезы».

Милые мои друзья!

Почти все, что я пишу, я пишу лишь на основании того, что помнится мне Единственная справочная книга под руками у меня — словарь Брокгауза. Много ли найдешь в нем?

При таком характере моих бесед с Вами неизбежно: всякое мое слово, как скоро оно относится к чему-нибудь не вполне достоверно известному Вам, требует с Вашей стороны труда навести справку, не обманывает ли меня моя память.

И рассмотрим для примера вопрос: правильно ли излагаю я историю лапласовой гипотезы?

Сущность дела сводится к двум вещам:

Правильно ли я считаю, что от обнародования лапласовой гипотезы до применения спектрального анализа к спектрам небесных тел прошло «лет шестьдесят или больше» и правильно ли характеризую я отношение большинства астрономов к лапласовой гипотезе в этот промежуток времени?

Все остальное — или неизбежный вывод из этих двух вещей, или мелочь, не имеющая силы применить сущность моего изложения дела о лапласовой гипотезе, — сущность, состоящую в том, что это — дело постыдное для большинства астрономов того промежутка времени; а так как большинство нынешних авторитетных астрономов уж действовали в годы, предшествовавшие открытию спектрального анализа, то — для большинства и нынешних авторитетных астрономов. Справедливость моего суждения об этих господах знаменитых астрономах определяется лишь степенью верности моих тех двух положений: «до спектрального анализа эти люди и их предшественники называли лапласову гипотезу мыслью не доказанною, или ошибочною, или могущею оказаться ошибочной»; и — «это длилось лет шестьдесят или больше».

Вникнем, насколько могут быть неправильными эти две мои мысли.

В какой книге или брошюре, или в каком периодическом издании обнародовал Лаплас свои выводы об истории солнечной системы?

— Не знаю. Полагаю: если не напечатал он их раньше, то, во всяком случае, оно вошло в состав его «Небесной механики». Так ли?

Говорю: не знаю, лишь полагаю. Когда вышла «Небесная механика»? — Без справок я полагал: в самые первые годы нашего века; но у Брокгауза это есть; справившись, я увидел: я ошибся, это было раньше; это было в 1799 году. И увидел кроме того: свою популярную переделку «Небесной механики», «Изложение системы вселенной», Лаплас успел издать еще раньше того, в 1796 году.

Итак, я считаю с 1799 или даже с 1796. Не ошибаюсь ли? — Быть может. Не знаю. Лишь полагаю. Однако ж? — Однако ж едва ли тут есть ошибка.

Но, положим, это ошибка. Положим, Лаплас напечатал свою «гипотезу» лишь под самый конец своей жизни. Когда он умер? — Я думал: около 1825 года. Справляюсь. У Брокгауза есть это. Лаплас умер в 1827 году.

Все-таки интервал до спектрального анализа — порядочный-таки. Не «шестьдесят лет или больше», но все-таки «лет тридцать или больше». Все-таки более нежели достаточно, чтобы признать продолжительность упрямства большинства астрономов далеко превзошедшею всякую меру снисходительного суждения о них.

Да, но правильно ли я считаю конец интервала? Когда спектральный анализ был применен к изучению состава небесных тел? — Не знаю. Полагаю: около 1860 года и едва ли не позже 1860 года. Так ли? — Справиться об этом не могу. То издание словаря Брокгауза, которое у меня, — десятое издание; первый том его вышел в 1851, последний в 1855 году. Верно только то, что в этом издании нет ничего о спектральном анализе. Итак: предположим, что это вошло бы в первый том и что в следующих томах не было бы случая хотя мельком упомянуть об этом; и, предполагая, что статьи для первого тома, вышедшего в 1851 году, писаны целым годом раньше, то есть в 1850 году, все-таки я имею интервал с 1827 года до 1850 года, — больше двадцати лет.

Продолжительность упрямства против очевидной истины, все-таки с избытком достаточная для того, чтобы быть фактом, позорящим большинство астрономов, — если только факт то, что большинство астрономов действительно до самого спектрального анализа упрямилось против признания лапласовой гипотезы за истину.

Так ли это? Действительно ли упрямилось оно?

Таково мое воспоминание. Верно ли оно? — Я не могу проверить его справками.

Итак, не обманывает ли меня память?

Я опять делаю всевозможные уступки. Я делаю их не на словах только и не теперь вот только. Я сделал их в мыслях моих, когда писал ту — первую — мою беседу; я сделал их не только по обязанности ученого быть строгим к своему мнению, но и по влечению моего личного характера, который, каковы бы ни были дурны его качества, все таки не злой. Оправдывать людей мне приятно; порицать их мне тяжело, как и всякому другому не особенно злому человеку, то есть как огромному — если уметь анализировать истинные чувства людей, то, говорю я, окажется: — как огромному большинству людей.

Так я в этом случае сделал, — и во всяких делах обыкновенно бывал рад, надеюсь, и вперед буду обыкновенно бывать рад делать, — все возможные уступки для отклонения надобности порицать.

Но — вот обстоятельство, по которому часто приходилось мне видеть факты человеческой жизни не в таком свете, в каком представляются они людям, не занимавшимся научным анализом этих дел.

Я привык устранять при анализе фактов мои личные желания.

У многих людей — это дар природы. Таких людей называют «проницательными».

У меня, быть может, нет врожденной проницательности. Но я люблю истину. И я очень много занимался научным анализом. Потому, — каков бы ни был я в обыденных моих суждениях о делах моей личной жизни, — я полагаю, что в этих вещах я вовсе не проницателен, но в научных делах я привык рассматривать факты не совсем-то плохо.

У массы людей, которая не очень проницательна от природы и не привыкла заниматься научным анализом фактов человеческой жизни, сильна склонность

подставлять на место фактов свои личные мысли, склонности, желания, или, как обыкновенно говорится об этом, смотреть на жизнь сквозь очки, окрашенные тем цветом, какой нравится.

Об этом мы будем говорить много.

Теперь заметим одну черту этой манеры.

Одно из наших желаний — то, чтобы другие думали одинаково с нами и, в особенности, те люди, мнение которых важно для нас.

И вот очень многие, когда читают что-нибудь написанное каким-нибудь человеком, по их мнению авторитетным, влагают в его слова такой смысл, какой нравится им.

Я от этой слабости свободен, между прочим, уж и по одному тому, что редко она имеет случай касаться меня и, непривычная мне, касается меня очень слабо. Между поэтами, учеными, вообще писателями — очень немногие авторитетны для меня; — стало быть, редко у меня, непривычно мне желание перетолковывать книги по-моему, наперекор правде; оставаться свободным от непривычной слабости — легко.

Например: я расположен подчинять мои мысли по предметам естествознания мыслям Лапласа. И если бы случилось, что я встретил бы у Лапласа какую-нибудь мысль о каком-нибудь интересующем меня, но не вполне понятном для меня предмете естествознания, то у меня могло бы явиться желание истолковать эту его мысль сообразно моему личному мнению о том вопросе. И тут понадобилось бы мне сделать некоторое усилие над собою, чтобы зорко разобрать, не влагаю ли я в слова Лапласа смысл, какой приятно было бы мне видеть в его словах; это могло бы случиться по желанию, чтобы не поколебалось во мне от противоречия Лапласа нравящееся мне мое мнение.

Но это лишь один он, он один, — Лаплас, — из всех специалистов по естествознанию, живших после Ньютона, имеет такое значение для меня.

Обо всяком другом я совершенно индифферентно думаю: согласен он со мною? — Это не прибавляет нисколько к моему суждению о том, как велика вероятность, что мнение, кажущееся мне правдоподобным, действительно верно; — противоречит он мне? — Это ни мало не ослабляет правдоподобности моего мнения лично для меня.

И что ж мне за охота стараться понять его слова не в том смысле, какой действительно имеют они, а в таком, какой нравился бы мне?

Вы понимаете, мои милые друзья: речь тут у меня идет о «мнениях», а не о «знаниях», — о теориях, догадках, а не фактах и правильных, необходимых выводах из фактов.

Пусть бы Лаплас отрекся от своей истории солнечной системы; это ни мало не могло бы действовать на мои мысли о ее достоверности. Ее достоверность—это у меня «знание», а не «мнение».

В делах «знания» ничей авторитет не должен ровно ничего значить и ровно ничего не значит для человека, умеющего различать достоверное знание, научную истину, от «мнений», — теорий или догадок.

Таблица умножения, это — нечто совершенно независимое ни от чьих «мнений». Ни над нею, ни наравне с нею нет никакого авторитета. Все авторитеты ничтожны перед нею. И авторитет может относиться лишь к тому, о чем не дает

решения она. И при малейшем разногласии с нею авторитет раздробляется в прах.

Такова ж и всякая другая научная истина. Например: ни в чем из того, что опирается на ньютонову формулу, или на дальтонов закон эквивалентов, или на факт, что существует солнце, — ни в чем из опирающегося на эти истины никакой авторитет не имеет никакого значения.

Мы поговорим об этом побольше, когда дойдет до того очередь.

А теперь я сделал заметку об этом лишь для разъяснения моих отношений к «мнениям» натуралистов. Для меня авторитетны «мнения» Ньютона и из — живших после Ньютона — «мнения» Лапласа. Только их, двух. Если я не «знаю» чего-нибудь, но имею об этом какое-нибудь «мнение», мое «мнение» поколебалось бы, когда бы мне случилось узнать, что «мнение» Ньютона или Лапласа не таково. И я, если бы предмет был достаточно важен и если б у меня нашлась возможность, произвел бы «научную проверку» моего «мнения», и оно перестало бы быть «мнением», стало бы «знанием» или оказалось бы противоречащим какому-нибудь «знанию», и, когда так, я отбросил бы это мое «мнение». — Если ж предмет, по-моему, не стоит лично для меня хлопот трудного анализа или я, по недостатку специальных знаний, не в силах сделать этого анализа, то я рассудил бы так: «мое мнение» кажется мне правдоподобным вот почему и вот почему; а почему Ньютон (или Лаплас) думает иначе, я не знаю и не умею догадаться, но, вероятно, он понимал дело это лучше, нежели я; отбросить мои соображения не умею, но, вероятно, они ошибочны. И я, не имея возможности вовсе выбросить из моих мыслей мое мнение, все-таки думал бы (и говорил бы, разумеется), что я однако ж предпочитаю держаться противоположного этому мнению, мнения Ньютона (или Лапласа).

Вы видите, я беру крайний случай: личные мои соображения остаются ни мало не опровергнуты, а соображения Ньютона (или Лапласа) остаются вовсе не известны мне. И, однако же, я предпочитаю немотивированные слова Ньютона (или Лапласа) моим соображениям.

Тем легче мне дать решительный перевес мнению Ньютона (или Лапласа) над моим, если я замечу малейшую ошибочность в моих соображениях или сумею узнать, на каких соображениях основывается догадка («мнение» — это догадка) Ньютона (или Лапласа).

Вот это и называется признавать кого-нибудь авторитетом для себя.

У меня лишь два авторитета по естествознанию: Ньютон и Лаплас. И, сколько мог судить я, нет в моих мыслях по естествознанию ничего неприведенного в согласие с их «мнениями». (Вы помните, «мнения» для меня существуют лишь относительно предметов, еще не разъясненных вполне, еще не подведенных под «научное решение».)

А, во всяком случае, естествознание не относится к предметам моих личных ученых занятий или интересов. И никакое «мнение» ни по какому из предметов естествознания не имеет ровно никакой важности ни лично для меня, как человека, имеющего личные интересы, ни для какого предмета моих личных ученых занятий.

Стало быть, легко мне смотреть, как это называют, объективно даже и на «мнения» Ньютона и Лапласа; легко читать их безо всякого желания заменять действительный смысл их слов какою-нибудь моею личною мыслью.

А слова всех других натуралистов совершенно индифферентны для меня: пусть они говорят, что хотят, мне все равно. Прошу Вас помнить, мои друзья: дело идет о «мнениях»,— о догадках, а не о научных решениях; что «научная истина», то, кем бы то ни было найдено, или излагаемо, кем бы ни было сообщаемо мне, равно для меня: священная для меня истина.

Милые мои друзья, вот именно эти черты хороши во мне:

Любовь к истине; желание пользоваться моими силами — велики ль они или нет, все равно,— пользоваться моими силами для самостоятельного рассматривания, что правда, что неправда; понимание того, что отречение от права пользоваться разумом своим — отречение, не достойное существа, одаренного разумом, не достойное человека.

Эти черты хороши во мне. Но — они принадлежат бесчисленному множеству людей. Ровно ничего особенного нет в том, что они принадлежат и мне.

Мало ли что хорошо во мне?— Я умею читать и писать. Это прекрасно. Я довольно порядочно знаю грамматику моего родного языка. Это прекрасно. И много, много такого, бесспорно прекрасного, могу я сказать о себе по чистой справедливости. Только — во всем этом нет ровно ничего особенного.

Так. Мне хвалиться нечем. Но о многих других я принужден думать нечто очень прискорбное мне.

Хоть и не особенное нечто — мое прекрасное качество: «я умею читать и писать»,— это качество лишь меньшинства людей. То же и обо всем остальном хорошем во мне.

Таких, как я, миллионы людей в образованном обществе цивилизованных стран.

Но людей, отрекающихся от права разумного существа пользоваться своим разумом, десятки миллионов в образованном обществе цивилизованных стран.

Огромное большинство образованного общества не хочет давать себе труд самостоятельно судить о научных делах, по сущности своей понятных всякому образованному человеку, каковы или все или почти все те научные дела, которые имеют важное научное значение. Огромное большинство образованного общества еще не отвыкло от умственной лености, бывшей некогда натуральным качеством варваров, погубивших цивилизацию Греции и Рима, остающейся теперь лишь нелепою привычкою их потомков, уж давно ставших людьми цивилизованными.

Это лишь дурная привычка, не соответствующая действительному состоянию умственных сил людей, державшихся ее. И всякий раз, когда эти люди захотят, они без малейшего усилия стряхивают с себя эту дурную привычку и оказываются людьми, умеющими судить о научных делах разумно.

Да, они умеют, когда хотят; но это бывало,— по крайней мере, в нашем столетии,— лишь кратковременными эпизодами, возникавшими по поводу какихнибудь особенных обстоятельств.

В истории астрономии таким эпизодом было заявление прав разума массою образованного общества по поводу результатов спектрального анализа. Масса образованного общества вдумалась в лапласову гипотезу и нашла: Лаплас прав. И большинство астрономов немедленно открыло: «да, Лаплас прав».

Это был эпизод совершенно исключительного характера.

А постоянный характер хода дел был до той поры и после того опять стал совершенно иной.

Масса образованного общества полагает, что она не имеет права судить ни о чем в астрономии. Большинство астрономов находит это мнение массы публики очень удобным для своего чванства и вразумляет публику, что это и должно так быть: в астрономии все такая премудрость, которой невозможно разобрать без знания теории функций. Все, все в астрономии лишь формулы, двухаршинные формулы, испещренные греческими сигмами громадного шрифта и миньятюрными штучками всяческих алфавитов в два, в три, в четыре этажа одни над другими;— формулы, от которых трещат головы и у них самих, записных специалистов по математике, и притом необыкновенно умных людей. Они одни тут компетентны; публике остается лишь слушать, дивиться и принимать на веру дивные вещания их, гениальных мудрецов.

И большинство публики покорствует: слушает, дивится и принимает на веру их премудрые вещания.

А результат?—Не говоря уж об интересах разума массы образованного общества,—результат для самих мудрецов?

Кто выходит из-под контроля общества, выходит из-под контроля здравого смысла общества.

У некоторых людей личный здравый смысл так силен, что не нуждается в поддержке со стороны общества. Но такие люди—редкие, совершенно исключительные явления. Масса людей—люди, как все мы, люди неглупые от природы, и от природы не безрассудные, но люди довольно слабые во всех своих хороших качествах, во всем своем хорошем держащиеся недурно лишь при поддержке общественным мнением.

И что неизбежно следует из того?

Вот что следует вообще и во всякой группе людей, вышедшей или стремящейся выйти из-под контроля общественного мнения:

В огромном большинстве людей всякой такой группы постоянно развивается пренебрежение ко всему тому, что не составляет особенной принадлежности этой группы, ко всему, что не составляет отличия ее от остального общества.

И, между прочим, развивается пренебрежение к обыкновенному, общечеловеческому здравому смыслу; предпочтение своего особенного мудрствования, мудрствования особой группы людей, разуму.

До какой степени успевает в какое-нибудь данное время, в какой-нибудь данной группе взять верх над разумом эта особенная тенденция к пренебрежению разумом из-за чванства специальною премудростью, зависит от исторических обстоятельств; но тенденция эта постоянно действует во всякой такой группе, и постоянно стремится совершенно подчинить себе всякую такую группу, и постоянно мила большинству людей всякой такой группы.

Длинны мои рассуждения? Да. Я сам знаю. Длинны. Но, мои милые друзья, сделаю еще одну заметку.

Сила человека—разум. Это—общепризнанная истина.

К чему ж ведет, когда так, пренебрежение разумом?—К бессилию.

И если какие-нибудь специалисты,—например, специалисты ученого разряда специалистов,—пренебрегают разумом из-за чванства своею специальностью, премудрость будет поражена бессилием. Они станут, как это называется, великими людьми на малые дела.

Они будут, быть может, ловко играть техническими приемами своего ремесла, но смысла в их мастерских штучках не будет.

Пока дело идет о формалистических мелочах, они будут ловко вести это пустое дело. Но как представляется им серьезное, важное дело, они оказываются ничего не понимающими, ничего не умеющими, робеют, путаются, болтают и делают чепуху. Это потому, что для ведения серьезных дел нужен разум или, по просту говоря, здравый смысл.

Длинны были мои разъяснения, мои милые друзья. Но, при всей своей длинноте, не слишком ли кратки они?— Не знаю.— Масса книг,— я говорю о книгах ученых,— читаемых Вами, почти сплошь напичкана вздором. Умных ученых книг не очень много и у передовых наций. Тем меньший процент составляют они в нашей русской сокровищнице наук,

Где русский ум и русский дух
Зады твердит и врет за двух,—

за двух — за какого-нибудь педантствующего немецкого, французского или английского ученого, книгою которого руководится русский ученый, и за самого русского ученого, искажающего ту, уж в подлиннике изуродованную педантством, книгу своею переделкою ее на суздальский лад.

И потому: достаточны ли были для Вас, милые мои друзья, те мои длинные разъяснения?— Не знаю.

Или они были излишни для Вас?— Не знаю. Не желаю думать так.

Применим теперь те мысли, изложение которых было, я желаю думать, излишним для Вас, к разбору вопроса: насколько правдоподобно для меня, что я ошибся, сказавши: «большинство астрономов упрямилось признать лапласову гипотезу за истину до самого того времени, как было вынуждено к тому спектральным анализом».

Дело это лично для меня индифферентно. Пусть кто угодно говорил как угодно о лапласовой гипотезе, мне было все равно,— вот теперь уж тридцать лет,— было все равно.

Лапласова гипотеза была для меня с моей ранней молодости «знанием». Сам Лаплас никакими отречениями от этих своих выводов не мог бы ни мало поколебать моего «знания», что эти его выводы — бесспорная, с научной точки зрения, научная истина.

Тем меньше мог я иметь охоты влагать какой-нибудь нравящийся лично мне смысл в отзывы каких-нибудь живших после Лапласа или живущих ныне астрономов ли в частности, вообще ли натуралистов. Никто из них не авторитет для меня. И «мнения» их не имеют веса для меня и по таким вещам, о которых сам я имею лишь «мнение». А всякие их отзывы о научных истинах, по-моему, вовсе неуместны, кроме одного простого выражения: «это истина».

И вот этого-то единственно справедливого отзыва о лапласовой гипотезе не попадалось мне, сколько я помню, ни в одной книге, ни в одной статье, писанной кем-нибудь из живших после Лапласа или живущих ныне астрономов, ни в одной из всех читанных мною до «недавнего времени», когда господа большинство астрономов прославили себя открытием, что Лаплас прав.

Все отзывы, помнящиеся мне, были только вариациями на тему: «лапласова гипотеза — лишь гипотеза». Иной толковал, что это «гипотеза» неосновательная; иной, что это «гипотеза» правдоподобная или даже очень правдоподобная. Но никто, сколько я помню, не говорил: это истина.

Воспоминания других людей моих лет или старших меня летами о тех временах, предшествовавших «недавнему времени» великого открытия: «Лаплас прав», могут быть неодинаковы с моими. Многие могут «помнить», что «издавна» или «всегда» лапласова гипотеза была признаваема «большинством» астрономов, или даже «почти всеми», или и вовсе «всеми» астрономами за «истину».

Но я говорю: я полагаю, что подобные «воспоминания» — не «воспоминания», а дело недоразумения или результат иллюзии.

«Очень правдоподобно», — это вовсе иное нечто, нежели простое «да».

«Я почти нисколько не сомневаюсь, что Лапласова гипотеза верна», — это нечто совершенно иное, чем простое: «лапласова гипотеза верна».

Друзья мои, кто сказал бы: «очень правдоподобно, что таблица умножения верна», тот был бы трус, или лжец, или невежда. О научных истинах выражаться так — неприличная вещь, пошлая вещь, бессмысленная вещь.

Но кому, по недостатку специальных знаний, воображается, что он имеет лишь «мнение» о каком-нибудь специальном деле, и воображается, что лишь специалисты компетентны решать это дело, — тот, в своей личной беспомощности, жадно хватается за опору, какую могут, по его предположению, давать ему отзывы авторитетных для него специалистов, и влагает в их слова такой смысл, какого жаждет. Он читает: «это вероятно», — и он в восторге; и через пять минут ему уж воображается, будто он прочел: «это просто несомненно»; еще пять минут, и он уж воображает, будто бы в прочтенном им отзыве было сказано: «это несомненно».

Я избавлен моими научными правилами от охоты к таким подкрашиваньям читаемых мною книг в колорит, нравящийся мне.

Лично для меня совершенно все равно, в каком вкусе кому из ученых угодно писать. Те немногие ученые, которые авторитетны для меня, авторитетны для меня лишь потому, что не выделывают фокус-покусов, не чванятся, не презирают разума, дорожат научною истиною.

И переделывать их слова по моему вкусу я не имею склонности, потому что не имею надобности: у них и у меня нет никакого особенного предпочтения к какому бы то ни было «вкусу»; им, как и мне, хороша лишь истина. В чем бы ни состояла истина, все равно: для меня, как и для всякого, любящего истину, она хороша.

Друзья мои, рассудим: с какой стати стала бы моя память обманывать меня по вопросу: как держало себя большинство астрономов относительно лапласовой гипотезы в тот наверное ж не меньше чем шестидесятилетний период между обнародованием этой истины и открытием спектрального анализа.

Ровно никакое специальное решение по чему бы то ни было, специально относящемуся к естествознанию, не имеет ровно никакого влияния ни на мои личные ученые интересы или ученые желания, ни на предметы моих личных ученых занятий. И потому, лично для меня, с ученой точки зрения, совершенно все равно, кто прав: Коперник или Птолемей, Кеплер или Кассини-отец, Ньютон или

Кассини-отец и Кассини-сын. Пусть было бы правда,— по Птолемею,— что солнце и все планеты и все звезды обращаются вокруг земли; или,— по Кассини-отцу, с сонмом вилявших перед ним хвостами астрономов,— было бы правда, что орбиты планет не эллипсы, а «линии четвертой степени», Кассиноиды,— как они были названы в честь его, победителя над Кеплером; или пусть было бы правда, что земной шар сплюснут не по оси суточного вращения, как утверждал «невежда и фантазер», вообще «дурак» Ньютон, а по линии экватора, так что экваториальные диаметры меньше диаметра между полюсами, согласно гениальному Кассини-отцу и не менее гениальному Кассини-сыну; пусть все это было бы так; и пусть было бы хоть правда даже и то, что млекопитающие имеют каждое по две или по три головы и лишь по одной ноге,— для предметов моих личных занятий все это было б индифферентно. Для них нужно от естествознания лишь одно: чтобы в естествознании владычествовала истина; а какова именно истина по какому бы то ни было вопросу естествознания, все равно. Прав Птолемей? Правы Кассини? У млекопитающих по три головы у каждого?— Это, лично для меня, индифферентно. Я требую лишь: пусть будет доказано, что это истина.

И противно мне все это почему?— лишь потому, что это ложь. Ясно ли говорю я?— Не специальное содержание лжи по естествознанию противно мне; оно чуждо мне; противно мне в этой лжи лишь то, что она ложь.— И, наоборот: не специальное содержание истины по естествознанию нужно или мило мне: оно не нужно ни для чего по предметам моих личных ученых интересов или занятий; в истине по естествознанию нужно и мило мне собственно лишь то, что она — истина.

Ясно ли это? — Не знаю, мои милые друзья, сумел ли я изложить мои отношения к естествознанию так, чтобы они были ясны для Вас. Сами по себе они легки для понимания. Но из нынешних ученых — натуралистов ли, историков ли, ученых ли по другим отделам знаний,—лишь очень немногие понимают эти вещи так, как понимаю их я. Мои понятия об этом — понятия Лапласа.

Переписывать и поправлять Лапласа все астрономы большие мастера. Но понимать, как смотрел Лаплас на отношения естествознания к другим отделам наук, это умеют очень немногие.

Почему?— Потому, что для понимания этих вещей ученому надобно быть мыслителем той единственной научной системы общих понятий,— мыслителем или учеником мыслителей той системы понятий, которой держался Лаплас.

Само по себе дело ясно. Но масса ученых затемняет его своими фантазиями.

Достаточно ли просто для Вас изложил его я? — не знаю.

Но, ясны ли, не ясны ли для Вас эти мои разъяснения,— быть может, недостаточные для Вас, быть может,— и желаю думать: лишние для Вас,— я прилагаю их, наконец, к делу:

Прав ли Коперник, или Ньютон, или Лаплас, это ни мало не занимательно лично для меня. Лично для меня важно лишь то, что прав Левкипп, или,— чтобы говорить о современной Лапласу науке,— что прав Гольбах. А Левкипп одинаково прав, если б и не прав был Архимед. Истина, которую разъяснял Левкипп, шире и глубже хоть и великих, хоть и фундаментальных открытий Архимеда. И Гольбах прав, независимо от того, правы ли Коперник и Галилей, и Кеплер, и Ньютон, и Лаплас.

Употребить ли сравнение из математики? — Пожалуй, для ясности:

Я подобен человеку, который хочет и имеет надобность держаться лишь первых четырех действий арифметики. Та истина, которой держится он, очень элементарна. Но — она самая фундаментальная часть математической истины. И она не зависима ни от геометрии, ни от алгебры, ни от высшего анализа. Наоборот: все эти отделы математики основаны на той простенькой, вовсе простенькой истине. И все, что не сообразно с нею, — не математика, и вообще не наука, и еще более вообще: неправда.

Ясно ли?

И, отбрасывая сравнение, взятое лишь для ясности, я говорю:

Все, что несогласно с простенькою, вовсе простенькою истиною, первым из наиболее известных истолкователей которой был Левкипп, — то все не правда.

И я проверяю этою простенькою истиною всякую теорию в естествознании ли, в другом ли каком отделе наук, — «теорию», то есть догадку; не «истину», а лишь «догадку».

А будет ли согласна с тою простенькою истиною всякая специальная научная истина по естествознанию ли, по другому ли какому отделу наук? — О, об этом у меня нет ни опасений, ни забот, ни «пожеланий»: я знаю, что это всегда, во всем, везде было и будет так. Таблица умножения была верна во все прошлое вечности, будет верна во все будущее вечности, повсюду: и на Сириусе, и на Альционе, и повсюду, как на земле: она — верное формулирование самой «природы вещей», она — «закон бытия»; она — вечно и повсюду непреложна — научная истина о таблице умножения. И о всякой другой истине такова: всякая истина всегда согласна со всякою другою истиною. И хлопотать о примирении нечего.

Однако, — «невыносимо длинна эта скука», — быть может, думаете Вы, мои друзья. Да. И кончим ее; резюмируем дело, характер которого я разъяснял этою скукою.

Верны ли мои воспоминания о том, каковы были рассуждения по вопросу о лапласовой гипотезе в книгах астрономов, какие читывал я раньше открытия спектрального анализа?

Это дело индифферентное для меня. Мои воспоминания о нем, насколько они ясны и широки, характеризуют его верно, — я полагаю.

Но достаточно ли ясны и широки мои воспоминания, — это иной вопрос. Моя начитанность по астрономии не была велика. Да и в тех книгах, какие читал я, что за охота была мне замечать, в каком тоне говорит автор о лапласовой гипотезе. И если случалось заметить, что за охота была припоминать.

И, читавший мало, замечавший еще меньше того, я давным-давно позабыл почти все то немногое, что знал когда-то об истории лапласовой гипотезы в мыслях большинства астрономов.

Мои воспоминания правильны, но неясны и очень малочисленны.

Итак, быть может, я ошибаюсь, делая по ним выводы о большинстве астрономов?

Едва ли. — Почему так? — Я попрошу Вас припомнить то, что говорил я о великом, истинно уважаемом мною, пересоздателе геологии, Лайелле; я говорил: он отвергал лапласову гипотезу. Стоит вдуматься в этот факт, отчетливо помнящийся мне, и отношение огромного большинства астрономов двух поколений к лапласовой гипотезе оказывается достаточно характеризованным.

Лайелль знал из математики гораздо меньше, нежели я. Он обращался к астрономам с просьбами решать для него такие простенькие геометрические задачи, какие легки даже для меня, и писал в примечаниях горячие выражения своей признательности астрономам за эти их труды, совершенные ими для него. Это наивно до смешного. Но еще забавнее, когда он стал пускаться в арифметические премудрости.— Это,— мимоходом замечу,— ни мало не вредит ему. Какая ж математика удобоприменима к геологии при нынешнем состоянии геологии? Непригодна еще, вовсе непригодна для математического разбора эта груда совершенно неопределенных данных. Даже и самые-то простенькие арифметические выкладки тут такая же напрасная работа, как считание, сколько мошек или комаров родится в данной области в данную весну, в данное лето; «много»,— вот все, что можем мы, при данном материале, знать об этом, без арифметики ли, с арифметикою, все равно.

Человек, плохо знавший даже арифметику, Лайелль был человек чрезвычайно скромный и необыкновенно добросовестный. Пример тому: его отречение от теории неизменности видов, которую он обширно излагал тридцать лет в каждом новом издании своей геологии. Это самоотречение семидесятилетнего старика, учителя всех геологов, от любимой своей мысли — факт, делающий великую честь ему. Мы поговорим о том после.

Человек, не знающий почти ничего из математики; человек, обо всем, относящемся к астрономии, советовавшийся с астрономами; человек чрезвычайно скромный,— тридцать лет твердил он в своей «Геологии», что лапласова гипотеза — вздор. Тридцать лет,— сказал я. Так ли?— Не знаю. Знаю лишь вот что: я читал Лайелля в 1865 году. Я читал его в издании, новее которого не было тогда, когда оно Вами было куплено для меня. Когда оно было куплено?—Не знаю. Но полагаю: в том же году. И какого года было это издание?— Не знаю. И чем могу пособить этому моему забвению года того издания?— Лишь справкою у Брокгауза. Делаю справку. Нахожу: первый том первого издания «Оснований Геологии» Лайелля вышел в 1830 году. (О гипотезе Лапласа говорится в первом томе, это мне очевидно: я помню,— это в первых главах трактата.) В 1859 году вышло девятое издание. Дальше этого года данные о Лайелле не идут у Брокгауза в издании, которое у меня. Тот том этого издания словаря напечатан в 1853 году.— Итак, возможно предположение: издание «Геологии» 1853 года было последним до 1865 года; и было у меня именно это, девятое издание Лайелля. И если так, то мне можно ручаться лишь за двадцать три года борьбы Лайелля против Лапласа.

Но правдоподобно ли, что книга, имевшая девять изданий в двадцать три года, оставалась без нового издания целые двенадцать лет после того. Лайелль был жив, был еще крепок силами, усердно работал; все это я твердо знаю; его книга была настольною книгою всех геологов всего цивилизованного света; как же могло пройти двенадцать лет без нового издания ее?

И я полагаю: издание, которое читал я в 1865 году,— издание, новее которого не было тогда, было не девятое, а уж одиннадцатое или двенадцатое, напечатанное не в 1859 году, а около 1860 года или, вероятнее, даже позже этого, около 1863 года.— Это лишь моя догадка. Она, быть может, ошибочна. Но, друзья мои, Вы видите, не вовсе уж без резона сказал я: «борьба длилась тридцать

лет».— И пусть я ошибся. Изменится ли сущность дела?—Не тридцать лет, но никак не меньше чем двадцать три года Лайелль твердил, что лапласова гипотеза — вздор.

Ну, и двадцать три года этого ошибочного спора Лайелля против Лапласа дают уж достаточно полный аттестат господам астрономам,— не «большинству» их, нет: почти всем им,— почти всем; так что выходит: меньшинство, говорившее о Лапласе правильно, было вовсе ничтожно по числу, не видно и не слышно было этого здравомыслящего меньшинства.

Иначе, не умею понять факта:

Человек очень скромный, всегда готовый отказаться от всякого своего мнения, ошибочность которого будет замечена кем-нибудь и объявлена ему; человек, не знающий астрономии, не имеющий ни малейшей претензии знать ее; советующийся обо всем астрономическом с астрономами, — он твердит наверное больше двадцати лет, а судя по всему, лет тридцать или больше, что лапласова гипотеза вздор;

а его книга, в которой напечатана и постоянно перепечатывается эта вещица, — одна из важнейших ученых книг для всего цивилизованного света; книга, хорошо известная всем натуралистам, в том числе и всем астрономам всего цивилизованного света;

и никто, стало быть, из господ астрономов не потрудился объяснить автору этой книги, что спорить против лапласовой гипотезы нельзя, что она — не гипотеза, а достоверная истина;

или никто из астрономов не потрудился сказать ему это, или — хуже того: голос астронома, сказавшего правду, был заглушен шумом массы астрономов: «о, нет, это лишь гипотеза; спорить против нее очень можно».

Я полагаю, что было именно второе.

Ошибаюсь ли я? — Быть может.

Но я полагаю: ошибочность тут очень неправдоподобна.

Само собою: никогда догадка не может вполне совпадать с фактами.

Я пишу почти лишь по памяти о предметах, никогда не бывших интересными лично для меня. Мои знания о них, — обо всем в естествознании, — всегда были скудны; и почти все из того, что знал когда-то о них, я забыл. Чем пополнять мне пробелы этих чрезмерно скудных моих знаний? — Словарем Брокгауза. Разве эта книга для ученых? Много ли в ней могу найти я из того, что нужно мне для этих моих бесед с Вами, друзья мои? И невозможно ж мне не говорить иной раз лишь по соображению.

Память обманчива. Соображения — это лишь догадки.

И каждое мое слово, о котором не знаете Вы твердо и ясно, что оно верно, требует проверки с Вашей стороны. Но никакие мои ошибки не относятся, не могут относиться к сущности дела. Это как же? — Вот как, например:

Как бы там ни было, хорошо ли, нехорошо ли держало себя большинство астрономов в те шестьдесят лет от издания «Небесной механики» до спектрального анализа по делу о лапласовой гипотезе,—

но вообще, — вообще,—

отношение массы астрономов к научной истине — отношение, недостойное людей от природы не глупых и не бесчестных. Добровольно разыгрывать рол

глупцов и лжецов дело нехорошее. Они делают это. С какой стати? — Да ни с какой, кроме того, что это им нравится.

Это факт такой крупный, что, к сожалению, ошибка относительно характера его невозможна. Из десяти книг об астрономии, заключающих в себе хоть что-нибудь, кроме формул и цифр, разве в одной нет противонаучной примеси.

Только в этом и сущность дела, которую стараюсь я выставить на первый план в моих беседах с Вами, друзья мои.

Успеваю ли? — Не знаю. И полагаю: плохо успеваю; не умею.

Но стараюсь.

И довольно на этот раз утомлял я Ваше внимание невыносимо скучными разъяснениями, составляющими все лишь постоянно возобновляющийся и бесконечно растягивающийся приступ к делу. Попробуем побыстрее пройти в нашем припоминании все остальное содержание наших прежних бесед.

Теперь всеми признано, что «Лаплас прав».

Верность его выводов об истории нашей и всякой другой солнечной системы зависит лишь от того, верна ли так называемая «ньютонова формула», — та формула, под которую Ньютон подвел кеплеровы законы движения планет и спутников по их орбитам. Несомненная достоверность ньютоновой формулы признана всеми.

Но эта формула — лишь алгебраическое изображение так называемой «ньютоновой гипотезы», то есть мысли Ньютона, что движение небесных тел, алгебраически характеризуемое его формулою, производится силою всеобщего взаимного притяжения вещества.

Алгебраический смысл его формулы имеют и без его гипотезы. Но алгебраический смысл—нечто пригодное лишь для технической работы, а не для реального мышления о фактах. Для реального мышления о фактах удовлетворительны лишь мысли, имеющие реальный смысл, а не такие, которые имеют одно только техническое значение символов, неизвестно какой смысл представляющих собою и употребляемых лишь для облегчения технической стороны специальных работ.

Для здравого человеческого смысла ньютонова формула требует себе реального истолкования. Ньютон дал его своею гипотезою.

Верна ли ньютонова гипотеза, это все равно для достоверности выводов Лапласа, рассматриваемых с точки зрения технической, математической проверки. Но здравый человеческий смысл требует, чтобы решено было, верна ли ньютонова гипотеза.

Я разбирал дело об этом.

Не хочу напоминать Вам подробностей. Вы помните их.

Разбором дела о ньютоновой гипотезе я приведен был к необходимости поставить вопрос: каково же, однако, состояние научной истины в головах тех господ специалистов по математике, которые не хотят ни говорить, ни понимать что ньютонова гипотеза — безусловно достоверное знание?

И я увидал нечто такое, подобного чему нет в сказках «Тысячи и одной ночи»; я увидел, что в математике совершается вот что:

«Пространства» разных сортов, имеющие лишь по два измерения, «разумные существа двух измерений» — и так далее в этом вкусе—совершенно идиотские

глупости, изобретаются некоторыми, одобряются и принимаются в математику другими господами знаменитыми специалистами по математике.

Воздав должную дань хвалы уму этих господ, я хотел разъяснить, как произошли в их головах сотрясения мозга, проявившиеся такими нелепыми подвигами на славу им и на посрамление математики. Для этого надобно было изложить систему Канта, которая сбила их с толку.

Но изложение системы Канта заняло бы много листов. А дело не стоит того. Система Канта — галиматья, давным давно разбитая в прах. А невежественные переделки этой галиматьи, сочиняемые математиками и вообще натуралистами, не имеющими подготовки к пониманию какой бы то ни было философской системы идеалистического направления и тем менее способными понимать гениально напутанную Кантом софистику очень замысловатой идеалистической хитросплетенности,— невежественные продукты философствования этих господ,— разумеется, и вовсе не заслуживают траты бумаги и чернил на разбор их.

И я сказал: буду без длинных рассуждений говорить об этих глупостях, что они глупы. Я полагаю, что имею полное право поступать с ними так бесцеремонно. Люди, изобретающие или одобряющие «новые системы геометрии» и компаньоны этих господ математиков и астрономов, господа большинство натуралистов, благоизволят болтать непонятную для них философскую чепуху; болтая этот вздор, они уж не математики или астрономы, они уж не натуралисты, а просто невежды, болтающие философскую чепуху. Я когда-то изучал историю философских систем. Они забрели в область, в которой я — специалист, а они ровно ничего не смыслят. О том, что я много занимался философиею, Вы, мои милые друзья, знаете. Следовательно, имеете право полагать, что мои отзывы о философствовании тех невежд в философии не вовсе ж лишены основания, хоть и не сопровождаются аргументациею. А когда так, то я имею право уволить себя от труда писать, а Вас от скуки читать сухие рассуждения о философской белиберде тех господ. И уволю себя и Вас от этого труда, от этой скуки.

В этом моем решении я, по всей вероятности, прав. Но я изложил мотивы его, по моей склонности к шуткам, шутливо. А по моему неуменью шутить, шутки мои вышли неуклюжи. Это еще не важно бы. Но вот что уж серьезно огорчает меня: мои шутки вышли обидны для Вас, мои милые друзья. Это разобрал я, припоминая содержание и тон моих шуток, но разобрал уж после того, как письмо было увезено почтою. Не догадался разобрать во-время. И жалею, что не догадался во-время.

Ну, как быть, когда так? Простите мне, мои милые друзья, эту мою вину перед Вами.

И моя рекапитуляция содержания прежних наших бесед кончена, и я начинаю продолжение их.

Масса натуралистов говорит: «Мы знаем не предметы, каковы они сами по себе, каковы они в действительности, а лишь наши ощущения от предметов, лишь наши отношения к предметам». Это — чепуха. Это — чепуха, не имеющая в естествознании ровно никаких поводов к своему существованию. Это — чепуха, залетевшая в головы простофиль-натуралистов из идеалистических систем философии,—по преимуществу, из системы Платона и из системы Канта. У Платона она не бессмы-

сленная чепуха; о, нет — она очень умный софизм. Цель этого очень ловкого софизма — ниспровержение всего истинного, что приходилось не по вкусу Платону и, — не знаю теперь, уж не помню ясно, но полагаю, — приходилось не по вкусу и превозносимому наставнику Платона, Сократу. Сократ был человек, доказавший многими своими поступками благородство своего характера. Но он был враг научной истины. И, по вражде к ней, учил многому нелепому. И, друзья мои, припомните: он был учитель и друг Алкивиада, бессовестного интригана, врага своей родины. И был учитель и друг Крития, перед которым сам Алкивиад — честный сын своей родины. А Платон хотел вести дружбу с Дионисием Сиракузским.— Понятно: людям с такими тенденциями не всякая научная истина могла быть приятна. Это о системе Платона.

А Кант так-таки прямо и комментировал сам свою систему провозглашением: все, что нужно для незыблемости фантазий, казавшихся ему хорошими, надобно признавать действительно существующими. То есть: наука — пустяки; эти пустяки надобно сочинять по нашим личным соображениям о том, что нравится мечтать тем людям, какие нравятся нам.

Это научная мысль? Это любовь к истине?

И у Канта та чепуха, без смысла болтаемая простофилями-натуралистами, имеет очень умный смысл; такой же умный, как у Платона; тот же самый очень умный и совершенно противонаучный смысл: отрицание всякой научной истины, какая не по вкусу Канту или людям, нравящимся Канту.

Платон и Кант отрицают все то в естествознании, чем стесняются их фантазии или фантазии людей, нравящихся им.

А натуралисты разве хотят отрицать естествознание? Разве хотят, чтобы наука была сборником комплиментов их приятелям?

Нет. С какой же стати болтают они ту чепуху? По простофильству; они хотят щеголять в качестве философов, — вот и все; мотив невинный, лишь глупый. И, не понимая сами, что и о чем болтают, оказываются, чванные невежды, отрицателями дорогой для них научной истины. Жалкие педанты, невежественные бедняги-щеголи.

Я сказал: обойдусь и без аргументации. Но вот для примера маленькая аргументанция:

Мы знаем предметы. Мы знаем их точно такими, каковы они на самом деле.

Берем для примера то чувство, о котором любят болтать натуралисты, что знания, получаемые через него, недостоверны или не вполне сообразны с действительными качествами предметов, — берем чувство зрения.

Мы видим что-нибудь, — положим, дерево. Другой человек смотрит на этот же предмет. Взглянем в глаза ему. В глазах у него то дерево изображается совершенно таким, каким мы видим его. Итак? — Две картины совершенно одинаковые: одну мы видим прямо, другую — в зеркальцах глаз того человека. Эта другая картина — верная копия первой картины.

Итак? — Глаз ровно ничего не прибавляет и не убавляет. Мы видим это: разницы между двумя картинками нет.

Но «внутреннее чувство», или «клеточки центров органа зрения», или «душа», или «деятельность нашей сознательной жизни», не переделывает ли чего-нибудь в той картинке? — Опять мы знаем: нет. Спросим у того человека,

что такое он видит? — Пусть он описывает, что такое он видит, когда та картина нарисовалась в его глазах. Оказывается, он видит именно эту картинку. О чем же тут толковать?

$$A = B;\ B = C;$$
$$\text{стало быть } A = C.$$

Подлинник и копия одинаковы; наше ощущение одинаково с копиею.

Наше знание о нашем ощущении, это — одно и то же с нашим знанием о предмете. (Это — популярное изложение; строго философское будет говорить о «картинке в одной паре» и в «двух парах зеркалец», но смысл тот же и вывод все тот же.)

Мы видим предметы такими, какими они действительно существуют.

«Но ночью мы плохо видим». Ну, да.

«Но в микроскоп мы видим такие подробности, которых не видим простыми глазами». Ну, да.

И надобно прибавить: «А вот слепые-то и вовсе не видят». И это правда.

Но все эти совершенно справедливые мысли не имеют ни малейшего отношения к делу о том, верно ли мы видим то, что мы видим, когда у нас глаза здоровы.

Видим лишь то, что видим. Например, не видим атомов углерода, а видим лишь большие груды этих атомов. Или: ночью не видим разноцветности предметов.

Чего мы не видим, того мы не видим. Это так. Но вовсе не о том речь в той чепухе. В той чепухе говорится, будто мы видим не то, что мы видим, или будто нам кажется, что мы видим то, чего мы не видим. Это чистейший вздор, когда мы в добром умственном здоровье и когда глаза у нас здоровы. Здоровый умственно человек видит здоровыми глазами те самые предметы, какие видит; — так ли это? — Тем простым анализом доказывается, как $2 \times 2 = 4$, что это так. А простофили-натуралисты болтают: «нет».

И пусть будет довольно этого о глупости бессмысленной философской болтовни господ большинства натуралистов.

Воля Ваша, милые друзья мои: обидно за естествознание, что вот я, которому нет ровно никакого дела ни до чего в естествознании, принужден защищать естествознание против огромного большинства людей, посвятивших свою жизнь усердному труду на пользу естествознания. Умны работнички. — Усердно, это так; но — умны.

Помните сказку об умном мужике, усердно рубившем сук, на котором уселся? Этот мужик, уму которого дивились проезжие и прохожие, — несомненно «общий предок» всех тех философствующих по Платону и Канту натуралистов. Не трудно найти прототип еще более первобытный: это — попугай, наученный смеющимися над ним шалунами кричать, что он дурак. Увы, — такова судьба всех попугаев, попадающих в руки дурным шутникам: все, бедняжки, выучиваются кричать с восторгом, что они — дураки.

Невинные птички, сколь злосчастна их участь, — подумает иной.

Нет, ни мало. Они счастливы: они так умны. Они совершенно довольны собой.

Но бросим же, бросим, наконец, их попугайскую философию.

И вернемся к ньютоновой гипотезе. Мы можем теперь по достоинству оценить важность сомнения массы натуралистов, прав ли Ньютон.

Люди, сбитые Кантом с толку до того, что уж не знают, действительно ли существует солнце или только «кажется» им, будто бы оно существует, — такие люди, конечно, вполне способны не знать, прав ли Ньютон.

Следовало б изложить историю ньютоновой гипотезы. Разумеется, не с нынешних астрономов началась эта постыдная для астрономии, для математики, для всего естествознания болтовня: «прав ли Ньютон, неизвестно».

Но так и быть. Обойдемся и без истории этой умной болтовни.

Это была, разумеется, и в старые времена до постыдности глупая болтовня. Но — лишь пустая, глупая болтовня, не имевшая никакого реального значения, по крайней мере, с той поры, как измерен был градус меридиана под полярным кругом, — раньше половины прошлого века она стала вовсе пустою. Педанты болтали: «ньютонова гипотеза — лишь гипотеза», — были счастливы, что высказали этою премудрою фразою свое непостижимое простым смертным глубокомыслие, и этим невинно-глупым самовосхищением кончалось у них все дело. Реальных замыслов воспользоваться своею болтовнею для переделок астрономии по своему вкусу, во славу себе, в погибель Ньютону, они не имели, добряки-простофили старого времени.

И если бы оставалось так, то, разумеется, не стал бы я ровно ничего говорить о ньютоновой гипотезе. Что мне за надобность была бы защищать ее? — Никто не нападал на нее. Никто и не имел в мыслях ни малейшего сомнения о ее достоверности, неопровержимости. Лишь говорили пустой вздор и сами чувствовали, что говорят пустой вздор.

Но «в недавнее время» господа большинство натуралистов благоволило наделать столько великих, истинно-изумительных открытий, что не на шутку подвергалось одурению.

Еще бы, нет, — оно открыло, что «Лаплас прав»; оно открыло «единство сил»; оно открыло «молекулярное движение»; оно открыло «механическую теорию природы».

Все это было известно давным давно всякому, желавшему знать.

И, например, даже в русских журналах, уж больше тридцати лет тому назад, были подробные трактаты о «единстве сил» и обо всем остальном, перечисленном мною.

Но масса публики лишь недавно вздумала вынудить массу господ натуралистов высказаться без ужимок и оговорок, высказаться прямо, ясно, решительно, что эти истины — действительно бесспорные истины. И у массы натуралистов закружились головы.

На том, что Вы прочли, я остановился, услышавши: «завтра отправляется почта». Стал писать Вашей маменьке, мои друзья.

Отделались Вы, я полагаю, от моих вступительных рассуждений; хочу удовольствоваться теми бесконечностями скук, которые уж навел на Вас; а сам я рад, что успел окончить мой отзыв о Канте и философии господ кантовых попугаев — от Джона Гершеля (да, милые друзья: и Джон Гершель попугайствовал по Канту или философам худшим, нежели Кант) и Тиндаля (да, и Тиндаля) до Дюбуа-Ремона (да, и Дюбуа-Ремона) и Либиха (да, Либиха — великого, истинно

великого Либиха), рад, что успел написать мой отзыв обо всем этом и обо всех о них не на множестве листков, а на двух страницах.

Мало этого; чрезмерно мало. Но было бы скука Вам, скука читать длинное изложение давно сданной в архив галиматьи Канта и еще худшей белиберды его попугаев.

И пусть будет довольно того чрезмерно сжатого, что написано мною об этом.

Если удержусь от возобновления вступительных рассуждений и от изложения философии господ попугаев, то, разумеется, мы быстро пройдем через все предисловие к истории: разумеется, быстро очень. Мне важно разбирать то, что действительно принадлежит естествознанию, — не знаю я и не хочу знать естественных наук, — я принимаю все содержание естествознания, как принимаю «Теорию функций», — не зная, не разбирая, принимаю все, все, — но «естествознания», а не глупость, примешиваемую к нему попугаями; от этих попугаев, которыми изволят бывать по временам, — изволят, к позору для естествознания, на срам себе перед потомством, — изволят бывать, к прискорбию моему за науку и за них, — многие великие специалисты по естествознанию, глубоко уважаемые мною за их скромные специальные работы, — от этих попугаев-философов противонаучного направления должен был я защищать естествознание.

И боязнь изнурить скукою Вас помешала мне защитить его как следовало бы.

Ну, пусть будет довольно того, что написал в защиту его.

А само, по своему специальному содержанию, естествознание очень мало мне известно и еще гораздо меньше того занимательно.

Я уважаю его больше, чем кто-нибудь из натуралистов, считающихся ныне лучшими его представителями. Но у каждого из ученых должно ж быть «самоограничение» в выборе предметов для своих ученых трудов. И я всегда считал себя не имеющим права тратить время на занятия естествознанием: я и без того не успел узнать десятой доли фактов и соображений, которые нравственно обязан был изучить по избранным мною предметам моих ученых занятий.

Потому, конечно, мы быстро пройдем все предисловие к истории человечества, если — если я не возобновлю моих вступительных рассуждений и не возвращусь к защищению естествознания от глупостей философствующей компании натуралистов.

Полагаю, воздержусь от обеих этих скук Вам, мои милые друзья. Будьте здоровы. Жму Ваши руки.

Ваш Н. Ч.

ИЗ ПЕРЕПИСКИ М. А. БАКУНИНА

I. ПИСЬМА к В. Ф. ЛУГИНИНУ [1]

ПРЕДИСЛОВИЕ

Печатаемые ниже три письма Бакунина к Лугинину находятся в делах высочайше учрежденной следственной комиссии в Ленинграде (не в оригиналах, а в копиях). Они относятся к периоду либеральной агитации «Колокола», в которой деятельное участие принял и Бакунин. Либеральные и демократические элементы объединились вокруг лозунга Земского собора. Его проводили в своих статьях Герцен и Огарев, его же защищал по-своему Бакунин в брошюре «Народное дело». Письма показывают, что, не ограничиваясь литературной пропагандой, Бакунин вел агитацию за адрес в сочувствующих кругах, в частности среди членов русской гейдельбергской колонии, образовавшейся в 1862 г. после вынужденного выезда за границу многих молодых людей вследствие закрытия высших учебных заведений в результате университетских волнений 1861 г. Среди этих молодых людей находился и адресат печатаемых писем, В. Ф. Лугинин, впоследствии известный ученый-химик. Либерал по своим политическим симпатиям, он в тот момент стоял близко к кружку Герцена и принимал посильное участие в агитации за адрес, который был составлен Огаревым для подачи царю. Этой агитации мешали Кавелин и Тургенев, на которых Бакунин и обрушивается за это в своих письмах. Кавелин был вообще противником конституции, а Тургенев находил огаревский проект адреса неудачным и носился с мыслью о собственном проекте, которого так и не составил. Из всей затеи, впрочем, ничего не вышло.

Письма отчасти интересны тем, что рисуют временное увлечение Бакунина либеральными лозунгами. Он готов был даже либеральные выступления тверского дворянства, в которых принимали участие и его братья, рассматривать как проявление принципиальной революционности, якобы по существу отличавшейся от точки зрения Тургенева и подобных. И со свойственными ему агитационными приемами он силится убедить Лугинина, что и тот — большой революционер, резко расходящийся с Тургеневым. Но даже в эту либеральную агитацию Бакунин пытается внести свой дух, отличающийся от обычной либеральной постановки вопроса. Он искал поля деятельности и временно нашел интерес в либеральной агитации «Колокола». Для этого человека, по замечанию Герцена, не была в свое время сделана революция.

Ю. Стеклов.

1

12 октября 1862 г. Лондон.
10, Paddington Green. W.

Любезный друг Владимир Федорович! [2]

Позвольте мне назвать Вас этим именем, оно выражает общее чувство. Вы молодец, и что обещаете, то делаете. А потому берегитесь: Вы и для нас, и вообще

для дела драгоценны. Вы человек осторожный и практический, и потому держите себя подальше от стоголовой пустейшей польской молодежи, дабы из-за пустого шума Вам не попасться; а между тем Вы глядите на каждого из них из своего химического угла [3], и лишь только заметите между ними человека умного, крепкого на слово и на дело, — при первом случае опишите нам его, употребляя для имен и званий цифры. Такие люди могут быть между стоголовыми, но только и с ними не знакомьтесь слишком близко. Помалу просвещайте их. Жаль, что *1.16 2.2 1.5 1.9 1.4 1.19 1.22 9.20 4.3 2.6 2.3 1. 2* [4] не хочет ехать в Лондон, а нам малороссиян до зарезу нужно. О холодности поляков сейчас напишу в Париж кому следует [5]... Им прикажут быть потеплее. Что касается русских, то мне кажется, что на них должно действовать в одиночку, прибирая в руки одного за другим, начиная с лучших, а через них возьмется и остальное стадо. А лучших постарайтесь поставить на польскую точку зрения, объяснять русским болезненно-раздражительное положение нам совершенно незнакомого народа, терпящего жалкое порабощение, борющегося без устали, но и без успеха вот уже скоро 100 лет и делающего теперь первый откровенный шаг для сближения с нами. Нет сомнения, что люди, решившиеся взять инициативу этого трудного дела, должны остерегаться врагов вроде Мерославского, готовых воспользоваться всеми средствами, чтобы возбудить против них польские национальные недоразумения и тем ослабить их влияние [6]. Никогда не было до сих пор объявлено поляками публично: «право народов распоряжаться собою». В применении к Литве, Украине право, так ясно высказанное в письме Центрального комитета, это огромный шаг, вызвавший против них бурю в большей части польской эмиграции. Мы, русские, должны поддержать их теперь всеми силами в том убеждении, что непреклонная логика положения и обстоятельств поможет им гораздо более, и что лихо лишь сказать *a*, а там скажут и *b*, и *c*... Впрочем, я надеюсь, что письмо к Центральному комитету и к русским офицерам, которые Вы, без сомнения, прочли в № 147 «Колокола», победят хоть несколько взаимный холод русских и поляков. Мы будем стоять в этот раз крепко в принятом нами направлении, и так как наше дело право, мы победим.

От В. я получил многоречивое, но слабое и пустое письмо. От Б. жду ответа на мое небрежное письмо [7]. Письма Вашего к А. И. [Герцену] еще не читал. Прочту сегодня вечером. Радуюсь Вашей успешной и энергичной деятельности. Нам досадно и жаль, что мы рекомендовали Вам П. С. Т[ургенева]. Он стал из рук вон плох, его действия и письма к нам нелепы и недобросовестны, так что и хлопотать об этом не стоит...

Скажу Вам, любезный друг, мы приобрели нового помощника делу революции и по некоторым другим особым делам (Pag. 5) *4.7 4.9 11.2 9.14 2.1 1.8 1.9 14.3 5.5 10.1 2.4 2.5 2.7 3.4 3.6 8.1* qui nous sera en outre fort utile aussi pour l'organisation de la * *1.1 12.1 12.3 12.2 10.2* du *5.9 14.5 6.6 6.14 21.2 20.1 15.2*, а также для фонда [8]. Насчет последнего скажу Вам: Вы молодец. Продолжайте, нам это очень приятно. Не забывайте и станций, организуйте их втихомолку, но крепко, чтобы они оставались верны и непоколебимы.

---

* Который будет для нас, кроме того, весьма полезен в деле организации... — Ред.

Мы после Вас как дорогого друга будем любить и любить. Что касается лишней суммы, то never mind*. Главное, П... отданы, а я могу ждать долго, потому что при деньгах.

(Жгите все).

2

20 октября 1862 г. Лондон.
10, Paddington Green. W.

Любезный Владимир Федорович! [9]

Прочел я Ваше письмо к А. И. [Герцену] и распечатал конверты, чтобы прибавить несколько слов. Пожалуйста, не верьте И. С. Т[ургеневу]: он весьма способный литератор, милый человек, но в политике шут гороховый. Если бы жертва ограничивалась только тем, чтобы дать ему свой адрес — со включением условленных пунктов для удовлетворения его самолюбия,— если бы можно было рассчитывать на его слово, деятельность и постоянство, то мы, без сомнения, с радостью согласились бы признать за ним роль первенствующего руководителя в этом деле. Это было бы очень полезно, но на постоянство и сеьезную волю Тургенева положиться невозможно. Он рисуется и капризничает, что в общежитии очень мило, но в деле такой важности не должно быть терпимо. Я говорю это так положительно, потому что знаю его** с юных лет. Положившись на него, сделав его краеугольным камнем всего предприятия, Вы наверно будете обмануты, и обманет он Вас не по сознательной причине и бесчестности, а так, ради каприза и фантазии. Он артист, и ему дела нет до дела. Кроме того не только между ним и нами, но и Вами, позвольте Вам сказать, есть в самом понятии Вашего и наших дел пропасть. Он к нам писал и сообщал постоянно, но во всем был характер неточный. Вы пишете, что во время спора Бакста *** с ним Вы сблизились, потому что Ваши убеждения ближе к убеждениям И. С. [Тургенева], чем к нашим. Вы разумели под этим то, что Вы называете нашим социализмом. Но в деле адреса о нем не должно быть помину, потому что адрес имеет цель исключительно политическую, созвание Земского собора. И если Бакст*** ввел в спор вопрос об общинном землевладении etc., то это доказывает, что он не разумеет экономии и практическо-политических разговоров. Разница между Вами [нами?] и И. С. Тур[геневым] совершенно другая: он правительственный реформатор, он принимает основы правительственные и несогласен только с настоящим способом их осуществления. Между ним и Кавелиным нет никакой разницы, оба наши и ничьи кроме темперамента и таланта; оба хотят революции с сохранением Империи, а следовательно и петровской системы revu et corrigé**** и романовских палат. Оба они могут быть более или менее противниками направления меньшинства тверского дворянства, которое отрицает у правительства и право, и способность осуществить коренной переворот, приписывая их единственно только всеобщему Земскому собору.

Гриша Кушел[ев] [10] под влиянием Тургенева совершенно испортился, он, верный нам, теперь притих, а Полонский и Мей перестали писать, аккурат-

* Ничего, ладно.— Ред.

** В копии «Вас»: явная ошибка.— Ред.

*** В копии здесь и ниже «Бакена»; явная ошибка переписчика.— Ред.

**** Просмотренной и исправленной.— Ред.

ность забыта. Вы одни, как мне кажется, и душою, и телом разделяете убеждения тверских дворян. Вы с Некрасовым [11] как близнецы, разница между Вами и Тургеневым с Кавелиным в том, что они. идеалисты, верующие в возможность существенных реформ, Вы же революционеры-реалисты, убежденные в том, что это правительство, по малодушию и ничтожеству, окружающему трон падишаха, и по всем условиям своего существования, ничего путного и живого сделать не может, и что перерождения России должно единственно ждать от народа, т. е. от Земского собора, если правительство на него согласится, или от революции, которую необходимо готовить. Во всем этом социальный вопрос в стороне. Мое мнение, что Тургенева употребить можно; если он вполне согласится, тогда вы нас известите,... но брать его слишком серьезно, связываться с ним не должно. Вам и Вашему делу предстоит еще много преград для разрушения.

(Жгите все).

3

Лондон. 2 декабря 1862 [года]
10, Paddington Green. W.

Любезный друг Владимир Федорович!

Вы видите, как я заботился:—не успев послать Вам письма, не дожидая Вашего большого, которое все пишется, пишется, но не едет, пишу Вам письмо другое. На этот раз вот цель моя: явился сюда странный господин, Сергей Михайлович Фокин, женатый также на довольно интересной M-elle Александре Федоровне Опиц, той самой воспитаннице кн. Орловой-Давыдовой, история которой — воровство, пожар, чуть ли не насилие молодого князя Льва Давыдова — наделала в Москве столько шуму с год или полтора года тому назад. Познакомились они в московском тюремном замке (остроге), где оба сидели: она — потому, что Давыдовы, вероятно, желая спасти себя, обвинили ее в поджоге; он — за то, что при живой жене женился на вдовушке. Впрочем, для него нашлись circonstances atténuantes *, а именно письмо приятеля, уведомлявшее его о смерти первой жены, которое он показал попу, обвенчавшему его на второй. Сидел он в тюрьме $2^1/_2$ года по этому делу, кончившемуся тем, что он был присужден Синодом на безбрачную будущность и на 7 лет эпитимии у духовного отца. Второй жене позволено было выйти замуж, чем пользуясь, она подала прекрасную руку надворному судье, решившему их дело на этом условии, а освобожденный Фокин sans rancune ** сам одевал свою 2-ю жену к ее третьему венцу. Это было ему тем легче, что он в остроге полюбил M-elle Opitz, свою теперь третью жену, которая без него, вероятно, пропала бы, потому что ей одной, несчастной и беспомощной, было бы не под силу бороться против могущественной кабалы Орловых-Давыдовых и Паниных. После семимесячного заключения ее также выпустили, не найдя за нею никакой вины,— и лишь только она была выпущена, они секретно обвенчались. Вот вам их краткая история, по крайней мере, они так рассказывают, история довольно драматическая, но Вас удивит, вероятно, почему я к Вам о ней пишу.

* Смягчающие обстоятельства.— Ред.
** Без злобного чувства.—Ред.

А вот почему я к Вам пишу. Этот г-н Фокин искал несколько месяцев тому [назад] знакомства с Герценом, но [это] не удалось, ибо он сильно нашему другу не понравился,— да и мог ли понравиться с ног до головы симбирский помещик-татарин? Чрез Тхоржевского отыскал меня, и знаете, что обещает? С помощью друзей внести в наш фонд не менее 50 000 франков, и это не далее, как через месяц,— а делу теперь деньги до зарезу нужны. Друзья, которых он ждет сюда через три-четыре недели: один — сын министра Чевкина, отставной полковник Чевкин, бывший адъютант военного министра, другой — молодой харьковский помещик Ширков, будто баснословно богатый, артист, техник, музыкант,— оба нам будто очень преданы и не пожалеют [денег?]. Теперь у вас в Гейдельберге собралась многочисленная русская публика, может быть, кто-нибудь и знает кого-нибудь из них или слышал об них. Не компрометируя ни меня, ни себя, ни их (мать Ширкова теперь в Париже), не можете ли навести о них справку, чем премного обяжете?[12]

Последние №№ «Колокола» от 1 декабря Вы, без сомнения, уже получили и, вероятно, порадовались, прочитав адрес офицеров к войску и статью Герцена о рекрутском наборе в Царстве Польском. Союз наш принят Польшею хорошо.

А потому нам надо готовиться к делу, вот почему и деньги нужны; поэтому, наконец, я и рассказал Вам длинную историю о Фокиных.

Получили ли и отослали ли в Бреславль мое письмо и посылку к Фридлендеру?[13] И когда я дождусь Вашего большого письма?

Ваш Бакунин.

А что Альбертини[14] — неужели совсем нас бедных позабыл и разжаловал? Напишите хотя Вы о нем, что он делает, как живет, что предпринимает и на что окончательно решается.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] В примечаниях III Отделения к этому письму сказано: «к одному русскому заговорщику».

[2] К этому обращению в III Отделении сделана сноска: «Сохновский». Это называется попасть пальцем в небо.

[3] Лугинин занимался в Гейдельберге химией.

[4] Шифр не разобран.

[5] Бакунин действительно написал об этом в Париж Цверцякевичу 18 октября.

[6] Об отношении Мерославского к соглашению между «Колоколом» и польским Центральным комитетом мы говорим в комментариях к письмам Бакунина к Мерославскому и Косиловскому («Летописи марксизма», кн. IV и V).

[7] В.—это, возможно, Г. Веселитский или Н. Л. Владимиров, а Б.,— вероятно, Бакст (все члены русской гейдельбергской колонии, к которой принадлежал и Лугинин).

[8] Возможно, что речь идет о Н. В. Жуковском, прибывшем за границу в сентябре 1862 г.; но еще более вероятно, что речь идет о Потебне, офицере и члене «Земли и воли»; в таком случае зашифровка касается установления связей с организацией среди войск в Царстве Польском.

[9] Пометка III Отделения на этом письме гласит: «Владимиру Сохновскому». Возможно, что эти письма были переслапы через А. Сохновского (через которого Бакунин в это время посылал некоторые свои письма), и это ввело охранников в заблуждение.

[10] Кушелев-Безбородко, Григорий Александрович, граф — издатель журнала «Русское слово». В 1861—1862 гг., будучи за границей, стоял близко к Герцену и внес в общий фонд 850 фунтов.

[11] Именами известных писателей зашифрованы в этом письме члены русской гейдельбергской колонии.

[12] Сомнительно, чтобы из этой истории что-нибудь вышло.

[13] Фридлендер — купеческий приказчик в Бреславле, состоявший в постоянных сношениях с польскими эмигрантами (по сведениям III Отделения).

[14] Альбертини, Николай Викентьевич (1826—1890)— публицист 60-х гг.; будучи за границей, стоял близко к «Колоколу»; впоследствии привлекался по делу о сношениях с лондонскими пропагандистами и подвергся административной высылке.

II. ПИСЬМА к И. ДЕМОНТОВИЧУ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Печатаемые ниже четыре письма написаны Бакуниным Иосифу Демонтовичу, известному польскому революционеру и активному участнику польского восстания 1863 г. Демонтович сначала был уполномоченным Варшавского центрального комитета в Познани, а затем комиссаром на Литве. Он же был назначен правительственным комиссаром морской экспедиции повстанцев через Балтийское море, находившейся под начальством Т. Лапинского. Здесь у него произошел конфликт с Бакуниным, которого многие поляки, в том числе и Демонтович, склонны были отчасти обвинять в неудаче экспедиции. В дальнейшем, однако, отношения у них восстановились, как это видно из помещаемых ниже писем, написанных в промежутке между возвращением Бакунина из Стокгольма, после первого путешествия в Швецию, и его второй поездкой туда же. Только последнее письмо (4-е) написано в самом Стокгольме, где проживал тогда и Демонтович.

Печатаемые письма, дающие некоторые штрихи для характеристики отношения Бакунина к польскому вопросу, хранятся в Раперсвильском музее. Копии с них любезно были предоставлены нам польским правительством для подготовляемого нами полного собрания сочинений и писем Бакунина.

Ю. Стеклов.

1

24 января 1864 [года]. Генуя.

Любезный друг!

Где ты и что ты? Живешь ли в Париже, ожидая у моря погоды, или отправился в Стокгольм делать дело? [1] Вот уж месяц, как я Вас оставил [2], и с тех пор ничего не слышу о Польше. Дипломатия польская действует так хорошо, что в Швейцарии, а равно и в Италии, ничего о польском деле не знают. Симпатии были горячие и огромные, теперь они подавлены предубеждением, что будто бы польское дело есть дело реакции, консерватизма, аристократии и ультрамонтанизма. В Цюрихе какой-то граф Плятер [3] действует до того неловко, что у самых горячих приверженцев Польши между швейцар[ц]ами отбилась охота и вера упала. В Италии то же самое. Все искренние друзья оскорблены и охлаждены; неискренние, более или менее официальные, потчуют Польшу фразами.

Бедная Польша! Лучше ли идут дела внутри? Что Ваша партия? Стала ли на ноги? Успели ли столковаться и переорганизоваться? Где Ал. Потоцкий? [4] Боже мой, правда ли, что Франковский, наш друг Франковский [5], повешен? Прошу тебя, напиши, что о каждом знаешь? Что ваше правительство, неужели не поправилось?

Мы воротились вчера из Капреры, где были дружески приняты генералом [Гарибальди]. Он молодец, совсем выздоровел и готовится к новым подвигам. Он также жалуется на заграничных представителей Польши, и, очень естественно, он наш, и вся партия движения в Италии, враги папы, — они его приверженцы. Но он душою следит за польским движением, [но], к несчастью, ничего или почти ничего о нем не знает. Кроме какого-то ксендза Каминского, который приезжал сюда просить, не знаю от имени кого, денег и заслужил всеобщее презрение, — ни у генерала, ни у других людей, предводительствующих передовою партиею, не было ни одного поляка. Таким образом Ваше святое дело губится систематично и внутри, и внаружи.

В каком положении восстание? Напиши, ради бога, мы здесь ничего не знаем.

Пишу теперь коротко, — более для того, чтобы дать тебе свой адрес: Mr Eugène Vieusseux, Libraire, Florence, а на внутреннем конверте: — Pour A. D.

Да пришли мне свой хороший, да, по возможности, невинный адрес.

Я от Гарибальди в восторге, да в восторге и от Италии, и от итальянцев — уж много славных друзей, как в Швеции.

Прощай, друг. Пиши скорее.

Твой М. Б.

2

26 февраля 1864 [года]. Florence.
5, Corso Vittorio Emmanuele. 1º piano.

Любезный друг!

Ты меня не забываешь, спасибо тебе. Я писал тебе два раза после отъезда из Парижа, надеюсь, что ты теперь получил мои письма. Я ж был весьма удивлен и вместе утешен, узнав, что ты наконец-таки решился ехать в Швецию. Нисколько не удивляет меня прием, сделанный там тебе нашими общими друзьями. Они все без исключения демократы, и аристократов, ни слуг аристократов любить не могут, тебя же знают, как верного и до конца преданного слугу народного польского дела; к тому ж с тобою все лично дружны. Вот почему я всегда был уверен и говорил во всеуслышание всем твоим друзьям и врагам, что ни один поляк не в состоянии заменить тебя в Швеции.

Я прочел твое письмо с жадным интересом, но, увы, кроме слабых указаний не нашел в нем, чего искал, и именно определенных данных, которые бы могли объяснить настоящую народно-датскую и шведскую политику. Отвечай мне, прошу тебя, сколько найдешь возможным, на следующие вопросы: Близок ли час низвержения Глюксбурга [6], и скоро ли будет провозглашен в Копенгагене шведский король? До какой степени приготовлена к этой перемене датская народная партия, до какой степени приготовлен сам шведский король, а с ним и шведская и норвежская нации? И чего они ждут, чтобы начать доброе и, по моему убеждению, необходимое дело? Как смотрят теперь на английскую подлость датский народ, шведский король и шведская либеральная партия? Какое положение берет Франция в этом вопросе и именно в отношении к явно тайным желаниям и надеждам шведского короля? Англия явным образом хлопочет о заключении мира на условии особенного Шлезвиг-Гольштейнского герцогства, которое, сделавшись членом Гер-

манского союза, осталось бы под управлением датского короля, но только в личной связи с датским королевством. Вся надежда, что датский народ на такую сделку не согласится и что он скорее прогонит Глюксбурга, который, без сомнения, уж давно согласился, но боится в этом признаться и играет в заговоре с Пруссией и с Австрией весьма подлую игру. Что думают о польском вопросе в Швеции и в Дании, а именно шведский король? Верит ли он, что Франция наконец вступится за Польшу? Ты пишешь мне о Иерте [7], а о старом друге твоем Норденстроме [8] ни слова. Неужели он к тебе охладился? Скажи мне, помнят ли меня мои шведские друзья. Почему кроме Визенгрюна [9] никто из них мне не отвечал? Почему именно друг Эмблим не отвечал и как его здоровье? Слышу я, что Блянш [10] выехал из Швеции. Но где он, не знаю. Если ты знаешь, напиши и пришли мне его адрес.

Но больше всего вопросов о бедной многострадалице Польше. Здесь ничего не узнаешь: кто ею теперь управляет, что в ней делается или готовится; много ли, мало ли надежды? Напиши мне, друг. Ты знаешь, что спрашиваю я не из пустого любопытства. Что ваша демократическая партия, успела ли наконец организоваться? Где и что Мерославский? [11]

[Конца письма не сохранилось.]

3

1 августа 1864 [года] Ливорно.

Любезный друг!

Пишу тебе только несколько слов, чтобы известить тебя о моем скором приезде в Стокгольм [12], а выеду отсюда 15-го и думаю быть в Готенбурге в конце этого месяца. В Стокгольме или вообще в скандинавских краях не могу остаться далее конца сентября. Еду один, без жены, потому что денег очень немного. Итак, скоро переговорим обо всем подробно, откровенно, по-братски, лучше, чем в письме. Но где встретимся? В Готенбурге? В Стокгольме? Помни, что у меня времени будет немного, а денег еще менее, и что я не буду в состоянии много разъезжать. А очень хотелось бы мне побывать с тобою и в Копенгагене. Да безопасно ли там теперь для нашего брата? Еду к тебе с братским доверием и с братскою дружбою и надеюсь на братскую помощь. Но и где и как встретимся? Подумай, придумай, как можно поумнее, попрактичнее и отвечай мне скорее в Лондон на адрес: St. Tchor zewski Esq., 1 Macclesfield Street.— Gerard Street Soho.

Твой М. Б.

Пока не приеду, прошу тебя, никому не говори о моем приезде.

4

22 октября 1864 [года], Стокгольм.

Любезный Демонтович!

Герцен поручил мне спросить твое мнение о Полесе [13]. Мое ты знаешь: я считаю его молодым человеком довольно способным, но вместе бессовестным, нахальным и в высшей степени опасным. Шпион ли он или нет, этого до сих пор,

как ты сам говоришь, положительно не доказано. Мы, по крайней мере, до сих пор не слыхали ни об одном человеке, им выданном. Но известие, полученное нами в прошедшем году из Петербурга и мною по поручению Герцена тогда ж тебе переданное, инстинктивное и всеобщее подозрение и отвращение к нему всей экспедиционной молодежи, роль, которую он играл в экспедиции, а потом между тобой и Лапинским и, наконец, поездка и безопасное и, кажется, довольно долгое пребывание его в Варшаве, его сношения с генералом, начальником русской полиции в Варшаве, его мнимое или действительное поручение от шведского правительства к русским властям в Царстве Польском, все это, при известном происхождении, родстве и при известных отношениях с известным братом, бросает на него, без сомнения, тень весьма подозрительную. Шведское правительство давало ли ему действительно такое поручение? Скажи, что̀ тебе известно, и вообще, прошу тебя, отвечай на все вопросы мои с возможной откровенностью. Мы должны оказывать друг другу такие услуги. Мы окружены врагами и правительственными шпионами. Малейшая неосторожность, неосмотрительность и слабость с нашей стороны могут погубить множество лучших людей. В прошедшем году Герцен исполнил в отношении к тебе святой долг и дал тебе честный пример[14]. Теперь мы ожидаем, что ты заплатишь нам тем же и без малейшего послабления скажешь нам всю правду, все, что знаешь о несомненном мерзавце.

Твой М. Бакунин.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] После неудачи морской экспедиции Лапинского Демонтович вернулся из Швеции в Париж, но вскоре снова туда уехал.

[2] Бакунин проехал через Париж (из Лондона, возвращаясь из Швеции) в декабре 1863 г.

[3] Плятер, Владислав, граф (1806—1889) — служил в польской армии; после революции 1831 г. выехал за границу, где издавал газету «Le Polonais» (1833—1836); поселился в Швейцарии; здесь под Цюрихом основал Раперсвильский музей.

[4] Повидимому, речь идет об известном провокаторе Александре Балашевиче, который, под фамилией графа Альберта Потоцкого, долго водил за нос как польскую, так и русскую эмиграцию, в том числе и Бакунина.

[5] Франковский, Леон — энергичный участник польского восстания; раненый в сражении, взят в плен и повешен в Люблине 16 июня 1863 г.

[6] Принц Глюксбургский, Христиан, вступивший в 1863 г. на датский престол под именем Христиана IX. Бакунин имеет в виду сильное тогда в Швеции стремление к образованию Скандинавского союза во главе с шведским королем.

[7] Иерта — шведский политический деятель и публицист, радикал, один из стокгольмских приятелей Бакунина.

[8] Вероятно, д-р Нордстрем, финляндец, стокгольмский приятель Бакунина.

[9] Повидимому, Х. Виссельгрен, главный библиотекарь Стокгольмской королевской библиотеки, участник майского банкета 1863 г. в честь Бакунина, радикал, автор биографии Бакунина в старом издании шведской энциклопедии.

[10] Блянш, Август — шведский радикальный публицист и политический деятель, приятель Бакунина.

[11] Мерославский, Людовик, генерал (1814—1878) — польский революционер, политический противник Бакунина.

[12] Речь идет о второй поездке Бакунина в Стокгольм, где он пробыл с 6 сентября по середину октября 1864 г.

[13] Полес (настоящая фамилия Тугендбольд) — младший брат д-ра Тугендбольда, агента III Отделения. Повидимому, сам тоже был шпионом. Лапинский взял его к себе в адъютанты во время морской экспедиции в Балтийское море. Его поведение вызвало подозрение против него. Для своей реабилитации он выпустил в 1863 г. в Швеции специальную брошюру. Шпионом называет его и Н. Берг в своей статье об экспедиции Лапинского («Исторический вестник», 1881 г., т. I). См. Герцен, Сочинения, т. XIV, стр. 448 и след.— Ответ Демонтовича нам неизвестен.

[14] Бакунин имеет в виду предупреждение насчет Полеса, которое Герцен сделал Демонтовичу, комиссару морской экспедиции, перед ее выходом в море. В свое время на предупреждение Герцена поляки не обратили внимания.

ПИСЬМО ЖОРЖ-ЗАНД к М. А. БАКУНИНУ

(К истории столкновения М. А. Бакунина с редакцией «Новой рейнской газеты».)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Печатаемое ниже письмо Жорж-Занд к Бакунину является новым дополнением к документальной истории известного конфликта между М. Бакуниным и редакцией «Новой рейнской газеты».

До настоящего времени о нем не упоминал ни один из биографов Бакунина и Жорж-Занд — ни Неттлау, ни В. Полонский, ни Ю. Стеклов, ни В. Каренин (Стасова).

Б. Н.

Напомним вкратце историю конфликта, о котором идет речь.— В «Новой рейнской газете» от 6 июля 1848 г. в корреспонденции из Парижа сообщалось, что в распоряжении Жорж-Занд имеются документы, компрометирующие Бакунина, который является «орудием» или даже «недавно завербованным агентом» России, сыгравшим главную роль в недавних арестах несчастных поляков[1]. Бакунин, живший тогда в Бреславле, обратился сейчас же к Жорж-Занд с письмом, в котором просил ее или опровергнуть сделанную на нее ссылку, или опубликовать компрометирующие его документы. Это письмо он опубликовал еще до получения ответа, во «Всеобщей одерской газете» (№ 151 от 12 июля 1848 г.), сопроводив его письмом в редакцию[2]. «Новая рейнская газета» немедленно перепечатала оба письма Бакунина без всякого требования с его стороны (16 июля 1848 г.), т. е. сейчас же подтвердила, что лично не разделяет мнения своего корреспондента. Так как письмо Бакунина к Жорж-Занд не дошло по назначению, он через посредство своего друга Рейхеля переслал ей копию своего письма[3]. На этот раз Жорж-Занд послала ему два письма: одно для редакции «Новой рейнской газеты», другое — для него — лично. Переслав первое через посредство своего приятеля поляка Косцельского в редакцию «Новой рейнской газеты», Бакунин предпочел, не дожидаясь известия, отказалась ли «Новая рейнская газета» напечатать письмо Жорж-Занд, опубликовать **личное** письмо к нему Жорж-Занд во «Всеобщей одерской газете» (№ 176, 30 июля 1848 г.). «Новая рейнская газета», которая уже доказала свою лойяльность, напечатав оба письма Бакунина, сейчас же по получении письма Жорж-Занд опубликовала его (3 августа 1848 г.). Таким образом, за подписью Жорж-Занд появились одновременно два письма,— одно весьма вежливое — в редакцию «Новой рейнской газеты», письмо, в котором она апеллирует к «чести и совести» редакции, и другое — весьма невежливое, писанное лично Бакунину и которое подлежало опубликованию лишь в том случае, если бы редакция «Новой рейнской газеты» оказалась нелойяльной. Надо принять также во внимание, что

письмо нам известно только в переводе самого Бакунина. Мы знаем, не только со слов Маркса, что Косцельский, бывший в этом деле представителем Бакунина, на месте имел возможность убедиться в полной лойяльности Маркса и стал уже после этого одним из преданнейших друзей «Новой рейнской газеты». Да и сам Бакунин, при личной встрече с Марксом в августе 1848 г., мог также убедиться в этом. «Новая рейнская газета» имела еще не раз случай подчеркнуть свое убеждение в политической честности Бакунина, что нашло после свое отражение в статьях Маркса и Энгельса о «Революции и контр-революции в Германии».

Д. Р.

Письмо Бакунина в редакцию «Всеобщей одерской газеты»

26 июля.

Господин редактор!

Вы были добры поместить в Вашей газете (см. № 159 газеты) мое письмо, которое я, вследствие клеветнических слухов обо мне в «Новой рейнской газете», адресовал госпоже Жорж-Занд, названной там источником этих слухов. Теперь я прошу Вас напечатать также и ее ответ, который я получил вчера (см. ниже). Госпожа Занд, кроме того, написала письмо в редакцию «Рейнской газеты», копию которого она мне прислала и которое в ближайшее время должно появиться в упомянутой газете. Теперь я буду преследовать эту клевету, пока я не открою ее первоисточника, и не успокоюсь, пока мне не будет дано полное удовлетворение.

Уважающий Вас

М. Бакунин.

Ответ госпожи Жорж-Занд господину Бакунину

Милостивый государь!

Вашего первого письма, которое Вы мне написали в Париж, я не получила, и я благодарю Вас, что Вы прислали мне копию, так как я совершенно ничего не знала о той подлой клевете, участие в которой хотят на меня взвалить. Я должна была бы, впрочем, на Вас рассердиться, что Вы хоть на одну минуту могли усомниться во мне в этом деле; но все мы, посвятившие себя демократическому делу человечества, настолько оклеветаны и преследуемы, что мы должны протянуть друг другу руку и не должны дать нашим противникам возможность разъединять и деморализировать нас. Нет, никогда я не держала в руках обвинительного акта против Вас, и я не стала бы, Вы можете быть уверены в этом, хранить его. Либо я, не дочитав его до конца, бросила бы его в огонь, либо, если бы я считала, что он заслуживает ответа, отослала бы его Вам. Статья «Новой рейнской газеты», которую я сим торжественно обвиняю во лжи, является злобным вымыслом, оскорбляющим меня лично. Я хочу верить, что корреспондент, который сделал это сообщение, лишился ума, когда он изобретал эту пошлость на наш счет, и я только сожалею, что я не была в состоянии тотчас же отмежеваться от той позорной роли, которую мне приписали.

Вскоре после Вашей высылки из Парижа Вы должны были получить мое письмо, где я выражала Вам свое уважение и участие, которое Вы заслуживаете и которое я всегда питала к Вам за Ваш характер и за Ваши действия.

Примите уверение в том, что я питаю это уважение к Вам более чем когда-либо.

Ваша Жорж-Занд.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Речь идет об арестах поляков-эмигрантов в Бреславле и высылке их оттуда в западные провинции Пруссии,— эти аресты и высылки приблизительно совпали со временем приезда Бакунина в Бреславль; очевидно, то обстоятельство, что они не затронули Бакунина (он, правда, был в это время задержан на улице Бреславля, но немедленно же освобожден), сыграло большую роль в усилении среди мнительных польских эмигрантов подозрительной настороженности против Бакунина (о том, что относительно «цели его пребывания в Бреславле» ходили там «клеветнические слухи», заявлял сам Бакунин в своем первом письме в редакцию «Всеобщей одерской газеты», — № 159).

[2] Полный текст этого письма недавно дан по-русски Стекловым в т. XIV «Красного архива» (стр. 81—83).

[3] Это сопроводительное письмо А. Рейхеля целиком дано в статье В. Каренина (Стасовой): «Герцен, Бакунин и Жорж-Занд» (№ 3 «Русской мысли» за 1910 г., стр. 51—52). См. также: W. Karénine, George Sand 1848—76. Paris 1926, pp. 133—36.

Д. РЯЗАНОВ

ОТВЕТ НА «ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО» В. ПОЛОНСКОГО

I

В шестой книге нашего журнала помещена была рецензия на книгу В. Полонского «Материалы для биографии М. Бакунина».

В. Полонский недоволен рецензией. В такое положение попадают и другие авторы и редакторы. В. Полонский имел право написать возражение и, если бы он в состоянии был сделать это, доказать, что все критические замечания рецензента ошибочны, неправильны, неосновательны.

Редакция «Летописей марксизма» охотно напечатала бы такое возражение. Но В. Полонский предпочел другой путь. Он прислал свой ответ в форме «открытого письма», подчеркивая этим, что он заранее отказывается от каких-либо разговоров, что он уже принял меры, чтобы его письмо было напечатано без всяких изменений.

Весьма слабые потуги представить какие-нибудь доказательства и весьма крепкие выражения, которым могла бы позавидовать царевна, испугавшая своей полемикой Потока-богатыря,— вот содержание этого «открытого письма». Чтобы окончательно уничтожить рецензента, В. Полонский обвиняет его, что он нарочно скрылся под анонимом. Забыв всякий «литературный стыд», рассвирепевший автор самым бесцеремонным образом «снимает маску» с рецензента.

Редакция «Летописей марксизма» позволила себе обратить внимание В. Полонского на то, что он не имеет права этого делать, что рецензент может быть повинен в чем угодно, но только не в том, что он «скрылся под маской»: все рецензии, помещаемые в «Летописях марксизма», как общее правило, анонимны.

Если неприлично раскрывать псевдоним автора, то еще неприличнее раскрывать аноним автора, пишущего в журнале или газете. За все анонимные статьи и рецензии несет ответственность редакция. В. Полонскому было поэтому заявлено, что в данном случае редакция «Летописей марксизма», которую в анонимности не может обвинить даже он, берет на себя полную ответственность за вызвавшую его, справедливый или несправедливый, гнев рецензию. Редакция, конечно, может ошибаться, но она не может никакому «пострадавшему» автору позволить на страницах своего журнала заниматься таким неприличным делом, как «снимание маски» с автора той или другой рецензии,

или обвинять его в «преступлении», которое он совершил по «принуждению» самой редакции.

Но В. Полонский остался непреклонен. Чувствуя слабость своей позиции, он не хотел отказаться от самого «козырного» аргумента — от обвинения рецензента в анонимности. Он нашел конгениального себе и вполне солидарного с ним коллегу — вр. и. о. редактора «Известий ВЦИК'а и ЦИК'а», И. Гронского, который не только поспешил напечатать его «открытое письмо», но и позволил ему снабдить это писание «началом» и «концом», литературное бесстыдство которых прикрыто только отвратительным фарисейством.

Читателям «Летописей марксизма», желающим познакомиться с этим продуктом крепкой словесности, мы предлагаем найти у себя или в любой библиотеке «Известия» от 16 октября 1928 г., номер 241 (3475).

Мы отказались от своего права требовать от редакции «Известий» помещения нашего ответа. Мы ограничились только следующим «письмом в редакцию»:

Редакция «Известий ЦИК СССР» поместила фельетон В. Полонского «О литературных нравах и литературной безнравственности», в котором напечатан ряд личных нападок на тов. Ю. Стеклова.

Редакция «Летописей марксизма» считает необходимым заявить следующее:

1) Все рецензии, помещаемые в «Летописях марксизма», являются анонимными. Всякий грамотный человек,— для этого не нужно быть опытным литератором,— понимает, что это означает только следующее: за рецензии несет ответственность вся редакция. Получив письмо В. Полонского, редакция «Летописей марксизма» указала ему на это и просила сделать соответствующие изменения, обещая ответить на все его возражения по существу. В. Полонский предпочел перенести спор на более привычную и более гостеприимную арену.

2) Редакция «Летописей марксизма» считает, что для такого ответа по существу она не может использовать страницы «Известий ЦИК СССР». В. Полонский получит этот ответ в следующей книжке «Летописей марксизма». Мы твердо убеждены, что всякий мало-мальски компетентный читатель согласится тогда с заключительным выводом рецензии:

Третий том материалов для биографии Бакунина, изданный В. Полонским, представляет совершенно ненужную книгу, не выдерживающую никакой критики ни со стороны полноты, ни со стороны научности, ни со стороны полезности.

За редакцию «Летописей марксизма»

Д. Рязанов.

Вр. и. о. редактора «Известий ЦИК», И. Гронский, который только что вместе с В. Полонским заявил, что «даже ребенку известно, что письма в редакцию либо отвергаются целиком, либо принимаются целиком», отказался напечатать наше письмо, как ругательное.

Пришлось апеллировать к закону, и на другой день вр. и. о. редактора И. Гронский вынужден был напечатать наше «ругательное» письмо.

Посмотрим теперь, что̀ и кого рекомендует нам вр. и. о. редактора, И. Гронский, как образец литературной добропорядочности и воплощение научной добросовестности.

Переходим к ответу на возражения В. Полонского.

II

Прежде чем перейти к ответу по существу, мы считаем необходимым объяснить нашим читателям, почему мы в «Летописях марксизма» помещаем только анонимные рецензии. В редакционной статье — см. первую книжку «Летописей марксизма» — мы писали:

«Широкое распространение марксизма среди рабочих, учащихся и вообще читательских масс после Октябрьской революции вызвало к жизни громадную количественно — как оригинальную, так и переводную — марксистскую литературу. Регистрация этой литературы и ее оценка представляют одну из насущнейших задач современности. К сожалению, именно эта задача особенно плохо выполняется нашими периодическими изданиями. Жалобы на плохую постановку отдела рецензий и библиографии не прекращаются».

К сожалению, и до сих пор наши периодические издания все так же плохо выполняют указанную нами задачу. Причиной является не только отсутствие необходимых сил. Отдел рецензий и критики находится зачастую в руках мало ответственных лиц, которым обычай подписывать рецензии дает возможность сваливать всю ответственность на того или иного случайного рецензента. Книгу либо не в меру расхваливают, либо не в меру разносят — в зависимости от той или иной конъюнктуры. Чтобы выполнить такое задание, нужно иметь всегда в распоряжении рецензентов, которые своим именем — в большинстве случаев ничего не говорящим — прикрывают стратегические и тактические ходы редакции и которых, в случае крайней нужды, всегда можно дезавуировать.

Если книгу нельзя «расхвалить», но и трудно «разнести», то пускается в ход старое, испытанное средство: ее замалчивают. Таким образом создается монополия некоторых периодических изданий, делающих погоду на книжном рынке.

Ловкий и опытный — в газетной и книжной коммерции — литератор, который сумел обеспечить себе местечко в редакциях этих периодических изданий, может спать спокойно. Никто не скажет о нем дурного слова. Если он настолько осторожен, что не будет в своих или «свояческих» органах расхваливать собственные произведения, то он прекрасно сумеет организовать «разнос» конкурирующих с ним авторов при помощи не-анонимных рецензий.

Вот почему наши лучшие довоенные журналы, и до сих пор составляющие гордость русской литературы, предпочитали анонимные рецензии, за которые несет ответственность весь редакционный коллектив. Дело значительно облегчается, когда за этим коллективом стоит еще более широкий коллектив научных сотрудников института, специализировавшихся в известных отраслях. Всегда возможны ошибки, рецензент может оказаться неправым в том или другом частном случае, но уважающая себя редакция не позволит себе напечатать ни одной рецензии, в которой «разносят» хороший, научно-добросовестный труд.

Задача, которую мы себе поставили — исчерпывающая критическая инвентаризация всесоюзной марксистской литературы по вопросам, входящим в компетенцию Института К. Маркса и Ф. Энгельса, — нами еще далеко не вы-

полнена, но нам уже и теперь удалось охватить значительнейшую часть марксистской литературы, вышедшей в 1926 и 1927 гг. Отказываясь от больших критических статей, которым мы отводим место в «Архиве К. Маркса и Ф. Энгельса», мы употребляем все усилия, чтобы в «Летописях марксизма» читатели могли найти рецензии на все новинки марксистской литературы, а также литературы по истории социализма и рабочего движения. Приходит ли рецензия к положительному или отрицательному выводу, она всегда должна в первую очередь указать, что̀ хочет дать автор и что он действительно дает, и во вторую — выяснить научную ценность книги.

Как мало подписанная рецензия гарантирует против «взаимного подсиживания, сведения личных счетов под флагом идейной борьбы, нечестной полемики, доходящей до клеветы, грубости, мордобоя, заушения»,— мы цитируем В. Полонского,— лучше всего доказывает «Печать и революция», в которой нет анонимных рецензий.

В этом журнале, выходящем под ред. В. Полонского, была помещена — август 1926 г.— большая рецензия на книгу тов. Ю. Стеклова «М. Бакунин». Автор этой рецензии указывает на ряд ошибок и промахов, которые, по его мнению, имеются в книге тов. Стеклова. Это — святое право рецензента. Но ему мало этого. В заключение он «сообщает совершенно точно», что тов. Стеклов «изъял» из Ленинградской Публичной библиотеки еще в 1918 г. для личного, индивидуального пользования монументальную рукописную биографию Бакунина, написанную М. Неттлау, и держит «под спудом» плоды чужого исследовательского труда. Этим неслыханным обвинением заинтересовалось одно учреждение. Произведено было следствие, которое констатировало, при содействии тов. А. Луначарского, что в рецензии «Печати и революции» содержалась, мягко выражаясь, просто ложь.

Автором этой — конечно, не анонимной — рецензии является В. Полонский, тот самый Полонский, который за год перед этим писал в своей работе о Бакунине:

«Возможность ознакомиться с ним (с трудом Неттлау) мне была предоставлена Ю. М. Стекловым, которому пользуюсь случаем принести мою благодарность».

Мы видим, что В. Полонский не только «скрыл истину» или, говоря его стилем, солгал. Он показал, что имеет все права на звание литературного Дон-Базилио. Его — не анонимная, а подписанная — рецензия осталась «постыдным пятном» на страницах «Печати и революции».

Наш Дон-Базилио выдал себя головой, потому что хотел доказать свое знакомство с «монументальным жизнеописанием» Бакунина. Но и тут он разошелся с истиной. Его «ознакомление» свелось только к «покушению с негодными средствами». Лучше всего это доказывается каждой новой работой нашего «ученого исследователя».

III

«Пусть редакция «Летописей» укажет,— заявляет гордо Дон-Базилио-Полонский,— кто из русских исследователей Бакунина больше меня занимался розысками в русских и заграничных архивах».

Наш Дон-Базилио недаром становится в эту гордую позу. Он так часто уверял всех, что именно он открыл и сделал достоянием научного исследования «Исповедь» Бакунина, что этому поверили не только заграничные исследователи, не только русские читатели, но, — что всего удивительнее, — и он сам.

До издания «Исповеди» Дон-Базилио-Полонский известен был только вышедшей в 1920 г. маленькой книжкой о Бакунине. Написанная высоким штилем, она изображала Бакунина «огненным колесом, исколесившим Европу с крайнего севера до самого юга», хотя констатировала с неодобрением, что «противоречия с легкостью быстрокрылых ласточек скользили по его буйным страницам». На стр. 16 читатель узнавал, что Бакунин прибыл в Париж в 1847 г., где «познакомился» с Марксом и «подружился» с Прудоном. При этом случае Бакунин «познакомил французского экономиста с философией Гегеля», хотя «всем известно», что Прудон опубликовал «Философию нищеты», в которой он выступает «гегельянцем», еще в октябре 1846 г. На стр. 17 злополучный автор сообщал, что 29 ноября 1847 г. состоялся банкет, после которого Бакунин был выслан из Франции, а на стр. 18, не переводя духа, он пишет, что «изгнанный из Парижа, Бакунин в октябре 1847 г. писал к друзьям, там оставшимся, письмо из Брюсселя». А на стр. 108 мы узнаем, что Маркс познакомился с Бакуниным в 1843 г. Наш марксистский горе-исследователь еще в 1920 г. повторял все анархистские басни и сплетни. Превратив Боркгейма в издателя газеты «Zukunft» , он рассказывает русским читателям, что Либкнехт перепечатал клевету Боркгейма в своей газете. «Бакунин привлек Либкнехта к третейскому суду. Базельский конгресс, рассматривавший это дело, вынес постановление, что Либкнехт, перепечатывая клевету, действовал с преступным легкомыслием».

Эта жалкая компиляция создала автору в голодный — и в литературном отношении — год репутацию бакуниноведа. Главное управление по архивным делам передает ему издание «Исповеди» Бакунина. Вслед за этим наш Дон-Базилио становится сразу редактором ученого журнала — «Красного архива» — и, в качестве главного редактора журнала «Печать и революция», верховным цензором литературы всех родов.

Остановимся на издании «Исповеди» [1]. Оно производит странное впечатление. Нет и следа попытки дать критический анализ такого исторического документа, как «Исповедь». Нет никакого объяснительного комментария. Можно было бы назвать это издание анонимным, если бы на обложке не было напечатано: Редакция журнала «Исторический архив». Имеется предисловие от редакции, но опять-таки без всякой подписи. Читателю остается предположить, что настоящим издателем — в научном смысле этого слова — как говорят немцы, Herausgeber'ом — является названный на обложке автор вступительной статьи, В. Полонский. И действительно, европейские читатели сделали этот

[1] Редакция журнала «Исторический архив». М. А. Бакунин, Исповедь и письмо Александру II. Вступительная статья «Михаил Бакунин в эпоху сороковых-шестидесятых годов» Вяч. Полонского. Госиздат 1921 г.

вывод. Отсюда «европейская репутация» В. Полонского, как Herausgeber'a, как editor'a «Исповеди» Бакунина.

Но вот осенью 1923 г. выходит в свет новый труд нашего бакуниноведа— «Материалы для биографии Бакунина. Том первый. Госиздат 1923 г.».

«Нами, — пишет издатель, — включены в книгу «Исповедь» Бакунина, его письмо Александру II, а также наиболее значительные из документов, целиком или частично опубликованные указанными выше авторами, Полонским и Стекловым».

Из 390 страниц материалов этого тома перепечатка «Исповеди» занимает 154, т. е. немного меньше половины. Но мы узнаем теперь, что «первое издание грешит целым рядом дефектов». Уже в самом предисловии «От редакции» имеются «грубые ошибки». Наш бакуниновед продолжает:

«Смущает затем исследователя, да и просто внимательного читателя, такое заявление редакции: «Орфография рукописей в характерных своих особенностях сохранена» (курсив мой.— Вяч. П.). А не в характерных? Но какие именно особенности, в таком случае, редакция считала нехарактерными? На эти вопросы мы не имеем ответа. Если редакция первого издания «Исповеди» руководствовалась желанием сделать ее доступной широкому кругу читателей без каких-либо серьезно-научных целей, строго судить редакцию в таком случае нельзя. Кое-что исправив, она в общем и целом дала читателю текст интереснейшего документа. Но если отнестись к этому документу строже и потребовать в первую очередь абсолютную точность текста, с сохранением всех особенностей оригинала, тогда придется первое издание признать из рук вон плохим». Правда, «искажений смысла нет, нет и существенных пропусков, но перечисленные мелкие недостатки говорят об образцовой неряшливости, с какой воспроизведен был бакунинский текст».

Изумленный читатель не верит своим глазам. Вся «Европа» считает нашего «ученого исследователя» издателем этого «интереснейшего документа», все бакуниноведы взапуски пользуются этим документом, изданием «Исповеди» вызывается «обширная критическая литература», и вдруг оказывается, что это издание — «из рук вон плохо» и отличается «образцовой неряшливостью».

Кто же отвечает перед наукой и перед общественностью за этот неслыханный скандал? Кто вводил в течение двух лет в заблуждение весь ученый мир?

«Пользуюсь случаем отметить,—кончает свое предисловие к новому изданию наш бакуниновед,—что участие редактора настоящей книги в первом издании «Исповеди» Бакунина ограничилось лишь тем, что он написал вступительную статью. Никакого касательства к редактированию и подготовке рукописи к печати он не имел».

Вот уж подлинно: и невинность соблюл, и «литературный капитал» приобрел! Эти постыдные строки свидетельствуют о невероятно низком уровне научной и литературной этики.

Какой уважающий себя литератор или ученый согласился бы дать свое имя, чтобы прикрыть литературную спекуляцию или макулатуру? Какой уважающий себя литератор или ученый согласился бы писать вступительную статью, выясняющую значение исторического документа, не потребовав предвари-

тельно, чтобы ему дали возможность хотя бы бегло познакомиться с оригиналом? Какой уважающий себя литератор или ученый спокойно «инкассировал» бы лавры, рассыпанные в «обширной критической литературе», вызванной опубликованием «интереснейшего документа», не воспользовавшись действительно первым случаем, чтобы принести покаяние или снять с себя вину соучастия в издании такой научной макулатуры?

Что именно заставило нашего бакуниноведа согласиться на такой возмутительный акт литературной и научной недобропорядочности? Неужели только непреодолимое искушение «прицепить» свое имя к изданию «интереснейшего документа»? Кто именно поставил ему требование, что он не имеет права даже в примечании к своей вступительной статье, хотя бы в самых мягких выражениях, снять с себя ответственность за это «из рук вон плохое» издание?

Неужели этого потребовала та загадочная редакция журнала «Исторический архив», которая фигурирует на обложке первого издания и несет ответственность за подписанное от ее имени предисловие?

Быть может, в этой редакции не было ни одного человека, который в состоянии был бы написать вступительную статью к «Исповеди» Бакунина, и она поэтому заключила с нашим бакуниноведом такой «замысловатый блок»?

Почему наш ретивый сниматель масок со всех анонимов не «снял маску» и с этой анонимной редакции? Ведь «Исторический архив», это — только непосредственный предшественник «Красного архива», ответственным редактором которого, начиная с первой книги, вышедшей в начале 1922 г., являлся некий В. П. Полонский.

Мне ничего не остается сделать, как самому снять маску с редакции «Исторического архива». Его ответственным редактором был некто Д. Рязанов, о котором один ученый исследователь пишет в таком уважаемом и компетентном органе, как «Историк-марксист» (1926, книга вторая), следующие лестные строки:

«Критическое исследование Д. Рязанова, «Анархистский товар под флагом марксизма», посвящено книге Фрица Брупбахера «Маркс и Бакунин» и больше, чем какая-нибудь другая работа, сделало для освещения подлинной картины взаимоотношений Бакунина и Маркса. Целый ряд анархистских легенд Д. Б. Рязанов превратил в прах своей острой и, главное, документальной критикой. В ряду работ, посвященных Бакунину и Марксу, работа Рязанова занимает самое видное место».

Этот ученый сотрудник компетентного журнала — все тот же В. Полонский, к 1926 году уже успевший познакомиться с работой Д. Рязанова, опубликованной по-немецки еще в 1913 г., но о существовании которой он не подозревал, когда писал свой ученый труд о Бакунине и вступительную статью к «Исповеди».

Как же это случилось, что редакция «Исторического архива» заключила с нашим бакуниноведом «замысловатый блок» или вступила с ним в «тайный сговор», в результате которого на свет явилось такое «из рук вон плохое» издание, как прославившее нашего бакуниноведа издание «Исповеди»?

Будем надеяться, что лет через тридцать, в сто первом или сто пятьдесят первом томе «Красного архива» и эта историческая загадка найдет свое разъяснение.

Для Д. Рязанова опубликование «Исповеди» в такой форме — без критического введения, в котором редакция дает отчет о своей работе и о достижениях научного исследования в соответствующей области, без исторического комментария и без всяких примечаний — было совершенной неожиданностью.

Правда, Д. Рязанов знал, что такая публикация готовится. И по очень простой причине. Хотя в первые годы (1918—1920) создания Центроархива, во главе которого стоял тогда Рязанов, насущнейшими задачами являлись спасение и реорганизация старых архивных фондов, старый марксовед и бакуниновед не мог, конечно, не принять мер к выявлению архивных дел, представлявших значение для биографии Маркса и Бакунина.

Существование «Исповеди» было известно всем бакуниноведам. Когда — между прочим, и по просьбе тов. Ю. Стеклова,— дело Бакунина было «выявлено», оказалось, что из него кем-то «изъята» именно «Исповедь». Пришлось принять весьма решительные меры. В конце концов «Исповедь» нашлась. Тов. Ю. Стеклов был первым исследователем, который ознакомился со всеми этими материалами. В его книге «М. Бакунин, его жизнь и деятельность», вышедшей в 1920 г., задолго до появления издания «Исповеди» с вступительной статьей В. Полонского, этот «интереснейший документ» был уже использован и почти целиком перепечатан.

Что касается Д. Рязанова, то он взял на себя другую работу. «Исповедь» и «Письмо к Александру II» представляли не только исторический, но и политический документ. Они освещали новым светом старый вопрос об отношениях не только между Марксом и Бакуниным, но и об отношениях между марксизмом и бакунизмом,— вопрос, по которому как раз перед взрывом войны шли горячие споры не только между марксистами и анархистами, но и среди самих марксистов. Он поэтому немедленно отослал копию этих документов проф. Карлу Грюнбергу для опубликования в «Archiv für die Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung».

Для русской публикации необходимо было совершить большую подготовительную работу по обработке текста. Наиболее полное тождество с подлинником дает факсимиле, но ограничиться только этим нельзя. Текст надо еще расшифровать и сделать доступным всем исследователям, которые не всегда умеют читать рукописи. Эти трудности увеличиваются, когда в данном документе много имен, прочтение которых требует целого ряда предварительных условий. К числу таких рукописей принадлежит и «Исповедь».

Весь труд по расшифровке рукописи Бакунина взял на себя, по моему поручению, упоминаемый в заявлении от мифической редакции «Исторического архива» — Э. Л. Гуревич. В основу работы положен был оригинал, но пришлось использовать и копию, переписанную каллиграфически специально для Николая I, чтобы зарегистрировать сделанные последним заметки. Рукопись была отправлена в набор.

В декабре 1920 г. я ушел из Центроархива, не успев издать «Исповедь». Для меня, повторяю, эта публикация была полнейшей неожиданностью. Последних корректур «Исповеди» не видел и Э. Гуревич, который поэтому также не несет никакой ответственности за корректурную точность опубликованного текста.

Дон-Базилио-Полонский старается уверить читателей, что в новом издании он «воспроизводит текст «Исповеди» в том виде, в каком он был написан». Мало того. «Все особенности правописания принадлежат Бакунину... Наш текст «Исповеди» может, таким образом, дать полное представление о подлинном бакунинском стиле, а также о той степени, в какой он владел тонкостями русского языка».

Смею уверить читателей, что это не что иное, как бахвальство или утверждение, — чтобы не употреблять излюбленные Дон-Базилио-Полонским выражения, — не соответствующее истине.

Сначала отметим один курьез. Наш «ученый исследователь» думает, что воспроизведение всех особенностей «правописания» есть непременное условие воспроизведения «стиля». До такого утверждения не договаривались даже самые черносотенные защитники нашего старого правописания. Рискуя своей научной репутацией, решаюсь выставить следующее положение: если бы он напечатал «Исповедь» Бакунина по новой орфографии, от этого ни в коей мере не пострадали бы историчность и убедительность этого «интереснейшего документа». А «подлинный бакунинский стиль» и знание «тонкостей русского языка» сохранились бы в такой же полной мере, в какой сохраняются стиль Тургенева, Гоголя, Пушкина, Толстого, когда их печатают по нашей новой орфографии, или стиль Гете, Гейне, Маркса и Энгельса, когда их печатают по новой немецкой орфографии.

Наш ученый исследователь путает «стиль» с «правописанием». Он забывает, что кроме особенностей правописания, свойственных э п о х е, имеются особенности, свойственные данному и н д и в и д у а л ь н о м у автору, особенности, которые легко оговорить во вступлении. Он забывает, что особенности «стиля» Бакунина зачастую объясняются не его знанием «тонкостей русского языка», а наоборот, и что именно эти особенности воспроизводятся очень легко и по новой орфографии.

Не надо только заставлять писать Бакунина ряд слов с большой буквы, например, «воспользоваться С л а б о с т ь ю в о й с к», где в оригинале ясно сказано: слабостью войск и т. д.

В оригинале «Исповеди» слова, относящиеся к Николаю — Вашу, Ваше, Императорского Величества, Государь и т. д. — написаны курсивом или разрядкой; в копии, сделанной чиновниками для Николая, все эти слова н а ч е р т а н ы с весьма большим холопством в преувеличенно большом масштабе. Наш «ученый исследователь» воспроизводит почему-то «Исповедь» с соблюдением тех пропорций начертания «обыденных» и «священных» слов, которые приняты были в копии, сделанной для Николая. Создается впечатление, что Бакунин, исповедь которого производит и без того удручающее впечатление, нарочито изгибался в три погибели перед царственным мерзавцем.

Мы уже говорили, что в «Исповеди» Бакунина много имен. Кто хочет воспроизводить «текст в том виде, в каком он был написан», тот в первую очередь должен позаботиться, чтобы не только такие слова, которые известны всякому грамотному человеку, были воспроизведены точно, но и такие, для прочтения которых нужно иметь знания и способность произвести соответствующую исследовательскую работу. Иначе рискуешь не только не расшифровать текст оригинала, но и приписать автору свое собственное невежество.

Приведем примеры. Бакунин дважды упоминает о Merruau. Копиист прочитал Mercurau, в первом издании — «из рук вон плохом» — «Исповеди» напечатано Merrucan, в новом издании нашего «ученого исследователя» — странное совпадение! — тоже Merrucan. Бакунин пишет правильно Duprat, копиист на этот раз переписывает для его величества правильно Duprat. В первом издании — «из рук вон плохом»! — напечатано Dupart, в новом издании нашего «ученого исследователя» — опять странное совпадение! — тоже Dupart.

Дальше. Бакунин пишет правильно Minutoli. Копиист его величества, не имевший никогда дела с этим президентом полиции, пишет Minatoli. В первом издании «Исповеди» — «из рук вон плохом» — напечатано тоже Minatoli; в новом издании нашего «ученого исследователя» — опять странное совпадение! — тоже Minatoli. Бакунин пишет фамилию польского генерала Sznayde по-немецки: Schneide. Копиист его величества читает Schveide. В первом издании «Исповеди» — «из рук вон плохом» — напечатано Schreide, в новом издании нашего «ученого исследователя» — опять странное совпадение! — тоже Schreide.

Бакунин пишет в «Исповеди» о «Киприане Робер (Cyprien Robert), заместившем Мицкевича на кафедре славянских литератур», об известном французском слависте. Копиист его величества читает Cyprica Robert. В первом издании «Исповеди» — «из рук вон плохом» — напечатано Cyprico (явная опечатка), в новом издании нашего «ученого исследователя» на этот раз точно воспроизведена версия копииста его величества.

Cyprica пошел в оборот! В первом томе нового труда нашего «ученого исследователя» о Бакунине, вышедшем через два года — в июне 1925 — мы на стр. 214 находим того же загадочного Cyprica Robert! Наш «ученый исследователь» все еще не удосужился заглянуть хотя бы в русского Брокгауза!

Заглянем теперь в ученый аппарат нашего бакуниноведа. К «Исповеди» он делает два рода примечаний в конце книги и непосредственно под текстом. Среди первого рода примечаний мы находим несколько справок о рукописи «Исповеди», которые мы уже цитировали, архивную справку об увольнении прапорщика Бакунина. Вместо комментария, исправления фактических ошибок Бакунина или справок о всех лицах, упоминаемых в «Исповеди», — переводы французских или немецких фраз. Конечно, нельзя дать пояснений, необходимых читателю, когда сам упорно не желаешь выяснить себе текст.

Переходим теперь ко второго рода примечаниям. «В с л у ч а е, к о г д а в ы н о с к а с д е л а н а н а м и, — пишет бакуниновед, — в с е г д а о б о з н а ч е н о «п р и м е ч. р е д а к т о р а».

На стр. 113 издания «Исповеди» — не «из рук вон плохого», а того издания, в котором «этот интереснейший документ» заново «проредактирован и может считаться точным воспроизведением бакунинского текста» — мы читаем следующее примечание редакции:

«Речь идет об «Евангелии бедного грешника». Бакунин ошибается. Вейтлинга обвинили в богохульстве не за самую книгу, которая еще не была напечатана, а лишь за напечатание подробного объявления о скором выходе этой книги».

Это единственный случай, когда редактор считает нужным исправить ошибку Бакунина. Как и достаточно ли, — нас теперь не интересует.

Берем теперь первое, из рук вон плохое, издание «Исповеди» и раскрываем его на стр. 55. Оказывается, что к тому же самому месту «Исповеди» сделано примечание, которое гласит то же самое, с той только разницей, что слово «бедного» напечатано по старому правописанию.

Весьма странное совпадение! Наше удивление еще более возрастает, когда число этих странных совпадений увеличивается еще на десять![1]

Ряд опечаток в тексте «из рук вон плохого издания» повторяется в новом издании. И опять-таки странное совпадение! В том единственном случае, когда первое издание делает большую оплошность, создавая абзац, которого в оригинале нет, новое издание нашего бакуниноведа тоже дает новую красную строку, которой в оригинале нет (стр. 202 у Полонского и стр. 110 в первом издании).

Читатель уже, вероятно, догадался, в чем дело. Наш бакуниновед, твердо убежденный, что в области интеллектуального производства должен господствовать основной принцип материального — минимум интеллектуальных затрат! — предпочел набирать «Исповедь» с напечатанного уже текста. Не имея времени произвести «черную» работу сверки нового набора с оригиналом, он «передоверил» эту операцию «доверенному человеку», твердо наказав вычеркнуть в корректуре все «примечания редакции», имевшиеся в первом, «из рук вон плохом» издании. Но его «подвели». Ряд примечаний был вычеркнут, а одиннадцать остались, чтобы свидетельствовать о правдивости и добросовестности нашего «европейски известного» бакуниноведа.

Но нужно быть Дон-Базилио-Полонским, чтобы «наевшись желудей до сыта, до отвала», выругать того, чей труд он так бесцеремонно использовал. Великолепно применив принцип наименьших издержек в интеллектуальном производстве, он не менее хорошо усвоил принцип «свободной» торговли: скрывать чужой товар под своей этикеткой.

Вывод: несмотря на слабую вступительную статью В. Полонского, несмотря на некоторые опечатки, лежащие целиком на ответственности той анонимной редакции, которая вступила в такой «замысловатый блок» с импонировавшим ей бакуниноведом, первое издание и теперь еще дает более точное воспроизведение текста «Исповеди», чем «прередактированное» Дон-Базилио-Полонским новое издание.

Мы говорим: более точное. «Интереснейший документ» все еще ждет компетентного редактора-издателя.

IV

Через два года после издания «Исповеди» наш бакуниновед выпустил исправленное и дополненное издание известного уже нам труда о Бакунине — пока только первый том.

Стиль — все тот же. Бакунин «сверкающей кометой прочертил свой неистовый путь среди ярких светил революционной Европы»! Поскольку этот «неистовый путь» идет по России «двадцатых — сороковых годов», наш автор еще кое-как справляется с своей задачей, излагая все тем же высоким стилем результаты чужих работ. Но как

[1] Ср. стр. 103, 123, 131, 133, 146, 152, 170, 189, 202 и 238 в издании В. Полонского; стр. 49, 61, 66, 67, 76, 78, 90, 102, 110 и 132 в первом издании.

только Бакунин начинает «чертить свой неистовый путь» по западной Европе, наш Дон-Базилио, в тщетных попытках поспеть за «сверкающей кометой» во всех ее поворотах, каждый раз слетает то в лужу, то в канаву. Оуэн издает свой «Новый взгляд на общество» в Лондоне в 1812 г. (?), «разорившийся миллионер» граф Сен-Симон выпускает в свет «Катехизис промышленника» (?) в 1822 г. (?). Фурье у него пишет не Трактат о домашней и земледельческой, а о «домашней земледельческой» ассоциации. Мы узнаем, что пламя заговора Бабефа было потушено в 1797 г. и, несмотря на это, сбережено Буонарроти. Наш ученый упорно «чертит» La Phalanstère, La Nationale, La Populaire. Нет ничего удивительного, что он продолжает писать Cyprica (?) Robert!

Не менее обширны и точны познания нашего бакуниноведа в области истории французской и немецкой литературы. Так, мы узнаем, что именно в начале сороковых годов Барбье «оттачивал свои знаменитые «Ямбы», появившиеся в 1831 г., и «с середины сороковых годов на небосклоне европейской литературы яркой звездой заблистало дарование Жорж Занд», той самой Занд, которая к началу сороковых годов «уже опубликовала «Индиану», «Лелию», «Мойра» и даже «Compagnon du tour de France».

Также точно «чертит» наш бакуниновед и «неистовые пути» немецкой литературы в сороковых годах XIX столетия. В «этот как раз период с пера Гейне срываются (!) его замечательные произведения: «Германия», «Атта Троль», «Сон в летнюю ночь» (!?!). Правда, «с пера Гейне срывается» не «Сон в летнюю ночь», а «Зимняя сказка», но разве это не все равно?

Несмотря на все работы Прельса, Губена, Гейгера и других исследователей «Молодой Германии», наш ученый исследователь уверяет нас, что «в эти именно годы — после «Gedichte eines Lebendigen» Гервега, при «одном имени которого скрипели зубами (стиль-то какой!) реакционеры Германии», и после обращения Фрейлиграта к политической лирике — несколько молодых поэтов, поклонников Гейне, образуют литературную группу «Молодая Германия». Наш «ученый исследователь» предусмотрительно не называет ни одного из этих молодых поэтов.

Еже писах — писах! Одно открытие следует за другим. К нашему величайшему изумлению мы узнаем, что с 1838 года «в то время двадцатилетний Карл Маркс» уже был сотрудником «Галлеских Ежегодников» — факт, остававшийся до сих пор неизвестным и открытый наверное нашим неутомимым chevalier de littérature во время его заграничных командировок в архивах Германии. Мы узнаем, что вслед за Бруно Бауэром «отказался от профессуры и Маркс», хотя остается неизвестным, кто именно предложил эту профессуру Марксу.

Из «Исповеди» Бакунина наш «ученый исследователь» узнал о существовании книги Штейна «Die Socialisten in Frankreich». Правда, достаточно было заглянуть в любой энциклопедический словарь, чтобы узнать, что Бакунин и тут стал жертвой своей плохой памяти, что книга ученого немца и агента прусской полиции в Париже называлась «Der Socialismus und Communismus des heutigen Frankreichs».

Окрестив ее «Die Socialisten und Kommunisten in Frankreich» и доказав таким образом, что он никогда ее в глаза не видал, наш бакуниновед

прибавляет глубокомысленное замечание, что книга Штейна не только обобщала (!) большой опыт французского социализма и коммунизма, но «на фундаменте влияния тайных обществ и немецких эмигрантов как бы связывала литературное движение обеих стран». Лишнее доказательство, что наш бакунинновед не имеет никакого представления о том предмете, о котором он говорит с «ученым видом знатока».

Не будем останавливаться на других перлах, которыми изобилует этот «ученый» труд. Если приходится ставить под сомнение почти всякий приводимый им факт или дату, то в области психологии наш Дон-Базилио несравненен. Здесь он не щадит ни себя, ни Бакунина. Читатель согласится с нами, если прочтет следующий шедевр психологического анализа:

«Николай с заметным волнением читал «Исповедь» Бакунина. Здесь сказался блестящий литературный талант, с каким она написана. Растрогать читателя, вызвать у него слезу на глазах,—особенно на таких, какими были глаза Николая,—это не всякому удается. А слеза—их, правда, называют крокодиловыми—нет-нет, да и навертывалась на царственные очи венценосного читателя».

Издание «Исповеди», новое издание «труда» о Бакунине окончательно укрепили «ученый авторитет» нашего бакунинноведа. Он входит как признанный «историк-марксист» в редакционную коллегию нового журнала «Историк-марксист». Наркомпрос предоставляет ему одну командировку за другой — для архивных исследований по Бакунину. Весь ученый мир с нетерпением ждет «богатейших, еще не опубликованных материалов в архивах Дрездена, Вены и Праги», которые должны войти во второй том «Материалов для биографии Бакунина».

V

Но вместо второго тома наш бакунинновед совершенно неожиданно выпускает в свет третий том этих материалов под названием «Бакунин в I Интернационале». Если «Летописи марксизма» до сих пор не имели случая касаться В. Полонского как историка, то на этот раз орган Института Маркса и Энгельса не мог пройти молчанием книгу, посвященную истории первого Интернационала.

«В дополнение к литературе о Бакунине, имеющейся на русском языке, настоящая книга даст возможность глубже изучить историю борьбы, раздиравшей Международное товарищество рабочих. Без главы о Бакунине немыслима история I Интернационала. А поскольку история эта является предметом изучении в вузах и рабфаках, постольку и деятельность Бакунина не может остаться неизученной досконально».

Хотя мы думаем, что деятельность Бакунина должна быть изучена досконально вовсе не потому, что «история I Интернационала является предметом изучения в вузах и рабфаках», мы вполне согласны с нашим бакунинноведом, что роль, которую Бакунин сыграл в истории I Интернационала, должна быть изучена во всех деталях. Следует ли из этого, однако, что история I Интернационала есть история Бакунина?

Когда пишущий эти строки узнал из «Бюллетеня» Госиздата, что В. Полонский включает в третий том своих материалов перевод ряда «писаний Маркса и Энгельса, направленных против Бакунина», он немедленно указал Госиздату на некоторое неудобство одновременного появления одних и тех же вещей — около десяти печатных листов — в двух изданиях. К сожалению, эта попытка осталась безрезультатной. Наш бакуниновед продолжал упорно настаивать, что всякий биограф должен взять себе образцом Барсукова, автора двадцатитомной биографии достопочтенного Погодина. Мы, наоборот, думали,— а мы Маркса «ценим» не менее, чем наш бакуниновед Бакунина,— что поступили бы à la Барсуков, если, печатая «Материалы для биографии Маркса и Энгельса», сочли бы необходимым включить направленные против них произведения Бакунина.

Наш бакуниновед остался непреклонен. В предисловии к своим материалам он пытается обосновать это «теоретически».

«Желая дать более полную картину борьбы, происходившей в Интернационале между бакунистами и марксистами, мы нашли полезным включить в настоящий том, в виде приложений, отрывки из тех писаний Маркса и Энгельса и Лафарга, направленных против Бакунина, которые больше других возбуждали его полемическое ожесточение. Это — 1) «Мнимый раскол в Интернационале» и 2) «Брошюра об Альянсе» (?). Произведения эти не были переведены на русский язык, хотя упоминания о них и отдельные цитаты встречаются в работах о Бакунине и I Интернационале. Полностью и в комментированном виде они в ближайшее время будут изданы Институтом Маркса и Энгельса».

Для чего же было огород городить? Не имея возможности, как он предполагал сначала — до протеста Института Маркса и Энгельса — напечатать эти брошюры целиком, он дал их в искалеченном виде, в котором они никому не нужны. Без комментария и примечаний эти брошюры недоступны не только студентам вузов и рабфаков, но и новому издателю их, не позаботившемуся даже о тщательной редакции перевода.

Если не стоять на точке зрения Барсукова, то также мало понятно включение в «Материалы для биографии Бакунина» главы из воспоминаний Тучковой-Огаревой и писем Энгельса и Куно, ибо, если включить эти материалы, то почему не включить все письма Беккера, Маркса и Энгельса о Бакунине, почему не включить все статьи Боркгейма и Утина против Бакунина? Почему не перепечатать весь отчет о Нечаевском деле?

Можно было формулировать свою задачу точнее: дать исчерпывающее собрание материалов об Альянсе в Западной Европе и его русской ветви. Но это требовало работы, для который ничего не найдешь в архивах Дрездена, Праги и Вены. Имеется ведь на русском языке сборник «Историческое развитие Интернационала», в котором частью использован один из важнейших источников для истории бакунинского Альянса — «Mémoire présenté par la fédération jurassienne».

Вместо того, чтобы дать случайное собрание писем Бакунина, всем доступных, можно было бы дать более тщательный и более полный подбор его посланий, ярко рисующих его деятельность как руководителя Альянса. Но для

этого надо было «утрудить себя розысками» не только в архивах Дрездена, Вены и Праги.

«Недобросовестность автора (рецензии),— негодует наш бакуниновед,— бросается в глаза на каждой почти строке. Обзывая мою книгу «пухлой», он в то же время упрекает меня, что я не включил в нее всех материалов, какие он, рецензент, «находит нужным».

Наоборот. «Пухлость» и «обрюзглость» объясняются как раз недостатком «нужных» материалов. Они указывают на избыток «воды», или vapeurs, как говорили в старой медицине, и на недостаток в организме — книга ведь тоже «организм» — более существенных элементов.

Для кого предназначается книга нашего бакуниноведа? Для студентов вузов и рабфаков? Если так, то книга эта представляет литературную спекуляцию, выгодную для составителя, но бесполезную для студентов. Вместо введения, выясняющего основные вопросы, которые ставятся всей деятельностью Бакунина в I Интернационале, и основанного на изучении всех известных материалов, дается перепечатка уже опубликованной в «Историке-марксисте» главы из готовящейся к печати книги «Маркс и Бакунин». Если эта глава производит странное впечатление на страницах научного журнала, то она совершенно неуместна, когда перепечатывается почти целиком, — выпущен только цитированный нами выше хвалебный отзыв о работах Рязанова,— как вступительная статья к огромному тому. Такая статья должна была бы служить путеводителем, без которого злосчастный студент вузов и рабфаков рискует заблудиться и завязнуть в этом разбухшем томе.

Не лучше и вступительные замечания к отдельным материалам. Примечания,—числом 371,—как с гордостью замечает наш бакуниновед в своем ответе на рецензию,— совершенно бесполезны для студентов вузов и рабфаков, ибо не дают главного—пояснений к тексту и комментария. Ученому исследователю они не нужны, ибо заимствованы — почти без исключения и со всеми ошибками — из популярных работ Неттлау и из других всем известных работ. Там, где наш бакуниновед не имеет этих руководителей, он предпочитает оставлять текст без всякого пояснения. Конечно, «примечания, содержащие фактический, историографический материал, ссылки», не «сочиняются», не «изобретаются»,—тут наш бакуниновед прав,—но чтобы дать такие примечания, нужно перерыть массу журналов, газет, материалов, нужно произвести то, что англичане называют research work, необходимо заняться исследовательской работой. А во всех — числом 371!!— примечаниях нашего «ученого исследователя» нет никаких следов этой исследовательской работы.

Если все еще остающаяся для нашего бакуниноведа книгой за семью печатями монументальная монография Неттлау импонирует так сильно всякому компетентному читателю, несмотря на все причуды автора, то именно потому, что в ней содержится колоссальный исследовательский труд — тысячи примечаний и масса совершенно новых материалов, извлеченных впервые из частных архивов и бесчисленных периодических изданий. И когда наш бакуниновед пишет, что труд Неттлау «представляет собой лишь собрание необработанных сырых материалов», то он лишний раз доказывает, что не имеет никакого представления об исследовательской работе.

Чтобы бороться с концепцией Неттлау, чтобы противопоставить ей марксистское освещение, в первую очередь необходимо изучить именно этот труд. Если можно говорить о моих «заслугах», признанных не только нашим бакуниноведом, то они заключаются в том, что я впервые применил к этому труду научную критику и разрушил ряд легенд, которым верили такие крупные историки, как Меринг, а не только пигмеи вроде нашего книгокропателя.

Неттлау вынужден был сдать некоторые свои позиции. Более того. С тех пор как мною было доказано, что и в его, казалось, несокрушимом ученом аппарате имеются бреши, что среди собранных им самим материалов имеются такие, которые свидетельствуют против него, он принялся за переработку своего старого труда. Но даже тогда, когда, наконец, появится это новое издание,—а мы уже потеряли эту надежду,— старая литографированная монография не только не потеряет своей научной ценности, а, наоборот, сохранит ее, как первая, более непосредственная, более наивная обработка колоссального материала.

При тех странностях, которые отличают этого беззаветно преданного своей идее ученого чудака, мы вряд ли когда-нибудь получим возможность познакомиться с подлинными документами, которые он использовал для своей работы. Для науки они существуют только в тех копиях, которые он собственноручно сделал в своем литографированном труде. Начиная с 1909 г. я делал неоднократные попытки получить эти подлинники для своей работы по истории I Интернационала, но мои попытки остались так же безуспешны, как и попытки других исследователей. Все мы получали один и тот же стереотипный ответ даже в том случае, когда речь шла не о рукописях, а о простом печатном материале: «мои книги и рукописи хранятся в разных местах, и я не имею никакой возможности собрать их». Мы знаем, что он к своему монументальному труду написал такое же колоссальное дополнение, которое он предоставил в пользование Гильому, но для других оно остается недоступным и теперь.

Новые публикации Неттлау — отдельные статьи и введения к издаваемым на испанском и немецком языках памфлетам и письмам Бакунина — никоим образом не могут «аннулировать значение его литографированного труда, как источника», как это думает наш бакуниновед.

Мы видели выше, как наш Дон-Базилио-Полонский не постыдился «привнести в научную критику мотивы личной мести и бесчестные приемы борьбы», как он облыжно обвинял на страницах «Печати и революции» т. Стеклова, что он «изъял» единственный в РСФСР экземпляр труда Неттлау, чтобы помешать нашему бакуниноведу использовать этот труд.

Правда, и тогда уже ему было хорошо известно, что в РСФСР имеется другой экземпляр, несравненно лучше сохранившийся и потому более пригодный для работы, чем экземпляр, которым пользовался т. Стеклов. Он знал, что этот экземпляр ему был предоставлен для работы, что он опять сделал попытку проштудировать этот монументальный труд, но так же скоро отказался от этого, как он уже раз сделал это, когда т. Стеклов предоставил ему в пользование «изъятый» им экземпляр. А между тем при второй попытке он пользовался указаниями научных сотрудников того самого Института Маркса и Энгельса, где он получал и другие редкие издания, которые были ему нужны для занятий.

Теперь — в ответе на рецензию «Летописей марксизма» — наш бакуниновед прибегает к новым уловкам, чтобы объяснить свою неспособность критически проработать монументальный труд Неттлау.

«Всем известно», как

...становится зол
Крылья свои опаливший орел,

или в какую ярость приходит лисица, которая хочет полакомиться сыром без всяких «издержек производства».

Теперь оказывается, что трехтомная биография, о которой неоднократно писал и сам бакуниновед, просто «не существует».

«Это неверно. — вне себя от злости кричит наш бакуниновед. — Такая «книга» не существует».

«Всем известно, — продолжает он, — что эта литографированная биография издана в 50 экземплярах на правах рукописи и перепечатывать ее нельзя, ибо эта рукопись имеет хозяина. Можно ее захватить, — «всем известно», что Дон-Базилио-Полонский никогда не прибегает к «нечестной полемике, доходящей до клеветы», — каким-нибудь способом присвоить, но и такое присвоение рукописи, т. е. бумаги, покрытой текстом, не дает захватчику никаких прав на текст; последний остается принадлежащим ее автору. Хозяин же рукописи, — Неттлау, — не разрешает ее перепечатать, совершенно резонно замечая, что это делает он сам, издавая то именно «дешевое» немецкое издание, которое наш рецензент называет «популярным». На эту тему автор настоящих строк два раза беседовал с Неттлау. Довожу о точке зрения Неттлау до сведения нашего развязного, но невежественного рецензента».

Так и напечатано — не в «Известиях палаты № 6», а на все выносящих страницах «Известий ЦИК'а и ВЦИК'а» и скреплено подписью их ответственного вр. и. о. редактора И. Гронского! История печати не знает более трогательного союза ученой невменяемости и святой простоты! В психиатрии такие союзы называются folie à deux.

Мы советуем нашему зарапортовавшемуся бакуниноведу в следующую научную командировку, которую он, несомненно, получит от Наркомпроса, опять побывать у Неттлау и проверить следующий рассказ.

Когда в конце 90-х гг. XIX столетия Неттлау закончил свой монументальный труд, он обратился к различным издателям. Без всякого успеха. Только тогда, когда он убедился, что труд его рискует остаться в рукописи, что ему не удастся выполнить главную задачу своей жизни — реабилитировать память Бакунина, — он, не щадя ни труда, ни издержек, изготовил пятьдесят копий и отдал их не только во все главные библиотеки всего мира — в том числе и ленинградскую, — но и предоставил в распоряжение некоторых отдельных лиц, мнением которых он особенно дорожил[1]. Ни на одном экземпляре никто, даже при помощи самой сильной лупы, — если он, конечно, находится в

[1] Благодаря этому мы имеем теперь в Союзе три экземпляра: кроме ленинградского еще два в Москве: один экземпляр, принадлежавший Кропоткину, в музее его имени, и второй, принадлежавший Маутнеру и теперь находящийся в Институте Маркса и Энгельса.

здравом уме и не страдает манией литературного величия,—не найдет сакраментальных слов: на правах рукописи. Наоборот. Неттлау самоотверженно предоставил всем возможность пользоваться его многолетней работой, прекрасно понимая, что опубликованные им впервые в этом труде рукописи и письма Бакунина, протоколы различных организаций, всякие другие документы так же мало принадлежат ему лично — не только потому, что он анархист, — как принадлежат любому буржуазному ученому опубликованные им материалы. Требуется только одно: не выдавать за результаты своих собственных исследований плоды чужого многолетнего труда. Но превратить Неттлау в хитроумную ученую лису, угощающую кашей глупеньких ученых журавлей, на это способен только высоконравственный, не способный ни на какую заведомую ложь, цензор русской изящной и научной литературы, несравненный Дон-Базилио-Полонский!

VI

Обратимся теперь к немецкому изданию писаний Бакунина, которое рецензент, к величайшему негодованию нашего бакуниноведа, так интенсивно и так неосновательно использовавшего третий том этой публикации, совершенно точно называет популярным.

Попробуем объяснить это нашему ученому исследователю. Издание предпринято немецкими синдикалистами. Оно называется «Собранием сочинений Бакунина». Предлагаем нашему ученому исследователю разыскать в первом томе вступительную статью редактора или предполагаемый план издания. Имени Неттлау нет. Кто является переводчиком, неизвестно. Лубочная обложка с малограмотной надписью изображает Бакунина, произносящего речь на каком-то собрании какой-то международной секции. Предисловие подписано неким Рольфсом. Никаких примечаний, никаких вступительных экскурсов. Случайно подобранные статьи Бакунина напечатаны в большинстве случаев даже без указания даты.

Только со второго тома начинается работа Неттлау. С присущей ему добросовестностью он в предисловии ко второму тому указывает, что он лично несет ответственность за издание, только начиная со второго тома. Чтобы не обидеть своих товарищей, он дает «оправдание» первого тома. Его собственная работа начинается только с третьего листа второго тома. Можно очень много возразить против его плана издания, но он все же старается его обосновать. Во втором томе он группирует статьи, которые должны изобразить «непосредственную социалистическую пропаганду Бакунина» в I Интернационале, в третьем томе — и пока последнем — он дает писания Бакунина, заключающие «существенные части того материала, который имеет значение для понимания неизбежного конфликта между Бакуниным и Марксом в I Интернационале».

Именно последний том так интенсивно и так неосновательно использован нашим бакуниноведом. Если не считать совершенно ненужных приложений, то из двадцати «пьес», вошедших в злополучный третий том «Материалов для биографии Бакунина», не менее четырнадцати помещены в третьем томе немецкого издания. Более того. Весь план и почти всегда порядок статей у нашего бакуниноведа заимствованы у Неттлау. Исключение составляют только «Письма

о революционном движении в России»,— «честь открытия которых,—как уверяет наш бакунинovед, на этот раз совершенно точно,—должна быть приписана Д. Рязанову»,—и глава из воспоминаний Тучковой-Огаревой.

Разница, казалось бы, только формальная; Неттлау дает писания Бакунина в немецком, наш ученый исследователь—в русском переводе. Но есть и другая, весьма существенная разница: Неттлау переводит с оригинала, наш бакунинoвед в большинстве случаев—с немецкого перевода.

Именно это—и совершенно справедливо—подчеркнул рецензент, указавший, что при желании наш бакунинoвед мог бы перевести почти все статьи Бакунина с оригиналов, имеющихся в трехтомной биографии. А наш «ученый исследователь» на сие возражает следующим победоносным образом:

«Опрометчивость этого заявления самоочевидна: никаких «оригиналов» не может быть в копии рукописи».

Итак, если Неттлау в своей трехтомной биографии приводит письмо Бакунина в оригинальном французском тексте, то это не оригинал, потому что это только «копия рукописи»! Неужели наш «ученый исследователь» думает, что все его читатели стоят на уровне развития вр. и. о. редактора «Известий»—И. Гронского?

Факты—упрямая вещь. В основу рецензируемого тома «Материалов для биографии Бакунина» положен третий том популярного немецкого издания его сочинений, и из четырнадцати «пьес», по признанию самого Дон-Базилио-Полонского, переведены с немецкого перевода десять, и притом наиболее крупных. Но и письма Альберу Ришару переведены не целиком с французского. А к чему это приводит, мы сейчас покажем нашему «ученому исследователю».

Речь идет о письме от 1 апреля 1870 г., которое, вместе со всеми остальными письмами Бакунина к Ришару, уже было опубликовано целиком в третьем томе «Архива Маркса и Энгельса» в переводе с французского оригинала—оригинала в том смысле, в котором это слово понимается всяким находящимся в здравом уме человеком.

«Мы же, напротив,—пишет Бакунин,—будем питать, пробуждать, разнуздывать страсти, вызывать анархию к жизни, как незримые кормчие, будем руководить ею в народной буре, руководить не конкретною, видимой властью, но коллективной диктатурой всех союзников, Alliirte (курсив наш)... Пусть немного союзников (Alliirte), но твердых, деятельных, выдержанных, верных...» («Материалы», стр. 268.)

Откуда взялись в русском переводе с французского эти Alliirte, в первый раз как слово, которое Бакунин прибавляет в качестве синонима, второй раз в скобках, как будто желая пояснить немецким словом соответствующее французское слово, которое наш бакунинoвед переводит словом «союзник»?

Обратимся к французскому оригиналу. Предупреждаем, что это оригинал в обычном смысле слова, что это не рукопись, что это только копия, но на этот раз фотография рукописи.

«Nous au contraire, nous devons fermenter, éveiller, dechaîner toutes ces passions—nous devons produire l'anarchie—et pilotes invisibles au milieu de la tempête populaire, nous devons la diriger, pas par un pouvoir ostensible quelconque, mais par la dictature collective de tous les Alliés...

Peu d'alliés, mais bons, mais bons, mais énergiques, mais discrets, mais fidèles...»

Никаких следов немецкого слова Alliirte нет. Откуда же оно взялось? А точный перевод письма от 1 апреля 1870 г. имеет особо важное значение, ибо... Но предоставим лучше слово нашему бакуниноведу.

«Письмо от 1 апреля 1870 г. представляет исключительный интерес. Подобно многим другим документам, сделавшимся известными лишь в последнее время (?!), это письмо проливает свет как на методы бакунинской конспиративной деятельности в недрах Интернационала, так равно и на цели, к которым он стремился. Здесь резче, чем в каких-нибудь других своих высказываниях, Бакунин говорит о «незримой», коллективной диктатуре «всех союзных сил». В разных местах его переписки часто встречается слово «союзники» (Alliirte)».

Ларчик просто открывается. Наш бакуниновед рабски следует Неттлау, а потому «присочиняет» этот немецкий термин. Неттлау не хочет сказать просто, что Alliés в этом письме, как и в других, означает членов тайного бакунинского Альянса, и конструирует целую теорию, согласно которой до сентября 1872 г. существовало только идейное содружество, члены которого назывались союзниками (Alliirte), или братьями, а после сентября 1872 г., т. е. уже после Гаагского конгресса, организован был настоящий Альянс, членов которого можно поэтому назвать альянсистами. А по нашему мнению Alliés, это не союзники (Alliirte), а альянсисты, члены тайного Альянса, организованного Бакуниным до Гаагского конгресса. Поэтому т. Стеклов совершенно правильно перевел — с французского — цитированные нами места следующим образом:

«Мы же, напротив, должны будоражить, пробуждать, разнуздывать все страсти, мы должны создавать анархию, и в качестве незримых лоцманов посреди народной бури мы должны будем руководить ею не посредством какой-либо открытой власти, а посредством коллективной диктатуры всех альянсистов... Альянсистов не должно быть много...»

Приведем еще одну цитату из другого письма Бакунина тому же Ришару. «Заимствуем» ее у нашего «ученого исследователя».

«Я дал твой адрес моему другу и соотечественнику... (не разобрано — Вяч. П.) Союзнику внешнему, не близкому».

В оригинале соответствующее место гласит:

«J'ai donné ton adresse à mon ami et compatriote Joukoffski — allié extérieur, non intime».

Оригинал в этом месте как раз очень разборчив, и всякий, кто знаком с именем и ролью Жуковского в истории бакунизма, сейчас же догадался бы, о чем идет речь, если бы даже фамилия Жуковского не была написана en toutes lettres.

Тов. Стеклов опять-таки совершенно точно перевел это место:

«Я дал твой адрес моему приятелю и соотечественнику Жуковскому, альянсисту внешнему, не интимному».

Новое подтверждение, что речь идет не об идейном содружестве, не о «союзниках», Alliirte, а об альянсистах, среди которых имеются две катего-

рии членов: внешние, не посвященные во все секреты, и интимные, которые образуют «незримую диктатуру».

А ведь наш бакуниновед имел в своих руках те самые фотографии, которыми пользовался и т. Стеклов. Они были ему так же любезно предоставлены Институтом Маркса и Энгельса, как и другие материалы. Разница только в том, что, использовав для первой своей публикации в «Печати и революции» ту же самую копию, которую имел — из одного и того же источника — т. Стеклов, он не дал себе труда тщательно проверить свою работу, когда он, опять-таки вместе с т. Стекловым, получил возможность познакомиться с фотографиями.

Чтобы дискредитировать перевод писем Бакунина, сделанный т. Стекловым для третьего тома «Архива Маркса и Энгельса», наш «ученый исследователь» следующим образом «уничтожает» своего «конкурента»:

«В письме от 23 августа 1870 г. (стр. 373) наш «критик» дает следующий перевод: «Вы окружены изменниками, Пруссия в рядах правительства, в администрации вас предают повсюду» [1]. — А между тем Бакунин писал Ришару, что предатели повсюду — «в прессе, в рядах правительства, в администрации». Это не единственный образец — прибавляет победоносно наш бакуниновед — малограмотного, неряшливого перевода. Я мог бы умножить примеры, но и приведенного, думается, достаточно, чтобы показать читателю, да и заодно и самому Ю. Стеклову: «оригиналы» я видал. Не правда ли?»

Можно себе представить, с каким смешанным чувством восторга и уважения читал эту сокрушительную тираду «европейского ученого» почтенный вр. и. о. редактора И. Гронский.

Проверим и это высказывание нашего «ученого исследователя», который уже не один раз нам блестяще доказал, что он не способен ни на ложь, ни на клевету, «добропорядочность» которого может конкурировать только с его «добросовестностью».

Обращаемся к оригиналам, к тем самым фотографиям, которые, как мы теперь знаем, наш «ученый исследователь» имел в своих руках.

«Vous êtes entourés de traîtres — la Prusse est dans le gouvernement et dans l'administration».

Прочитать вместо слова «Prusse» слово «presse» мог только тот, кто не имеет никакого представления ни об эпохе, ни об адресате, ни об авторе письма. Достаточно продолжить цитату, чтобы даже вр. и. о. редактора И. Гронский понял, в чем дело. Берем нарочно перевод нашего «ученого исследователя».

«Вспомните слова Дантона в эпоху и среди опасностей, которые, конечно, не были более страшными, чем настоящие опасности и эпоха: «Прежде чем итти против врага, надо уничтожить и парализовать его в тылу у себя». Надо повергнуть внутренних пруссаков, чтобы иметь возможность затем уверенно и безопасно итти против пруссаков внешних».

---

[1]) Так напечатано в «Открытом письме». В действительности же это место на стр. 373 третьего тома «Архива К. Маркса и Ф. Энгельса» гласит: «Вы окружены изменниками, Пруссия—в рядах правительства и администрации, вас предают повсюду». Мы предпочитаем думать, что допущенные в «Открытом письме» В. Полонского искажения только опечатка.

Поняли? А ведь это не единственный образец вашего безграничного невежества, ваших малограмотных, неряшливых переводов, вашей литературной недобропорядочности, вашей научной недобросовестности.

Какой рецензент, если он хотя бы на поту больше разбирается в этих вопросах, чем вр. и. о. редактора П. Гронский, мог бы притти, даже после беглого знакомства с новым образцом в таком обилии поставляемой нашим «ученым исследователем» научной макулатуры, к другому выводу, чем тот, которым заканчивается рецензия «Летописей марксизма»:

«Вывод ясен. Третий том «Материалов для биографии Бакунина» представляет совершенно ненужную книгу, не выдерживающую никакой критики ни со стороны полноты, ни со стороны научности, ни со стороны полезности».

Е. КАГАНОВИЧ

ОБЗОР СТАТЕЙ ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ, ПОМЕЩЕННЫХ в «ВЕСТНИКЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ» за 1922—1927 гг.

Введение

Обзор охватывает исключительно статьи по теоретической политической экономии. Вопросы экономической (и финансовой) политики советского хозяйства и конкретной экономии оставлены нами в стороне. Задача, поставленная нами, заключается не только в том, чтобы дать более или менее полный перечень теоретических статей по политической экономии, помещенных за 5 лет в «В. К. А.». Мы попытались дать кроме того классификацию статей по тематическому принципу. Статьи сгруппированы вокруг следующих проблем: 1) предмет и метод политической экономии, 2) теория стоимости, 3) теория денег и кредита, 4) теория капитала, 5) теория прибыли и процента, 6) теория воспроизводства капитала, 7) теория мирового хозяйства и 8) история экономических учений. Отсутствие некоторых проблем в обзоре объясняется отсутствием соответствующих статей в «Вестнике», например по теории ренты, кризисов и т. д. Разбор статей и критические замечания к ним, само собою разумеется, не претендуют на полное изложение их содержания или их оценку; они дают лишь общее представление о теме и характере той или другой статьи.

1. Предмет и метод политической экономии

Поводом для дискуссии по этому вопросу послужило известное выступление И. И. Степанова-Скворцова с докладом на заседании Коммунистической академии 31 января 1925 г. по вопросу «Что такое политическая экономия?» Доклад вызвал оживленные и содержательные прения, в которых приняли участие тт. Н. И. Бухарин, Е. Преображенский, А. Богданов, Н. Осинский, Ш. Дволайцкий и другие.

Выступление И. И. Степанова послужило толчком к разработке проблемы предмета и метода политической экономии Маркса. Доклад И. И. Степанова-Скворцова («Что такое политическая экономия?») и прения по докладу напечатаны в «В. К. А.» (кн. X, 1925 г., стр. 157—346); в «В. К. А.» дискуссия нашла отражение в статье А. Леонтьева — «К вопросу об исторических рамках теоретической экономии» («В. К. А.», кн. XIII, 1925 г., стр. 108—119).

И. И. Степанов в своем докладе выступил решительным противником ограничения предмета политической экономии рамками чистого капитализма. По его

мнению, «экономические категории чистого капитализма составляют орудие, но отнюдь не все содержание марксистской политической экономии» («В. К. А.», стр. 267). «Политическая экономия — историческая наука, которая, далекая от ограничения себя эпохой и странами капитализма, изучает «историческую материю» и, исследуя особые законы отдельных периодов развития, не отказывается и от выяснения некоторых общих экономических закономерностей» («В. К. А.», стр. 269). Общий вывод И. И. Степанова по вопросу о предмете политической экономии следующий: «Сообразно новой эпохе и новым задачам изменился исторический охват политической экономии. Она — уже не теория только капитализма: она, кроме того, 1) теория генезиса и развития капиталистического способа производства из феодального и 2) она — теоретическое исследование того, каким образом среди разлагающейся формы экономического движения складываются элементы будущей, новой организации производства и распределения» (стр. 273). По вопросу о методе марксистской политической экономии И. И. Степанов высказывается против определения метода Маркса как метода «абстрактно-аналитического». Метод Маркса, по определению Степанова, — «диалектическое единство абстрактно-аналитического метода и конкретно-исторического метода» (стр. 278). Доклад Степанова вызвал почти единодушные возражения участвовавших в прениях марксистов-экономистов. Н. И. Бухарин (см. стр. 292—299), ссылаясь на ряд указаний Маркса, отметил, что И. И. Степанов допускает ошибку, предлагая, «чтобы политическая экономия изучала все исторические эпохи». Это может привести к универсализации категорий капиталистического хозяйства, т. е. к возврату к точке зрения буржуазной науки. По мнению Бухарина, Степанов не понял значения историзма марксистской политической экономии. «Одно дело, когда говорят, что политическая экономия должна быть исторической наукой, и при этом понимают, что она оперирует категориями известного, исторически ограниченного строя, капиталистического строя. В этом смысле говорят, что политическая экономия — историческая наука. Совсем другое дело — «историческое» понимание в том, что, по-моему, на самом деле является «не историческим», поскольку оно годно для всех времен, для всех народов и все изучает» (стр. 295).

Н. И. Бухарин считает также совершенно ошибочным определение метода политической экономии, данное И. И. Степановым. «Если в естественных науках мы работаем с микроскопом, то этому соответствует в политической экономии — сила абстракции» (стр. 193). Последующие ораторы: Дволайцкий, Преображенский, Осинский, Марецкий, Розит, Кон, Крицман, В. М. Смирнов и др., за исключением М. Н. Покровского и А. А. Богданова, поддержали Н. И. Бухарина в этом вопросе против И. И. Степанова.

Статья Леонтьева «К вопросу об исторических рамках теоретической экономии», по заявлению автора, не претендует на новизну и оригинальность в разрешении проблемы. Автор дает лишь связное изложение вопроса, отстаивая необходимость ограничения теоретической экономии рамками капиталистического хозяйства.

Статья И. Блюмина «О математическом методе в политической экономии» [1] («В. К. А.», кн. XVI, 1926 г., стр. 49—90, и кн. XVII, 1926 г., стр. 77—116)

[1] Статья вошла во II том труда И. Блюмина, Субъективная школа в политической экономии, М. 1928, гл. I.

посвящена разбору основных методологических положений математической школы (Лаунгардт, Ауспиц, Либен, Шумпетер, Маршалль, Джевонс, Уикстед, Эджеворт, Парето, Ирвинг Фишер, Кассель, Виксель и др.). Статья, знакомя нас с целой школой в политической экономии, мало известной у нас даже и в среде экономистов-специалистов, заполняет весьма существенный пробел. Ее ценность повышается еще тем, что она вся сосредоточена на методологии математической школы. И. Блюмин в концентрированной форме показывает нам исходные положения этой школы. Все крупнейшие представители «математической школы» стоят на общей экономической платформе; все они являются сторонниками принципа «предельной полезности» (стр. 56). Методологические принципы экономистов математической школы характеризуются следующими чертами: 1) они признают математический метод не методом изложения, а методом исследования. Математический метод мыслится ими как метод развития науки, как орудие научной мысли, а не как иллюстрация экономических явлений (стр. 58); 2) они признают, что «при помощи математического метода можно решить не отдельные частные проблемы теоретической политической экономии, а можно охватить весь экономический процесс в целом» (стр. 61); 3) они считают свой метод не одним из методов наряду с другими, а основным, важнейшим методом (стр. 63).

И. Блюмин правильно нападает на фетишизацию математики и извращенное представление о ее значении как метода познания общественных явлений. Однако положительная оценка автором значения применения математики в политической экономии не может быть признана вполне удовлетворительной. Сам И. Блюмин, при всем понимании принципиального отличия между естественными и социальными явлениями, требующими применения для их познания специфических методов исследования, сбивается на преувеличение значения математического метода в политической экономии. В частности он не согласен с Розой Люксембург и с ее правильной, с нашей точки зрения, оценкой роли марксовых схем воспроизводства, как иллюстрации закона воспроизводства, а не как доказательства этого закона. Но совершенно уж неверно заявление И. Блюмина: «У Маркса один из основных законов динамики капиталистического строя — тенденция нормы прибыли к понижению — получен на основании анализа математической формулы нормы прибыли» («В. К. А.», кн. XVI, 1926 г., стр. 8).

Двойственная позиция И. Блюмина по вопросу о значении и границах применения математического метода в политической экономии была правильно подмечена в статье З. Цейтлина «О математическом методе в естествознании и политической экономии» («В. К. А.», кн. XXIII, 1927 г., стр. 149—165). Что касается собственных взглядов З. Цейтлина по данному вопросу, то в указанной статье он ошибочно признает математический метод универсальным и одинаково применимым как к естественным, так и социальным явлениям (см. также его книгу «Наука и гипотеза», Гиз, 1926, последняя глава). Автор делает ряд ошибок в своих рассуждениях об объекте политической экономии сравнительно с объектом естественно-научных дисциплин. Утверждения З. Цейтлина возвращают нас назад к натуралистическому пониманию экономических явлений отцами политической экономии: Кенэ, В. Петти и А. Смита.

«Социальные явления, — говорит З. Цейтлин, — представляют собой материальные движения наивысшей известной нам количественно-качественной

сложности» (стр. 162). Или: «Тот, кто делит процессы мира на естественные, в которых все материально, и социальные, в которых нет ни атома материального, может действительно опасаться за «слишком тесное» сближение теоретической экономии с физико-математическими науками!..» (стр. 152). Статья З. Цейтлина весьма интересна как образчик возрождения грубо механического и в то же время натуралистически-метафизического взгляда на природу и общество.

В математический фетишизм впадает и А. Корсунский в своей статье «Математические упражнения критиков Маркса» («В. К. А.», кн. XXI, 1927 г., стр. 85—113).

Нас здесь интересует его методологическая установка. Его возражения Туган-Барановскому, Бауэру, Будину и другим, как интерпретаторам и критикам марксовских схем воспроизводства, мы рассмотрим ниже, в разделе о теории воспроизводства. В общем, в оценке математического метода, как орудия познания общественных явлений, взгляды А. Корсунского совпадают с позицией И. Блюмина. Подобно Блюмину, он утверждает: «Математические формулы и схемы могут быть использованы двояко: для интерпретации логических построений и как метод исследования. В частности Маркс в «Капитале» частенько прибегает к услугам математического метода как с той, так и с другой целью. Примером могут служить знаменитые схемы общественного воспроизводства» (стр. 85). Аргументы А. Корсунского в пользу математического метода сводятся к тому, что «подавляющее большинство экономических категорий имеет количественный характер: интенсивность труда и производительность труда, рабочий день, стоимость, цена, зарплата, прибыль, рента и т. п.». Далее, так как между этими категориями существует взаимозависимость, так как в некоторых экономических явлениях наблюдаются числовые закономерности, то ввиду этого адэкватным политической экономии методом А. Корсунский объявляет математический метод [1].

Тот факт, что в целом ряде статей авторы близко подходят, — и, по нашему мнению, недостаточно правильно, — к вопросу о границах математического метода в применении к политической экономии, показывает необходимость серьезного обсуждения этого вопроса. С этой же точки зрения представляет интерес статья В. Дитякина «Диалектический метод в работах Ленина по экономике» («В. К. А» кн. VI, 1923, стр. 77—107), в которой анализируются как общеметодологические принципы, положенные Лениным в основу при анализе им экономических явлений, так и специфические приемы экономического исследования. Как удачно выясняет В. Дитякин, Ленин, прибегая к помощи статистики и вообще цифрового анализа в политической экономии, в то же время предостерегал против фетишизма цифр.

2. Теория стоимости

Выход в 1923 году «Очерков по теории стоимости Маркса» И. И. Рубина вызвал оживленную дискуссию, вращавшуюся главным образом вокруг вопроса о социологическом или физиологическом понимании абстрактного труда. В «В. К. А.» эта дискуссия нашла отражение в статье М. Брудного «Критические заметки»

[1] На этой же позиции стоят О. Шмидт (см. его статью «Математические законы денежной эмиссии» («В. К. А.», кн. III, 1923 г., стр. 99), Базаров, Крицман и др. (см. прения по докладу Шмидта в той же книге, стр. 268—277).

(против толкования И. Рубиным теории стоимости Маркса) «В. К. А.», кн. XXI, 1927 г., стр. 23—58). В своей статье М. Брудный делает попытку охарактеризовать наиболее существенные черты метода Маркса. Ошибкой И. И. Рубина в вопросе о методе Маркса он считает то, что «расхождение исследования и изложения у Маркса понимается Рубиным принципиально». Рубин «противопоставляет ход изложения Маркса ходу его доказательств» (стр. 24). Второй методологический грех Рубина заключается в том, что, по его мнению, «социальную определенность буржуазного хозяйства характеризует обмен», между тем как, по Марксу, именно «производство определяет все остальные моменты хозяйственной жизни». В противоположность Рубину Брудный считает, что «абстрактный труд, это — физиологическая трата труда в таких общественных условиях, когда всеобщность труда или отвлечение от конкретных свойств труда является условием его общественного характера» (стр. 44). Брудный не согласен также с установленным И. Рубиным соотношением между содержанием и формой стоимости. В противовес Рубину Брудный утверждает, что «форма стоимости, это — дальнейшее развитие понятия стоимости... Понятие формы стоимости выражает движение стоимости; различные формы стоимости, это — различные конкретные стороны капиталистических производственных отношений на основе стоимости». Хотя Брудный охотно обвиняет своих противников в «идеализме», «ревизионизме» и прочих смертных грехах, статья его обнаруживает, что самому автору, к сожалению, свойственно весьма распространенное среди критиков марксизма представление, будто движение категорий в марксовой системе представляет собою чисто логическое развитие понятий.

Статья В. Познякова «К проблеме квалифицированного труда» (квалифицированный труд в социалистическом хозяйстве) («В. К. А.», кн. XII, 1925, г., стр. 76—88) является развитием его взглядов на эту проблему, впервые изложенных им в книге «Квалифицированный труд и теория ценности Маркса» (2-е изд. 1925 г.). В названной статье В. Позняков делает интересную попытку вывести формулу сведения квалифицированного труда к простому, которая одинаково применима как к капиталистическому, так и к социалистическому хозяйству. Попутно им подвергается критике распространенная в марксистской литературе теория редукции, как она сформулирована Дейчем, О. Бауэром и Гильфердингом. По мнению Познякова, эта теория представляет собой «возврат к домарксовским взглядам, некий рецидив смитовских воззрений». Что касается авторов, писавших о редукции квалифицированного труда в применении к социалистическому хозяйству (Бруцкус, Туган-Барановский, Варга, Мотылев), то и их теории Позняков считает несостоятельными. Основной вывод его статьи заключается в том, что проблему редукции можно решить только с точки зрения процесса общественного воспроизводства в его целом.

3. Теория денег

Статья В. Келлера «Последний рудник и стоимость денежного металла» («В. К. А», кн. XI, 1925 г., стр. 73—87) является отголоском дискуссии, ведшейся на страницах «Neue Zeit» в 1912—1913 годах среди западно-европейских марксистов по вопросу об определении стоимости денежного металла [1]. Непосредствен-

[1] Некоторые из этих статей напечатаны в сборнике «Основные проблемы политической экономии» (3-е изд. 1925 г.).

ным поводом к разработке этого вопроса В. Келлером послужила книга З. С. Каценеленбаума «Учение о деньгах и кредите», в которой автор доказывает, что теории, связывающие стоимость металлических денег с трудовыми затратами или же с издержками производства, впадают в логический круг. А именно: стоимость денежного металла должна объясняться трудовыми затратами на последнем руднике; какой именно рудник явится последним, зависит от количества металла, потребного обществу, сама же эта общественная потребность опять-таки зависит от стоимости денежного металла. В. Келлер, с одной стороны, ставит своей задачей доказать, что никакого порочного круга при определении стоимости металла на основе теории трудовой стоимости не получается, — с другой стороны, он делает попытку вскрыть внутреннее противоречие теории Варги-Бауэра-Гильфердинга, утверждающей, что стоимость золота, благодаря неограниченному спросу на него и поглощению его избытка эмиссионными банками, остается неизменною. Автору в общем удалось справиться с аргументами Каценеленбаума, а также дать несколько новых аргументов против определения стоимости металла Варгой и др.

Статьи О. Шмидта «Математические законы денежной эмиссии» («В. К. А.», кн. III, 1923 г., стр. 85—99) и В. Базарова «К методологии изучения денежной эмиссии» («В. К. А.», кн. IV, 1923 г., стр. 28—100) носят на себе явную печать «эмиссионного хозяйства», вызванного экономическими условиями первых лет нэпа и в частности нашим тогдашним денежным обращением. Тот факт, что, несмотря на баснословное обесценение нашего рубля и не прекращавшиеся выпуски бумажно-денежной массы, товарное обращение не подрывалось в своей основе и предъявляло требование на суррогаты денег, порождал потребность в теоретическом осмысливании законов эмиссий. С этой целью О. Шмидт выступил на заседании Коммунистической академии с докладом, переработанным в статью. Главная цель его — установить основные закономерности эмиссии. Метод исследования О. Шмидта — математический.

«Законы», формулированные О. Шмидтом, при ближайшем рассмотрении оказываются выводами из обработанной математическим образом количественной теории денег в модернизированном виде, в каком мы ее находим у Ирвинга Фишера и др. В прениях по докладу О. Ю. Шмидта («В. К. А.», кн. III, 1923 г., стр. 256—277) Е. А. Преображенский отметил принципиальную ошибку О. Шмидта, взявшего за исходный пункт своего математического анализа эмиссии количественную теорию денег, несостоятельность которой со времени критики Маркса не вызывает среди экономистов-марксистов сомнений. Коренная методологическая ошибка О. Шмидта, по мнению Е. Преображенского, заключается в том, что он попытался «заменить экономическое исследование математическим анализом».

В защиту методологии О. Шмидта выступали Базаров и Крицман, в общем солидаризировавшиеся с сформулированными О. Шмидтом «законами эмиссионного хозяйства».

Доклад О. Шмидта побудил В. Базарова взяться за разработку законов эмиссионного хозяйства. В своей статье «К методологии изучения денежной эмиссии» Базаров целиком стоит на той же принципиальной позиции, на которой стоял в своем докладе О. Шмидт.

Статьи О. Шмидта и В. Базарова можно назвать лебединой песней эмиссионного хозяйства. В том же году (1923), в котором делались попытки вывести

«законы эмиссии», советской властью подготовлялись меры к радикальному устранению денежной инфляции и к переходу к твердому червонному рублю. Вокруг подготовлявшейся денежной реформы возникли не менее оживленные споры, теоретическим выражением которых была полемика между видными советскими экономистами о «мериле стоимости» в условиях бумажно-денежного обращения. Статья Е. Преображенского «Теоретические основы спора о золотом и товарном рубле» («В. К. А.» кн. III, 1923 г., стр. 58—85) полемически заострена против сторонников «товарного рубля» (Смирнова, Дембо и Струмилина), с одной стороны, и против сторонников «реального золотого рубля» (Сокольников) — с другой.

Сущность взглядов Преображенского, развитых в названной статье, сводится к тому, что у нас в условиях чистого бумажного денежного обращения действительным мерилом стоимости было довоенное золото и что оно останется таковым до тех пор, пока Советская республика не вступит в нормальные торговые отношения с внешним миром и таким образом через котировку своей валюты за границей не свяжется с реальным мировым золотом, которое в этом случае стало бы у нас мерилом стоимости. Положительный вывод Е. А. Преображенского был тот, что «в странах (с падающей валютой. — Е. К.), если они изолированы от мирового хозяйства, мерилом стоимости служит воспоминание о довоенном золоте и золотой масштаб цен» (стр. 83).

С точки зрения марксовой теории денег концепция Преображенского весьма спорна: 1) она не объясняет, в силу какого чуда довоенное золото, реально не функционировавшее в обращении в течение девяти лет, тем не менее являлось идеальным мерилом стоимости; 2) она предполагает неизменный по своей стоимости всеобщий эквивалент, что противоречит теории Маркса; 3) она страдает психологизмом, ибо исходит из того, что довоенное золото выполняет свою функцию мерила стоимости посредством «воспоминаний».

Статья Э. Лейкина «Исходные положения марксовой теории кредита» («В. К. А.», кн. XXI, 1927 г., стр. 58—85) является оригинальной попыткой дать изложение учения Маркса о кредите с методологической точки зрения. Автор исходит из учения Маркса «о превращении возможности кредита в действительность» и показывает, что это учение есть не только теория о том, какие моменты капиталистической формы общественного производства и каким путем развивают во вне спящую внутри нее форму кредита. Это — также учение о возрастании роли кредита с развитием капитализма. Эта теория выясняет, почему кредит является вначале только методом гарантирования воспроизводственного процесса в возможно больших масштабах, почему в дальнейшем кредит становится условием sine qua non развертывания производительных сил при капитализме и почему, наконец, он же на заключительных ступенях капиталистической системы становится ее всеобщей формой и в этой своей универсальности единственно возможной, а значит необходимой формой ее разложения» (стр. 54).

4. Теория капитала

Статья А. Пашкова «Органический состав капитала» («В. К. А.», кн. XVIII, 1926 г., стр. 84—102) посвящена анализу понятия органического состава капитала у Маркса и разбору соотношения этого понятия с понятием «состава капитала

по стоимости». Автор очень хорошо выясняет соотношение, которое существует у Маркса между техническим и органическим составом капитала, с одной стороны, и между органическим составом и составом по стоимости—с другой. «...В самом понятии «состав по стоимости»,—пишет Пашков, — Маркс различает состав по стоимости, который действительно выражает собою технический состав, уровень производительной силы труда, и состав по стоимости, отражающий влияние других факторов, — различие или колебание цен на сырье прежде всего. Из общего понятия «состав капитала по стоимости»,—Маркс выделяет понятие условное — состав (органический. — *Е. К.*), который служит показателем высоты технического состава, высоты производительности труда. Органический состав — лишь частное, условное и ограниченное понятие того же состава по стоимости; поэтому противопоставлять его последнему никак нельзя. Но «органический состав» можно и нужно отличать от «состава по стоимости»... (стр. 88). А. Пашков удачно выяснил понятие органического состава капитала; его статья послужила к более углубленному представлению об этом понятии.

М. Смит в статье «Строение постоянного капитала и издержки производства» («В. К. А.», кн. XII, 1925 г., стр. 89—126) ставит следующую проблему: «Поможет ли применение марксовых категорий на практике ясности и отчетливости нашей повседневной хозяйственной работы?» М. Смит считает необходимым при анализе конкретной работы промышленности и хозяйственной работы вообще заменить рыночно-бухгалтерскую терминологию экономической терминологией Маркса. В своей статье она делает опыт применения понятия «постоянного капитала» и «издержек производства» к анализу целого ряда конкретных хозяйственных явлений. К сожалению, опыт М. Смит нельзя считать удавшимся: автор не представляет себе с достаточною ясностью значения марксовых категорий, которые, с одной стороны, являются внутренними законами капиталистического хозяйства, имеющими реальное значение только с точки зрения совокупного капиталистического хозяйства, а с другой стороны, являются выражением овеществленных общественных отношений людей. При помощи марксовой экономии мы выясняем себе законы и тенденции развития капиталистического строя, выясняем экономические корни строения классового общества и ведем сознательную революционную борьбу со всей системой капитализма. В этом и заключается практическое применение экономических категорий Маркса. Попытки же непосредственно отождествить «теоретические абстракции и «внешнюю поверхность явлений» могут привести только к вульгаризации экономических понятий Маркса.

В. Вейц в статье «К вопросу о методике исследования динамики ценностного состава капитала» («В. К. А.», кн. X, 1925 г., стр. 218—307) делает интересную попытку наметить вехи марксистской методологии исчисления ценностного состава капитала, причем подвергает критике методы, применяемые иностранной и русской официальной статистикой. Основное положение, из которого исходит Вейц, следующее: «необходимо алгебру Маркса перевести на язык арифметики». Это, конечно, правильно. Весь вопрос заключается только в том, как и в каких пределах это возможно осуществить. Мы вовсе не отрицаем, что целый ряд категорий политической экономии может быть подвергнут математическому анализу с количественной стороны. Но когда В. Вейц, подобно М. Смит,

хочет найти непосредственное совпадение конкретных экономических явлений с законами, выведенными Марксом, мы считаем это бесполезным опытом и методологической ошибкой.

5. Прибыль и процент

В своих двух статьях: «Капитализм и прогресс техники» («В. К. А.», кн. XVI, 1926 г., стр. 1—48) и «Падение нормы прибыли и прогресс техники» («В. К. А.», кн. XVII, 1926 г., стр. 11—34), равно как и в своем докладе на ту же тему, прочитанном на объединенном заседании экономической секции и секции научной методологии Комакадемии 24 ноября, Л. Крицман ставит задачей своего исследования дать математический анализ движения нормы прибыли под воздействием исключительно прогресса техники. При этом им рассматриваются различные случаи прогресса техники и его влияния на норму прибыли: 1) в производстве средств роскоши, 2) в производстве средств необходимого потребления, 3) в производстве средств производства для производства средств роскоши, 4) в производстве средств производства для производства средств необходимого потребления и 5) во всех этих подразделениях одновременно. В итоге своего анализа Л. Крицман пришел к следующим выводам:

1) «Движение нормы прибыли носит колебательный характер: понижение и повышение нормы прибыли беспорядочно сменяют друг друга в зависимости от конкретных особенностей каждого отдельного случая применения прогресса техники».

2) «В движении нормы прибыли существуют, однако, преобладающие тенденции: для капитализма на низших ступенях его развития преобладающая тенденция нормы прибыли — к повышению; для капитализма на высших ступенях его развития преобладающая тенденция нормы прибыли — к падению». Таков закон движения нормы прибыли под воздействием прогресса техники (см. «В. К. А.», кн. XVII, стр. 34).

Весьма интересны прения по докладу Л. Крицмана, в которых принимали участие и противники, и защитники как отдельных положений его доклада, так и примененного им математического метода. В прениях выступали Струмилин, Шатуновский, Базаров, Вейц, Смит и др. (см. «В. К. А.», кн. XVIII, 1926 г., стр. 219—244).

В. Мотылев в своей статье «Закон тенденции нормы процента к понижению» («В. К. А.», кн. III, 1923, стр. 134—158) ставит своей задачей опровержение доводов Р. Гильфердинга, направленных против формулировки этого закона Марксом. Р. Гильфердинг в своем «Финансовом капитале» признает правильным марксов закон о тенденции нормы прибыли к понижению, но отрицает ту же тенденцию в отношении нормы процента. В. Мотылев, опираясь на фактический материал о движении уровня процента за последние десятилетия по отдельным странам, доказывает правильность вывода Маркса. Напрасно только Мотылев связывает частную ошибку Гильфердинга по этому вопросу с его общей теорией финансового капитала. В. Мотылев утверждает, что, «с переходом капитализма в высшую стадию, перевес, при слиянии в финансовый капитал, оказывается, в большинстве случаев, на стороне промышленности» (стр. 58). Что в этом вопросе В. Мотылев опирается на А. Финн-Енотаевского, конечно, нисколько не служит аргументом в пользу такого понимания сущности современной фазы капитализма.

6. Теория воспроизводства

В 1921 г. вышла из печати переведенная Ш. М. Дволайцким и с его предисловием книга Розы Люксембург «Накопление капитала». Выход этой книги породил целую дискуссию вокруг проблем, поставленных Розой Люксембург. В «Накоплении капитала» Р. Люксембург попыталась дать объяснение империализма, исходя из теории расширенного воспроизводства Маркса, т. е. из теории накопления, совершенно игнорируя анализ финансового капитала, данный Гильфердингом. Обосновывая свою точку зрения, Р. Люксембург пришла к выводу, что теория воспроизводства Маркса, как она им изложена во II томе «Капитала», несостоятельна. Маркс считал накопление возможным в условиях чистого капитализма, что он и иллюстрировал своими схемами простого и расширенного воспроизводства. Вывод же Р. Люксембург был противоположный: «Реализация прибавочной стоимости с целью накопления представляет собою в обществе, состоящем из капиталистов и рабочих, неразрешимую задачу». Решение проблемы накопления в капиталистическом хозяйстве Р. Люксембург видела, подобно русским народникам, в наличии некапиталистических общественных классов (крестьянства и др.), образующих рынок для капитализма. Эта попытка Р. Люксембург пересмотреть теорию накопления Маркса и стала исходным пунктом завязавшейся полемики между сторонниками и противниками Р. Люксембург, — полемики, завершившейся в 1924 г. выходом в свет книги Н. И. Бухарина «Накопление капитала и империализм», в которой дана исчерпывающая критика концепции Люксембург. Первым критически подошедшим к книге Р. Люксембург был переводчик ее Ш. М. Дволайцкий. Уже в своем предисловии к книге Люксембург он подверг критике концепцию Р. Люксембург, хотя и в общих чертах. Однако только в своих статьях: 1) «Накопление капитала и проблема империализма» («Красная новь», 1192 г., № 1) и 2) «К теории рынка» («Вестник Соц. акад.», 1923 г., № 3) он принял вызов тов. Тальгеймера, сторонника Р. Люксембург, который в докладе о программе на IV конгрессе Коминтерна поставил ребром вопрос об отношении теоретиков ВКП (б) к теории накопления Розы Люксембург [1]. Ошибка Р. Люксембург, по мнению Ш. М. Дволайцкого, заключается в том, что она абстрагируется от differentia specifica капиталистического хозяйства — от кредита. Она не принимает во внимание того дополнительного спроса на товары, который предъявляет как класс капиталистов, так и класс рабочих в силу существования кредита. Если с этой точки зрения подойти к проблеме реализации прибавочной стоимости в условиях «чистого капитализма», то ее положительное решение не представляет трудности, так как средства потребления, как и средства производства, в которых воплощена прибавочная стоимость, реализуются в силу того, что покупка и продажа не обязательно должны совершаться на наличные деньги, — они могут совершаться также и в кредит. Однако привлечение кредита для решения проблемы накопления, как это делает Ш. М. Дволайцкий, является методологически весьма спорным. По крайней мере, Маркс доказывал возможность расширенного воспроизводства, абстрагируясь совершенно от всех производных экономических явлений, присущих реальному капитализму, и в том числе и от кредита.

---

[1] См. «Бюллетень IV конгресса Коминтерна», №№ 14—15, стр. 17 и 20.

Другой попыткой доказать несостоятельность концепции Р. Люксембург является статья Л. Крицмана «О накоплении капитала и «третьих» лицах» («В. К. А.», кн. V, 1923 г., стр. 51—74). Л. Крицман критикует теорию накопления Р. Люксембург, исходя из ее же предпосылок. Так как для нее «третьи лица» являются необходимым моментом расширенного капиталистического производства, ибо только они и могут реализовать ту часть прибавочной стоимости, которая предназначена для накопления, то Л. Крицман свой основной удар наносит по этому решающему для всей концепции Р. Люксембург положению. Он доказывает, что участие «третьих лиц» «не дает ничего существенно нового для понимания механизма расширения капиталистического производства».

Э. Лейкин в статье под названием «Заметки о теории накопления Розы Люксембург» («В.К.А.», кн. VII, 1924 г., стр. 173—227) выступил с методологической критикой построения Розы Люксембург. Он исходит из того положения, что при анализе проблемы накопления, как и при анализе других проблем политической экономии, Маркса прежде всего интересовала общественная форма, специфические производственные отношения, проявляющиеся через посредство вещных категорий. Для выяснения проблемы накопления в чистом виде Маркс в соответствии с своим методом исследования абстрагируется от всех вопросов, связанных с реальным капиталистическим рынком. С самого начала Маркс предполагает совпадение условий капиталистического производства и условий капиталистической реализации.

«Р. Л. усматривает противоречие между вторым и третьим томами «Капитала». Между тем, если задачей II тома является рассмотрение капиталистической динамики со стороны формы общественного производственного механизма, темой III тома служит изучение реальной обстановки, в которой капиталистический производственный механизм работает, и вырастающих отсюда противоречивых проблем. Это изумительное и тяжелое недоразумение лежит в основе всей критической работы Розы Люксембург» (стр. 177).

Э. Лейкин в своей интересной статье исходит из этой основной методологической ошибки Р. Люксембург в критике отдельных положений ее теории. Он убедительно показывает, что в вопросе о капиталистическом накоплении Маркс и Люксембург стояли на различных методологических позициях.

В противоположность вышеотмеченным противникам теории накопления Р. Люксембург, подвергшим ее концепцию чисто теоретической и методологической критике, И. Литвинов в статье «О теории империализма Ленина и теории накопления Р. Люксембург (к вопросу о причинах мировой войны)» («В. К. А.», кн. XI, 1925 г., стр. 36—72) пытается доказать несостоятельность теории Р. Люксембург на основе анализа реальных экономических взаимоотношений и характер связи колоний и метрополий. Основной вывод, к которому приходит И. Литвинов на основе этого анализа, тот, что экономическое объяснение империализма, данное Р. Люксембург, не соответствует конкретной действительности, что ни колониальной политики империалистических держав, ни самой мировой войны, по теории Р. Люксембург, объяснить нельзя. Статья Литвинова по самой цели, поставленной ее автором, не разбирает по существу теоретической концепции Р. Люксембург, т. е. ее теории накопления капитала, однако косвенно она направлена против нее, поскольку довольно убедительно выясняет, что колонии имеют

значение для метрополий не столько как рынки сбыта товаров (что должно вытекать из теории Р. Люксембург), сколько как источники сырья и рынки вложения капитала. Пассивный торговый баланс высоко развитых стран доказывает, что они больше ввозят стоимостей из колоний, чем вывозят туда.

Точка зрения сторонников Розы Люксембург [1] почти не отражена в «В. К. А.». Единственная статья В. Мотылева «Теория накопления Розы Люксембург (По поводу статей т. Дволайцкого)» («В. К. А.», кн. IV, 1923 г., стр. 136—169) носит примиренческий и половинчатый характер. В этой статье В. Мотылев выступает полусторонником Р. Люксембург. Критическая часть статьи направлена против концепции Ш. М. Дволайцкого и ее центрального ядра — значения кредита как необходимого условия накопления.

Собственная точка зрения В. Мотылева характеризуется им самим в следующих словах: «Наша точка зрения на роль некапиталистических рынков, свободная от ошибок и крайностей Розы Люксембург, совпадает с точкой зрения К. Каутского, формулированной им в «Теориях кризисов», и близка позиции А. Финн-Енотаевского, развитой им в первых главах «Современного хозяйства в России». Она совпадает вместе с тем с точкой зрения Парвуса, формулированной последним в «Handelskrisis und Gewerkschaften» (стр. 154).

В статье «На старых позициях русского марксизма» («В. К. А.», кн. V, 1923 г., стр. 5—51) Ш. М. Дволайцкий отвечает своим критикам — Бессонову, Шварцу и Мотылеву — и заодно разбирает их аргументацию в пользу теории Розы Люксембург. Эта статья Ш. М. Дволайцкого не вносит существенно нового в освещение проблемы накопления по сравнению с ранее сформулированной им точкой зрения, рассмотренной нами выше.

А. Корсунский в статье «Математические упражнения критиков Маркса» («В. К. А.», кн. XXI, 1927 г., стр. 85—113) подвергает математическому рассмотрению теорию воспроизводства Маркса. Не разбирая теоретических возражений, которые делались разными критиками теории накопления Маркса, изложенной им во II томе «Капитала», А. Корсунский останавливает свое внимание только на математической критике марксовых схем воспроизводства. Весьма удачно выяснивши ошибки Туган-Барановского, автор вполне правильно вскрывает также слабость математической критики Будина, направленной против Тугана. Удачен также и разбор математических исправлений, предлагавшихся Р. Люксембург к схемам Маркса. В ходе критики Р. Люксембург А. Корсунский вскрывает и некоторые ошибки в схемах О. Бауэра и Н. Бухарина. Статья А. Корсунского представляет ценность как математический комментарий к схемам воспроизводства Маркса, равно как и к математическим построениям его критиков. Однако, как мы это уже отметили при обзоре проблемы «предмета и метода политической экономии», с оценкой автором познавательного значения математического метода в применении к общественно-экономическим явлениям нельзя согласиться.

7. Мировое хозяйство

Теории мирового хозяйства в «В. К. А.» за обозреваемый период посвящены только две статьи: И. Иванова «Мировое хозяйство как единый производствен-

[1] См. ст. Бессонова в «Спутнике коммуниста», №№ 21, 23; ст. М. Шварца «Проблема накопления капитала и империализм» в «Спутнике коммуниста», № 22 1923 г.

ный организм» («В. К. А», кн. VI, 1923 г., стр. 1—50) и А. Угарова «Проблема мирового хозяйства» («В. К. А.», кн. XXIII, 1927 г., стр. 23—68). Интереснейшая статья покойного И. Иванова, основанная на тщательном изучении солидного материала, впервые после Н. И. Бухарина ставит вопрос об определении понятия мирового хозяйства. Давая любопытный обзор определений мирового хозяйства буржуазными экономистами Гармсом, Цепфелем, Нейман-Шпаллартом, Кальвером, И. Иванов считает их несостоятельными, поскольку они за исходную точку берут «национальное хозяйство», по отношению к которому мировое хозяйство является лишь придатком. Придерживаясь в определении понятия мирового хозяйства интернациональной точки зрения, впервые примененной в русской литературе Н. И. Бухариным, И. Иванов следующим образом формулирует понятие мирового хозяйства: «Мировое хозяйство, это — громадный общечеловеческий производственный организм, с ускоряющейся быстротой пробегающий стадии своей кристаллизации, стремительно выковывающий технически единый мировой материальный базис и над ним — единую мировую систему работающих людей» (стр. 7). В своей статье И. Иванов дает анализ как производственного базиса мирового хозяйства (силовой аппарат мира, топливный баланс, сырьевая система, каменный уголь и железная руда и продовольствие), так и основных законов и тенденций мирового хозяйства. В свете новейших явлений мирового хозяйства любопытен общий вывод И. Иванова: «Если же европейский пролетариат не справится с поставленной перед ним задачей (установлением своей диктатуры. — *Е. К.*), процесс капиталистической централизации мирового производства — с его проявлениями, не виданными еще по напряжению гнусности и мировому ее размаху, — продолжит свое ускоряющееся развитие. И закон капиталистического накопления поведет к дальнейшему резкому падению линии V, к мировой катастрофе, небывалой в истории человечества» (стр. 50).

А. Угаров в упомянутой выше статье держится того взгляда, что «современное мировое хозяйство, являясь продуктом капиталистического развития, представляет собою конкретно-историческое выражение законов ценности и капиталистического накопления, — иными словами, перед нами мировое капиталистическое хозяйство» (стр. 24). А. Угаров считает необходимым создание особой дисциплины — учения о мировом хозяйстве, так как, с его точки зрения, политическая экономия и экономическая география, вместе взятые, не охватывают и не исчерпывают комплекса экономических явлений, составляющих содержание мирового хозяйства. В своей статье А. Угаров ограничивается обзором наиболее значительных попыток исследования мирового хозяйства. Обзор охватывает экономическую литературу от классиков до современных авторов. Объединив авторов по группам сообразно логическому содержанию их воззрений, А. Угаров причисляет к представителям абстрактно-теоретического направления А. Смита, Рикардо и Кэрнса; к представителям конкретно-исторических формулировок мирового хозяйства—Неймана-Шпалларта, В. Зомбарта и А. Вагнера; и к представителям мотивированной экономической постановки проблемы — Ф. Листа, Сарториуса, Ф. Визера. Под заголовком «Внеэкономическая трактовка проблемы мирового хозяйства» А. Угаров рассматривает взгляды Б. Гармса.

Статья А. Угарова представляет ценность как обзор попыток построения учения о мировом хозяйстве в буржуазно-экономической литературе. Собственные

взгляды автора на проблему мирового хозяйства, в особенности его утверждение насчет необходимости особого учения о мировом хозяйстве, как это правильно отметила в примечании редакция, нам кажутся весьма спорными.

8. Теория советского хозяйства

Первой серьезной попыткой теоретического анализа закономерностей советской экономики периода нэпа в нашей литературе была статья Е. А. Преображенского «Основной закон социалистического накопления» («В. К. А»., кн. VIII, 1924 г., стр. 47—116). За ней последовал ряд других статей, составивших позже книгу автора под названием «Новая экономика». Эта книга и статьи породили теоретическую дискуссию по вопросам советского хозяйства.

В своей первой статье Е. А. Преображенский дал следующую формулировку «основного закона социалистического накопления»: «Чем более экономически отсталой, мелкобуржуазной, крестьянской является та или иная страна, переходящая к социалистической организации производства, чем менее то наследство, которое получает в фонд своего социалистического накопления пролетариат данной страны в момент социальной революции, — тем больше социалистическое накопление вынуждено опираться на эксплоатацию досоциалистических форм хозяйства и тем меньше будет удельный вес накопления на его собственной производственной базе, т. е. тем меньше оно будет питаться прибавочным продуктом работников социалистической промышленности» (стр. 92). Концепция Е. А. Преображенского, развитая им в этой статье, вызвала принципиальные возражения Н. И. Бухарина (см. его статью в «Правде» от 12 декабря 1924 г.). Ответом на возражения Н. И. Бухарина является статья Е. А. Преображенского «Еще раз о социалистическом накоплении» («В. К. А.», кн. XI, 1925 г., стр. 223—256).

В статье «Закон ценности в советском хозяйстве» («В. К. А.», кн. XIV, 1926 г., стр. 3—64) Е. А. Преображенский ставит вопрос о регуляторе в советском хозяйстве и приходит к выводу, что у нас действуют два регулятора: закон социалистического накопления (выражающий тенденцию развития социалистического сектора нашей экономики) и закон ценности (выражающий тенденции мелкобуржуазного крестьянского хозяйства). Борьба между этими двумя законами должна, по мнению автора, заполнить содержание нашего социалистического строительства впредь до окончательного преодоления элементов товарного хозяйства в нашей стране.

Доклад Е. А. Преображенского на ту же тему, заслушанный 21 января 1926 г. на заседании Коммунистической академии и положенный в основу названной выше статьи, нашел противников и защитников его точки зрения. Это выявилось в прениях по докладу (см. «В. К. А.», кн. XV, 1926 г., стр. 155 — 254), где выступали тт. Дволайцкий, Крицман, Мендельсон, Мотылев, Солнцев, Пашуканис, Кон, Стецкий и ряд других.

Две статьи Е. А. Преображенского на тему «Проблема хозяйственного равновесия при конкретном капитализме и в советской системе», представляющие главы из задуманного второго тома «Новой экономики» («В. К. А.», кн. XVII, 1926 г., стр. 35—76, и «В. К. А.», кн. XXII, 1927 г., стр. 19—72), тесно примыкают к кругу идей, составивших содержанию I тома «Новой экономики».

Доклад Е. А. Преображенского на тему «Экономические кризисы при нэпе» («В. К. А.», кн. VI, 1923 г., стр. 302—331) посвящен теоретическому анализу причин экономического кризиса 1923 года и природы экономических кризисов в советской экономике вообще. В прениях по докладу Е. А. Преображенского выступали Дволайцкий, Базаров, Ларин и Фрумкин (см. ту же книгу «В. К. А.», стр. 332—351).

Проблеме диспропорции в хозяйстве СССР более позднего этапа развития (1926 г.) посвящен доклад В. Милютина на тему «О проблеме диспропорции и темпе хозяйственного развития СССР» («В. К. А.», кн. XVI, 1926 г., стр. 216—262).

9. История экономических учений

Эта проблема, как, впрочем, и ряд других, нашла очень слабое отражение а обозре‥емый период на страницах «Вестника».

Стат В. Чернышева «Плеханов как экономист» («В. К. А.», кн. VI, 1923 г., ст 51—76) по своему замыслу должна была оттенить заслуги Плеханова в области экономической теории. Однако автор видит эти заслуги не там, где они в действительности имеются. Автор сосредоточил все свое внимание на вопросах чисто теоретической экономии (стоимость, цена производства, капитал и т. д.). Между тем в области марксистской теории историческая заслуга Плеханова лежит не столько в ее теоретической разработке, сколько в талантливом ее применении к экономическим условиям России. Без плехановских «Наших разногласий» не возможен был бы классический труд Ленина «Развитие капитализма в России». Между тем эта сторона дела вовсе не нашла отражения в стать В. Чернышева.

Гораздо более удачной попыткой охарактеризовать специфические черты Ленина как экономиста является статья В. Дитякина «Диалектический метод в работах Ленина по экономике» («В. К. А.», кн. VI, 1923 г., стр. 77—106). К сожалению, В. Дитякин ограничивается только характеристикой диалектического метода Ленина в его применении к экономике. Положительное значение экономических работ Ленина поэтому почти не отражено в статье. В. Дитякин анализирует как общеметодологические принципы, так и специфические экономические приемы исследований Ленина.

Две статьи И. Блюмина: 1) «Теория Курно» («В. К. А.», кн. XIX, 1927 г., стр. 92—136) и «Теория Вальраса» («В. К. А.», кн. XXIII, 1927 г., стр. 68—120, и кн. XXIV, 1927 г., стр. 90—137), представляют главы, вошедшие впоследствии в большую книгу автора — «Субъективная школа в политической экономии».

В обеих содержательных статьях И. Блюмин знакомит нас с теорией выдающихся представителей математической школы и их отношением к идеям предельной полезности.

В отношении обоих он приходит к следующему выводу: «Основное противоречие Курно и Вальраса может быть сведено к попытке объяснить основные категории неорганизованного хозяйства на основании принципов, выведенных для организованного производства, охватывающего отдельную сферу общественного производства. В этом противоречии заключается первородный грех всей математической школы». Как видно из изложения И. Блюмина, сложные математические

формулы названных авторов не могут скрыть лежащие в их основе весьма элементарные и мало плодотворные предпосылки, вроде принципа предельной полезности, теории спроса и предложения или теории издержек производства.

Интересная статья А. Эйдельнант «Кантильон как теоретик воспроизводства» («В. К. А.», кн. XXIII, 1927 г., стр. 120—148) посвящена анализу экономического учения предшественника физиократов Ричарда Кантильона. Автор ограничивается разбором теории кругооборота и воспроизводства капитала в теории Кантильона. А. Эйдельнант на основании анализа тщательно проработанного материала (преимущественно первоисточников) приходит к выводу, что Кантильона должно рассматривать как английского предшественника Кенэ. В своих основных методологических предпосылках учение Кантильона совпадает с учением Кенэ. Схема Кантильона, однако, в отличие от таблицы Кенэ, отражает более низкую ступень в развитии капиталистического земледелия.

Что Кантильон был одним из талантливейших предшественников физиократов, было давно известно в экономической науке. В статье А. Эйдельнант ценно, однако, выяснение учения о воспроизводстве Ричарда Кантильона, которое в своих существенных чертах совпадает с содержанием экономической таблицы Кенэ.

Обзор теоретических статей по политической экономии, опубликованных только в одном из наших крупных журналов, с несомненностью показывает рост теоретической мысли в нашей стране за обозреваемый период. На-ряду с уже сложившимися учеными и исследователями значительную роль в деле разработки марксистской теории играют и молодые, начинающие экономисты. Характерно отметить, что в центре внимания «В. К. А.» за обозреваемый период были как раз те теоретические проблемы, которые имели злободневный академический, политический или практический интерес для страны. Таковы: 1) проблема предмета и метода политической экономии, 2) проблема денег, 3) проблема воспроизводства, 4) теория советской экономики. Связь этих проблем с денежной реформой, программой Коминтерна и экономической политикой ВКП(б) несомненна.

РЕЦЕНЗИИ

ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

А. Столяров. Диалектический материализм и механисты. Л. «Прибой», 1928, стр. 231.

Задача автора — «разоблачить анти-марксистскую, анти-ленинскую сущность методологической позиции механистов, релятивистов и фрейдистов» (стр. 7). С этой целью автор останавливается довольно подробно на всех тех проблемах, в решении которых проявилась эта сущность. В первой главе — «Философия и классовая борьба» — автор выясняет вопрос о связи философии с практикой и дает вполне правильную оценку значения для революционной практики чисто теоретических разногласий и всевозможных уклонов. Первой проблемой, на решении которой скрещиваются шпаги механистов и диалектиков, является проблема философии марксизма и теория диалектики. Во второй главе автор и трактует о том походе против философии и диалектики, который в различных формах и стилях предприняли механисты.

Автор справедливо замечает, что всем им совершенно непонятна диалектика, явными или завуалированными нападками на которую полны их выступления. Механисты, говорит автор, «застряли на до-гегелевской ступени развития материализма» (стр. 47). Основными ошибками механистов и отклонениями их от диалектического материализма автор считает следующее:

1) Отождествление всякого изменения, всякого движения в природе и обществе с механическим движением, с перемещением в пространстве.

2) Сведение всех качественных различий к чисто количественным комбинациям однородных «бескачественных» частиц своего рода «перво-материи», возвращение, в связи с этим, к старому пифагорейскому представлению: «сущность мира, это — число».

3) Отрицание, в связи с этим, объективного характера качества, субъективизм.

4) Ошибочное понимание основной задачи науки как задачи «сведения сложного к простому» (напр., общественных явлений к биологическим, а в последнем счете — и к механическим, и т. д.).

5) Замена «количественно-качественного» развития чисто количественным «непрерывным» ростом, отрицание «скачка», переход от диалектики к плоскому эволюционизму.

6) Одностороннее механическое понимание причинности и, в связи с этим, отрицание объективного значения категории «случайности» как частного случая необходимости, и пр.

7) Как на методологическую основу всех этих ошибочных взглядов, развиваемых механистами, следует указать на непонимание ими решающего диалектического понятия: единства противоположностей. Диалектическое противоречие понимается механистами как внешнее столкновение противоположно направленных сил» (стр. 55—56).

Анализу этих ошибок механистов и посвящены последующие главы книги. Надо отдать справедливость автору — он удачно справляется со своей задачей. Все ошибки механистов вскрыты и изложены автором с большой отчетливостью и ясностью.

Удачно освещен им вопрос о «сведении», об «единстве противоположностей», о случайности и необходимости, а также вопрос о субъективизме и релятивизме, к которым скатываются с роковой неизбежностью наши механисты, отрицающие объективность качества и диалектику. Предпоследняя глава — «Фрейдизм» и «фрейдо-марксизм» — дает ясное представление о сущности фрейдизма и о нелепости попыток соединения его с марксизмом. В последней главе — «Философия и задачи партии» — автор указывает на то, что борьба с уклонами и ревизией в области марксизма является «подлинно партийным делом» (стр. 231).

Ясная и четкая постановка вопросов и простой популярный способ изложения делают книгу доступной для широких кругов читателя.

А. Тальгеймер. Введение в диалектический материализм. Популярные беседы. Лекции, читанные в Универс. им. Сун-Ят-Сена в Москве 5 февраля — 23 мая 1927 г. Пер. с рукоп. под ред. Л. Аксельрод. М.—Л., Госиздат 1928, стр. 240.

Книга содержит в себе шестнадцать лекций, читанных автором в университете имени Сун-Ят-Сена в 1927 учебном году.

Начиная «введение» с критического анализа религиозного мировоззрения, автор в первых двух лекциях рассматривает источники происхождения религии, ее место в общей системе мировоззрения и дает ее критику с точки зрения диалектического материализма. Третья лекция представляет собою очерк греческого материализма на фоне экономического развития древней Греции. Лекция четвертая трактует о греческом идеализме также в связи с хозяйственной жизнью Греции. В пятой лекции автор останавливается на вопросе об античной логике и диалектике, рассматривая сначала основные законы формальной логики, а затем основные положения античной диалектики в том виде, как они были развиты Гераклитом, Платоном и Аристотелем. Непосредственно после рассмотрения греческой философии автор переходит к философии индусской (лекция шестая) и характеризует основные моменты индусского материализма. От Востока автор возвращается к Западу и (лекция седьмая), бегло коснувшись философии эпохи феодализма и борьбы с ней буржуазных мыслителей XVIII века, останавливается на Гегеле и Фейербахе, подчеркивая основные элементы их философии. Далее автор ставит перед собой задачу выяснить источники диалектического материализма Маркса и Энгельса и представить материалистическую диалектику как положительный результат истории философии (лекция восьмая).

В следующих лекциях автор останавливается на теории познания диалектического материализма (лекция девятая) и на материалистической диалектике (лекции десятая и одиннадцатая), чем и заканчивается изложение диалектического материализма. Далее автор переходит к изложению исторического материализма. Заканчивает автор свою книгу двумя лекциями о китайской философии и лекцией о прагматизме. В лекциях о китайской философии он хочет показать, «в каком отношении находится китайская философия к современному миросозерцанию, к диалектическому материализму» (стр. 196). Для этого он останавливается на следующих трех вопросах: 1) «В каком отношении находится древне-китайская философия к религии»; 2) «из каких экономических и социальных условий выросла эта древняя философия, какую историческую роль она играла и какую роль она еще играет сейчас»; 3) «какое положение занимала древне-китайская философия в истории вообще и каковы основные направления этой философии».

В последней лекции автор дает характеристику современной буржуазной философии и, в частности, прагматизма, справедливо считая его выражением умонастроений буржуазного общества.

Есть в книге и крупные недочеты. К таковым следует отнести слишком упрощенную постановку и слишком упрощенное решение некоторых проблем диалектического материализма, и — в первую очередь — решение проблемы отношения между мышлением и мозгом. Эту весьма сложную проблему автор решает совсем в стиле материализма Бюхнера, Фохта и Молешотта, говоря, что «мышление есть такая же функция, как функция мускулов, подобно тому как выделение жидкости и т. п. есть

функция желез» (стр. 123—124). Подобная вульгарно-механическая формулировка совершенно неприемлема для диалектического материализма. Нельзя также признать удачным употребление выражения «диалектический, *или* исторический материализм». У читателя, слабо разбирающегося в марксизме, это может вызвать неправильное представление об отношении диалектического материализма к материализму историческому и навести его на ложную мысль, что оба понятия всецело покрывают друг друга.

К книге приложена довольно тщательно подобранная библиография марксистской литературы вопроса.

Henri Sée. Matérialisme historique et interprétation économique de l'histoire. Paris 1927.

Анри Сэ. Исторический материализм и экономическое объяснение истории. Париж 1927.

Henri Sée. Science et philosophie de l'histoire. Paris 1928.

Анри Сэ. Наука и философия истории. Париж 1928.

Обе книги заслуженного профессора Рэннского университета Анри Сэ стремятся к единой цели — обосновать эволюционистическое и эклектическое понимание общественного развития; но если в первой книге автор пытается сделать это путем критики теории исторического материализма, то во второй он обращается к рассмотрению некоторых буржуазных социологических учений и положительным образом излагает собственное понимание исторического процесса.

В предисловии к книге «Matérialisme historique et interprétation économique de l'histoire» Анри Сэ заявляет, что материалистическое понимание истории он намерен рассмотреть с полным беспристрастием ученого, чуждого каких-либо политических симпатий и предубеждений; единственно, что интересует-де автора, это — не противоречит ли марксизм реальной действительности, и если противоречит, то в какой мере.

«С полным беспристрастием, наивозможно более объективным образом (en toute impartialité, de la façon la plus objective possible) мы пытались оценить силу и слабость учения, которое не только действовало практически на массы, но оказало большое влияние на историю, политическую и социальную экономию, социологию. Это значит, что мы решительно поместились если не над, то, во всяком случае, вне всякой политической или социальной предвзятости (sinon au-dessus, tout au moins en dehors de tout parti-pris politique ou social)» («Matérialisme historique», p. 5—6) — так определяет Анри Сэ свою общую позицию, пытаясь скрыть свою действительную социальную физиономию за маской мнимой научной объективности.

«Внеполитическая и внесоциальная объективность» Анри Сэ достаточно ярко проявляется хотя бы в следующих его словах: «Катастрофическая концепция Карла Маркса противоречит данным истории, и свежий пример Советской республики показывает, что силы прошлого не могут быть уничтожены [внезапной революцией или, по крайней мере, всегда готовы, как капитализм, возродиться из пепла» («Science et philosophie de l'histoire», p. 223; см. также H. Sée, L'idée de l'évolution en histoire — «Revue Philosophique», Sept. 1926).

В действительности, как это показывает все содержание рассматриваемых работ Анри Сэ, перед нами — убежденный идеолог буржуазии, всеми доступными ему средствами пытающийся дискредитировать марксизм. Само изложение им теории исторического материализма является по существу ее злостным искажением. Мнимая научная объективность А. Сэ сводится к тому, что в своей книге он приводит некоторые биографические факты и даты, относящиеся к К. Марксу и Ф. Энгельсу; сюда же следует отнести несколько кислых комплиментов по адресу основоположников марксизма (напр., «M. h.», p. 14, 72, 123, 125 и т. д.). Комплименты эти, очевидно, должны придать лоск беспристрастия таким выпадам Сэ против К. Маркса и Ф. Энгельса, как обвинения в софистичности доказательств («M. h», p. 29), утопичности взглядов («M. h.», p. 54), метафизичности мышления («M. h.», p. 55), плохом знании истории («M. h.» p. 30) и т. п.

Что же касается принципиальных соображений Анри Сэ, выдвинутых в книге «Matérialisme historique», то они с ясностью обнаруживают полное непонимание авто-

ром самих основ исторического материализма, в связи с чем критические замечания Сэ по поводу материалистического понимания истории приобретают характер ребячески-несерьезный, а местами и просто вздорный.

Действительно, рассмотрим важнейшие из его соображений. Исторический материализм, по авторитетному указанию заслуженного профессора, прежде всего страдает оторванностью от реальной действительности, априорностью своих утверждений; теория исторического материализма не родилась-де из научного изучения конкретной истории; наоборот, она исходит из отвлеченной, априорной концепции («M. h.», p. 40). Более того, Анри Сэ умудряется найти в теории исторического материализма значительные элементы метафизики и идеализма: «Не будет, следовательно, парадоксальным утверждать, что учение исторического материализма в большой части является концепцией a priori, метафизической и, в известном смысле, идеалистической» («M. h.», p. 49).

Одно из главных оснований для этого «парадоксального» своего утверждения автор видит в марксистском учении о революциях, ибо, с точки зрения самого Анри Сэ, действительный исторический процесс развивается эволюционистическим путем, не допуская никаких скачков, никаких перерывов постепенности. По мнению Анри Сэ, именно учение о революциях характеризует метафизичность марксизма, историческая же связь последнего с гегелевской диалектикой свидетельствует об его идеалистичности. Действительное значение диалектики Гегеля для марксизма остается для А. Сэ книгой за семью печатями.

Неоднократные ссылки на Эдуарда Бернштейна и Гендрика де-Мана красноречиво говорят о крепком теоретическом контакте буржуазного идеолога с социал-реформистами, подготовляющими почву для его «незаинтересованных» построений.

О глубине понимания автором теории исторического материализма можно судить также и по упреку в фаталистическом понимании истории, бросаемом им марксистам. Упрек этот не нов, конечно, но у Сэ он опошляется до крайности.

«Если бы Маркс,— говорит он,— был чистым ученым, мало заботящимся, следовательно, о практическом применении своих идей, и если бы в то же время он верил в непогрешимость возвещенного им исторического закона, он бы спокойно ожидал в своем кабинете предвиденного события» («M. h.», p. 57).

По одной этой фразе, как ex ungue leonem, можно узнать филистерски самодовольного, «чистого» буржуазного ученого. Между тем, по существу именно позиция Анри Сэ приводит к принципиальному отрицанию самой возможности научного познания законов общественного развития.

«Карл Маркс,— говорит он,— верит, что можно установить законы, не вечные, без сомнения, но научные законы, экономических явлений. Это — иллюзия (c'est une illusion), которую трудно будет уничтожить. Политическая экономия может наблюдать факты, устанавливать известные тенденции, выставлять гипотезы, но говорить об экономических законах не более разумно, чем верить в законы исторические» («M. h.», p. 49—50).

Установление законов, по мнению Сэ, доступно лишь физическим наукам; сформулировать же закон «экономической эволюции современного общества» вообще невозможно («M. h.», p. 71), «в истории нет закона, на основании которого можно было бы предсказать будущее» («en histoire, il n'est pas de loi capable de prédire l'avenir») («M. h.», p. 125).

Истинный смысл этого незаинтересованного, чисто теоретического утверждения, направленного против материалистического понимания истории, станет вполне ясным, если принять во внимание, что в том же контексте автор с удовлетворением ссылается на социал-реформистское движение, попутно клевеща на Ф. Энгельса: «Во всех цивилизованных странах,— говорит он,— социалистические партии, в конечном итоге, отдали себе отчет в том, что не следует рассчитывать на «катастрофическую» революцию (сам Энгельс признал это), оценили сопротивление капитализма по его действительной стоимости и отказались от надежды на близкое осуществление глубокого социального переворота» («M. h.», p. 69—70).

Отнюдь не теоретический трепет перед грядущей мировой пролетарской революцией заставляет Анри Сэ прийти к отрицанию самой возможности научного познания

законов истории; отсюда и постоянные ссылки его на социал-реформистов (в них он видит истинных представителей марксизма, очищенного от его недостатков); отсюда — удивительная близорукость по отношению к современному капитализму (империализм для него — здоровая, лишенная внутренних противоречий экономическая структура); отсюда же и полное непонимание специально рассматриваемой заслуженным профессором теории исторического материализма, которую он с поспешностью стремится опровергнуть, хотя не успел еще ознакомиться с основными ее положениями.

Так, марксистское учение о базисе и надстройках автором понимается совершенно превратно, в смысле односторонней и механической обусловленности надстроек общественной экономикой. Более того, он ссылается на Плеханова для доказательства той мысли, что обратное влияние надстроек на базис противоречит марксистской «догме»: «Г. Плеханов при написании своего замечательного «Введения в социальную историю России» принял целиком материалистическое понимание истории, в известном смысле он придерживается его как догмы. И, однако, так как он — добросовестный работник (un travailleur consciencieux), он выставляет на свет факты, противоречащие именно этому пониманию. Так, он показывает, что победа кочевников над Киевской Русью, т. е. политический факт, побудила население отступить на север и на северо-запад, обусловила общее замедление русской цивилизации и, наконец, способствовала подчинению крестьянских классов» («M. h.», p. 82).

Анри Сэ пребывает в приятной уверенности, что, приведя ряд исторических примеров обратного воздействия надстроек на базис, он тем самым опроверг материалистическое понимание истории. Остается только пожелать ему нарушить это состояние интеллектуальной невинности в вопросах марксизма и внимательно прочитать хотя бы произведения Плеханова, на которого он сам же столь неудачно ссылается.

В этой же связи, ярко демонстрируя свое «парадоксальное» понимание марксизма, автор бросает К. Марксу упрек в том, что последний «не позаботился определить, каково могло бы быть публичное и социальное право того общества, о котором он мечтает» («M. h.», p. 86).

Не менее забавны и рассуждения Анри Сэ о классах, классовом сознании, классовой борьбе. Марксистскому учению о классах он противопоставляет следующую глубокомысленную теорию: «Во всяком случае кажется вероятным, что социальные классы долгое время определялись скорее юридическими различиями, чем экономическими, и что вообще дело с ними всегда так и должно обстоять (d'une façon générale, il en doit toujours être ainsi). Разве касты в Индии не представляются нам классами par excellence? Но современная демократия уничтожила юридические различия. В таком случае можно спросить, достаточно ли экономических различий, единственных, какие остаются для конституирования классов в прямом смысле этого слова. В противоположность тому, что думает Маркс, капитализм в сильной степени диссоциирует классы, содействуя прогрессу индивидуализма, так что в стране наиболее капиталистической в мире — в Соединенных Штатах — социальные классы различаются в наименьшей степени» («M. h.», p. 95—96).

Что касается классового сознания, то оно, — заявляет А. Сэ, — появилось, собственно, только в XIX веке благодаря социалистической и революционной пропаганде, хотя, впрочем, автор готов допустить, что его возникновению способствовала также и промышленная концентрация.

Наконец, над классовой борьбой, по мнению А. Сэ, превалируют «общие интересы, объединяющие хозяев и рабочих» («M. h.», p. 104). Опираясь на свой авторитет ученого, автор заявляет, что «до сих пор история не сохранила воспоминания ни об одной революции, которая, собственно говоря, была бы борьбой антагонистических классов» («M. h.», p. 106).

Итак, даже «свежий пример» Октябрьской революции не поколебал твердокаменных взглядов нашего «чистого» историка, воспевающего «общие» интересы буржуазии и пролетариата.

Как мы видели, критика теории исторического материализма у Анри Сэ сочетается с принципиальным отрицанием закономерности общественного развития. Этим

самым подрываются корни у самой науки истории, поскольку последняя сводится к собиранию и описанию отдельных эмпирических фактов и установлению отдельных «тенденций» истории. В книге того же автора «Science et philosophie de l'histoire» эта точка зрения исторического ползучего эмпиризма развивается специально и более подробно в связи с рассмотрением буржуазных социологических учений, главным образом Гегеля, О. Конта и Курно.

Беглое и крайне поверхностное изложение философии истории Гегеля,— изложение, в котором совершенно отсутствует хотя бы краткий анализ диалектики великого немецкого идеалиста, — должно служить, по замыслу А. Сэ, иллюстрацией «метафизической концепции истории»; несколько более подробное изложение взглядов О. Конта должно характеризовать «позитивистическое понимание» и, наконец, «критическое понимание» рассматривается на примере Курно.

Непосредственно после этих трех рефератов, не имеющих серьезного исследовательского значения, Анри Сэ приступает к изложению в положительном виде своих взглядов на науку истории. Его точка зрения в конечном итоге сводится к утверждению, что «история может рассматриваться как наука, но как наука несовершенная, потому что она не в состоянии формулировать законы» (l'histoire peut bien être considérée comme une science, mais comme une science imparfaite, puisque lui est impossible de formuler des lois). («Science et phil. de l'hist.», p. 125).

Историческая наука, говорит Анри Сэ, не способная установить ни общественных законов, ни причинной обусловленности социальных явлений, должна прежде всего заняться изучением и описанием эмпирических фактов на основании сохранившихся документов, пользуясь при этом сравнительным методом и устанавливая при помощи аналогии черты сходства и различия между историческими событиями различных эпох: «Так, можно лучше понять современный капитализм, если сравнить его с капитализмом римского мира» («Science et phil. de l'hist.», p. 169).

Анри Сэ сам понимает, что при подобном определении науки истории она сводится к простой регистрации отдельных событий. Между тем, он все же признает в известной степени, что, на-ряду с описанием событий, историк должен дать и их объяснение. Чтобы преодолеть это затруднение, Сэ выдвигает весьма своеобразную теорию общественной эволюции. В этой своей части книга его является простым повторением (местами буквальным) его же статьи, напечатанной в 1926 году в сентябрьском номере «Revue philosophique» под названием «L'idée d'évolution en histoire» (См. рецензию «Под знаменем марксизма», 1927 г., № 2, стр. 196).

Прежде всего необходимо отметить то обстоятельство, что, по мнению А. Сэ, наука истории, пытаясь перейти от собирания и описания фактов к их объяснению, тем самым попадает в область гипотетических предположений, и историческая эволюция, в действительности, является только гипотезой («l'évolution historique n'est, en effet, qu'une hypothèse»—«Science»..., p. 31). Историку необходимо навсегда отказаться от надежды сформулировать законы этой гипотетической общественной эволюции; его задача состоит в том, чтобы уточнить тенденции и те условия, в которых совершаются общественные изменения» (Ibid., p. 233).

Антинаучный смысл позиции А. Сэ с особенной яркостью проявляется в его отрицании какой бы то ни было внутренней закономерности общественного развития; он утверждает, например, что «социальные изменения» в древней Греции, и в современной Европе объясняются не внутренней закономерностью соответствующих общественных формаций, но внешними влияниями: нашествиями враждебных народов и торговлей с другими странами; на-ряду с этим автор полагает, что исторические случайности, действия отдельных личностей также не позволяют говорить о закономерности общественной эволюции.

Не менее неудачна и концепция «философии истории», выдвигаемая А. Сэ. Последняя, по его мнению, сводится к построению объяснений еще более гипотетических, чем это имеет место в науке истории (ibid., p. 239); принципиальное различие между обеими дисциплинами автором не намечается. Вторая часть книги «Science et philosophie de l'histoire» представляет собой перепечатку отдельных статей А. Сэ

по частным вопросам истории и в основном исходит из той же эклектической точки зрения, что и первая — теоретическая часть.

José Ortega y Gasset. Geschichte als Wissenschaft. Hegels «Philosophie der Geschichte» und die «Historiologie» («Europäische Revue», Juli 1928).

Хосе Ортега-и-Гассет. История как наука. «Философия истории» Гегеля и «Историология».

«У истории нет своих классиков» — так начинает свою статью Ортега. История, как наука еще далеко не оформилась; все попытки построения научной теории истории исходили не от историков по специальности; эти последние, даже в лице своих крупнейших представителей, поражают бедностью своих теоретических идей. Больше того: историки-специалисты сделали своим profession de foi решительный отказ от теоретических обоснований своей специальности, и со времени Гегеля областью исторической теории завладели философы.

Неокантианство и позитивизм на полстолетие затормозили здоровое развитие исторической мысли, отрицательно решая проблему реальности социальных и исторических явлений, занимаясь невразумительным «колдовством» превращения первичных субъективных форм в формы объекта. Наоборот, для Ортеги первым условием всякого познания является признание предмета познания объективной реальностью, познаем ли мы единичный материальный объект или такой сложнейший комплекс, как общество.

Ортега подчеркивает способность нашего интеллекта адэкватно познавать и отражать объективные формы объектов, в противоположность неокантианским априорным категориям. «Строго говоря, — говорит Ортега, — вообще не существует никакого формального мышления никакой логики, не относящейся к определенному объекту мысли. Из этого следует, что существует столько же логик, сколько областей объектов (Regionen von Objekten). И тем, что навязывает мышлению свои нормы, именно является предмет мышления».

В этом великое открытие Гегеля, который в «Философии истории» поставил проблему освобождения разума от элементов субъективного.

В области истории не существует до сих пор ясного определения объекта познания, которое в истории, как и во всякой другой науке, должно являться результатом априорного построения, а не бесконечного нагромождения отдельных фактов. Ортега предлагает создать особую дисциплину — «историологию», которая и будет разрабатывать проблемы теории истории.

Основной задачей «историологии» будет определение «исторического» как основной проблемы истории, подобно материи в физике.

«Историческое» в истории есть прежде всего ряд «констант», т. е. таких исторических комплексов, которые являются неизменными элементами в данной области исторического потока. Например, Цезаря и Помпея нельзя рассматривать как независимые, самоопределяющиеся исторические личности; их историческая значимость зависит от того, что они были, так сказать, силовыми центрами одного и того же исторического поля; поэтому они являются историческими константами, поскольку речь идет не об их случайных личных качествах.

Таким образом, содержание «историологии» не есть методологическое исследование в обычном смысле слова, а непосредственный анализ исторической реальности. Историческая реальность в строгом смысле слова есть социальная жизнь, понимаемая не как неподвижная абстракция, но как непрерывно текучее жизненное целое, в каждый данный момент заключающее в себе не только настоящее, но и элементы прошлого и будущего.

Рецензируемая статья Ортеги, — писателя, пользующегося в настоящее время в учено-интеллигентских кругах Западной Европы огромной популярностью, — является и по тону, и по форме чем-то вроде манифеста нового философско-исторического исповедания. Но для марксистов многие из выдвигаемых Ортегой проблем давно уже стали

актуальными; исторический материализм делает излишним создание той «мета-истории», об отсутствии которой сожалеет Ортега; исторический материализм, устанавливая исторические формации, занимается положительным изучением той исторической реальности, для поисков которой Ортега только собирается создавать «историологию».

И то утверждение, что социальная жизнь в ее динамической изменяемости есть историческая реальность, всегда было основным утверждением исторического материализма, вскрывающего основные движущие силы исторического процесса.

Ортегу, конечно, ни в какой мере нельзя назвать историческим материалистом; достаточно сказать, что в рецензируемой статье нет даже намека на теорию классовой борьбы. Но его тесная связанность с Гегелем, его решительная атака на неокантианство и позитивизм, его не менее решительное элиминирование личности как самостоятельного фактора социально-исторической жизни («мы скорее социологические, чем психические существа») представляют несомненный интерес и являются в известной мере симптоматичными для идейного кризиса западно-европейского буржуазного общества.

Карл Каутский. Медицина и диалектический материализм. Со вступительной статьей Д. П. Ефимова. Перевод с немецкого Ф. Гроссера и З. Гуревича. Харьков 1928. Изд. «Научная мысль», стр. 63.

Названная в заголовке работа Карла Каутского-сына составляет перевод статьи, помещенной в юбилейном сборнике «Der lebendige Marxismus», изданном в ознаменование 70-летия со дня рождения Карла Каутского-отца. В сборнике (стр. 465—484) статья эта носит скромное заглавие: «Die Strömungen in der modernen Medizin im Lichte des historischen Materialismus» («Течения в современной медицине в свете исторического материализма») и отличается всеми недостатками юбилейных статей: схематичностью и недостаточной обоснованностью выдвигаемых положений. Местами автор довольствуется полемическими выкриками очень сомнительного свойства (о чем ниже). Но автору статьи вряд ли могло прийти в голову издавать свою небольшую статью под громким заглавием «Медицина и диалектический материализм». Это сделали за него услужливые переводчики.

Автор статьи вводит, во-первых, медицину в круг развития научной мысли вообще и делает правильное замечание, что если нельзя найти в истории развития медицины одну ясную линию, то верно во всяком случае, что изменение биологических понятий о самом человеке, о сущности и обусловленности болезни сопровождается изменением положения врача-терапевта по отношению к индивидууму и обществу. В дальнейшем автор отмечает наиболее характерные черты развития медицины наших дней. С середины прошлого столетия в неорганическом естествознании руководство принадлежало механическому материализму; в биологии господствовала атомистическая физико-химическая теория; в медицине соответственно этому преобладала локалистическая целлюлярная патология. Наиболее высокого развития достигли хирургия и фармакология. Развитию хирургии содействовало локалистическое мышление, которое рассматривает болезнь органа изолированно, отдельно от состояния организма в целом. Воспользовавшись плодами асептики, наркоза и рентгенологии, хирургия занимает поныне командные высоты медицинской мысли. Вообще же переоценка технического в отдельных областях медицины привела к тому, что специалист видит в человеке лишь горло, ухо, матку, т. е. «отдельный орган, к которому совершенно ненужно придан человек». Но автору мало того, что он ввел медицину в круг развития научной мысли в целом, мало того, что медицина поставлена, таким образом, в зависимость от социально-экономической среды, в которой она растет и развивается,— он хочет непременно поставить развитие хирургии в непосредственную зависимость от материального положения врача-пролетария, и получается вульгарное объяснение факта преобладания хирургии в медицине. Столь же вульгарно и бессмысленно сравнение хирургии с большевизмом, обещающим будто бы «радикальное излечение в одну ночь». Механистической медицине автор противопоставляет учение о конституции человека, медицинскую психологию и социальную медицину. Эти новые дисциплины выросли в стороне от дороги официальной науки и созданы усилиями врачей-практиков.

Работе Каутского предпослана вступительная статья Д. И. Ефимова, которая направлена преимущественно против сравнения теории диктатуры пролетариата с хирургией. Автор вступительной статьи полагает, что изданием статьи Каутского-сына издательство «Научная мысль» предоставляет возможность широкому кругу врачей и работников здравоохранения познакомиться с «эволюцией общественной мысли», которая проявляется в социалистических медицинских кругах Германии, и с попытками выйти из «тупика, в котором очутилась медицина в демократически-буржуазной республике Шейдемана-Гинденбурга». Надо думать, что эта цель вряд ли может быть достигнута изданием названной статьи и сопровождающего ее предисловия.

М. Г. Лейтейзен. Ницше и финансовый капитал. С предисловием А. Луначарского. Госиздат. М.—Л. 1928, стр. 144.

Автор рецензируемой работы стремится дать развернутую социальную характеристику философских, политических, социологических и этических взглядов Ницше, связывая их с развитием финансового капитала.

С довольно положительным отзывом об этой попытке, данным А. В. Луначарским в предисловии к книге, мы согласиться не можем.

Работа М. Г. Лейтейзена отмечена всеми признаками незрелости, ученического подхода. Автор добросовестно проштудировал сочинения Ницше, но подняться выше их оказался не в состоянии. Приводя и комментируя отдельные цитаты из Ницше, автор совершенно не вскрывает внутренней связи его мыслей, в частности оставляет без рассмотрения вопрос об эволюции Ницше (хотя в творчестве последнего отчетливо намечаются, по крайней мере, три периода, и именно Ницше последнего периода пользовался огромной популярностью). Задача социологического анализа в книге чрезвычайно сужена. Автор занимается подыскиванием «социологического эквивалента» к отдельным положениям Ницше. Нет никакой попытки поставить ницшеанство в связь с идейным контекстом эпохи, генетически проследить источники философии Ницше (между тем, указание на связь с предшественниками можно найти в работах самого Ницше, и вряд ли можно действительно понять его философию, не выяснив его отношения к Гартману и Шопенгауэру). Автор заходит в этом упрощении анализа так далеко, что вообще не упоминает ни одного имени в идейной связи с Ницше. Естественно, что результатом такого «изолированного» анализа явилось чрезвычайное преувеличение роли Ницше. Автор считает возможным поставить Ницше в один ряд с Лениным как «крупнейшего идеолога из вражеского лагеря» (стр. 141), «лучшего выразителя» буржуазного мира (стр. 74) и т. д.; он рассматривает Ницше как «умнейшего политика» (стр. 60), трезвого идеолога, учитывающего социальные и экономические силы современного мира. Этому противоречит известная слепота Ницше по отношению к движущим силам капиталистического общества, в частности к пролетариату. Но автор выходит из затруднения очень просто, посредством простой игры слов: «если пролетариат является Ахиллесовой пятой капитализма, откуда придет его гибель, то такое же слабейшее место составляет пролетариат в ницшевской идеологии» (стр. 84). Анализ автора носит слишком абстрактный характер. Он исходит из самых общих экономических тенденций империализма, не пытаясь анализировать конкретные социальные условия, породившие Ницше; поэтому и самая философия Ницше интерпретируется односторонне (специфических интеллигентских сторон философии Ницше автор не касается; многие пункты,— например, позитивизм Ницше,— вообще остаются необъясненными).

Переходя к существу положений автора, следует заметить, что самый тезис о связи Ницше с финансовым капиталом неоднократно уже высказывался в марксистской литературе. В отчетливой форме он фигурируют уже у Плеханова и Меринга (с позицией которых по этому вопросу автор, повидимому, незнаком). Однако с интерпретацией этого тезиса М. Г. Лейтейзеном согласиться нельзя. Ницшеанство есть идеология растущего капитала, империализма в период его зарождения,— в этом отношении М. Г. Лейтейзен прав. Но он не видит противоречивого характера этого роста ни в идеологии, ни в экономике.

Ницшеанство автор рассматривает как прогрессивную идеологию. «Для помещичьих идеологий нашего времени показателен мистицизм, реакционность, застойность. У Ницше нет и следа этих настроений. Он — юный класс, у которого все впереди. Он кипит жизнью...» (стр. 51). Так, одним росчерком пера вычеркиваются все мистические и реакционные черты философии Ницше.

«Идеология всякого восходящего класса заразительна. Она обладает особой жизненностью... Если это явление особенно ярко проявилось, напр., накануне Великой французской революции, то то же происходит в эпоху империализма» (стр. 129). Без долгих рассуждений автор объявляет финансовую олигархию новым восходящим классом (!), который, очевидно, должен еще выполнить свою роль в истории и идеология которого в связи с этим прогрессивна. Автор забывает при этом одну «мелочь», а именно, что империализм есть «паразитический или загнивающий капитализм, умирающий капитализм» (Ленин). Поэтому и ницшеанство выражает совсем не тенденцию «здорового капитализма», как полагает в другом месте (стр. 92) автор, а тенденции эпохи упадка. «Буржуазное общество,— пишет Плеханов,— было молодо, когда блистал настоящий (не выродившийся) «байроновский тип». Оно клонится к упадку теперь, когда по-своему,— подобно новому медному пятаку — блистает ницшеанский тип...» (Плеханов, Сочинения, т. XIV, стр. 258).

За тенденцией роста М. Г. Лейтейзен не видит преобладающей тенденции упадка, за мечтаниями Ницше о каком-то сверхросте капиталистической системы он не замечает реакционной сущности его идеологии. Между тем, в знаменитом аморализме Ницше, как это показал в другом месте Плеханов, «сказалось настроение, свойственное буржуазному обществу времен упадка» (Плеханов, Сочинения, т. XVII, стр. 279) Поэтому не верен по существу другой тезис автора о том, что «идеология финансового капитализма, ликвидируя индивидуалистическое восприятие мира, свойственное промышленному капитализму, облегчает, делает возможной противоположную ей идеологию коммунистического общества» (стр. 72). Здесь автор не только становится на объективистскую точку зрения («Ницше делает наше дело», стр. 73), но и приписывает идеологии паразитического капитализма — прогрессивность. Далее, нельзя согласиться со вторым основным положением автора, будто бы финансовый капитал «ликвидирует индивидуалистическое восприятие мира».

Основным в философии Ницше, так же как и в экономике империализма, автор считает принцип иерархии (стр. 34). Ницше нельзя рассматривать, по мнению Лейтейзена, в качестве пророка индивидуализма, скорее его можно назвать «пророком иерархии, ибо иерархия — это именно то новое, что внес, что создал финансовый капитализм» (стр. 80). Однако иерархия у Ницше не исключает индивидуализма, а в своем учении о «сверхчеловеке» — как это видно, между прочим, и из блестящего анализа Меринга [1]. Ницше бесспорно индивидуалистичен. Пытаясь отрицать это, автор приходит к тому, что сравнивает отношения между магнатами финансовой олигархии в образе «сверхлюдей» с отношениями между членами коммунистического общества! (стр. 79) И опять-таки Лейтейзен, без достаточной аргументации, вступает в противоречие с гораздо более серьезным исследователем — Плехановым, говорившем о «беспредельном индивидуализме эпохи упадка буржуазии» (т. XIV, стр. 170). С экономической точки зрения совершенно неверно говорить о новой эпохе, «авторитарной — в противоположность индивидуализму предыдущей стадии капитализма» (стр. 69), организованной — в противоположность анархии предыдущей стадии (стр. 80, 126). Империализм не устраняет, а «усложняет и обостряет противоречия капитализма, «спутывает» со свободой конкуренции монополии, но устранить обмена, рынка, конкуренции, кризисов и т. д. империализм **не может**» (**Ленин**, Сочинения, т. XIV, стр. 120). Поэтому верхом нелепости является абзац: «Определение, данное эпохе Гомера, можно почти

---

[1] См. его «Легенду о Лессинге», изд. «Красная новь», М. 1924, стр. 376—377; отрывок из статьи в «Истории философии в марксистском освещении» Столпнера и Юшкевича, т. II, изд. «Мир», М. 1924, стр. 320. По вопросу об отношении Ницше к социализму см. статью в сборнике «На страже марксизма», Госиздат, М. 1927.

целиком перенести на эпоху финансового капитала или, по крайней мере, на его тенденции. Мы здесь видим ряд черт феодальной структуры: единое замкнутое хозяйство, отсутствие конкуренции, у каждого человека свое определенное место, иерархия, наверху группка феодалов, рыцарей — финансовая олигархия, внизу — миллионные закрепощенные, порабощенные массы... Но самое главное в новой эпохе — это ее организованность, это то, что она должна быть организованной» (стр. 125, 126).

Из этих ошибок следует целый ряд частных ошибок. Автор неправильно изображает отношение ницшеанства к пролетарской идеологии. «Ницше проделывает для современной буржуазии свою великую переоценку ценностей», переоценку всех ценностей индивидуалистического и демократического общества. Но разве ту же самую (!) переоценку не проделывает пролетариат?» (Стр. 73). Смеем уверить, что далеко не «ту же самую». Отрицание пролетариатом демократии есть вполне «определенное отрицание». Поэтому напрасны патетические восклицания автора: «И разве мы — российский пролетариат — не потому стали у власти, что проделали ту же (!) переоценку ценностей? Разбили и растрепали все иллюзии демократизма и парламентаризма?!!» (Стр. 73.) Автору не мешало бы знать, что вопрос о демократии решается далеко не так просто, а финансовый капитал совсем не разрушает «веры в безусловную мораль, право и т. п.» Далее, напрасно автор старается уверить, что ницшевская «двойственность морали, политики знакома и нам» (стр. 95). Автор (один ли он в этом повинен?) не умеет различать между классовой моралью и аморализмом

Было бы излишним перечислять все остальные ошибки автора, напр. по вопросу о государстве (стр. 42, 46), по вопросам современной политики (напр., стр. 63). Немногие положительные стороны работы М. Г. Лейтейзена совершенно тонут в этом океане ошибок.

Simon Rawidowicz. Ludwig Feuerbach's philosophische Jugendentwickelung und seine Stellung zu Hegel bis 1839. Inaugural-Dissertation, Berlin 1927, S. 73.

Симон Равидович. Юношеское философское развитие Людвига Фейербаха и его отношение к Гегелю до 1839 г. Диссертация, Берлин 1927, стр. 73.

Автор имеет целью дать историко-генетический анализ зависимости Фейербаха от Гегеля в ранний период философского развития Фейербаха. Для этой цели он разбирает все работы последнего, начиная с его диссертации «De ratione una universali infinita» (1828) и кончая брошюрой «Über Philosophie und Christentum in Bezug auf den der Hegelschen Philosophie gemachten Vorwurf der Unchristlichkeit» (1839). В письмах к отцу от 1824 г. Фейербах писал восторженные отзывы о Гегеле (лекции которого он в то время слушал в Берлине), называя его своим «вторым отцом».

В 1826 г. он называл логику Гегеля «corpus juris философии». И хотя уже в 1827 г. Фейербах несколько критически относится к философии Гегеля в интерпретации учеников его и спрашивает, каким образом может быть обоснован переход от мышления к бытию, но появившаяся в 1828 г. вышеназванная диссертация написана совершенно в духе Гегеля. Исходный пункт ее — отношение всеобщего и индивидуального. Фейербах стоит здесь на точке зрения Гегеля, отстаивая полную идентичность мышления и бытия. Как и для Гегеля, для него мышление есть дух, который является истинной сущностью природы. В диссертации Фейербах всецело разделяет учение Гегеля о противоречии, о различии в единстве и т. д., являясь вполне ортодоксальным учеником Гегеля. Таким же он остается и в сочинении «Die Gedanken über Tod und Unsterblichkeit», появившемся в 1830 году. Проблема конечного и бесконечного им решается здесь вполне в духе Гегеля, а его диалектика находит себе яркое выражение в рассуждении о различии и противоречии (стр. 23, 45). Сильно влияние Гегеля в толковании природы, в определении «ничто», «границы», «массы», «формы» и пр.

Тем же ортодоксальным гегельянством проникнуто большое произведение первого периода, носящее название «Der Schriftsteller und der Mensch», иначе называемое «Abälard und Heloise» (1834 г.).

И здесь Фейербах стоит на точке зрения гегелевского панлогизма, этот же панлогизм сквозит и в его «Geschichte der Philosophie» (1835 г.). Автор, останавливаясь на каждом из трех томов этой «Истории философии», стремится показать, что Фейербах излагает и интерпретирует философов с точки зрения Гегеля, критически относясь к эмпирикам и материалистам. Наконец в последнем произведении раннего периода «Über Philosophie und Christentum» Фейербах выступает против Генриха Лео и его сочинения «Die Hegelingen» в защиту Гегеля. Борьба против теологии и защита свободы философии нашла в этом произведении очень яркое выражение. Эта брошюра была последним произведением, в котором Фейербах стоял на точке зрения ортодоксального гегельянства.

Книга дает довольно ясное представление о влиянии Гегеля на Фейербаха и может быть полезной для ознакомления с первоначальным периодом его философской эволюции.

Б. Б. Комаровский. Философские предпосылки педагогики Дьюи. (Прагматизм и педагогика.) — Известия Азербайджанского государственного университета им. В. И. Ленина, т. 8-10 — Общественные науки. Баку. 1927.

Среди современных антагонистов диалектического материализма видное место занимает прагматическая философия. По своим общефилософским позициям англо-саксонский прагматизм родственен махизму и эмпириокритицизму. Эта особенность прагматической философии была отмечена уже Лениным: «Различия между махизмом и прагматизмом так же ничтожны и десятистепенны, с точки зрения материализма, как различия между эмпириокритицизмом и эмпириомонизмом» (Ленин, Сочинения, т. X, стр. 289).

Недавно посетивший СССР инструменталист Джон Дьюи — этот виднейший представитель американского прагматизма наших дней — не может не привлечь к себе усиленного внимания, ибо его философские построения являются прекраснейшим примером тех неразрешимых противоречий, к каким приходит современное буржуазное мировоззрение в лице даже наиболее передовых и радикальных своих представителей. Между тем, философия Джона Дьюи слишком мало известна у нас в СССР; с этой точки зрения, даже обстоятельная информация о ней приобретает немаловажное значение. Именно в этом последнем смысле и следует прежде всего говорить о положительном значении рецензируемой работы Б. Б. Комаровского; именно в этом смысле, очевидно, он и сам понимает ее задачи: «Мы полагаем, что тот историк философии, который даст исчерпывающий марксистский анализ прагматизма, окажет огромную услугу науке; мы сами, подавно, не претендуем на подобную роль...» (стр. 142).

В первой — вводной — главе автор сообщает краткие биографические сведения о Дьюи, а вместе с тем дает сжатую его характеристику как «философского темперамента».

Фактические данные о Дьюи, приводимые Б. Б. Комаровским, — как в этой, так и в последующих главах, — в значительной своей части появляются в нашей печати впервые, и в этом неоспоримое достоинство всей работы. Вместе с тем уже в первой главе автор выставляет положения, согласиться с которыми ни в коем случае нельзя; так, напр., совершенно неправильна следующая характеристика инструментальной теории познания. «Дьюи не сенсуалист, так же как он и не материалист в обычном философском смысле слова. Но вся его философия проникнута стремлением познать конкретный мир вещей в пределах наших познавательных способностей» (стр. 101).

Если принять во внимание, что Дьюи не видит принципиального различия между «идеями» и «фактами», что для него, как для инструменталиста, истинность идеи определяется ее «успехом», а вовсе не соответствием объективной реальности, конкретному миру вещей, что именно своей теорией познания прагматизм наиболее сближается с позициями эмпириокритицизма, — то станет ясным, что «стремление познать конкретный мир вещей в пределах наших познавательных способностей» не только не может быть противопоставлено идеалистической тенденции инструментализма, но именно ее-то и характеризует.

Во второй главе автор дает краткий очерк историографии инструментализма; отзывы его об иностранной и русской литературе вопроса грешат тем основным недостатком, что они не вскрывают философских позиций интерпретаторов и критиков Джона Дьюи, органичиваясь лишь формальной характеристикой их работ.

Это обстоятельство отнюдь не случайно: на всей работе Б. Б. Комаровского лежит печать философского эклектизма, что в дальнейших главах проступает еще более выпукло.

Необходимо отметить также компилятивный характер целых отделов работы; так, в главе третьей «Основные этапы развития творчества Дьюи» автор освещает «мичиганский период» по исследованию Howard'a «John Dewey's logical theory», «чикагский период» — по тому же источнику и по книге Бермана «Сущность прагматизма». Наиболее самостоятелен автор в отделах, посвященных новейшим этапам творчества Дьюи, — именно эти отделы представляют наибольший интерес в работе Б. Б. Комаровского.

Для понимания «мичиганского периода» творчества Дьюи, а вместе с тем в значительной степени и для понимания инструментализма вообще, существеннейшее значение имеет вопрос о взаимоотношении Дьюи и гегельянства. Б. Б. Комаровский приводит ряд интересных данных, характеризующих отношение Дьюи как к самому Гегелю, так и к англо-саксонскому нео-гегельянству, но вместе с тем далеко не разрешает этой проблемы, так как не уточняет ее в смысле противопоставления диалектики Гегеля и его системы, учения самого Гегеля и учений англо-саксонских нео-гегельянцев. Джон Дьюи, столь резко выступавший против объективного идеализма, в то же время генетически значительно теснее связан с гегелевской диалектикой, чем это представлено у Б. Б. Комаровского, последний так и не разъясняет, что это за «лучший плод с гегелевской ветки» сорвал американский инструменталист.

Весьма удачно автором подчеркнуто философское родство Джона Дьюи и Френсиса Бэкона (стр. 158—160, 176—177). Вместе с тем совершенно правильно указано и основное отличие инструментализма, заключающееся в его познавательном релятивизме.

На-ряду с этим существеннейший вопрос о взаимоотношении инструментализма и диалектического материализма, поставленный самим автором, освещен им в весьма малой степени. Совсем неубедительно сближение между инструментальным учением об активной сущности познавательного процесса и марксистским учением о практике как о критерии истины. По мнению Б. Б. Комаровского, именно в этом пункте марксизм и прагматизм наиболее друг с другом сближаются: «Гносеологический практикализм Дьюи стремится освободиться от схоластических споров путем перенесения центра тяжести с теоретических вопросов на практическое значение знания. Рассуждения Дьюи по этому поводу очень сходны с воззрениями Маркса... Ни в одном пункте так близко не подходят марксизм и прагматизм друг к другу, как в этом» (стр. 157).

Подобное утверждение автора свидетельствует о недостаточной углубленности философского анализа, произведенного им над «гносеологическим практикализмом» Дьюи и марксистским разрешением «вопроса о том, свойственна ли человеческому мышлению предметная истина»; коренное отличие обеих гносеологических позиций состоит в том, что для марксизма истинность мышления разрешается на практике в отношении к объективной реальности, познаваемой непосредственно или посредственно, между тем как для Дьюи истинность идеи определяется ее «успехом». Известная материалистическая тенденция, несомненно проявляющаяся в его теории познания, отнюдь для нее не характерна, она заслоняется основной, идеалистической тенденцией и свидетельствует лишь о гносеологической непоследовательности заокеанского мыслителя.

Весь этот существеннейший вопрос остается целиком вне поля зрения Б. Б. Комаровского, когда последний столь решительно сближает «гносеологический практикализм» Джона Дьюи с марксистским учением о практическом критерии истины.

Более удачен в работе Б. Б. Комаровского анализ взаимоотношения между инструментализмом Дьюи и эмпириокритицизмом.

В этой части своей работы автор в значительной степени опирается на ленинский «Материализм и эмпириокритицизм». Вполне приемлема следующая характери-

стика инструментализма, замыкающая собою третью главу: «Несмотря на значительные поправки, которые Дьюи внес в метод эмпириокритицизма, он в целом все же не уходит от последнего метода, и критика, направленная на эмпириокритицизм, в основном приложима к философскому методу Дьюи. Попытка Дьюи создать новую философию, лежащую вне идеализма и материализма, оказалась затеей, которая не могла быть продуктивной, ибо пути, лежащего вне материализма и идеализма, найти невозможно. Дьюи не удалось преодолеть точку зрения идеализма. Под маской реалистической он выявил скрыто-идеалистическую концепцию. В методе Дьюи имеются крупные противоречия. Настаивая на активном характере человеческого познания, он в то же время выдвигает описательный метод, который должен только заниматься одной регистрацией, одним описанием явлений» (стр. 178).

При последовательном проведении этой точки зрения автор должен отказаться от преувеличенного сближения инструментализма с диалектическим материализмом, о чем говорилось выше.

Неубедительна полемика автора с А. М. Дебориным по вопросу о социальных корнях прагматизма.

Цитируя деборинское определение прагматизма как «философии господствующих классов и также философии обывателя», Б. Б. Комаровский восклицает: «С каких пор термин «обыватель» стал обозначать социальную группу? Термин «обывательщина» если характеризует какую-либо группу, то это — мелкую буржуазию и часть служащих, но во всяком случае не совпадает с понятием «господствующий класс» (стр. 142).

Все это возражение основано на недоразумении, ибо в характеристике прагматизма, данной А. М. Дебориным, понятия «господствующие классы» и «обывательщина», конечно, ни в коем случае не отождествляются, что видно из цитаты, приведенной самим же Комаровским. Последний, кстати сказать, с своей стороны, выдвигает в конечном итоге формулировку, весьма близкую к деборинской: «Прагматизм представляет собой своеобразное сочетание философии индустриализма крупной буржуазии с утопическими и демократическими идеалами мелкой буржуазии» (стр. 143).

Данные о социальной философии Дьюи, приводимые автором в последней главе, делают ее одной из наиболее интересных во всей работе.

Весьма ценен приложенный в конце указатель литературы на иностранных и русском языках.

Fritz Cräbner. Das Weltbild der Primitiven. In «Geschichte der Philosophie in Einzeldarstellungen», B. I., München 1924.

Фриц Гребнер. Мировоззрение первобытных народов. В серии: «История философии в отдельных очерках», т. I, Мюнхен 1924.

В то время как вся философия буржуазного общества находится в непрерывных поисках все новых обоснований и систем, естественно, что ее внимание вновь останавливается на первобытных народах с тем, чтобы из «начала» заключить о настоящем или, вернее, о будущем и по возможности доказать, что «научно обоснованное» будущее осуществлено уже в настоящем.

Таким образом, Кафка, редактор «Истории философии в отдельных очерках», руководствовался, очевидно, не только методологическими соображениями, начавши эту широко задуманную серию работ с книги Гребнера «Мировоззрение первобытных народов». Ведь Гребнер предполагает дать «не просто количественное продление исторического исследования, но существенно иную оценку древнейшего развития».., а также «открыть действительные основы, на которых в конечном счете держится все здание мировоззрения» (стр. 12).

Гребнер известен как методолог «культурно-исторической» этнологии, пропагандистом которой является Societas Verbi Divini (католическая миссионерская организация). Далее известно, что эта школа, еще начиная с Рауеля, выступила против Энгельса (Морган) и тем самым против марксизма. Уже несколько десятилетий ее представители твердят, что марксизм, — кстати, неправильно ими приравниваемый просто к эволюционизму, — осужден на умирание. И, как нарочно, «Kampf» в лице Отто Мен-

хен-Гельфена доставил этому обществу удовольствие, объявив, что «каждый марксист» будет говорить подобно отцам Шмидту и Коннерсу, если он с помощью учения о культурных циклах (Kulturkreislehre) начнет строить хозяйственную и социальную историю человечества («Kampf», июль 1925 г., стр. 266).

Здесь не место подробнее останавливаться на этих вопросах. Книга Гребнера ничем не отличается от прежних работ культурно-исторической школы. Она основывается на тех же ложных предпосылках, которые, пожалуй, здесь, где речь идет о мировоззрении, становятся еще более отчетливыми, чем в его же книге о «Методе этнологии», в которой он, после пространного изложения всех проблем культурного сродства,—конвергенции и перенесения, культурных циклов и слоев,—в результате требует «обширного знания человеческой души, так как исторические причинности в существе своем имеют по преимуществу психическую природу» («Methode», стр. 169).

В том же духе он рассматривает магические воззрения тасманийцев, австралийцев и бушменов (собственно «первобытных» по Гребнеру), вслед за тем матриархальные культуры древнейших земледельческих народов с их анимистическим мировоззрением, которому он противопоставляет «личностное» мировоззрение патриархальных культур.

Язык для Гребнера является основным критерием для суждения о мировоззрении, в чем он примыкает к Ф.-Н. Финку («Die Haupttypen des Sprachenbaus»). При этом он приходит к выводу, что «настоящая история философии» (стр. 135) имеется только у индогерманцев. Основание для этого он видит в языковой способности этих народов схватывать вещи, рассматривать их с разнообразных сторон и таким образом «находить проблемы, заключенные в этих вещах» (стр. 135). На чем основывается такая «способность», как она развивается, — об этом ни слова.

Что же касается более древних высших культур, то они «образовались из слияния многих еще более древних культур». Стимулом для этого служило завоевание. Совсем как у Дюринга!

В конце книги Гребнер все-таки приходит к замечательному выводу, что и культурно-историческая школа, которая так резко отрицала единое развитие человечества, вынуждена все же его признать. И Гребнер принужден согласиться с тем, что линии развития «все же обнаруживают некоторые поразительно сходные черты» (стр. 133). Закономерность этих явлений Гребнер собирается оспаривать, указав на то, что рядом с основными линиями развития можно еще установить другие направления, которые «не оставили таких отчетливых следов». Чем больше можно открыть таких следов, тем легче можно будет исправить нежелательный результат. Итак, у него все же остается надежда.

Между «Святым семейством» и пророками Societas Verbi Divini имеется не только связь по ассоциации. В то время «критика» для своего укрепления обратилась к первобытной истории. И теперь, совсем как тогда, социология занимается первобытной историей не для того, чтобы н а й т и в н е й обоснование для своей концепции современности, но чтобы ее с к о н с т р у и р о в а т ь. У нее только одно отличие от «критики», и это отличие связывает ее со школой, от которой она получила больше чем название — с и с т о р и ч е с к о й школой. Если та критика была «немецкой теорией французского «ancien régime», то культурно-историческая школа является теорией немецкого старого строя.

Arthur Drews, L e h r b u c h d e r L o g i k. Berlin 1928, S. 544.
Артур Древс, У ч е б н и к л о г и к и, Берлин 1928, стр. 544.

По мнению Древса, логика в последнее время «слишком часто теряла почву под ногами», и он задается целью «вновь поставить ее на твердую почву» и изложить ее в удобопонятной и общедоступной форме, заменяя при этом иностранную терминологию немецкой. Определяя логику как науку «чисто формальную» (стр. 8), Древс считает, однако, основной ошибкой Канта допущение лишенной содержания формы. В противоположность антропологизму или релятивизму в логике, ведущему к скептицизму, к агностицизму и даже к нигилизму «с его полным упразднением понятия истины»

Древс признает общеобязательность и объективную необходимость мышления. Представителей «логизма», в особенности Гуссерля и «трансценденталистов» (Виндельбанда, Риккерта), Древс обвиняет в том, что, желая избежать «психологизма», они отводят логическому особую область на-ряду с психологическим и приписывают ему абсолютную значимость, причем «понятие теряет всякий смысл и всякое разумное значение» (стр. 39). Кантову «Критику чистого разума» Древс называет «попыткой разрешить ложно поставленный и по существу бессмысленный вопрос» (стр. 225). Для характеристики основной тенденции данного «Учебника логики» весьма существенно то обстоятельство, что диалектический метод Гегеля автор считает «основательно опровергнутым Тренделенбургом и Гартманом» (стр. 235).

Hans Reichenbach. Philosophie der Raum-Zeitlehre. Berlin und Leipzig 1928, S. 380.

Ганс Рейхенбах. Философия учения о пространстве и времени. Берлин — Лейпциг 1928, стр. 380.

В отделе «Пространство» Рейхенбах рассматривает «относительность», вытекающую из «не-эвклидовой геометрии». «Источником современного философского учения о пространстве» Рейхенбах считает исследования Гельмгольца по теории познания, между тем как Риман своей математической формулировкой понятия пространства сделал возможным его применение в физике. Заслугой Гельмгольца было и то, что он «признал несостоятельность учения Канта о пространстве» (стр. 48). По мнению Рейхенбаха, философия Канта «лишается всякого конкретного содержания», если, подобно неокантианцам, отрицать основное разногласие между Кантом и Гельмгольцем. Утверждение, что математика есть лишь учение о количественном, Рейхенбах считает бессмысленным. Заслуживают внимания: определение силы: — «под силой мы разумеем нечто такое, что мы считаем вызывающим какое-либо геометрическое изменение» (стр. 39), выводы из этого определения относительно перехода от одной геометрии к другой и соображения об относительности геометрии.

По мнению Рейхенбаха, не только проведение аналогий с проблемой пространства очень повредило рассмотрению проблемы времени, но и та точка зрения, с которой пространство и время признаются многообразием четырех измерений, «была плодотворна для математически-физической теории, но вызвала смешение понятий в области теории познания» (стр. 131). В третьем отделе (пространство и время) излагаются выводы из эйнштейновой теории относительности. Важнейшим результатом произведенных им теоретико-познавательных анализов Рейхенбах считает объективный характер свойств пространства, реальность пространства и времени (стр. 329). В приложении рассматриваются произведенный Вейлем анализ римановского понятия пространства и геометрическое истолкование электричества.

W. Durant. The Story of Philosophy. The lives and opinions of he greater philosophers. New York MCMXXVII, p. 589.

В. Дюрант. История философии. Биографии замечательнейших философов и их мнения. Нью-Иорк 1927, стр. 589.

Дюрант полагает, что чрезмерное увлечение теорией познания вызвало упадок современной философской мысли, и надеется, что философия будет вновь понимаема как синтетическое описание всего опыта. Книга Дюранта представляет собой «не полную историю философии, а попытку гуманизировать познание, сосредоточивая историю спекулятивной мысли вокруг известных господствующих личностей», а именно: Платона, Аристотеля, Ф. Бэкона, Спинозы, Вольтера, Канта, Шопенгауэра, Спенсера, Ницше, затем из современных европейских философов — Бергсона, Кроче, Б. Рёсселя и из современных американских философов — Сантайаны, Джемса и Дьюи. Гегель удостаивается лишь примечания. В числе заслуг Шопенгауэра упоминается то, что он «вместе с Гёте и с Карлейлем протестовал против попытки Маркса и Бокля игнорировать гений как основной фактор человеческой истории» (стр. 380). Исторический субъективизм и политический либерализм тесно переплетаются в книге буржуазного исто-

рика философии. По мнению Дюранта, в Америке возможно новое возрождение, но для этого необходимо, чтобы американцы научились уважать не только богатство, но и свободу.

Георг-Вильгельм-Фридрих Гегель. Введение в философию (Философская пропедевтика). Перевод, предисловие и примечания С. Васильева. Изд. Государственного тимирязевского научно-исследовательского института. Москва 1927, стр. 259.

«Пропедевтика», являющаяся одним из наиболее удобопонимаемых сочинений Гегеля, в значительной степени удовлетворяет тем требованиям, какие можно предъявить к подобного рода произведениям. Само собою разумеется, как правильно констатирует С. Васильев, «несмотря на все старания Гегеля быть популярным, ему не удалось достигнуть вполне понятного изложения» (стр. 11). С. Васильев правильно усматривает причину этого не столько в «писательских недостатках» Гегеля, сколько в трудностях рассматриваемых им проблем, а отчасти и в «дефектах самой системы великого философа», так как, например, «как бы ясно ни был изложен переход от понятия к его реализации или от логики к философии природы, он не может стать понятным, потому что мы имеем дело уже не с не удавшимся изложением, а с той общей проблемой, которую не в силах разрешить идеализм».

«Пропедевтика», изданная уже после смерти Гегеля, служила в свое время пособием к занятиям философией в трех старших классах Нюренбергской гимназии, директором которой Гегель был восемь лет (1808—1816). В настоящее время для русских читателей, интерес которых к Гегелю вызван «не столько им самим, сколько его связью с Марксом», «Пропедевтика» может оказаться весьма небесполезной не столько в качестве «Введения в философию», так как в качестве такового целесообразнее избрать более отвечающие современным запросам пособия, сколько в качестве «повторительного курса» гегелевской философии. По сравнению не только с всевозможными «конспектами», но и с любым сжатым изложением философии Гегеля, «Пропедевтика» обладает тем неоценимым преимуществом, что в ней положения его системы резюмированы им самим. Конечно, в настоящее время интерес русских читателей направлен преимущественно на диалектический метод, а не на «систему» Гегеля, но и «система» все же представляет исторический интерес, хотя бы в качестве «превзойденной», «снятой», но диалектически неизбежной в свое время «переходной ступени». А для того, чтобы ориентироваться в этой системе, начинающему наиболее целесообразно пользоваться именно «Пропедевтикой», конечно сопоставляя ее сжатые формулировки с соответственными главами и параграфами основных работ Гегеля. Впрочем, относительно некоторых пунктов, например относительно «свободы воли», именно сжатые, словно отчеканенные формулировки «Пропедевтики» наиболее способны сразу выяснять суть дела.

Перевод «Пропедевтики», представляющий собой задачу «достаточно трудную», сделан тщательно и добросовестно. Русский читатель, сколько-нибудь ориентировавшийся или ориентирующийся в немецкой терминологии Гегеля, будет признателен переводчику за поставленные в скобках немецкие прототипы русских более или менее эквивалентных передач. Переводчик благоразумно воздержался не только от того, чтобы переводить Allheit словом «всячество» или Ichheit словом «яйность», но и от употребления других аналогов «яйности», а именно словообразований «язнь», «ячность» и т. п., которыми пользовались некоторые из русских переводчиков—излагателей Фихте и Гегеля. Напрасно только (стр. 14) напечатано «d a s Allheit» и «d a s Ichheit»: эти немецкие слова не среднего, а женского рода.

Примечания переводчика, в большинстве случаев ограничивающиеся «простым приведением характеристик, данных Гегелю классиками марксизма», в самом деле способны «облегчить работу читателю, впервые приступающему к изучению Гегеля».

Относительно «религиозных и богословских мотивов» в «Пропедевтике» следует заметить, что, как подчеркивает С. Васильев, они вряд ли могут смутить современного читателя. Кроме того, чтобы быть справедливым к Гегелю, следует иметь в виду его борьбу против «гнозоизма» («на славном швабском языке — свинства») тогдашних об-

скурантов, против мракобесия «глупой, идущей за попами, черни», реакционным стремлениям которых Гегель гордо противопоставляет (в письме к Нитгаммеру от 5 июля 1816 г.) свое непоколебимое убеждение: «мировой дух нашего времени скомандовал итти вперед».

Вольней. Руины, или размышления о революциях империи. Перевод с французского с пред. и примеч. В. С. Рожицина. Научное общество «Атеист», [1928,] стр. 135.

В предисловии выясняется историческая обусловленность и ограниченность точки зрения Вольнея, который «останавливался в своем революционном праве перед авторитетом частной собственности» и обнаруживал «полное непонимание значения наемного труда, полное незнакомство с исторической революционной ролью пролетариата». Вольней характеризуется как абсолютно чуждый идее социализма выразитель интересов буржуазии в революционную эпоху. Затем выясняется, что «астральная теория религии», которой держался Вольней, «в настоящее время является научно-реакционной».

Перевод знаменитого сочинения Вольнея сделан удовлетворительно. В примечаниях переводчик поясняет слова, представляющиеся ему непонятными для тех читателей, которых он имеет в виду. Некоторые из этих примечаний вызывают недоумение, напр. примечание 60: «Фиванские эфиопы — египтяне. Собственно говоря, наименование «эфиопы» лишено смысла, хотя встречается довольно часто» (стр. 105). Возражения В. С. Рожицина против отдельных мыслей Вольнея, может быть, целесообразнее было бы перенести из примечаний в предисловие, которое благодаря этому выиграло бы в смысле большей конкретности и содержательности.

Г. Гарельский. Враг Птоломея. Биографический роман. Издательство писателей в Ленинграде, 1928, стр. 215.

В этом живо написанном «биографическом романе» изложена полная трагизма жизнь Джордано Бруно. Перед читателем проходит ряд характерных для тогдашней эпохи фигур: фанатичных и невежественных монахов; алхимиков, ценою компромиссов с предрассудками добивавшихся расположения власть имущих; педантов-профессоров, неспособных даже заинтересоваться аргументацией последователей Коперника; ревнителей кальвинистской ортодоксии, человеконенавистничеством и мыслебоязнью не уступавших католическим инквизиторам; придворных английской королевы Елизаветы и итальянских нобилей; студентов, с энтузиазмом слушавших вдохновенные импровизации Бруно в Тулузе, в Париже, в Оксфорде; на этом фоне автор рисует обаятельный образ самого Бруно, мученической смертью запечатлевшего верность своим убеждениям. Основные воззрения Бруно изложены ярко и образно; хорошие переводы нескольких стихотворений Бруно дают представление об его поэтическом даровании.

II. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ

Проф. С. И. Солнцев. Введение в политическую экономию. Предмет и метод. Третье пересмотренное и переработанное издание. Изд. «Прибой». Ленинград, стр. 183.

Рецензируемая книга впервые вышла в свет в 1922 г. Настоящее издание почти ничем не отличается от первого. Книга состоит из двух основных отделов: первый — предмет политической экономии, второй — метод в политической экономии.

Первый отдел — о предмете политической экономии — написан под сильным влиянием Амонна, автора известного труда «Objekt und Grundbegriffe der theoretischen Nationalökonomie». Проф. Солнцев некритически воспринимает и целиком разделяет учение Амонна о различии между «объектом познания» и «объектом опыта». Автор не замечает, что у Амонна имеется резкий разрыв между объектом опыта и объектом познания,— разрыв, соответствующий духу учения Канта, но отнюдь не Маркса.

Во 2-й и 3-й главах проф. Солнцев переходит к анализу социального явления. Солнцев различает четыре решения феномена социального явления: органическое,

психологическое, универсалистическое, историко-материалистическое. Из всех этих решений автор считает наиболее правильным историко-материалистическое.

После анализа различных признаков социального автор определяет социальное явление как объективированное гетерогенное (антагонистическое) отношение, возникающее между людьми на основе общей взаимной обусловленности и развивающееся с исторической необходимостью и стихийной закономерностью. В приведенном определении социального проф. Солнцев совершает серьезную методологическую ошибку,— он отрывает социальные отношения от процесса материального производства. Он совершает ту же ошибку, что и Амонн, который дает формальное определение социального. Интересно, однако, отметить, что проф. Солнцев сближает Амонна с Марксом в своем заявлении, что в определении понятия социального Амонн стоит на той же основе, что и Маркс. Мы полагаем, что не на той же основе. У Маркса социальные отношения тесно связаны с производительными силами, Амонн же дает формальное определение социального, понимая под последним взаимообусловленность индивидуальных воль индивидуумов. Далее, неправ проф. Солнцев, когда он включает в понятие социального признак гетерогенности и иррациональности и, последовательно проводя эту ошибочную точку зрения, заявляет, что в социалистическом обществе,—где отношения между людьми будут носить рациональный характер,—социальная жизнь, социальные отношения немыслимы. Проф. Солнцев забывает, что социальные отношения присущи любой стадии исторического процесса, что одна общественная формация отличается от другой специфическим характером социальных явлений.

Далее проф. Солнцев переходит к анализу экономического явления. Экономические явления он наделяет теми же признаками, которыми обладают социальные явления. Экономические явления, представляющие собой разновидность социального, тесно связаны с «хозяйственными» фактами. Однако ошибочное понимание социального, как исторической категории, мстит проф. Солнцеву и на этой ступени его анализа. Так, например, он считает, что в коммунистическом обществе, которое будет телеологическим единством, все хозяйственные действия сведутся к естественно-техническим и психологическим моментам и не будет места социальным отношениям.

Несмотря на отмеченные нами серьезные ошибки, надо указать, что книга Солнцева является одной из немногочисленных в новейшей русской литературе работ, посвященных специально вопросу о предмете и методе политической экономии. В этом отношении она представляет интерес, в особенности благодаря некоторым своим историческим экскурсам (например, исторический обзор развития методологических взглядов во втором отделе) и многочисленным выдержкам из методологических работ новейших буржуазных экономистов на Западе. Правильно критикуя некоторые течения современной буржуазной политической экономии (напр., этическую и психологическую школы), автор высказывается в пользу объективно-социального метода, на котором построена система Маркса. Тем не менее в ряде существенных пунктов, как уже отмечено, автор развивает взгляды, которые с марксистской точки зрения не могут быть признаны правильными.

И. И. Рубин. Очерки по теории стоимости Маркса, 3-е изд., Госиздат, М. 1928, стр. 371.

Третье издание книги И. И. Рубина представляет значительный интерес благодаря тем существенным изменениям и дополнениям, которые автор внес в настоящее издание.

Основная идея, пронизывающая рецензируемую книгу, сводится к трем положениям: 1) стоимость есть общественное отношение, 2) принявшее вещную форму и 3) связанное с процессом производства. Взаимосвязь этих положений была представлена во втором издании «Очерков...» в виде схемы: производительность труда — трудовая стоимость — распределение труда. В рецензируемом же нами третьем издании эта схема приняла несколько иной вид: производительность труда — абстрактный труд — стоимость — распределение труда. Таким образом, между двумя звеньями, производительность труда — стоимость, автор ввел промежуточное звено — абстрактный

труд. Различие этих схем объясняется изменением взглядов автора на соотношение между содержанием и формой стоимости. Во втором издании автор считал, что «противопоставление «с у б с т а н ц и и» стоимости (т. е. труда) ее «ф о р м е» означает противопоставление т е х н и ч е с к о - п р о и з в о д с т в е н н о г о процесса его о б щ е с т в е н н о й форме» (стр. 89), что «таинственная «субстанция» стоимости означает... материально-технический трудовой процесс, происходящий в данной социальной форме» (стр. 59). В третьем издании автор считает субстанцией стоимости абстрактный труд, который определяется им как часть совокупного труда общества, уравненная со всеми другими частями того же совокупного труда через уравнение продуктов. В своей новой трактовке стоимости, как единства содержания и формы, единства абстрактного труда и формы стоимости, автор исходит из принципов гегелевой и марксовой методологии, что содержание в своем развитии порождает форму, которая заключалась в скрытом виде в том же содержании. Категорию абстрактного труда автор в рецензируемом издании, в отличие от предыдущих, уточняет на фоне выдвигаемых им двух новых понятий равного труда: физиологически равного труда и социально-уравненного труда. Физиологически равный труд, — предпосылка всякого общественного разделения труда, — существовал во все исторические эпохи; социально уравненный труд характерен для тех формаций, где происходит процесс социального приравнивания труда. Повторяем, коренной переработке автор подверг проблему содержания и формы стоимости. Все остальные изменения, внесенные автором, носят характер уточнений и дополнений.

Уточнена трактовка категории абстрактного труда (абстрактный труд и обмен, количественная определенность абстрактного труда). Во втором издании мы имели не совсем удачные формулировки: «абстрактный труд появляется только в действительном акте рыночного обмена», абстрактный труд «рождается только в обмене», «абстрактный труд создается обменом» (стр. 103). В третьем издании, исходя из различия обмена как социальной формы производственного процесса от обмена как особой фазы этого процесса, автор считает, что «в процессе непосредственного производства труд еще не является абстрактным в полном смысле слова, он еще становится абстрактным трудом» (стр. 168) и, следовательно, «труд товаропроизводителя является непосредственно частным и конкретным, но он получает вместе с тем дополнительную «идеальную» или «скрытую» социальную характеристику в качестве труда абстрактно-всеобщего и общественного» (там же). По вопросу о количественной определенности абстрактного труда автор устанавливает отсутствие противоречия между определением стоимости как «материализованного» труда и ее определением как выражения производственных отношений людей. В настоящем издании автором признано неправильным замечание, сделанное им во втором издании, о возможности образования стоимости трудом, нанятым капиталом в фазе обращения. Значительные дополнения внесены автором в главу третью «Овеществление производственных отношений людей и персонификация вещей». Эти дополнения выразились в исследовании противоречия между «овеществлением лиц» и «олицетворением вещей», которое заключается в том, что, с одной стороны, производственные отношения придают вещам определенную социальную форму, с другой стороны — социальная форма вещей обусловливает определенный характер производственных отношений, участниками которых являются владельцы вещей. Это противоречие разрешается, как устанавливает автор, в диалектическом процессе общественного производства. Социальная форма вещей, будучи результатом предыдущего процесса производства, является одновременно и предпосылкой его дальнейшего возобновления. Под этим углом зрения автор проводит различие между «внешней видимостью» и «сущностью» явлений. Однако автору следует поставить в упрек крайнюю конспективность и абстрактность изложения столь важной и трудной проблемы, если к тому еще принять во внимание, что «Очерки...» приобрели характер учебного пособия в наших вузах.

Если в трактовке категории стоимости как вещного производственного отношения, связанного с процессом производства. автор синтезировал различные оттенки анализа этой категории у Плеханова, Гильфердинга, Каутского и др., то в своем анализе

теории товарного фетишизма, как пропедевтики политической экономии, автор более отчетливо выявил ту сторону учения Маркса, которая, при всей ее огромной важности для понимания марксовой теории стоимости, недостаточно разъясняется в трудах ортодоксальных марксистов.

Резюмируем: «Очерки по теории стоимости Маркса», представляют собою, благодаря оригинальности в трактовке рассматриваемых ими проблем и теоретической выдержанности своего анализа, очень ценный вклад в нашу марксистскую литературу.

Jürgen Kuczynski. Zurück zu Marx. Antikritische Studien zur Theorie des Marxismus. Leipzig 1926, S. 217.

И. Кучинский. Назад к Марксу. Антикритический этюд по теории марксизма. Лейпциг 1926, стр. 217.

Рецензируемая книга начинается многообещающим лозунгом — «назад к Марксу». Автор полагает, что окончательная победа над критиками Маркса возможна только тогда, когда будут разработаны как отдельные проблемы экономической системы Маркса, так и ее философские основы. Свою работу он рассматривает как попытку такого рода. Естественно, что такое обещание обязывает. Автор, конечно, прав, что наследство Маркса еще недостаточно разработано. Одной из теоретических задач современного поколения марксистов, на-ряду с главной — изучением явлений современности,— является разработка и систематизация огромного наследства классиков марксизма. Однако попытка автора внести свою долю в эту творческую работу является поверхностной,— скажем прямо, неудачной. Автор в своей небольшой работе говорит обо всем на свете. Рецензируемая книга состоит из 4-х частей: 1-я часть — основные понятия экономической теории Маркса, 2-я часть — марксова теория экономического движения, 3-я часть — миросозерцание марксизма, 4-я часть—критика взглядов Зомбарта. В каждой из указанных частей автор ухитряется затронуть весьма большое число проблем. Так, например, в первых двух частях, посвященных экономической системе Маркса, излагается: объективная теория стоимости, субъективная теория стоимости, теория стоимости Маркса, критика критиков марксовой теории стоимости, теория денег Маркса, теория прибавочной стоимости, теория цен производства, критика критиков марксовой теории цен производства (Лексис, Вольф, Бем-Баверк, Зомбарт, Туган-Барановский), сущность и явление, простое и расширенное воспроизводство, теория обнищания, теория Розы Люксембург, теория кризисов. И все это на 140 стр.! Однако эта тяжелая ноша не под силу для скромных возможностей автора, в лучшем случае трактовка проблем принимает форму вульгаризованного их изложения, обычную для «популярных» учебников, а зачастую мы имеем явный ревизионизм, эклектическое соединение Маркса с неокантианством.

Приведем несколько примеров. Теории стоимости Маркса и эволюции форм стоимости автор посвящает всего несколько страниц (стр. 20—26). Не говоря уже о том, что автор ограничивается трафаретным изложением проблемы, обычным для вульгарного типа «популярных» курсов,— автор делает целый ряд грубых ошибок методологического порядка. Так, например, он не различает между «стоимостью» и «меновой стоимостью». Там, где у Маркса речь идет о стоимости, Кучинский ставит меновую стоимость; вместо абстрактного человеческого труда Кучинский подставляет труд вообще. Напрасно читатель стал бы искать у автора характеристику этого труда. А между тем вопрос о труде, образующем стоимость, является основным для теории стоимости Маркса.

Анализ теории денег по своему теоретическому уровню не превосходит анализа теории стоимости. Автор на этой ступени своего «анализа» преподносит нам открытие (в стиле, конечно, «назад к Марксу»!), что Маркс еще за 40 лет до появления государственной теории денег Кнаппа дал обоснование бумажных денег в духе номинализма. Автор, таким образом, грубо разрывает связь между теорией бумажных денег и теорией стоимости Маркса. В анализе прибавочной стоимости автор дает прямо курьезное обоснование связи между стоимостью и прибавочной стоимостью. Он поле-

мизирует с Бернштейном, который эту связь обрывает и в свою очередь обосновывает ее аргументами от... «филологии». Слово «прибавочная стоимость» является выражением сравнительного порядка (komparativer Ausdruck) и предполагает нечто положительное (Positiv). Этим положительным и является стоимость, между тем, как известно, в системе Маркса обоснование от «филологии» не имеет места, переход от стоимости к прибавочной стоимости есть метод восхождения от абстрактного к конкретному, он предполагает различные ступени синтетически развивающегося анализа. Попутно автор здесь дает строго «марксистское» толкование экономических категорий, заявляя, что стоимость и прибавочная стоимость являются чисто мыслительными образованиями. Как видит читатель, тень Канта витает над построениями нашего «ортодокса».

Идеалистическая интерпретация Маркса выступает в наиболее откровенной форме в трактовке автором соотношения между бытием (Sein) и явлением (Erscheinung) в «Капитале». Первый и второй томы «Капитала», по Кучинскому, посвящены бытию экономических благ, третий том — их проявлению (стр. 85). Однако, продолжает автор, следует строго различать, в согласии с Кантом, между бытием и явлением. Говоря пространственно, явление представляет собой поверхность, бытие — основу, глубину явлений. С методологической стороны, анализ бытия носит изолирующий, абстрагирующий характер, анализ же явления — конкретизирующий. С точки зрения категориальной, анализ бытия связан с чисто экономическими категориями, анализ же явления также и с вне-экономическими категориями. С точки зрения объекта исследования, бытие имеет дело с объектами, явление — с субъектами. Основной порок этих методологических рассуждений Кучинского тот же, что в философии Канта,— разрыв между сущностью и явлением, между субъектом и объектом. Маркс также различает между сущностью вещей и их проявлением, но у Маркса сущность не существует независимо от явления, она должна явиться. Действительность не есть независимый от сущности мир внешней видимости, но, с другой стороны, действительность не есть сущность сама по себе. Действительность есть диалектическое единство сущности и явления.

Итак, автор рецензируемой книги находится под сильным влиянием неокантианства. У автора были благие намерения. Но, как известно, благими намерениями вымощена дорога в ад. Действительно, научная разработка великого наследства Маркса возможна не на базисе кантианства, той или иной его разновидности, а на основе единственно научного метода — метода диалектического материализма.

И. Г. Блюмин. Субъективная школа в политической экономии. Предисловие М. Н. Смит. Том I. Австрийская и англо-американская школы, стр. 344. Том II. Математическая школа, стр. 352. Изд. Коммунистической академии. Москва 1928.

Автор этого солидного двухтомного труда поставил перед собой задачу дать изложение и систематическую критику тех новейших направлений буржуазной экономии, которые он объединяет общим названием «субъективная школа». При полном отсутствии русских переводов наиболее оригинальных работ представителей «англо-американской» и «математической» школ, отнюдь нельзя поставить в упрек автору то, что он подробно и в сравнительно популярной форме излагает критикуемые направления. Информация о новейших «достижениях» буржуазной экономии весьма пригодится для наших молодых экономистов, часто не имеющих возможности ознакомиться с иностранными работами в подлиннике.

Но этим далеко не исчерпывается значение рецензируемого труда: И. Г. Блюмин дает серьезную марксистскую критику указанных течений буржуазной экономии. Автор прекрасно владеет материалом, с большим искусством разоблачает разного рода псевдонаучные, «чисто» математические упражнения современных экономистов, показывая буржуазное, вульгарное, эклектическое «нутро» и объективный научный вес сложного аппарата теоретических конструкций новейших экономистов от Бем-Баверка до Вильфреда Парето.

Оба тома состоят из серии очерков-глав, посвященных отдельным экономистам и носящих вполне законченный характер. Но если от такого метода изложения и выиграла чисто «информационная» задача ознакомления русского читателя с зарубежными экономистами, то зато от этого несколько пострадала критически-исследовательская сторона труда. Блюмин очень много внимания уделяет критическому разбору каждого автора, подчас повторяя критическую аргументацию, уже развитую по поводу предыдущего автора. Он несколько увлекается сопоставлением деталей теоретических построений отдельных авторов и в то же время довольно скуп при трактовке общих вопросов, относящихся к критической характеристике всего направления в целом, а также при изложении тех теоретических проблем, которые прямо вытекают из критики австрийцев-американцев-математиков и даже неотделимы от этой критики (теория цены, конкуренции, монополии). Но все же то, что дано автором из области этих вопросов, представляет несомненный интерес, хотя и вызывает некоторые возражения.

I том посвящен австрийцами (Б е м - Б а в е р к, В и з е р, М е н г е р) и англо-американцам (Маршаль, Кларк, Зелигман). Во II томе помещены очерки, посвященные математическому методу и анализу теорий представителей этого направления — Курно, Дмитриева, Джевонса, Госсена, Вальраса и Парето. В вводной главе I тома автор дает классификацию направлений «субъективной школы», общую методологическую характеристику ее основных направлений и, наконец, их социологический анализ. Эта глава по существу является обобщением всего труда.

Большие сомнения вызывает общая родовая характеристика критикуемых автором направлений как «субъективной школы». Автор, с одной стороны, сам отмечает, что «последовательного субъективизма» вообще не существует. Но, с другой стороны, он все же квалифицирует анализируемые направления как «субъективную школу» и даже ставит в непосредственную связь именно субъективизм, как метод исследования, с идеологией буржуазии в эпоху монополистического капитализма. У читателя создается впечатление, с одной стороны, иллюзорности субъективизма, а с другой — его органической связи с буржуазной идеологией данной эпохи.

Чтобы разобраться в этом противоречии, мы должны прежде всего дать себе отчет в том, что субъективистической можно считать только ту систему, которая в основу теоретико-экономического анализа кладет субъект и его психику и от анализа закономерностей его поведения в изолированном состоянии восходит к объяснению экономических феноменов объективного порядка, и прежде всего центрального феномена — стоимости, или цены. Такова именно методология австрийской школы (Бем-Баверка, Визера, Менгера), ее предшественника Г о с с е н а, а также «чистого» психологиста — Л и ф м а н а. Экономисты этого направления действительно принадлежат к субъективной школе, и у них мы наблюдаем не иллюзорный, а самый настоящий субъективизм. И от того, что эта теория внутренне противоречива и непоследовательна она не перестает быть субъективистической теорией.

Но если у Госсена и австрийцев мы наблюдаем действительный субъективизм со всеми присущими ему противоречиями, то у целого ряда других авторов, причисляемых Блюминым к той же школе, нет субъективизма как основного метода исследования. Эти авторы п р и н ц и п и а л ь н ы е э к л е к т и к и, в то время как австрийцы были в п р и н ц и п е м о н и с т а м и, а именно субъективистами.

Отчетливый эклектизм налицо у англо-американцев, у М а р ш а л я, К л а р к а, З е л и г м а н а. Сама «предельная полезность» у двух последних авторов имеет объективный характер, ибо является «социальной предельной полезностью», и их учение о стоимости сводится просто-напросто к теории спроса-предложения. Правда, по существу и у «австрийцев» мы имеем ту же теорию спроса-предложения, но в отличие от «американцев» они пытались, хотя и безуспешно, подвести под эту теорию монистический субъективистский фундамент. Они пытались замаскировать свою вульгарную теорию псевдонаучным анализом, — прием, от которого отказались не только американцы К л а р к и З е л и г м а н, но и «математики», как К а с с е л ь и П а р е т о. Последний (по мнению т. Блюмина «он исправил, очистил и теоретически обнажил

теорию» главы математиков Вальраса) в своих рассуждениях о бесплодности каузального анализа и единственной научности функционального анализа возводит эклектизм в принцип. Но как можно в таком случае причислять математиков к «субъективной школе», коль скоро здесь не только субъективизма, но и вообще никакого научного монизма нет и в помине, и теория их сводится к анализу функциональной связи цен, а не к их причинному объяснению. Таким образом, мы пришли к тому выводу, что, с одной стороны, субъективная теория не иллюзорна, что она существует, но, с другой стороны, к этой школе не может быть отнесено как раз большинство тех экономистов, которых автор включил в свой труд, посвященный «субъективной школе».

Что это так, показывает социологическая оценка автором критикуемых им направлений. Если субъективизм в той или иной степени — общая черта всех направлений, развитие которых совпадает с трансформацией промышленного капитализма в монополистический, то перед автором встала задача увязать эту общую черту — субъективизм — с монополистическим капитализмом. Но эта «увязка» в действительности оказалась, да и не могла не оказаться, совершенно фиктивной. Автор считает что субъективизм имеет свои корни в монополистическом капитализме в том смысле, что с появлением современных «капитанов индустрии», разного рода Рокфеллеров и Морганов, создается иллюзия авторитарного управления экономическими процессами по мановению жезла монополиста, «делающего экономическую погоду», и т. п.

Но автор не заметил одного обстоятельства, противоречащего всему его социологическому анализу. Сам автор признает, что в лице американцев и математиков «субъективная школа» собственно уже разлагается и, наоборот, наибольшая доза субъективизма имеется у австрийцев. Появление и триумф австрийской теории относится как раз к периоду домонополистического капитализма, а появление и развитие этого последнего не только не укрепляет, но, наоборот, убивает субъективизм. Вместе с тем автор дает весьма интересный логический анализ как отдельных теоретиков, так и каждого из трех направлений в целом. Интересен анализ американской школы; наиболее оригинален труд т. Блюмина в критике математиков и наименее оригинален в критике австрийцев. Несмотря на это, часть работы, посвященная австрийской школе, все же не является лишней, так как дает возможность читателю проследить эволюцию австрийской теории вплоть до ее «самоотрицания». Точки соприкосновения и точки расхождения новейших теоретиков с австрийцами выявлены благодаря этому достаточно рельефно.

Весьма удачно написана вводная глава ко II тому, посвященная «математическому методу в политической экономии». Здесь дана не только критика математического метода в буржуазной экономии, но и выяснена научная значимость этого метода для марксистской политической экономии. Правда, по части доказательства применения математического метода в «Капитале» Маркса автор, пожалуй, несколько увлекается, пытаясь представить весь ход анализа Маркса как стройное развитие математических формул. Автор считает, что если вообще можно говорить о математической школе, то таковая может быть создана на действительно научных основах только марксистами, которые могут базироваться на законченном качественном анализе основных категорий у Маркса. Это верно, но нужна ли нам такая «школа»,— сомнительно.

Несмотря на отмеченные недостатки, труд Блюмина должен быть признан безусловно ценной марксистской работой в этой области. В отношении критического анализа «математиков» и «англо-американцев» Блюмин является пионером; для всесторонней критической работы в этой области им заложен прочный фундамент.

По внешности издание приближается к европейскому типу, и это стремление к улучшению качества научной книги нельзя не приветствовать.

The Petty papers. Some unpublished wrights of Sir William Petty. Edited from the Bowood papers by the Marquis of Lansdowne. Vol. 1, p. 276 + XII; Vol. 2, p. 309. London 1927.

Вилльям Петти. Неопубликованные работы. Лондон 1927.

Научное наследство Петти, изданное в прошлом году герцогом Лендсдоуном, состоит из неопубликованных до этого времени работ Петти, хранящихся в Бовуде. Происхождение этих бумаг было уже объяснено в литературе Холлом, редактором собрания сочинений Петти, который указал, что часть неопубликованных работ Петти, как и переписка его с Соусвеллом, была использована им и Фитцморисом (биографом Петти) в их работах. Настоящим изданием не исчерпывается хранящийся в Бовуде архив и охватывается только та часть бумаг, которые не были полностью опубликованы до этого времени.

Помещенные в настоящем двухтомном издании произведения Петти представляют собою небольшие трактаты, либо подготовлявшиеся для какой-нибудь конкретной цели записи, или, наконец, отдельные заметки. По своему теоретическому содержанию и научной ценности они многим ниже опубликованных раньше работ Петти и представляют большей частью скорее биографический, чем научный интерес. Экономические проблемы не получили в них самостоятельной теоретической разработки и разрешаются чаще всего в порядке кратких замечаний или отдельных определений. Однако многие из последних интересны, и в них мысль Петти иногда принимает вполне определенную и законченную форму.

В двух томах помещена 161 работа, включая в это число 4 составленных Петти списка своих произведений. По своей основной теме все работы разбиты на 26 отделов, часто искусственно объединяющих различные работы, связанные между собою лишь общностью своих заголовков. Каждому отделу предпослана вводная статья описательно-справочного характера, дающая довольно большой материал по каждой работе и устанавливающая, хотя и не всегда, связь между данными и ранее опубликованными работами. Теоретическую сторону работ Петти эти статьи освещают чрезвычайно слабо и часто совсем ее не касаются.

Большинство находящихся в этом издании работ относится к более позднему периоду жизни Петти (1685 и 1686 гг.), но имеются и работы совсем раннего периода. Как указывает редактор, бумаги не были датированы автором, и редактору пришлось на основании содержания работ и переписки Петти с Соусвеллом установить даты для большинства из них, хотя для некоторых работ это сделать не удалось. Отметим, напр., неудачную попытку редактора наново установить дату для «Political Arithmetick». Вначале он утверждает, что эта работа была написана в 1671 году и подкрепляет свое утверждение ссылкой на письмо Петти к Соусвеллу (1672 г.). В конце же, определяя дату составления «Observations», он принужден сознаться, что письмо, на которое он ссылался, может с одинаковым успехом относиться к той и к другой работе.

Кроме этих вводных статей, редактор предпослал всему изданию вступительную статью, посвященную биографии Петти и общим редакторским пояснениям. Биография дается скупо (невольно вспоминается сказанное по этому поводу Марксом в «Критике политической экономии») в виде пересказа характеристики, данной Петти его другом, Джоном Эвелином. Участию Петти в работах комиссии по разделу конфискованных земель уделяется несколько слов, а именно сообщается об удачном выполнении им возложенных на него работ, за что он получил вознаграждение, давшее ему возможность купить имение с 4 000 ф. ст. ежегодного дохода.

Очень неудачно редактор стремится доказать, что к научной работе Петти влекло стремление рассеяться и найти в умственной работе отдых и успокоение от житейских неприятностей. Такая обрисовка Петти принижает его и искажает характер эпохи, в которую он жил. С этой обрисовкой совсем не вяжется указание редактора на неустанное стремление Петти к научным работам, значительно возросшее в последние годы его жизни, несмотря на то, что он почти потерял зрение. Приводимые выдержки из писем Петти, проникнутые горечью и обидой на неудачи в этой области, не свидетельствуют о том, что в своих научных занятиях Петти искал только отдыха и забвения.

Переписка с Соусвеллом разъясняет тот странный факт, что большинство работ Петти было издано лишь после смерти его, хотя написаны они были задолго до этого. Вполне правильны указания редактора, что причиной этого не могло быть нежелание

тратить на это деньги, так как в то время печатание книг приносило большой доход как издателю, так и автору. Из переписки можно заключить, что Петти не торопился с изданием своих работ, быть может, под влиянием своего близкого друга, Соусвелла. Приводимый материал недостаточен, однако, для того, чтобы можно было утверждать, что здесь сказалось только влияние Соусвелла, удерживавшего Петти от издания его работ из-за боязни навлечь на него гнев «власть имущих». Быть может, и сам Петти не расположен был издавать свои работы.

В письме к Соусвеллу из Ирландии Петти писал: «Сэр Питер Пет говорит о переиздании книги «О налогах» и напечатании «Политической арифметики», а также о том, что парафраз 104-го псалма напечатан. Но, кузен, отсутствие смерти подобно. Я надеюсь, вы сделаете это во время моего отсутствия, как вы должны будете это сделать, когда я умру, и вам придется заниматься этими делами. Вы знаете, я не имею удачи в политике... Пусть издатель делает, что хочет, с «Налогами», я против печатания «Арифметики» и хотел бы уничтожить парафраз» (1678). В другом письме, отвечая Соусвеллу на его вопрос, почему он так много пишет, Петти говорит: «Вы спрашиваете, почему я упорно предаюсь этим бесплодным трудам. Я называю их трудами удовольствия... Приближаясь по своему возрасту к небесам, я думаю, что пора приступить к созиданию из этих материалов памятника на земле, который, я надеюсь, вы в свое время украсите знаком учености» (16/VIII 1687 г.). Точно так же и Соусвелл в письмах к Петти говорит о том, что он хранит его работы и после его смерти постарается их опубликовать. Одно из писем Соусвелла кончается словами: «Хотя, несомненно, это было бы сделано лучше в то время, когда вы еще находитесь по эту сторону могилы» (28/IX 1687 г.).

Переписка с Соусвеллом по поводу составления «Словаря» говорит больше о желании его взять на себя цензорские функции, чем о стремлении задержать издание этой работы Петти.

Интересно отметить одну особенность научных работ Петти: они почти не имели добавлений или исправлений, и, как объясняет редактор, это вызывалось тем, что Петти предпочитал писать работу на-ново, чем исправлять старую. Благодаря этому среди бумаг Петти осталось много вариантов по одним и тем же вопросам. В своих пояснениях по поводу составления этого издания редактор говорит: «Тезисы обыкновенно схожи, если не идентичны, но различие формы и выражений показывает, что они были написаны в разное время, и я постарался собрать наиболее законченные по каждому вопросу бумаги». С другой стороны, мы имеем указания редактора, чем он руководствовался при выборе работ: «Я собрал те, которые казались наиболее интересными, предпочитая документы короткие и более разнообразного содержания». Оба эти пояснения очень мало говорят по существу редакционной работы, чем резко снижается ценность всего издания.

Раньше уже указывалось, что работы разбиты на 26 отделов. В первом томе находятся 10 отделов: 1) Government, 2) London, 3) Ireland, 4) Irish Land registry, 5) Religion, 6) Dictionary, 7) Statistical, 8) Trade, 9) Interest, 10) King James II. Каждый отдел заключает в себе несколько работ; всего в первом томе помещено 80 различных работ. Во втором томе находятся остальные 16 отделов (81 работа), среди которых— Philosophy, Multiplication of mankind, American plantations, Observations и т. д. Кроме того, во втором томе помещена редакторская статья, посвященная выяснению вопроса, кто является автором работы «Observations upon the bills of mortality of London». Опираясь на показания современников Петти, высказывавшихся по этому спорному вопросу в его пользу, и на тот факт, что в составленном Петти списке своих сочинений значатся эти «таблицы смертности», автор статьи приходит к выводу, что работа эта была написана Петти. Свое доказательство он подкрепляет сопоставлением текстов «таблиц смертности» и публикуемых в этом издании работ Петти.

Бо́льшая часть работ первого тома (отделы 1, 2, 3, 10 и отчасти 5 и 8) относятся, за небольшим исключением, к позднему периоду жизни Петти и посвящены его излюбленным темам этого периода. Здесь мы находим работы, посвященные росту английского хозяйства и Лондона, превращению последнего в центр мировой торговли

и предстоящей хозяйственной гегемонии Англии, а также ряд «проектов», связанных с вступлением на английский престол Якова II. Эти работы представляют главным образом биографический интерес. Такого же порядка многие работы II тома и отдел «Religion». Работы 4-го отдела связаны с Irish Surveys и относятся к более раннему периоду жизни Петти. Среди работ последнего отдела находится интересная небольшая записка «Trade and manufacture must encrease». В ней развивается идея рационального распределения труда в народном хозяйстве, «с помощью которого можно регулировать его к наибольшей пользе всего общества и отдельных лиц». (стр. 89).

Среди статистических работ находится один из вариантов исчисления народного богатства. В небольшой работе «Merchandise» (№ 57) дана интересная формула составных частей цены продуктов: «Цена продукта состоит: из первоначального естественного (natural) материала; полной его обработки; транспортных расходов от места производства к месту потребления и упаковочного материала; торговых пошлин (стр. 190).

О торговле говорится во многих работах, разбросанных по разным отделам, а также в небольших статьях, специально посвященных проблеме торговли. Последние относятся к раннему периоду творчества Петти (1647 г.).

Проблеме денег уделено мало внимания. Все, что говорится в «Observations» о деньгах, совпадает по существу, и форме с тем, что было уже сказано в «Political Arithmetick»; это может служить одним из доказательств того, что обе работы были написаны почти одновременно. Интересное определение денег мы находим в работе «An explication of trade etc»: «Деньги суть общая мера продуктов, общая связь человека с человеком, эквивалент продуктов» (стр. 210).

Вопросу о проценте уделены две работы 9-го отдела. В общем они повторяют уже сказанное Петти в «Quantulumcunque» и «Trade on taxes» по этому вопросу. Высказываясь против законодательного ограничения уровня процента, Петти пишет, что «установление размера процента законом равнозначно его запрещению» (стр. 247).

В общем опубликованные работы не внесли ничего принципиально нового, и самостоятельное научное значение их невелико. Однако, как материал для сравнения с опубликованными уже работами английского экономиста, это издание окажет помощь лицам, специально занимающимся изучением Петти.

N. Reichesberg. A d a m S m i t h u n d d i e g e g e n w ä r t i g e V o l k s w i r t s c h a f t. Bern 1927, S. 72.

Н. Рейхесберг. А д а м С м и т и с о в р е м е н н о е н а р о д н о е х о з я й с т в о. Берн 1927, стр. 72.

Книжка Рейхесберга, недавно скончавшегося профессора Бернского университета, известного главным образом своими работами по социальной политике, носит популярный характер и предназначена для широкого круга читателей, не занимающихся специально экономическими науками. Этим, вероятно, объясняется незначительность места, отведенного автором специально экономической теории Смита. Бо̀льшая часть книжки посвящена общей характеристике мировоззрения Смита в связи с историческими условиями эпохи прихода буржуазии к власти. Книжку можно разделить на три части. В первой (стр. 1—35) автор широкими штрихами рисует переходную эпоху XVI—XVII столетий и, в частности, возникновение капитализма в Англии. Автор показывает, как параллельно с приходом буржуазии к экономическому и политическому господству совершался переворот в умственных течениях и этических взглядах господствующих классов. Более подробно автор останавливается на характеристике естественного права и естественной этики (стр. 31 — 35), в частности — этического учения Шефтсбери, оказавшего сильное влияние на Смита.

Изложение учения Смита дано во второй части книжки (стр. 35—60), причем стр. 35—42 посвящены философским и этическим взглядам Смита, стр. 42—52—его экономической теории, а стр. 53—60—взглядам Смита на экономическую политику. Само собой понятно, что на десяти страницах дать хотя бы самое общее представление об экономической теории Смита, отличающейся крайнею сложностью, невозможно. И дей-

ствительно, автор ограничивается общими фразами, которые не дают читателю никакого представления об особенностях учения Смита, а зачастую способны ввести в заблуждение. При этом автор придает преувеличенное значение индивидуально-психологическим мотивам, которыми Смит пытается подкрепить свои экономические положения, и совсем не замечает тесной связи между экономической теорией Смита и реальными условиями товарно-капиталистического хозяйства, которые Смит имел возможность наблюдать. Красочное описание разделения труда в мануфактуре и в обществе, имеющееся у Смита, оторвано Рейхесбергом от всякого исторического фона, и само разделение труда превращено в какую-то отвлеченность, лишенную плоти и крови (стр. 44). Поверхностно, без малейшей попытки передать сложный ход мысли Смита, изложена его теория стоимости (стр. 45). Центральною частью учения Смита о заработной плате ошибочно признается учение о соотношении сил рабочих и капиталистов (стр. 47). Поверхностный характер изложения дает нам право предполагать недостаточное знакомство автора с литературою, посвященною экономической теории Смита. Только этим можно, напр., объяснить следующее его заявление: «Уже в своих лекциях (в Глазго) Смит, повидимому, как удостоверяет Дюгальд Стюарт, посвятил значительное место обсуждению экономических вопросов» (стр. 37). Очевидно, Рейхесбергу осталось неизвестным, что записи упомянутых глазговских лекций Смита, сделанные одним из его слушателей, были найдены и изданы в 1896 г. известным экономистом Кеннаном (Smith, Lectures of justice, police, revenue and arms. Edited by E. Cannan, Oxford 1896).

В последней, третьей, части своей книжки (стр. 61—72) Рейхесберг показывает крушение идей экономического либерализма, провозглашенных Смитом.

Близость Рейхесберга к марксизму находит свое отражение только в его попытках связать те или иные идеологические течения с интересами определенных общественных классов. Автор ясно показывает буржуазно-классовый характер научно-философских направлений XVII—XVIII столетий, правильно отмечает буржуазный характер учения Смита (стр. 58). Но он ни в малейшей мере не использовал марксистского метода для анализа и оценки экономической теории Смита.

В общем книжка Рейхесберга ни в малейшей мере не пригодна для ознакомления с экономическою теорией Смита, но может дать читателю представление о том социально-историческом фоне, на котором возникли и развивались идеи экономического либерализма.

Г. К. Гобсон. Экспорт капитала. Перев. с анлийского И. Румера. Редакция, предисловие и дополнения М. Спектатора, Изд. Коммунистической академии, М. 1928, стр. 260.

Рецензируемая работа представляет собой солидное исследование, в котором автор пытается определить самый объект экспорта капитала и выяснить причины этого явления и последствия для вывозящей страны.

Определяя экспорт капитала как ту «часть имущества, которая помещена за границей и с которой ее владелец рассчитывает получить доход» (стр. 43), Гобсон указывает, что это имущество заключается либо в экспорте реальных ценностей (товаров или золота), либо в капитализации доходов от вложений прошлых лет. Касаясь этого последнего способа заграничных инвестиций, Гобсон замечает: «Этот пункт имеет большое значение в вопросе о заграничных вложениях Англии, потому что от прежних вложений постоянно притекает доход, который большей частью превышает размеры нового капитала, помещаемого за границей» (стр. 45). Гобсон отсюда не делает никаких выводов. Для него капитализация доходов от прежних вложений есть один из способов расширения заграничных инвестиций; это расширение может происходить либо путем роста стоимости экспорта, либо путем сокращения импорта.

Однако цифры, которые Гобсон приводит по этому поводу, говорят сами за себя.

В то время как экспорт капитала с 1870—1912 гг. составляет сумму в 2332,8 млн. ф. ст., поступления процентов от прежних вложений за текущий период составляют 3778,1 млн. ф. ст. Эта разница между новым инвестированием и процентами

от прежних вложений еще резче выступает в новейший период 1900 — 1912 гг. В то время как доход от преувеличения вложений за этот период составляет 1727,5—экспорт капитала составляет лишь 1222,9. Получается очень оригинальный вывод, а именно, что Англия — эта классическая страна экспорта капитала — ввозила больше, чем вывозила. Констатирование подобного факта весьма важно для понимания сущности экспорта капитала и того действительного значения, которое экспорт капитала имеет для развития производительных сил импортирующей капитал страны.

Само собой разумеется, что этот тезис имеет значение не только для Англии. В одном новейшем исследовании (З. С. Каценеленбаум, Индустриализация хозяйства и задачи кредита в СССР) подобный факт был установлен и в отношении России, которая в течение последних сорока лет никаких новых реальных иностранных капиталов не получала, а лишь покрывала ими уплачиваемые ею проценты по ссудам, полученным ею раньше.

Но если Гобсону удалось обрисовать роль, которую в экспорте капитала играют проценты от прежних вложений, то этого нельзя сказать по отношению ко второму центральному пункту книги Гобсона, а именно в отношении выяснения причин экспорта капитала.

Каковы причины экспорта капитала — явления, столь характерного для современного капитала? «Экспортируемый капитал, — заявляет Гобсон,—не должен рассматриваться как избыточный капитал, как такой, отлив которого якобы не может уменьшить запаса капитала, инвестируемого в самой стране. Наоборот, вывоз капитала за границу стремится повысить процентную ставку в стране» (стр. 67).

Что экспорт капитала вовсе не является результатом абсолютной невозможности «поместить» вывозимые капиталы внутри страны, как это кажется некоторым экономистам (напр., Р. Люксембург), это, конечно, совершенно правильно. Цель экспорта капитала заключается не в повышении процента внутри страны, как это утверждает Гобсон, а в повышении товарных цен внутри страны и увеличении нормы прибыли, что достигается посредством сокращения предложения товаров на внутреннем рынке. Экспорт капитала с этой точки зрения представляет собой не столько выход для свободного капитала, ищущего прибыльного применения во вне, сколько возможность реализации товаров на внешнем рынке с целью получить возможность реализации высоких товарных цен внутри страны.

Отсюда и та тесная связь, которая существует между развитием монополистического капитализма, с одной стороны, и экспортом капитала — с другой.

Устранив конкуренцию на внутреннем рынке при помощи организации картелей и трестов, капитализм нуждается в вывозе своей продукции за границу (с целью повышения цен на внутреннем рынке). Но на заграничном товарном рынке национальный капитал встречает конкуренцию со стороны других стран. Конкурировать на мировом товарном рынке весьма затруднительно, поскольку эта конкуренция отражается на ценах. Капиталисты поэтому, как правильно указал Гильфердинг, стремятся заменить конкуренцию на товарном рынке конкуренцией на денежном рынке.

Экспорт капитала становится формой экспорта товара. «Перед покупателем не остается теперь выбора: он сделался заемщиком, значит зависимой формой, вынужденной просто принимать условия кредитора». «Борьба за сбыт товара превращается в борьбу за сферы приобретения капитала» (Гильфердинг, Финансовый капитал, 1923, стр. 382).

Мы поэтому считаем неправильным утверждение Гобсона, что в случае отсутствия экспорта капитала «процентная ставка понизилась бы до такой степени, что более или менее значительная часть капитала пошла бы на потребление» (стр. 67).

Страх перед «натурализацией» капитала слишком велик, но... недостаточно обоснован. Низкий процент, как правило, сопровождается высокой нормой предпринимательской прибыли и, следовательно, приводит к увеличению накопления, а не к уменьшению его.

Отсутствие экспорта капитала не привело бы поэтому к уменьшению накопления, а сделало бы невозможным осуществить политику цен монополистического капитализма.

Непонимание того факта, что экспорт капитала представляет собой форму реализации товаров, приводит Гобсона к ряду ошибочных суждений в вопросе о результатах заграничного инвестирования. Каковы, по мнению Гобсона, эти результаты? Поскольку экспорт капиталов сокращает внутреннее производство, национальный доход терпит ущерб. Однако Гобсон полагает, что этот ущерб компенсируется, во-первых, доходами, которые Англия получает от своих инвестиций, и, во-вторых, тем, что рост английских инвестиций, расширяя производственную систему других стран, этим самым косвенно может вызвать некоторое расширение производственной системы и в самой Англии. А слона-то и не приметил!.. Гобсон не замечает, что убытки, причиненные «национальному доходу» экспортом капитала, компенсируются повышением цен на товары внутри страны и, следовательно, повышением нормы прибыли.

Здесь снова сказались отрыв проблемы экспорта капитала от проблемы реализации товаров и одностороннее понимание экспорта капитала как прибыльного приложения к свободному капиталу в чужой стране с целью получения высоких процентов. Переходя к анализу влияния экспорта капитала на распределение национального дохода, Гобсон признает, что экспорт капитала уменьшает долю рабочих в национальном доходе, но считает нецелесообразным вести борьбу против экспорта капиталов, так как, по его мнению, подобная борьба вызвала бы эмиграцию капиталистов, что еще более вредно отразилось бы на положении рабочего класса.

Резюмируя сказанное выше, необходимо признать, что книга Гобсона, несмотря на исключительно ценный и тщательно обработанный фактический материал, не дает экономического анализа причин экспорта капитала, односторонне характеризует самый объект экспорта капитала и не вскрывает подлинных последствий экспорта капитала, заключающихся отнюдь не в уменьшении национального дохода, а в стремлении к колониальной политике — к империализму.

Что касается исторической части работы, то надо сказать, что здесь Гобсон проявил прекрасное мастерство изложения на-ряду с большим знанием дела.

В сжатой и ясной форме, на протяжении IV — VI глав, автор дает исторический обзор развития экспорта капитала и его движения по странам с начала XVIII века до империалистической войны.

Особенно подробно автор рассматривает развитие английской инвестиции, начиная с промышленной революции. В VII главе автор приводит статистические данные, характеризующие экспорт капитала с количественной стороны, и ряд интересных данных о доходе от заграничных инвестиций.

Книга в целом принесет пользу критически относящемуся к ней читателю, и с этой точки зрения следует приветствовать ее издание на русском языке.

Я. Рудой. Как возник и развивался монополистический капитализм. Госиздат, 1923. («Библиотека рабочего пропагандиста»), стр. 101.

Книжка Я. Рудого рассчитана на подготовку рабочего пропагандиста для ведения самостоятельной работы по вопросам империализма. К сожалению, этой цели рецензируемая книжка навряд ли достигнет.

Стараясь изложить мысль яснее и образнее, Я. Рудой ее на самом деле запутывает, насилует, и в итоге от нее остается одна «популярная» форма, содержание же улетучивается.

Приведем несколько примеров, характерных как для манеры изложения теории, так и для понимания ее самим автором книги. Пример первый: «Для того, чтобы превратить труд в наемную рабочую силу, продукт труда в товар, требовались такие средства и пути, которые ни в какой степени не похожи на сказки, создаваемые буржуазными экономистами» (стр. 4). Со времени Маркса марксисты как будто бы должны знать, что «труд» вообще не поддается превращению в «рабочую силу». Труд и рабочая сила — не одно и то же. Пример второй: «Что касается создания внутреннего рынка для сбыта товаров, производимых в капиталистическом предприятии, то это не представляло большого затруднения для развивающегося капитализма» (стр. 5). Автор думает, что процесс создания внутреннего рынка для

капитализма, продолжавшийся целые столетия и сопровождавшийся разорением миллионных масс населения, не представлял «большого затруднения». Пример третий: «Капиталистическая монополия в настоящее время никакой организующей роли в хозяйстве не может играть. Наоборот, она вносит хаос в хозяйственную жизнь» (стр. 34). Во-первых, как это увязать с собственными словами т. Рудого на стр. 29, где сказано: «Нельзя, конечно, отрицать, что частно-капиталистические монополии являются шагом вперед в сравнении с эпохой свободной конкуренции», во-вторых, это положение теоретически неверно, ибо одно дело общая тенденция к загниванию, присущая современному капитализму как совокупному целому, другое дело — частные успехи в производстве, достигаемые именно монополиями, например успехи Форда.

Теоретические недоразумения в книге Рудого далеко не исчерпываются приведенными примерами. Но и их достаточно для характеристики теоретического уровня книги. Приходится отметить и неряшливость изложения. Приведем только один образец: «Капитализму нужен был рабочий, освобожденный от крепостной зависимости и чтобы этот рабочий мог передвигаться с места на место» (стр. 3).

Образцом популярного изложения т. Рудого может служить, например, следующее место: 1) «Империалистические войны отличаются от национальных войн тем, что, как говорит Ленин, „буржуазия из поднимающегося передового класса стала опускающимся, упадочным, внутренне-мертвым, реакционным“» (стр. 97).

Рабочему пропагандисту книга ничего не даст.

III. ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФОРМ

Социальная история средневековья. Под ред. Е. А. Косминского А. Д. Удальцова. Том I. Раннее средневековье. Том II. Деревня и город позднего средневековья. Госиздат, М. 1929.

Несмотря на некоторые успехи последних лет в деле снабжения нашей высшей школы соответственной учебной литературой, эта задача разрешена еще далеко не удовлетворительно. Издано несколько учебников, издано невероятное количество хрестоматий. К сожалению, среди последних — весьма немного действительно отвечающих тем требованиям, которые приходится к ним предъявлять. И, пожалуй, среди предметов преподавания высшей школы история в этом отношении обставлена хуже всего. Кое-что есть лишь по истории XVIII—XX веков. Между тем для целей преподавания истории, при пониженном уровне знания иностранных языков, совершенно необходимы сборники отрывков из источников в русском переводе. Без них попытки ведения практических занятий по истории натыкаются на препятствия почти непреодолимые.

Рассматриваемая нами книга заполняет этот пробел по отношению к так называемому средневековью. Она содержит в себе богатый подбор материала для характеристики хозяйственной реакции эпохи поздней Римской империи, социального строя германских племен и варварских государств, образовавшихся на ее территории, процесса возникновения феодализма, развитого феодального общества (том I), разложения феодального строя, роста средневековых городов и городского хозяйства, наконец — тех социальных конфликтов, которые наполняют собою последние столетия средневековья (том II). Работа по подбору материала для первого тома проведена под редакцией А. Д. Удальцова, второго — под редакцией Е. А. Косминского. Среди сотрудников мы находим ряд компетентных историков — Д. М. Петрушевского, Н. П. Грацианского, Г. М. Пригоровского и др., имена которых достаточно гарантируют высокое качество работы. В известном смысле книгу можно считать коллективным трудом секции средневековой истории Московского исторического института, к составу которой принадлежат редакторы и большинство сотрудников.

Каждый отдел книги снабжен вводной статьей, иногда очень обширной (напр., введение А. И. Неусыхина к отделу «Древние германцы»), примечаниями и библиографией. Единственным недостатком этого вспомогательного аппарата является некоторая его пестрота. Редакторам не удалось здесь добиться должного единообразия. Один со-

ставитель указывает лишь самую необходимую литературу, другой — дает весьма подробный список и т. п.

Книгу следует настоятельно рекомендовать как пособие для высших учебных заведений. Можно выразить вместе с тем пожелание, чтобы работа нашла свое продолжение в виде издания сотрудниками других секций того же института аналогических сборников по древней, новой и новейшей истории.

Ученые записки Института истории. Том II. Изд. Раннон, Москва 1927, стр. 337.

В статье «Скотоводство малокультурных народов» А. Н. Максимов выясняет различия в укладе жизни народов, занимающихся скотоводством, и черты, свойственные скотоводческому хозяйству почти всех малокультурных народов. Некоторые из выражаемых А. Н. Максимовым мыслей вызывают недоумение, напр. категорическое утверждение, что собака «наименее полезное из всех домашних животных» (стр. 19). Из высказываемых А. Н. Максимовым гипотез вряд ли может быть доказано предположение, что «первоначальное приручение и одомашнение животных не преследовало никаких хозяйственных целей». Весьма интересным представляется предположение, что инициатива в деле использования молока домашних животных и езды на них, повидимому, принадлежала детям.

А. Неусыхин дает в статье «Роль земледелия в хозяйственной жизни древних германцев» общую характеристику германского земледелия. Изложив результаты критической разработки вопроса об источниках Тацита, А. Неусыхин приходит к выводу, что там, где этнографические описания у античных авторов «абстрактны, темны, лапидарны», их следует толковать, опираясь на иные, не-литературные данные, а при анализе сообщений Цезаря и Тацита «систематически отдавать предпочтение конкретным изображениям военных столкновений римлян с германцами перед общими этнографическими описаниями» (стр. 30), частью основанными на литературных данных, восходящих к греческим исследованиям II и I веков до нашей эры. Сообщениям римских писателей и «филологическим комбинациям» исследователей текстов приходится нередко предпочитать — вопреки Гильдебранду — комбинации современных археологов и лингвистов, выработавших ряд новых подходов к старым проблемам германской истории и пра-истории» (стр. 29). В частности, данные, добытые археологией, сравнительным языковедением и этнографией, опровергают «номадную теорию» А. Мейцена, К. Лампрехта, Э. Мейера и представление о Германии, как о стране чуть ли не сплошь покрытой лесами и болотами в эпоху борьбы германских племен с римлянами. Выяснив, что географические особенности Германии не исключали возможности земледелия, А. Неусыхин доказывает, что лесная дичь, добываемая охотниками, играла «отнюдь не доминирующую роль в германском хозяйстве», что «не лес был главным естественным фактором их хозяйственной жизни» (стр. 35), и приводит ряд недвусмысленных аргументов «в пользу немалого значения земледелия в хозяйственной жизни» германцев, и притом оседлого земледелия, основанного на применении плуга и рабочей силы крупного рогатого скота и на культуре хлебных злаков. По мнению А. Неусыхина, германское хозяйство эпохи Тацита следует представлять себе «как некоторую комбинацию земледелия и скотоводства с начинающимся подчинением последнего задачам и интересам первого» (стр. 49).

В статье «Страница из истории торговой компании «Merchants Adventurers» В. Стоклицкая-Терешкович выясняет внутреннюю социальную структуру этой знаменитой компании, долго сосредоточивавшей в своих руках экспорт сукна из Англии и «всеми нитями существования связанной с основными источниками экономической жизни» этой страны. Дав краткий очерк истории компании «Merchants Adventurers», В. Стоклицкая-Терешкович констатирует, что эта компания до сих пор изучалась преимущественно с точки зрения торговой политики, но ее «внутренняя социальная структура, с точки зрения статической и эволюционной, и отношения ее к другим социальным группам и различным общественным классам почти не становились предметом научного рассмотрения» как вследствие общей неразработанности социальной истории

Англии, так и благодаря малой доступности источников. Проанализировав материал, содержащийся в сборнике постановлений и предписаний компании «Merchants Adventurers», составленном в 1608 г. ее секретарем Уилером (трактат которого «О коммерции», представляющий собой «страстную апологию» компании «Merchants Adventurers», «оригинальную разновидность серьезного рассуждения, продиктованного полемической страстью и агитационным задором, недавно приобретен Институтом К. Маркса и Ф. Энгельса), В. Стоклицкая-Терешкович приходит к выводу, что этот сборник статутов ценен для историка «именно тем, что составляет их слабость как практического руководства: внутренними противоречиями, неслаженностью разных частей между собой, разновременностью их происхождения» (стр. 85). «На основании противоречий между буквальным смыслом некоторых пунктов и общим духом, проникающим весь сборник, мы можем получить представление не только о социальной структуре компании, но и о постепенно происходивших в ней внутренних сдвигах, о ее социальной дифференциации» (стр. 86).

На-ряду с кадрами членов, приобретавшими право заниматься торговлей лишь после многолетнего ученичества, и с характерной для цеховой жизни средневековья, особенно позднего, категорией привилегированного слоя, сыновей полноправных купцов, получавших права, даваемые принадлежностью к компании «Merchants Adventurers», просто в силу происхождения, допускался, путем «выкупа» — компенсации за отсутствие правовых предпосылок, являвшихся непременным условием приема в компанию, — и прием всякого, кто мог платить 200 ф. ст. «выкупа», в том числе младших сыновей джентри, что представляло «полное отрицание всех тех форм и рамок, которые выдвигал средневековый цех» (стр. 27). Итак, в силу самих условий приема в недрах компании обнаруживалась резкая социальная противоположность между богатыми капиталистами-купцами новой формации и «выходцами из среды неимущих классов, вынесшими на своих плечах ярмо восьмилетней учебы». Статуты компании ограждали интересы «Merchants Adventurers» среднего достатка, ставя преграды поползновениям капиталистов обойти нормы экспорта. Характерно, что сперва статуты «ревниво следят за сохранением относительного равенства между членами, воспрещая самостоятельные торговые сделки ученикам, малолетним сыновьям купцов и «слугам по договору», которыми купцы, желавшие расширить свои операции, вопреки статутам могли бы пользоваться как подставными лицами». Но затем делается оговорка, что подобные сделки запрещались, когда они имели место «без ведома и согласия мастера, подкрепленного соответствующим распоряжением компании». По весьма правдоподобному предположению В. Стоклицкой-Терешкович, эта оговорка, «совершенно обесценивавшая значение воспрещений, является позднейшей прибавкой, появившейся во вторую фазу развития, когда среднее купечество теряет устойчивость и начинает стушевываться под напором надвигающегося капитала» (стр. 94). Благодаря этой борьбе статуты подвергались постепенному изменению, и хотя «внешний остов статутарного законодательства остается для глаз поверхностного наблюдателя прежним», старые формы перестают соответствовать фактическим отношениям, капиталисты приспособляют статуты к своим нуждам. Итак, выясняется тщетность попытки Уилера представить внутренние взаимоотношения «Merchants Adventurers» как «социальную идиллию», и во внутренней истории этой компании вырисовывается «характерная для переходного периода картина падения старых экономических устоев при кажущейся нетронутости внешних юридических форм существования» (стр. 98).

И. Л. Попов-Ленский характеризует «интернационализм экономической школы» — попытки физиократов найти в обстановке международных отношений средины XVIII века реальные аргументы для взгляда на человечество как на единую семью.

И. Л. Попов-Ленский подчеркивает, что физиократов, оказывающихся более историчными, чем руссоисты и энциклопедисты, следует считать скорее интернационалистами, чем космополитами, и усматривает в их коммерческом интернационализме «зачаточную форму осознания общности экономических интересов среди руководящих классов товаропроизводящего общества XVIII века».

Осуществлением в принципе почти всех пожеланий школы физиократов И. Л. Попов-Ленский признает декрет от 22 мая 1790 г., в котором Национальное собрание заявило, что оно отказывается от завоеваний, признает политику мира и объявляет себя другом всех народов.

В статье «Закон 29 фримера II года» А. А. Фортунатов детально выясняет интереснейшую и важнейшую в практическом отношении страницу из истории народного образования во время Великой французской революции — закон о народном образовании, декретированный Конвентом по докладу Габриэля Букье (29 фримера II года).

Отметив, что исследователи больше внимания уделяли планам, проектам (Кондорсе и Лепелетье Сен-Фаржо), которые «так и остались планами», чем проекту Букье, который вошел в жизнь практически как первый революционный органический закон о народном образовании, по параграфам которого «французская школа жила около года, притом в момент максимального развития революционных настроений и революционной энергии» (стр. 111), А. А. Фортунатов констатирует, что закон Букье тем более интересен, что документы, опубликованные Гильомом, дают возможность проследить, как отнеслась страна к новому закону и как он проводился на местах.

В основе проекта Букье лежала мысль об уничтожении педагогической иерархии, о том, что «самые прекрасные школы, самые полезные... — это публичные собрания департаментов, муниципалитетов и особенно народных обществ», что «революция, так сказать, сама собой организовала общественное воспитание» и что «эту организацию, простую и величавую, как народ», не следует подменять «организацией искусственной, скопированной с академических статуй», или, как резюмирует А. А. Фортунатов основную мысль Букье, что «революционный процесс является лучшей школой, а государству остается добавить лишь немногое». Это немногое сводилось к тому, что «государство должно было обеспечить нацию учителями элементарной грамоты и небольшим числом специалистов-техников, обязанных преподавать по вопросам своей специальности», а все остальное «предоставлялось свободной инициативе граждан при условии контроля революционных органов и всех граждан».

Затем А. Фортунатов резюмирует прения по докладу Букье, в которых решительную роль сыграла речь Дантона, по настоянию которого был принят принцип обязательности для родителей посылать детей в начальные школы. Характерно, что была введена статья, карающая родителей штрафом за непосылание детей в школы и грозящая признать их в таком случае «врагами равенства» и лишить их на 10 лет гражданских прав при рецидиве (стр. 123).

Отметив, что Комитет общественного спасения «развил деятельность в вопросах народного образования совсем не в том направлении, как это было предусмотрено законом Букье», и все более и более отклонялся от него, но зато развил большую энергию по части «революционных методов в народном образовании», А. А. Фортунатов рассматривает фактическое положение школы в период действования закона 29 фримера, который был заменен новым законом в вандемьере III года, так как «недаром после термидора осознавшая ближе свои классовые интересы буржуазия одним из первых своих постановлений ликвидировала закон Букье» (стр. 135).

А. И. Гуковский и О. В. Трахтенберг. Краткий учебник по истории развития общественных форм. Изд. Коммунистического университета им. Свердлова, М. 1928.

Книга является учебником для рабфаков и аналогичных учебных заведений. Благодаря своей систематичности и сравнительной краткости она вполне соответствует своему назначению. Проверочные вопросы подобраны в ней удачно; литература, указанная в конце каждой главы, охватывает самое существенное по данному вопросу; лишь изредка попадаются источники, навряд ли соответствующие подготовке учащихся.

Книга выдержана в марксистском духе; ценно в ней отсутствие ненаучных и искусственно построенных объяснений по «историческому материализму».

При анализе первобытного общества авторы останавливаются на переходе от животного к человеку. Отличие человека от животного сформулировано ясно и четко.

«Итак, изготовление искусственных орудий труда и их планомерное использование в процессе совместной трудовой деятельности — вот коренное отличие человека от всех других животных» (стр. 40).

Первобытное общество тт. Трахтенберг и Гуковский не рассматривают как однородное целое, но правильно усматривают в нем целый ряд следующих друг за другом ступеней, притом они останавливаются главным образом на последовательном совершенствовании каменной техники. Тут же авторами указываются зачатки «производящего хозяйства», земледелия и скотоводства.

Связь между первобытным обществом и отсталыми народностями рассматривается параллельно с анализом отношения к ним капиталистических стран и СССР.

Родовая организация для наших авторов есть, прежде всего, хозяйственная организация; они правильно отвергают точку зрения, рассматривающую род как разросшуюся семью, имеющею единого родоначальника. Останавливаясь на идеологии рода, тт. Гуковский и Трахтенберг указывают на борьбу советской власти с пережитками родового строя. При рассматривании идеологии довольно серьезное внимание уделяется критике религии.

Изложение перехода к феодальному строю страдает существенным недостатком, влекущим за собой целый ряд погрешностей. В книжке совершенно не рассматриваются античный мир и восток, благодаря чему неясным становится процесс образования классов; по той же причине оказывается неясным и непонятным процесс образования государства, несмотря на правильность теоретического определения как классов, так и государства.

Более удачно рассмотрение эпохи торгового капитала. В этом отделе книги авторы дают отчетливую и ясную формулировку: «Торговый капитал стал играть в Западной Европе заметную роль уже в XIV—XV веках; но это были еще исключения среди старых некапиталистических форм хозяйства. Эпоха торгово-капиталистического хозяйства начинается лишь с XVI века (в России, примерно, на столетие позднее)» в результате великих открытий: Америки и морского пути в Индию» (стр. 183).

Излагая историю развития ремесел, авторы указывают, что в зародышевой форме они начинают появляться в родовом обществе; в эпоху торгового капитала они быстро развиваются; при этом на сцене появляется эксплоатация, благодаря которой начинается организация подмастерьев в «братства». Последние правильно рассматриваются авторами как «зародыши позднейших профессиональных союзов».

Мануфактура, по определению авторов,—«это конец торгового капитала, это начало капитала промышленного, непосредственно организующего производство при помощи наемной рабочей силы» (стр. 193). В Западной Европе в мануфактуре господствовал наемный труд, в России — крепостной, в чем причина низкой производительности труда на русских мануфактурах.

Подчеркивая особенное значение сельскохозяйственного строя, авторы уделяют ему особое место при торговом капитале; они подробно останавливаются на крестьянских восстаниях как в Западной Европе, так и в России.

Книжка дает главным образом историческое развитие экономической структуры общества. Несмотря на отдельную главу «Политический строй и идеология в эпоху торгового капитала», идеология даже в этот период сравнительно мало разработана.

A. Aspinall. Lord Brougham and the Whig Party. Manchester 1927, p. XX + 320.

А. Эспинолл. Лорд Брум и партия вигов. Манчестер 1927, стр. XX+320

Настоящая работа посвящена одному из наиболее интересных периодов в истории английской партийной системы — периоду 20-х, 30-х и 40-х годов прошлого столетия, когда партии ториев и вигов постепенно разлагались и на их останках вырастали новые партийные организации лэндлордов и торгово-промышленной буржуазии. Превращение прежних партий совершалось медленно и болезненно, но неуклонно. Автор рассматриваемой работы, известный своими статьями по истории английских партий

в 20-е годы XIX века (помещены в «English Historical Review» в 1926—1927 гг.) приводит по этому вопросу богатый материал. В начале столетия между партиями фактически не было разницы: «у власти виг на деле превращался в тория, а в оппозиции торий превращался в вига» (стр. 246). История политических партий этого периода тождественна с историей борьбы за власть и за места у кормила правления между немногими аристократическими семьями. Однако уже и в эти годы профессиональные политики, выходившие из менее аристократической среды и восполнявшие недостаток политических талантов, царивший среди наследственной аристократии, готовы были пойти навстречу новым течениям в обществе, властно требовавшим участия в политической жизни.

Одним из таких профессиональных политиков был лорд Брум. Брум связал свою судьбу с вигами, однако тщательный анализ его политической биографии, произведенный А. Эспиноллом, с достаточной убедительностью показывает, что Брум мог быть с тем же успехом и торием, представляя те же классовые группировки. Брум объективно выражал интересы верхушки промышленной буржуазии, готовой мириться со старым порядком, поскольку это не угрожало ее доходам, и столь же легко готовой отстаивать на словах принцип парламентской реформы, потому что этим достигалась поддержка мелкой буржуазии против представителей лэндлордизма. Радикалы вроде Плэса принуждены были в дореформенной Англии (до 1832 г.) искать сотрудничества с профессиональными политиками, подобными Бруму, и это сотрудничество неизбежно доставляло им горькое разочарование. Бывший союзник радикалов, пользовавшийся неоднократно их поддержкой, Брум лицемерно восставал против подчинения «толпе» (rabble) и отказывался жертвовать своими «принципами», которых у него никогда не было (стр. 72—76). В 1827 г., в год коалиции с левым торизмом Каннинга, он называл радикалов «горстью глупцов, считающих себя доктринерами и склонных к мнениям, подрывающим всякую свободу...в религии — беспардонных атеистов, в политике — кровожадных республиканцев и в области морали — грубых и себялюбивых, не знающих меры людей» (стр. 145).

Не имея, однако, твердой почвы среди аристократии, поставлявшей бо̀льшую часть политических деятелей, замкнутой и ограниченной и в своих политических идеалах, и в своих политических методах, Брум часто обращался за поддержкой к широким общественным слоям, стоявшим за радикалами, к мелкой буржуазии, представляя, однако, всегда интересы только верхушки буржуазии. Он поддерживал хорошие отношения с Плэсом и после своих выступлений против радикалов, стремясь в известных случаях найти общий язык с ними (например, в вопросе о реформе общего права — common law,— т. е. в таких вопросах, в которых вся буржуазия могла итти заодно) (ср. стр. 166). Но насколько приятнее было Бруму итти в коалиции с каннингитами, которые по своей классовой сущности, пожалуй, ничем почти не отличались от брумовских вигов, хотя и состояли в торийском лагере!

Для Брума характерны его воля к власти, которая приближает его к политическим деятелям второй половины XIX столетия, его стремление к всеобъемлющей роли в политике, литературе, науке и праве, которое с тех пор сделалось своего рода традицией английской политической жизни, и его умение жертвовать абстрактными принципами во имя конкретных целей, которое проступает у Брума, быть может, лишь более открыто и заметно, чем у профессиональных политиков современной Англии.

Автор работы находится под чрезмерным личным обаянием своего героя, и поэтому мы не находим у него достаточно четкого анализа роли Брума в разложении вигизма. Не будучи марксистом, Эспинолл не в состоянии также дать последовательный разбор классовых корней партийной системы. Тем не менее, значительный материал для такого изучения английских политических партий у Эспинолла собран. К разработке вопроса Эспиноллом привлечены многочисленные частные архивы, до сих пор не вполне доступные исследователям (особенно важными из частных архивов представляются архивы Голланд Гауза, впрочем лишь в малой части изученные Эспиноллом), а также рукописный материал Британского музея, в частности ожидающие своего исследователя знаменитые «Place papers», которые должны значительно изме-

нить наше представление об эпохе, предшествовавшей чартизму. Кроме того, Эспинола приводит многочисленные выдержки из полемической и политической литературы эпохи, проливающие яркий свет на политическую атмосферу того времени.

К книге приложен список статей Брума в «Edinbourgh Review», где Брум был одним из наиболее плодовитых сотрудников, и выдержки из документов, характеризующие Брума как политического деятеля и как личность. Об этих приложениях приходится сказать то же, что и о всей работе в целом: автор опубликовывает их со всей необходимой тщательностью, однако, не имея в виду дать исключительно биографию Брума, автор на деле чрезмерно усиливает биографический элемент в своей работе за счет политической истории. Приложения почти ничего не дают для истории партий, ограничиваясь исключительно личностью Брума. Об этом приходится только пожалеть.

В начале книги (стр. XIII—XX) мы находим список рукописных и печатных источников и литературы. Выбор литературы несколько произволен; мы не находим известной работы Halévy «Histoire du peuple anglais»; приведены сочинения Рикардо и нет сочинений Мальтуса. Работ, посвященных истории законодательства о бедных и рабочего законодательства, мы почти не встречаем; этим, повидимому, объясняется и недостаточное освещение роли лорда Брума в борьбе против фабричных законов (ср. Brentano «Geschichte der wirtschaftlichen Enwickelung Englands», т. III, стр. 404).

Книга снабжена иллюстрациями, заимствованными из сатирических журналов и очерков изучаемой эпохи.

Паркер-Томас Мун. Империализм и мировая политика. Перевод Ст. Вольского, Госиздат, 1928, стр. VIII+430.

Перед нами работа, посвященная общим вопросам колониальной политики империалистических государств. Именно вследствие своей общности книга в некоторых местах носит поверхностный характер, ибо на сравнительно небольшом количестве страниц хочет «объять необъятное».

Тем не менее, надо признать, что в отношении охвата источников и литературы предмета книга сделана добросовестно. Правда, автор не использовал архивного материала, но ведь этого нельзя было сделать вследствие злободневности и новизны темы: как известно, в условиях буржуазной действительности архивные материалы становятся доступными историку только долго спустя после событий, породивших их. Автор использовал, однако, все старые и новые публикации и собрания документов: в тексте имеются ссылки как на английские State Papers и Parl. Papers, так и на американские Foreign Relations. Автором также использована и серия Мартенса, и «Documents Diplomatiques», и, наконец, совсем недавно опубликованная «Die grosse Politik». Автор изучил также не только обширную общую литературу предмета, но и специальные монографии по истории отдельных колониальных и полуколониальных стран, по проблемам финансовой политики и железнодорожного строительства крупных держав в зависимых странах. Таким образом, несмотря на некоторую поверхностность отдельных глав книги, она в общем построена на прочном фундаменте.

Сила автора заключается в том, что он накопил сравнительно большое количество фактов, характеризующих колониальную политику империалистических государств. Однако эти факты систематизированы чисто внешним образом, и в этом заключается слабость книги. В деле систематизации материала автор пошел по линии наименьшего сопротивления: он ведет свое изложение территориально, если так можно выразиться. Автор нанизывает факты один за другим в чисто внешней пространственно-временной последовательности. Это обстоятельство объясняется отсутствием в работе единого метода, общей идеи, которая пронизывала бы все изложение.

Книга посвящена проблеме империализма, но у автора нет концепции империализма, ни своей, ни позаимствованной, т. е. вообще никакой. Империализм представляет у него не известную стадию в процессе развития капитализма, а простую арифметическую сумму самых разнообразных тенденций.

Объективный научный анализ действительности заменяется у автора психологически-моральными оценками. Он не вскрывает тех внутренних противоречий, которые

должны с неумолимой последовательностью привести к распаду империализма, а ограничивается его моральным осуждением. Этот морализирующий подход к империализму как-то не вяжется с его саркастическим отношением к «возвышенным идеалам» колонизаторов. Сам же он говорит с едкой иронией о «дымовой завесе», которую создают империалисты для того, чтобы скрыть «неприглядные факты» своей хищнической политики; сам же он зло высмеивает лицемерные слова о «бремени белого человека», которое оказываются вынужденными взять на себя «цивилизованные нации» для просвещения низших некультурных рас.

Истинное лицо этого бесформенного пацифизма обнаруживается в тех случаях, когда автор пытается наметить перспективы дальнейшего развития империализма. Обсуждая итоги Вашингтонской конференции, П.-Т. Мун приходит к тому мало утешительному выводу, что «мировое общественное мнение есть единственная сила, которая может сдержать японский империализм, не заменяя его империализмом другой нации» (стр. 258). И в другом месте он поучает нас, что если малые нации удерживают по сей день свои колонии, то объясняется это не непримиримыми противоречиями крупных хищников, а опять-таки этим невесомым фактором «общественного мнения» (стр. 278) Вообще «атаковать мощные цитадели своекорыстного империализма» можно только при помощи «международного общественного мнения» или, по выражению Н. Бутлера, «международного духа» (стр. 426).

Идеализм автора сказывается и тогда, когда он пытается определить движущие силы империалистической политики. Понятно, ничего нельзя возразить против анализа тех социальных групп, которые непосредственно заинтересованы в активном строительстве империализма; но на-ряду с этим Мун проводит мысль, что широкой публикой руководят не непосредственные интересы, а идеи, «не интересы собственности или профессии, а принципы» (стр. 27). Таким образом, мы приходим к примитивнейшей теории, гласящей, что жадными являются только богачи, а массы поддерживают империализм из идейных соображений, руководствуясь альтруизмом, национальной честностью, «престижем» нации и т. п. Таким образом, автор объясняет империализм причинами, которые сами подлежат объяснению.

В книге встречается не мало образцов подобной псевдо-научности. Так, казалось бы, империалистический характер политики, которую ведут Соединенные Штаты в латинской Америке, очевиден для всякого непредубежденного человека, но автор считает, что движущим мотивом ее являются не «материальные интересы», а «психологический фактор — национальная гордость» (стр. 346). Совершенно непонятно, зачем автор привлекает для объяснения национальную гордость, когда его же конкретный анализ говорит о том, что этот психологический фактор имеет совершенно материальное основание. Методологический порок Муна заключается в том, что «психология империализма» фигурирует у него как самостоятельный фактор.

Очень не трудно заметить, что вся книга пропитана гниловатым пацифизмом. Свою антиимпериалистическую тенденцию автор обосновывает не широко-теоретически, как этого требует научная методология, но узко-практически. Выгоден ли империализм? Оправдывают ли себя колонии как резервуары для сбыта товарных излишков, производимых метрополией? Такова проблема, которую пытается разрешить Мун. Ответ его сводится к тому, что колониальная торговля выгодна хлопчатобумажной и железной промышленности, но из-за этого, по его мнению, не стоит итти на громадные жертвы людьми и деньгами, вызываемые колониальной экспансией. Ответ этот не учитывает того простого обстоятельства, что колониальная политика капиталистических государств определяется не отвлеченными народно-хозяйственными соображениями, но совершенно конкретными интересами отдельных фракций буржуазии. По вопросу об инвестировании избыточного капитала в колонии автор не приходит к определенному выводу, но он утверждает, что в будущем «экономический империализм» станет невозможным, так как колонии-де представляют для империализма не предмет необходимости, но предмет роскоши. В будущем товарные излишки и избыточный капитал рассосутся благодаря увеличению нормы рождаемости и повышению уровня жизни в метрополии, и тогда отпадет нужда в колониях как рынках для сбыта товаров и вложения капиталов. На каком основании

автор полагает, что капиталисты уничтожат диспропорцию между производством и потребления путем повышения зарплаты и уменьшения прибылей, а не путем эксплоатаций колоний, — остается для читателя совершенно непонятным.

Самое замечательное во всех этих рассуждениях заключается в том, что возможность разрешения противоречий, нагроможденных империалистической колониальной политикой Мун видит не в ликвидации империализма как такового, а в его реформировании. Мун верит (именно верит, а не доказывает) в возможность мирного империализма, который свою нужду в колониях, как рынках для вывоза сырья, сбыта товаров и вложения капиталов, удовлетворит посредством международных соглашений, договоров с туземными государствами, гуманного обращения с рабочими-туземцами, либеральной таможенной политики и т. д. Мун отличает старый империализм, действовавший посредством аннексий и протекторатов, от нового империализма, который «действовал менее открыто, менее грубо, менее монополистично» (стр. 353). Автор относится к новым методам империализма с нескрываемой симпатией и верит в его победу. Орудием действия нового империализма является опека, ее воплощением — мандатная система, ее творцом — Лига наций, а ее носителями — великие державы.

Эти две системы империализма автор находит уже в прошлом колониальной политики. С одной стороны, он указывает на систему монопольных концессий и принудительного труда, применявшуюся бельгийцами в Конго и французами в экваториальной и западной Африке. У англичан же, наоборот, «завоевание и примирение шли рука об руку»; они кровью и железом подавляли всякие местные восстания и выступления (сипаи, буры и т. д.), но зато в дальнейшем давали самоуправление, уничтожали рабство, принудительный труд и т. д. К тому же типу колониальной политики относит автор и систему своей родины. Он указывает на удивительное «бескорыстие», проявленное Соединенными Штатами в Персии, когда персидские революционеры обратились к ним за финансовой консультацией и помощью. В таких же тонах оценивает Мун и политику Америки на Дальнем Востоке (впрочем, с маленькой оговоркой — «если мы на минуту забудем о Филиппинах»). Всякую специфическую продукцию американской «пацифистской» дипломатии он готов оценить как прогресс по сравнению с европейской агрессивной политикой. Такова его оценка доктрины Монроэ, плана Дауэса и т. д. Американское управление Филиппинами автор признает «до чрезвычайности либеральным», а политику Штатов по отношению к Кубе «тонким видом империализма». Несомненно, что у Муна есть совершенно определенное пристрастие по отношению к американскому империализму; сам он признается, что «сознавать это психологическое пристрастие, конечно, легче, чем освободиться от него» (стр. 300).

Такое же пристрастие, хотя и направленное в противоположную сторону, «чувствуется у автора при исследовании проблем внешней политики Советского союза. Здесь автор опускается до вульгарных представлений о существовании красного советского мпериализма. Мун заявляет, например, что по отношению к Китаю Советская Россия обнаружила даже бо́льшую агрессивность, чем цари».

В общем, книгу Муна в теоретическом отношении нельзя признать шагом вперед в изучении проблем империализма. Идеологически она представляет собой соединение бесформенных пацифистских тенденций, иногда, правда, принимающих довольно острую форму, с замаскированными попытками апологии какой-то новой фазы империализма, будто бы вырастающей из недр современного общества. Достоинствами работы является сравнительное обилие фактического материала и довольно яркий язык. Книга эта пригодна только для искушенного читателя, в голову же читателя неопытного она внесет идейный сумбур.

Книга снабжена дельным предисловием т. Пашуканиса.

М. Острогорский. Демократия и политические партии. Т. I. Англия. Под ред. и с предисловием Е. Б. Пашуканиса. Изд. Коммунистической академии. М. 1927, стр. 280.

Перевод некогда нашумевшей книги Острогорского обогащает нашу литературу о буржуазной демократии и политических партиях в высокой степени ценным иссле-

дованием. Прекрасное знание предмета позволяет автору дать тончайший анализ внутреннего механизма буржуазных политических организаций, вскрыть закулисную сторону партийной деятельности и обнажить прямую связь и зависимость действий политиков от велений магнатов капитала. Картина политических нравов, ярко обрисованная в книге, поистине безотрадна и уж, конечно, ничего общего не имеет с тем апологетическим прославлением демократии, каким и поныне занимается международная социал-демократия.

При наличии материального неравенства и зависимости формальное равноправие — основной принцип буржуазной демократии — не обеспечивает действительного политического равенства. Вся система избирательного права затрудняет малоимущим слоям населения возможность пользоваться им. Сплошь и рядом переезда с квартиры на квартиру достаточно, чтобы лишиться права опустить свой бюллетень в избирательную урну. Этими особенностями английского избирательного права пользуется каждая из политических партий для уменьшения числа своих противников и увеличения кадров своих друзей. Нечего и говорить о том, что процедура протестов (objections) и претензий (claims) создает благоприятнейшую почву для злоупотреблений и неминуемо соединена с ограничением свободы избирателя. Но, получив право голоса, избиратель отнюдь не предоставляется самому себе. Еще задолго до выборов он начинает подвергаться обработке самыми различными средствами. К числу невиннейших относится устная и печатная пропаганда, затем следуют «tea meetings, где чашка чая с тартинкой — единственный политический стимул», празднества с оркестром, политическими речами и прохладительными напитками и, наконец, подкуп избирателя. Ранее это делалось просто: раздавались деньги, выдавались бесплатно спиртные напитки После издания Corrupt Practices Act (1883), запрещавшего подкуп избирателей, дело было усовершенствовано. Теперь подкупается не индивидуальный избиратель, а целые коллективы и ассоциации путем разного рода пожертвований и дарений.

Чем ближе к выборам, тем деятельней и энергичней становятся политические организации. К изложенным выше методам привлечения избирателей присоединяется так называемый canvass (вербовка). Агенты партии навещают граждан на дому, убеждая их голосовать за своего депутата; в ход пускаются все средства, начиная от тонкой лести до устрашения. «В деревнях, особенно на юге, запугивание гораздо более достигает цели, так как беднота очень зависима в своем каждодневном заработке», но и в городах и фабричных поселках эти приемы — не последняя мера борьбы за голоса. Наступает день выборов, но средства воздействия на огромную массу инертных, колеблющихся или безразличных избирателей еще не исчерпаны; тут на первое место выплывает вопрос о предоставлении избирателю средств передвижения к месту выборов,—естественное преимущество на стороне партии, имеющей наибольшее число богатых людей в своих рядах, на стороне «motor car party» (автомобильной партии, как были прозваны консерваторы).

Уже вышеперечисленных обстоятельств было бы достаточно для создания на выборах преимущественного положения имущим классам, а между тем, оказывается, существуют еще десятки путей для отстранения масс от влияния на политику. Прежде всего это находит себе выражение в способах выдвижения кандидата в депутаты парламента. Чтобы быть избранным, необходимо располагать: а) значительными денежными средствами для проведения дорого стоящей избирательной кампании, б) пользоваться личным влиянием на избирателя или же, что безмерно важнее, иметь поддержку какой-либо политической организации. Обычно в депутаты попадают либо состоятельные люди, либо лица, берущие на себя обязательство взамен оказанной им политической ассоциацией помощи выполнять в парламенте ее (ассоциации) приказания. Острота предвыборной борьбы, огромные средства, требуемые на ее проведение,—все это делает невозможным победу на выборах так называемого «независимого» депутата; победа обеспечена лишь за тем, кто выступает под флагом партии.

Историю и организационно-политические принципы этих партий излагает автор во втором отделе рецензируемого тома. Общие недостатки работы, вытекающие из

мировоззрения автора (правильнее было бы сказать из отсутствия мировоззрения), в этой части сказываются очень сильно и часто крайне понижают достоинства книги. Нужно прямо сказать, что при всей важности, значительности и красочности сообщаемых автором фактов истории партий так и не получается. Чтобы расшифровать действительные основы описываемой в книге эволюции английских политических ассоциаций, читателю необходимо самому проделать большую работу и прежде всего обратиться к истории социально-экономической эволюции Англии; то же, что дано у Острогорского для объяснения развития партий, не только не достаточно, но иногда просто-напросто смехотворно. Зато прекрасно, убийственно тонко рассказано об организационной структуре партий, о внутренних махинациях и комбинациях партийных лидеров, о невидимом закабалении партий теми, кто создает основы их финансовой, а тем самым и политической мощи. Партийные съезды, формально вершащие судьбу партий, на деле оказываются пустым народным представлением, где прения невозможны, где все заранее решено wire-pullers — дергателями веревок. Всякая попытка «бунта», всякое несогласие подавляется «whip»'ом (кнутом), располагающим всяческими средствами давления на отдельного члена партии или даже на местную организацию. Любопытно то, что эти же методы были заимствованы в большой мере и рабочей партией; после прочтения книги читатель поймет, чем объяснить столь длительное пребывание Макдональда и др. во главе ее. Следует, однако, указать, что страницы, посвященные истории рабочих и социалистических организаций, относятся к худшим страницам этой весьма интересной, несмотря на указанные недостатки, книги.

IV. ИСТОРИЯ СОЦИАЛИЗМА И РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ

Max Quarck. Ein Frankfurter Vorläufer des Kommunismus (Johann Jakob Kutt). Frankfurt a. M., Verlag der Union-Druckerei und Verlagsgesellschaft, 1928, S. 31.

Макс Кварк. Франкфуртский предшественник коммунизма. Иоганн-Якоб Кутт). Франкфурт н/М., 1928, стр. 31.

Макс Кварк, историк рабочего движения и революции 1848 г. в Германии, издал отдельной брошюрой серию своих статей, напечатанных (февраль — март 1928 г.) в приложении к франкфуртской социал-демократической газете «Volksstimme». В книжке излагается история коммунистической секты садовника И.-Я. Кутта, называвшей себя «детьми божьими», а позднее — союзом «Филадельфия»; секта эта существовала во Франкфурте и Борнгейме с 40-х гг. вплоть до основания Всеобщего германского союза рабочих в 1863 г. Книжка написана на основании архивных актов и коллекции забытых брошюр самого Кутта, хранящихся во франкфуртской городской библиотеке.

Не будем перечислять всех работ Кутта, охарактеризованных Кварком; укажем лишь на самую раннюю, программную брошюру «Das politische Reich Gottes» (1848), содержащую в 34 параграфах основные положения «политического царства божия», за которое Кутт боролся. Это — декларация прав человека на политическую свободу, это — требование уничтожения частной собственности, власти денег; требование на общественное бесплатное питание и т. п. Реорганизация общества мыслится как объединение всех народов в единое мировое государство, управляемое 144 000 из лучших людей. Центр правления должен находиться в Палестине. Мировое государство делится на национальные единицы, во главе каждой также стоят 144 000 лучших людей; национальная единица, в свою очередь, делится на провинции. Каждые семь лет производится генеральная ревизия всех органов управления. Вся эта реорганизация, с устранением денег и частной собственности, Кутту мыслится как мирная пропаганда в соответствии с высшими законами Евангелия.

По существу коммунистическая программа Кутта — слабый отзвук могучего в начале 40-х гг. движения немецких ремесленников в Швейцарии. Хотя Кварку и не удалось установить непосредственной связи между Куттом и этим движением, но уже

отчет комиссии Блюнчли указывает на нити, ведущие от ремесленного коммунизма во Франкфурт. И кроме того весь план реорганизации общества Кутта мыслим только как отблеск учения Вейтлинга. То же непонимание исторического развития и его движущих сил, то же конструирование коммунизма из моральных норм и Евангелия, то же преувеличение роли денег, как в системе Вейтлинга. Но существенная разница между этими двумя утопистами в том, что Вейтлинг стоял за массовую борьбу и не возражал против применения силы, если угнетатели противятся коммунистическому строю, между тем как Кутт отрицает применение силы и призывает к мирной пропаганде.

Уже первое выступление Кутта на главной улице Франкфурта в 1848 г. свидетельствует об его умопомешательстве на религиозной почве. С этого времени в его жизни чередуется то пребывание в доме для умалишенных, то пропаганда на свободе. В начале 50-х гг. он организовал вместе со своими немногочисленными приверженцами земледельческую коммуну в Борнгейме. В 1860 г. это объединение приступило к изданию журнала «Sieg der Wahrheit» (всего вышло окол 11 номеров). Еще больше внимания привлекала коммуна Кутта в начале 60-х гг., когда он выступал на публичных собраниях против прогрессистов и сторонников свободной торговли (напр. против Фаухера). Тогда его идеи впервые получили некоторый отклик и в рабочей среде. Но как раз к этому времени он безнадежно заболел и до своей смерти (1881 г.) больше не выходил из лечебницы для душевнобольных.

Книжка Кварка представляет интерес для исследователя раннего социализма и коммунизма в Германии; она, кроме того, имеет значение для истории рабочего движения в франкфуртском районе. Для ознакомления читателя с коммунистическими воззрениями Кутта к книжке приложена выдержка (5 страниц) из характерной его брошюры «Die Theokratie — das Heil der Welt! Eine Erlösung von allen Geldsünden; ein Mittel alle Menschen reich und glücklich zu machen!» 2. Aufl., 1856.

Gustav Mayer. Aus der Welt des Sozialismus. **Kleine historische Aufsätze.** Berlin, Weltgeist-Bücher, 1927, S. 63.

Густав Майер. Из мира социализма. Мелкие исторические статьи. Берлин 1927, стр. 63.

Настоящая книжка представляет собою сборник статей известного историка социализма и рабочего движения на Западе проф. Густава Майера, ранее напечатанных в разных социалистических и буржуазно-демократических периодических изданиях; статьи охватывают период с 1911 по 1926 г. и написаны главным образом по случаю годовщины рождения или смерти Маркса, Энгельса, Лассаля и Либкнехта или же трактуют о таких исторических событиях, как революции 1848 г. или мировая война.

Трудно критиковать книжку Майера, ибо уже очень многое из того, что вошло в этот сборник и перепечатано без всяких изменений или оговорок, сейчас является устарелым и уже превзойденным. И автор, повидимому, почувствовал это сам, оговариваясь в кратком послесловии, что «то или иное выражение» в его «исторических статьях» в наши дни должно считаться «историческим». Эту оговорку мы принимаем, конечно, к сведению; она заставляет нас подойти к книжке под определенным углом зрения, но это не означает отказа от всякого критического разбора, ибо суть дела не столько в «том или ином выражении», в отдельных словах, а в оценке определенного явления на почве той исторической обстановки, в которой эти статьи были написаны.

Прежде всего на всех статьях лежит определенная печать — печать юбилейности; в них больше фельетонного журнализма, нежели исторического анализа. Но книжка читается легко, с захватывающим интересом, ибо Майер — в этом никто не сомневается — блестящий журналист. Из одиннадцати статей пять посвящены жизни и деятельности Маркса («Жизненный путь Маркса», 1918; «Еврей в Марксе», 1918; «Маркс и Лассаль в оценке социал-демократии», 1923; «Последнее пребывание Маркса в Берлине», 1923, и «Маркс и большевики», 1918). Наиболее ценной для широкого читателя (а книжка предназначена для такого) нужно признать первую статью. Только при

том мастерстве журналиста и том детальном знакомстве с предметом, какими обладает Майер, можно нарисовать на семи страницах столь яркую и рельефную картину жизни и деятельности такого великана мысли, как Маркс. Но зато вторая статья («Еврей в Марксе») не может не привести в недоумение всякого марксиста, несмотря на то, что она написана одновременно с первой. Не знаем, повлияло ли на автора то обстоятельство, что статья писалась для «Neue Jüdische Monatshefte», или же высказанная в ней точка зрения совпадает действительно с его собственным убеждением. Во всяком случае марксист ни в коем случае не может согласиться с позицией автора. На самом деле: по Майеру выходит, что марксизм является чуть ли не специфическим продуктом унаследованных еврейских черт характера Маркса, проявлявшихся, правда, лишь в подсознательном, так как сознательному проявлению еврейства в Марксе, по Майеру, мешало его воспитание после перехода семьи в христианство. И доказательством того, что Маркс не знал еврейства и не дооценивал его достоинств, Майеру служит «Еврейский вопрос» (1843). Такая постановка вопроса во всяком случае весьма странна. Это та же концепция, согласно которой все, начиная от анархо-коммуниста и индивидуалиста-психоаналитика О. Рюле и кончая народными социалистами, стараются использовать «Еврейский вопрос» в доказательство наличия «антисемитизма» у Маркса. А между тем ведь критика еврейства Маркса ничего общего с антисемитизмом не имеет: он смотрит на «Schacherjude» лишь как на общественный продукт, который обязан своим возникновением и развитием определенным историческим условиям,—как на продукт, исчезающий вместе с исчезновением создавших его условий. Как все мудрецы, открывшие «антисемитизм» у Маркса, так, нам кажется, и Майер проглядел другую часть «еврейского вопроса», где Маркс доказывает, что практический еврейский дух стал практическим духом христианских народов, что химерическая национальность еврея есть национальность купца, вообще денежного человека, что практическое еврейство получило свою законченность лишь в законченном христианском мире. Но Майера интересует не столько «сознательно-отрицательное отношение» Маркса к еврейству, сколько его подсознательная духовная зависимость от него: Маркс-де в силу ряда унаследованных от своих предков духовных свойств является пророком Израиля и Иудеи, надевшим очки ученого! Будто непоколебимая вера Маркса в конечную победу пролетариата,— вера, никогда, даже в самые трудные и безнадежные времена не поколебленная,— есть старая вера иудейских пророков в то, что дряхлое, выродившееся общество обязательно порождает новое, лучшее общество с освобождением угнетенных. «Эмансипация человека от нищеты путем «Aufhebung» пролетариата — это истинно пророческая мысль, воодушевляющая Маркса», и «Маркс был, сам этого не сознавая, в своем глубоком «я» еврей из закваски пророков» (стр. 18). Правда,— говорит Майер,— Маркс считал эту веру познанием (Erkenntnis). Что же, если сам автор считает марксизм верой, вопрос ясен.

Из других статей две посвящены Лассалю. Майер тогда еще стоял на той точке зрения, что Меринг впервые подошел к правильной оценке значения Маркса и Лассаля для немецкого рабочего движения, поставив их на одну ступень как великие исторические личности (стр. 19); немецкий рабочий класс, по мнению автора, должен гордиться тем, что он, на-ряду с двумя великими писателями (Гете и Шиллер), имеет также двух великих вождей (стр. 18). Притом Маркс, по оценке Майера, был работником генерального штаба, а Лассаль — работником фронта: Маркс давал битвы и побеждал в области теории, Лассаль же — в области практической политики; Маркс— гений духа, Лассаль — гений воли и т. д.— В статье «Лассаль и монархия» автор защищает Лассаля против утверждений, будто он в 1863 г. являлся сторонником социальной монархии, между тем старая легенда о Лассале как о великом революционере и рабочем трибуне,— легенда, поддерживавшаяся раньше не только Майером, но и Мерингом и многими другими,—окончательно разрушена изданием переписки Лассаля с Бисмарком (летом 1928 г.), и, таким образом, именно Густаву Майеру, издавшему эту переписку, выпало на долю подтвердить жестокую, но правильную оценку, данную Лассалю еще много десятилетий тому назад Марксом и Энгельсом.

Несколько других статьей, как «48-й год и немецкое рабочее движение» (1923), «Вильгельм Либкнехт» (1926), «Восточные границы [Германии] и классики германской социал-демократии» (1920), «Фр. Энгельс и мировая война (1918),— являются интересными, живо написанными популярными очерками по данным вопросам, хотя и здесь, в особенности в двух последних статьях, материал подобран слишком односторонне. «Лассаль и Гейне» (1922), статья, вскрывающая интересные моменты в отношениях молодого Лассаля к Гейне, опубликована здесь впервые по-немецки; до этого она была напечатана лишь по-голландски в «Het Volk». Но наиболее «исторической» из всех статей сборника, несомненно, нужно считать статью «Маркс и большевики» (1918), написанную еще до Брестского мира. Майер признает вождей русской пролетарской революции учениками Маркса и Энгельса, поскольку они ставят интересы мирового пролетариата выше национальных интересов. Но в другом, решающем, по Майеру, пункте он пытается усмотреть расхождение между большевизмом и учением Маркса и Энгельса: основоположники научного социализма,— говорит он, — никогда не согласились бы продолжать войну в угоду своим идеям, если эта война означала разрушение производительных сил и культуры,— войну, подготавливавшую лишь, по тогдашнему мнению Майера, почву для господства американского капитала (стр. 91). Вожди русской революции поэтому — «диалектические мечтатели», опаснейшие из всех фанатиков. И автор тогда думал, что логика истории излечит их от этих «мечтаний», иначе он предвещал им близкий конец. Ну что ж,— логика истории решила иначе. И вопрос только в том, кто тогда правильно понимал эту логику — автор или вожди русской революции. И так как навряд ли Майер стал бы ныне оспаривать, что логика истории оказалась на стороне последних, то этим и решается вопрос о том, кто был учеником Маркса и Энгельса.

Но не в этом мы упрекаем автора; его точку зрения тогда разделяли и многие другие. Нам лишь кажется, что широкие читательские массы, для которых предназначена книжка, имеют право требовать от автора сборника статей, написанных на разные актуально-политические и исторические темы, освещения той исторической обстановки, в которой эти статьи возникали, а также отчета о состоянии этих проблем в настоящее время.

Marguerite Thibert. Le féminisme dans le socialisme français de 1830 à 1850. Paris 1926, p. VII + 377.

Маргерит Тибер. Феминизм во французском социализме с 1830 по 1850 г. Париж 1926, VII + 377.

Писать историю феминизма во французском социализме второй четверти прошлого века — значит главным образом писать историю сен-симонизма времени раскола 1831 г., менильмонтанского периода и историю позднейшего влияния сен-симонизма. Поэтому бо̀льшая часть книги посвящена феминизму сен-симонистскому. Автор пользуется нигде не печатавшимся до сих пор архивным материалом (из Национальной библиотеки и Арсенала), позволяющим видеть многое из истории сен-симонистской школы в более определенном свете. В частности, вопрос о влиянии Фурье на Анфантена ко времени раскола 1831 г. становится более ясным благодаря письму d'Eichthal'я от 2 марта 1832 г.

Очень хорошо в книге изложена история сен-симонистской догмы о женщине. Наибольшие главы посвящены феминизму социэтарной школы и Кабэ, антифеминизму Прудона. Во второй части книги рассматривается деятельность и пропаганда сен-симонисток, их влияние в самой сен-симонистской школе в период расколов (Базар, Родриг) и менильмонтанский период. Вторая глава второй части рассказывает о влиянии сен-симонизма на Жорж-Занд, о косвенном влиянии на Флору Трис ан. Последняя глава посвящена истории феминизм в период революции 1848 г., когда обозначились два течения: социалистическое и «автономно-феминистическое». К книге приложена богатая библиография.

Rudolf Wissell. Zur Geschichte utopischer Staatsideen. «Grünberg's Archiv für die Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung», XIII. Jahrg., 1928, S. 65—79.

Рудольф Виссель. К истории утопической мысли. «Архив Грюнберга», XIII, 1928 г., стр. 65—79.

Автор рассказывает об одном не осуществившемся плане создать коммунистическую республику «по образцу древних спартанцев». То было в Штуттгарте в начале 1806 г. Авторы проекта — молодые немецкие студенты. Акт, составленный Рейхенбахом, который был душой этого союза, говорит о рабском подчинении человека человеку, об унижении и бедствиях, испытываемых целыми народами Европы; нет, говорит автор акта, надежды на изменение этого положения, и он заключает к необходимости создания общежития где-нибудь вне Европы, например на одном из благодатных южно-океанических островов. Каждый новопоступающий обязан был принести присягу в обстановке, напоминающей обрядность масонских лож. В 1808 г. полиция, которой один из участников союза донес о существовании этого «тайного сообщества», арестовала его руководителей, после чего союз, и без того близкий к самоликвидации, распался.

V. ИСТОРИЯ РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ

Социал-демократическое движение в России. Материалы под ред. А. Н. Потресова и Б. И. Николаевского. Предисловие П. Лепешинского. Том первый. Госиздат, Ленинград 1928, стр. 410.

В основу настоящего издания положены материалы, сохранившиеся в архиве А. Н. Потресова, а именно его переписка с Лениным (писем последнего мало), Плехановым, Засулич, Аксельродом, Воровским, Парвусом, Р. Люксембург, П. Масловым, Туган-Барановским, Шанцером, А. Саниным, В. Ионовым и переписка некоторых из названных лиц между собой (переписка Потресова с Мартовым составит особый том). К основным материалам, извлеченным из архива Потресова, прибавлены и соответствующие материалы из архивов Мартова и Аксельрода. Неизбежные в аналогичных сборниках пробелы могут быть отчасти восполнены обращением к уже опубликованным изданиям того же рода, как «Переписка Плеханова и Аксельрода», «Письма Аксельрода и Мартова», «Ленинские сборники» и пр.

За исключением первого отдела книги, охватывающего вторую половину 90-х годов, в рассматриваемом томе собраны письма той части руководящей верхушки «Искры», которая впоследствии образовала меньшевистскую и ликвидаторскую фракции. Ввиду роли, сыгранной в истории нашей страны марксизмом и, в частности, группою «Искры», сборник, естественно, представляет выдающийся интерес и дает много материалов для суждения о зарождении разногласий в некогда, казалось, единой партии и об их развитии, в конце концов расколовшем ее на две враждебные организации.

Второй отдел охватывает период «Искры» до второго съезда; третий отдел — период после второго съезда до революции 1905 г.; четвертый, наиболее обширный отдел, — эпоху «Голоса социал-демократа» и «Нашей зари», т. е. эпоху ликвидаторства (1906—1914). Кроме того, в книге содержатся обширные приложения, из которых следует особо отметить материалы к истории раскола в заграничном «Союзе русских социал-демократов» в 1900 г. В общем и целом в сборнике преобладают материалы, исходящие от представителей меньшевизма и ликвидаторства и выявляющие точку зрения этих групп.

Если материалы первого отдела говорят кое-что о конфликте, назревавшем уже в конце 90-х годов прошлого века между представителями «легального» и революционного марксизма (в этом отношении чрезвычайно любопытны письма Туган-Барановского и особенно Ленина, стр. 38, 39—43, 44, 45—48), то со второго отдела

перед нами начинает развертываться картина раскола в лагере искровцев, состоявшем из совершенно разнородных элементов, только на время объединенных борьбой против аполитичных тенденций в социал-демократическом движении, против так называемого «экономизма». В сборнике мы находим много материала для характеристики внутренних трений в редакционной коллегии «Искры», производившей на непосвященных впечатление монолитного целого. Уже весной 1902 г., т. е. за год до съезда, в этой якобы спевшейся и солидарной коллегии пахло разрывом, который и проявился на втором съезде.

Третий отдел дает представление о коалиции, создавшейся против Ленина после раскола 1903 г. Кроме определенных меньшевиков, в этой пестрой коалиции принимают участие Парвус, Роза Люксембург, позже даже часть большевистского ЦК (Носков, Красин). Парвус и Люксембург, теоретически во многом близкие к Ленину, но практически идущие с его противниками, пытаются занять промежуточную позицию (стр. 108 сл.). В коалицию удается вовлечь и Каутского, что заставляет Потресова воскликнуть в письме к Аксельроду от 27 мая 1904 г: «Итак, первая бомба отлита, и — с божьей помощью — Ленин взлетит на воздух». Судя по этим словам, в коалицию вовлечен был и сам боженька, но и его помощь не помогла. Не помогло и участие в коалиции «левых», несмотря на хитроумный план Потресова «выпустить (против Ленина) авторитетов—Каутского (уже имеется), Розу Люксембург и Парвуса» (стр. 124—125). Надо было показать, что против Ленина настроено и левое крыло II Интернационала, и Потресов, добиваясь от Люксембург отзыва на брошюру Ленина «Шаг вперед», пишет ей, что особенно важно иметь такой отзыв именно от нее, ославленной как бланкистка («что бы вы ни написали, нам будет чрезвычайно ценно»), и Люксембург, не разобравшись в сущности разногласий, соглашается поддержать меньшевистскую компанию (стр. 128—135).

Впрочем, такие союзники, как Парвус и Люксембург, были для меньшевиков довольно случайными. Ненависть к большевизму и опасение, что среди россиян «демагогия» Ленина встретит сочувствие, принуждали меньшевиков пользоваться услугами и таких попутчиков, какие принципиально в сущности стояли от них чрезвычайно далеко. Так, Люксембург далеко не признает своей солидарности с меньшевиками во всех вопросах, а по вопросу об отношении к булыгинской думе даже прямо с ними не соглашается, считая нужным выступить против нее — «конечно, в самой лойяльной форме» (стр. 159, 161). Не перестает брыкаться против меньшевистского оппортунизма и Парвус, у которого тогда был еще революционный инстинкт. В середине февраля 1905 г., когда в воздухе запахло близкой революционной грозой, он пишет Аксельроду: «Мелочная пыль внутренних распрей партии вам застилает все горизонты. Ленин вам беспрерывно звучит в ушах, ленинизм у вас сидит в головах, и что вам ни скажешь, вы только воспринимаете pro или contra Ленина». А по поводу споров о характере предстоящей русской революции и будущего временного правительства Парвус поучает меньшевиков марксизму: «Поддержка худосочных русских либералов, — говорит он, — вам кажется важнее, чем уяснение рабочим их политических задач» (стр. 153—156). Но меньшевики, проглатывая эту «дружескую» критику, находили, что против большевиков и веревочка может пригодиться, в особенности же «левая».

Наиболее интересен четвертый отдел, трактующий об эпохе ликвидаторства, для характеристики которого он дает много нового материала, исходящего от самих творцов и покровителей этого течения.

Прежде всего замечательна органическая ненависть ликвидаторов к большевикам и к их вождю, подчас переходящая в чисто звериную злобу. «Наш бонапартик», «самодур», «владыка», «наши семейные черносотенцы», «хулиганские натиски известной клики», «наши нечаевцы и просто хулиганы», «наши самодуры и держиморды», «внутренние Пуришкевичи и Дубровины» — иных терминов по отношению к Ленину и большевикам не знает Аксельрод. В тон ему Потресов называет большевиков «разбойниками пера и мошенниками печати», радуется падению тиража большевистской газеты («отрадный факт!»), но скоро, 10 апреля 1914 г., принужден с грустью со-

знаться, что «большевистское засилье все еще продолжается» и что тираж «Пути правды» возрос до 40 000, между тем как меньшевистская «Северная рабочая газета» увеличила свой тираж только до 16 000 (стр. 123, 194, 197, 201, 207, 212, 215, 249, 251, 270).

Этому ненавистническому хору вторит и Плеханов. «Мои взгляды, — пишет он Потресову 17 марта 1906 г. (уже тогда!). — сильно расходятся с тем, что называется теперь марксизмом в России». Торжество революционных принципов среди рабочих Плеханов считает «одичанием, которое надвигается на нас». В письме к Мартову от 6 марта 1907 г. он выражает желание, чтобы на предстоящем съезде дело дошло до открытого разрыва с большевиками: «идти с ними вместе решительно невозможно». И он доходит до того, что признает «большим несчастьем», что в Государственную думу избран «каким-то воровским манером Алексинский», бывший тогда большевиком. «Воровской» же манер заключался в том, что для обхода гнусного царского избирательного закона Алексинский, чтобы попасть в Думу, записался корректором в типографию. Впоследствии же, когда Алексинский ушел далеко вправо, Плеханов сошелся с ним очень близко (стр. 169, 170, 171, 175).

Но иногда в Плеханове пробуждалось его старое революционное чувство. О энергически протестует против уступок немарксистам в философии: «против подобных мезальянсов (с эмпириомахистами) я восстаю всеми силами души». Он поднимает бунт против попыток ликвидировать подпольную партию в обстановке самодержавия, выразившихся в известной статье Потресова в меньшевистском пятитомнике, посвященном революции 1905 г. Полемике по поводу этого конфликта в меньшевистском лагере посвящена значительная часть четвертого отдела. Здесь Плеханов, между прочим, указывает, что в свое время именно Потресов помешал ему выступить против Струве с той резкостью, какой тот заслуживал, и прибавляет: «я, с своей стороны, решительно неспособен перейти на точку зрения «легального марксиста», хотя бы и взбунтовавшегося». «Отныне, — заключает он, — мне выступать рядом с А. Н. [Потресовым] неудобно... Отныне мы идем по разным дорогам» (стр. 184, 186—189). Увы, этого пороха хватило только до начала мировой войны.

Но стоило Плеханову возмутиться против слишком далеко идущей меньшевистской логики, как против него сразу восстали его старые товарищи, в том числе и Засулич, некогда благоговевшая перед ним. «Следует не давать ему «последнего слова», — поучает она ликвидаторов, — он очень избалован в этом отношении». Ей подпевает Аксельрод, старый соратник Плеханова, который теперь начинает крыть его как какого-нибудь большевика: «ненасытное чувство мести», «поистине преступные демагогические атаки». А особенно визгливый тон берет пойманный с поличным Потресов: «безобразие», «бросаю Плеханову обвинение в бесчестности». Меньшевики затевали даже международный суд чести над Плехановым за то, что он обвинил товарищей «в ренегатстве, измене и предательстве партии» (стр. 205—229).

Но напрасно меньшевики подняли такой шум. Опубликованная в рассматриваемом сборнике переписка, в которой эти люди, не лицемеря, откровенно разговаривали между собой, полностью подтверждает выдвинутые против них обвинения. Ликвидаторство глубоко сидело в психике меньшевиков. Уже в конце октября 1905 г Засулич писала Мартову: «Теперь опять и во сто раз сильнее 9 января чувствуешь, что окончательный конец подпольному курятнику со всеми его партиями». А Потресов в письме к Аксельроду от 1 ноября того же года поддерживает ее мысль: «Что «заграница» во всяком случае закончила свое существование, это ясно» (стр. 163—164). Впрочем, когда местные работники начали доводить эти взгляды до логического конца, «старики» смутились и, по крайней мере в интимной переписке, скрытой от непосвященных, в частности от злокозненных меньшевиков, в первое время как бы осуждали явно ликвидаторские тенденции. 16/29 октября 1907 г. Потресов пишет Аксельроду: «У нас полный распад и совершенная деморализация». И он прибавляет: «Я не думаю, чтобы этот распад и эта деморализация где-либо так ярко заявили себя, как среди нас, меньшевиков», которые «партийное небытие возводят в принцип» (стр. 171); ср. письмо его же от 25 ноября 1911 г., где он говорит об ограниченности

и закоснелости меньшевистских «практиков» (стр. 217). И даже Засулич вначале была недовольна тем меньшевистским духом, который впоследствии вылился в откровенное ликвидаторство (стр. 181). Но когда Ленин и присоединившийся к нему в этом пункте Плеханов подняли голос протеста против ликвидаторства, меньшевистские лидеры взапуски пустились отрицать самые очевидные факты, которые, как мы теперь видим, они полностью признавали в своей интимной переписке. Началось пресловутое «укрывательство» ликвидаторства.

Материалы сборника отчасти позволяют заглянуть за кулисы лаборатории, в которой подготовлялась механика этого укрывательства. Так, Аксельрод в письме к Потресову от 19 мая 1910 г. признает, что заграничные меньшевики из «Голоса социал-демократа» практиковали это укрывательство: «здесь преобладает тенденция к круговой поруке», т. е. к солидаризации с российскими практиками ликвидаторского пошиба (стр. 201). Равным образом в письме от марта 1911 г. Аксельрод защищается от упрека Гутовского-Маевского, одного из злостнейших лидеров этого течения, будто заграничные меньшевики присоединились к большевистским нападкам и обвиняли своих российских собратьев в ликвидаторстве, и восклицает: «Как, неужели мы подали повод к такому недоразумению?» И тут же он возмущается тем, что большевики выдвигают против него и подобных ему дипломатов из «Голоса социал-демократа» обвинение в укрывательстве ликвидаторов. В том же письме, рассказывая о приезде за границу одного из «оклеветанной тройки» российских ликвидаторов-цекистов, Ермолаева, Аксельрод констатирует, что при свидании этот ликвидатор «оказался настолько близок к нам и, обратно, мы к нему, насколько это вообще возможно для людей, так долго не находившихся в общении друг с другом» (стр. 212). Неудивительно, что в письме к Засулич от 6 мая 1912 г., когда рабочее движение начало в России возрождаться, Аксельрод, называя ликвидаторов «благонамеренными элементами, много поработавшими в последние годы над распространением правильных понятий», признает, что до сих пор они ничего не сделали для того, чтобы выйти из состояния неорганизованной аморфной массы.

Переписка лишний раз показывает, какую роль Аксельрод играл в выработке меньшевистской идеологии. Повторяя свои старые взгляды «на прогрессивных помещиков как на оппозиционный элемент», он уверяет, что в этом отношении с ним соглашался и Плеханов (стр. 185). Прочитав в газетах о том, что московские и саратовские биржевики высказались против политики министра народного просвещения Кассо, Аксельрод «прямо-таки чуть не прыгнул от радости» (стр. 213). 12 ноября 1913 г. он мечтает о «концентрации и координации всех прогрессивных сил» для борьбы с самодержавием и сожалеет, что рабочий класс не способен взять на себя эту миссию вследствие своей распыленности и «вследствие предрассудков, политического узколобия и погромно-бонапартистской демагогии, культивируемых «последовательными» в его собственных рядах» (стр. 250). Резкая кампания большевистских газет против к.-д. вызывает у Аксельрода нелестное сравнение: «Не таким ли односторонним характером отличалась позиция Швейцера, вызвавшая протест Маркса, Энгельса, Либкнехта и т. д.?» (стр. 190). Этой симпатии к к.-д. подпевает и Засулич: «Я попрежнему нахожу, что из всех зол нашей жизни к.-д. наименьшее и очень нужное» (стр. 189). Нападки «Правды» на к.-д. Засулич называет «клеветами» и даже меньшевиков в этом винит, но тут же клевещет на большевиков, намекая, что полиция сознательно терпит их прессу за травлю к.-д. (стр. 223). Особенно же пикантными с точки зрения раскрытия присущих меньшевизму буржуазно-либеральных настроений являются два заявления меньшевистских лидеров: одно — Аксельрода: «мне бы хотелось, чтобы не одни увриеры делали весну» (стр. 221), а другое — Потресова по поводу гегемонии пролетариата: «это — последняя цитадель «якобинизма», которую необходимо обстрелять, чтобы расчистить головы» — от марксизма, забыл он прибавить (стр. 199).

О буржуазном уклоне мысли свидетельствует и отношение двух столпов меньшевизма к реформам Ллойд-Джорджа. «Старой Англии конец, — восторженно пишет Засулич Аксельроду в апреле 1912 г. — Удары, хотя и не сознательно, наносятся уже

самому капитализму». И старик сочувственно откликается ей из-за границы: «Англия радует мне сердце... Вы верно подчеркиваете принципиальную многозначительность новейших событий в Англии». И он решается даже на пророчество: «По всей вероятности, начало новой, будущей эпохе человеческого общежития положено будет все-таки в Англии» (стр. 220—222).

Некоторый интерес представляет и полемика о пролетарской культуре; в частности, любопытны по этому поводу замечания Аксельрода (стр. 243, 245—246).

И. Н. Мошинский (Юзеф Конарский). На путях к I съезду РСДРП. 90-е годы в киевском подполье. Изд. Общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев, М. 1928, стр. 210.

Литература по истории первого съезда нашей партии продолжает расти. Кроме сборника Истпарта «К 25-летию первого съезда» (Госиздат, 1923) и известной работы Б. Эйдельмана «I съезд РСДРП» (М. 1926), кроме ряда отдельных статей и глав в общих историях партии, этому же вопросу посвящены значительные части воспоминаний некоторых деятелей той поры, как, напр., П. Тучапского «Из пережитого» (Госиздат Украины, Одесса, 1923). Новая книга т. И. Мошинского в значительной части представляет, пользуясь немецким термином, Beitrag к истории подготовки того же съезда, не перестающего привлекать внимание наших историков, несмотря на то, что предпринятое им дело объединения разрозненных с.-д. групп в единую партию не увенчалось непосредственным успехом, но морально подготовило осуществление его вторым съездом.

Книга составилась из статей, печатавшихся в журнале «Каторга и ссылка» 1928 г. Она трактует главным образом о киевском подполье 90-х годов прошлого века, естественно останавливаясь больше на деятельности с.-д. групп, хотя не обходит молчанием и групп народнических и польско-националистических, а отчасти и украинских. Правда, за последнее время появилось специальное исследование В. Манилова о деятельности с.-д. организаций в Киеве, но оно печаталось в мало распространенном издании («Летопись революции», 1923, №№ 3—5) и, разумеется, по самой своей теме не могло охватить всего киевского подполья, тем более, что оно написано на основании архивных документов и уже по одному этому существенно отличается от работы И. Мошинского, которая представляет личные воспоминания автора, кое-где, впрочем, пополняемые сообщениями сторонних источников, в частности выдержками из уже опубликованных мемуаров других лиц, а иногда и данными из частных архивов. Таким образом, книга И. Мошинского не только не может быть признана лишней или ненужной, но, напротив, является вполне своевременной и представляет серьезный вклад в литературу пред-истории нашей партии. Вдобавок она написана живым языком и проникнута глубоким чувством, естественно возникающим при воспоминании о розовой юности движения и о собственной молодости, так что читается она легко и с большим интересом.

Автор начинает с предшественников марксистких кружков в Киеве периода 1884—1892 (тайное общество «фокинцев», или «заговорщиков», производящее теперь несколько старомодное и даже комическое впечатление, драгомановские украинские кружки «социалистов-федералистов», польские кружки, преимущественно примыкавшие к «Пролетариату»). Затем он переходит к организациям учащейся молодежи, особенно студенческим, игравшим в то время выдающуюся инициативную роль. Отдельную главу он посвящает польским социалистическим группам, которые в Киеве, в отличие от других городов, оказывали, судя по рассказу автора, огромное влияние на представителей и других национальностей, в частности в период подготовки социал-демократических кадров. Далее он переходит к русским организациям, преимущественно социал-демократическим (впрочем, в то время народники в Киеве не занимали крупного места в движении), рассказывает об их работе, о ее плюсах и минусах, об установлении связей с рабочими, причем набрасывает несколько удачных портретов, напр. известного с.-д. деятеля Ю. Мельникова и не менее известного, но только с другой стороны, Татарова, сначала вертевшегося около с.-д., затем перешедшего к эсерам и сделавшегося, на-ряду с Азефом, одним из виднейших провокаторов (особенно пикантны

те страницы, на которых автор рассказывает о попытке ППС'овцев создать с помощью этого Татарова, в противовес РСДРП, мифическую «Русскую с.-д. партию»; птенцы гнезда Пилсудского только напрасно ухлопали свои денежки). Мы видим, как постепенно с.-д. находят дорогу к рабочему классу, как путем агитации им удается расшевелить массы и как мало-по-малу складываются силы той организации, которая вскоре берет на себя смелую задачу объединить разрозненные местные группы в одну большую партию рабочего класса. Году подготовки первого съезда в книге посвящена особая (пятая и последняя) глава, заканчивающаяся описанием разгрома Киевского комитета РСДРП в апреле 1901 г., после чего автору воспоминаний уже не пришлось больше работать в Киеве.

На естественно встающий вопрос, почему именно Киев оказался тем центром, которому удалось не только прийти к мысли об объединении партии (эта мысль приходила в голову многим и тогда, и раньше), но и осуществить эту носившуюся в воздухе мысль рассматриваемая книга дает достаточно вразумительный ответ. С одной стороны Киев был центром в известном смысле интернациональным, где представлена была интеллигенция польская, украинская, русская и еврейская, благодаря чему политическая жизнь здесь кипела всегда, наблюдалось своего рода перепроизводство революционной интеллигенции и работа не прекращалась, несмотря на полицейские преследования (в Москве, напр., временами движение, в результате разгромов, совершенно приостанавливалось). С другой же стороны, в Киеве, как городе со слабо развитой промышленностью, движение дольше, чем в других местах, не выходило из стадии кружковой организации, изолированной от массовой борьбы, и потому реже подвергалось полицейским погромам; таким образом, здесь сохранился и подобрался кадр старых подпольщиков, которые систематически изымались властью в менее счастливых центрах, как Москва, Петербург и пр. В этом была сила, но в этом же была и слабость киевской инициативы, которой удалось формально добиться успеха и провести свой съезд, но которой не удалось создать действительно прочной и единой партийной организации, так как она не имела в тот момент опоры в главных индустриальных центрах.

Не во всем можно согласиться с автором. Так, явною отрыжкою киевских впечатлений является преувеличенная им оценка Драгоманова как одного из «самых дальновидных и трезвых политиков, выдвинутых в последней четверти XIX века российской действительностью» и стоящего чуть ли не на одном уровне с Герценом как политик и публицист (стр. 37). Вряд ли автор иронически намекает здесь на «либеральные» слабости Герцена. К таким же субъективным увлечениям автора относится и его утверждение, что Богдан Кистяковский «всю жизнь оставался верен своим юношеским идеалам» (стр. 119): неужели даже тогда, когда отошел от марксизма и сделался буржуазным националистом? Такие утверждения можно объяснить только невыдержанностью точки зрения самого автора.

Отметим также некоторые фактические ошибки автора. Вооруженное сопротивление на Жилянской улице имело место не в 1880, а в 1879 г., и там не могло быть речи о «народовольческой типографии», ибо партии «Народной воли» тогда еще не существовало (стр. 43 и 61). Точно так же Забрамский выдал революционную организацию не в 1882 г., а в 1879—1880 гг., причем преданные им в большинстве были еще не народовольцами, а землевольцами (стр. 111). В начале 90-х годов Л. Дейч не мог входить в группу «Освобождение труда», ибо находился тогда в Сибири (стр. 57). Странно, как могли «вдохновлять» молодежь рассказы о Канчере и Горкуне, сыгравших роль предателей в деле 1 марта 1887 г. (стр. 64). Бундиста Мутника автор везде называет Мучником.

Но все это мелочи, которые желательно исправить при следующем издании, но которые не мешают рассматриваемой книге оставаться интересной и полезной. Издана она довольно, прилично, со многими портретами, хотя из-за плохой корректуры никогда не знаешь, где кончается цитата (обычный порок современных изданий), и сшита «в тачку», что делает ее неудобочитаемой. Не пора ли уже отказаться от этого наследия «военного коммунизма»?

Б. П. Козьмин. С. В. Зубатов и его корреспонденты. Госиздат М., 1928, стр. 144.

Рассматриваемая книжка содержит письма к Зубатову охранников Зволянского, Ратаева, Лопухина, Ратко, Войлошникова, Климовича, Манасевича-Мануйлова, Медникова и Бакая, переписку Зубатова с В. Л. Бурцевым и предисловие Б. П. Козьмина «Зубатов и его корреспонденты». Ввиду той роли, которую Зубатов сыграл в истории русской политической полиции, книжка, хотя и представляет собрание сырых материалов, для будущей истории охранки в России представляет немалый интерес.

Большинство публикуемых в ней документов относится к тому времени, когда служебная карьера Зубатова прервалась и когда он, отстраненный от дел, доживал свои дни сначала во Владимире, а затем в Москве. Все названные выше его корреспонденты представляют собою видные фигуры в истории политического сыска на Руси. Особняком среди них стоит Бурцев, в свое время составивший себе (и не совсем по заслугам) славу разоблачителя тайн охранки. Но вот что замечательно. Когда читаешь переписку Бурцева с Зубатовым, то убеждаешься, что эти люди, стоявшие, казалось бы, по разным сторонам баррикады, в сущности, как правильно указывает предисловие к книжке, духовно были довольно близки друг к другу. Правда, к Бурцеву в революционной среде никто и никогда серьезно не относился; правда, в то время еще трудно было предвидеть его дальнейшую эволюцию, ныне толкнувшую его в лагерь ожесточеннейших контр-революционеров, но тон печатаемой теперь его переписки с Зубатовым показывает, что Бурцев уже в то время, когда воображал себя «революционером» и даже «социалистом», в сущности психологически был родственен старому миру. Конечно, мы не согласны с мнением Б. Козьмина, что Бурцев и Зубатов — «представители одного и того же общественного класса мелкой буржуазии, которой по своей социальной природе суждено колебаться из стороны в сторону между двумя станами». Точнее было бы сказать, что представители мещанства, каким всегда был Бурцев, в моменты торжества реакции духовно становятся чрезвычайно близкими к представителям господствующего помещичье-буржуазного класса, каким был Зубатов. Но в данном случае это не так существенно.

Бурцеву ужасно хотелось выудить у Зубатова его воспоминания для помещения в «Былом». Воспользовавшись письмом, написанным Зубатовым в 1906 г. в редакцию «Былого» с опровержением некоторых сообщений, данных в статье М. Гоца «С. В. Зубатов. Страничка из пережитого», напечатанной в № 9 «Былого» за 1906 г. и рассказывавшей о первых шагах Зубатова на поприще агента-провокатора, Бурцев вступил в переписку с отставным полицпантом, убеждая его писать свои воспоминания и собирать исторические материалы. В конце концов Бурцеву не удалось добиться своей цели, не удалось даже настоять на личном свидании с Зубатовым, чего он домогался в течение нескольких лет; но характерен самый тон этой в своем роде единственной переписки.

Бурцев рекомендуется Зубатову как любитель «ее величества Правды». Этой «правде» он призывает послужить и Зубатова. Более того, он уговаривает Зубатова работать... для свободы. Странный «революционер» уверяет своего корреспондента-охранника, что тот «в душе будет не в старой России, а в новой», льстит ему, называя его «человеком бывалым и не маленьким» и с комичными потугами пытается убедить его, что он, Зубатов, «глубоко сам презирает таких людей, как Трусевич и Гершельман». «Для меня, — пишет Бурцев в одном письме, — люди теперь делятся на два лагеря: интересных и неинтересных для меня лиц. Я вожусь с теми, кто «интересен» мне, кто может что-нибудь мне рассказать о «былом» революционного, оппозиционного и реакционного мира,— я вожусь с анархистами, с.-р., с.-д., к.-д., октябристами, сотрудниками «Московских ведомостей», шпионом, состоящим на службе, с чиновником на службе, студентом, купцом, рабочим и т. д.; повторяю, мне все равно, с кем я вожусь, но не безразлично, «интересен» он или нет. С «неинтересным» с.-р. я скучаю, его переписка меня не интересует, а переписка с вами меня очень интересует» (стр. 89).

Уже в то время Бурцева революционеры меньше интересовали, чем охранники и реакционеры, чем Зубатов и Тихомиров! С Тихомировым он тоже самым задушевным образом говорил уже не раз и никогда не пропускал приезда в Москву, чтобы не зайти к Тихомирову и не побеседовать с ним. Совершенно ясно, что здесь мы имеем дело не просто с погоней за интересным материалом, а с некоторым родством душ, как это показала дальнейшая карьера Бурцева.

Замечательно, что увещания Бурцева как будто подействовали на Зубатова, который начал проникаться симпатией к своему корреспонденту. Одно письмо Зубатова к Бурцеву начинается словами: «Какой вы милый, страстный и увлекающийся человек. Вам бы надо именоваться не Владимир Львович, а Кипяток Львович!» Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. И Зубатов всерьез начинает проникаться уговорами Бурцева, убеждающего его, что он тоже является одним из рыцарей царицы-Свободы. Он даже доказывает Бурцеву, что он, Зубатов, и пресловутый погромщик Д. Ф. Трепов, бывший некогда московским обер-полицмейстером и сотрудником Зубатова, «всячески старались сочетать свободу и порядок» (это громя, арестуя, избивая и ссылая рабочих, студентов и революционеров!). Зубатов рассказывает, что Трепов сначала долго колебался перед тем, как перейти к политике «полицейского социализма» и заигрывания с политически отсталыми рабочими. Но в конце концов Зубатов его убедил, что наилучший способ обеспечить сохранение самодержавия — это оторвать рабочих от революционеров. Трепов, сначала правильно опасавшийся, как бы созданная охранкой легальная рабочая организация не обратилась в конце концов против самого правительства, в дальнейшем поддался доводам хитроумной охраннической ищейки и, наконец, воскликнул: «Ну, да штыков у нас хватит! Будем делать, как велят наши совесть и разум». Совесть и разум Зубатова и Трепова...

И эта «дружеская переписка» продолжалась, несмотря на то, что Зубатов определенно заявил Бурцеву о неизменности своей политической позиции, о своей непоколебимой преданности принципам царизма. Бурцев пачкался напрасно: в конце концов он так и не убедил Зубатова писать свои воспоминания. Но для Бурцева, повидимому, это не было даже и пачкотней. Он чувствовал себя, как рыба в воде, в этой атмосфере дружеских излияний с одним из самых махровых и подлых царских охранников.

Книжка читается с большим интересом и для характеристики охранного мира дает не мало любопытных штрихов.

Лидия Лойко. От «З е м л и и в о л и» к В К П (б). 1877—1928. В о с п о м и н а н и я. Госиздат, М. 1929, стр. 248.

Автор воспоминаний родилась в 1854 г. в семье служащего, затем мирового посредника первого призыва, управляющего демидовского завода на Урале, выборного мирового судьи, словом — либерала-шестидесятника. Что пробудило в ней симпатию к народу и мысль о приобретении знаний для служения ему, неясно (как, впрочем, и из воспоминаний других народников). Сама Л. Лойко объясняет это влиянием «всей общественной атмосферы 60—70-х годов» и, в частности, влиянием прогрессивной литературы, особенно «Отечественных записок» и преимущественно писаний Глеба Успенского, с беспощадной правдивостью живописавшего язвы деревни. Интересно при этом указание Л. Лойко, что Г. Успенский пробуждал любовь не к «шоколадному мужику», о котором говорит В. Фигнер и которого не знал автор рассматриваемой книжки, «как не знали многие другие ее современники и современницы» (думается, что в этом отношении права Л. Лойко). «Образ, внушавший нам бесконечную любовь, жалость и призывавший нас на борьбу, к исполнению долга, это — образ крестьянина, темного, забитого, с рабской психологией — результатами вековой ужасающей эксплоатации помещиками». А И. Мышкин видел перед собою даже не такого мужика с рабской психологией, а мужика бунтующего, как видно из его знаменитой речи. Значит, р а з л и ч н ы е у ч а с т н и к и н а р о д н и ч е с к о г о д в и ж е н и я с м о т р е л и н а в е щ и н е о д и н а к о в о и ч у в с т в о в а л и н е о д и н а к о в о. В зависимости от чего,— это должен показать специальный анализ...

В начальный период выработки миросозерцания автора большую роль сыграл роман Чернышевского «Что делать?», а затем в половине 70-х годов статьи из лавровского «Вперед». Первый казанский кружок, в который входила Л. Лойко, был лавристским.

Дальше пришло влияние «Земли и воли», бакунистские устремления которой оставались, впрочем, этому кружку чуждыми. Интересно отметить, что этот казанский кружок, который Л. Лойко почему-то называет землевольческой группой, тогда как, по ее же рассказу, он был лавристским, представлял одну из многих «самостийных» групп, которые не были организационно связаны с центром и о которых последний даже не знал. Весною 1879 г. члены кружка разъехались по ближним деревням, где вели пропаганду среди крестьян (следовательно, ни в первом, ни во втором этапе «хождения в народ» 1874—1875 гг. Л. Лойко и ее товарищи не участвовали). Любопытно, что, в отличие от других мемуаров того времени, Л. Лойко утверждает, что «в общем и целом» она и ее товарищи были довольны своим пребыванием в деревне, с которою у них установилась тесная связь, и своей работой среди крестьян, которые их понимали и отнеслись к ним сочувственно. «Не могу согласиться с теми, — пишет она, — кто отрицает какое бы то ни было реальное значение «хождения в народ» для дальнейшей борьбы за освобождение трудящихся, — оно несомненно и может быть подтверждено фактами» (стр. 41). Во всяком случае, это один из невыясненных вопросов истории народничества, нуждающийся еще в исследовании.

После трехлетнего периода, вызванного арестом и ссылкой в Ялуторовск, Л. Лойко возвращается в Россию, где встречает старых товарищей, ищущих новых путей после неудачи партии «Народной воли» (кратковременное существование которой все же не осталось на них без влияния, выдвинув на первый план политическую задачу борьбы с самодержавием). Приехав в мае 1885 г. в Харьков, Л. Лойко вступила в группу «революционных народников», из членов которой она называет Н. Мерхалева, С. Балабуху, П. Грабовского и С. Мазуренко (одно только непонятно в рассказе Л. Лойко: как мог стоять близко к этой группе Манучаров, который уже в ноябре 1884 г. был арестован за вооруженное сопротивление?) Соответствующая часть воспоминаний Л. Лойко представляет для историка особенный интерес ввиду того, что о деятельности революционных народников в 80-х годах известно очень немного (этой мало разработанной в нашей литературе теме посвящен, между прочим, этюд Н. Сергиевского «Народничество 80-х годов» в № 3 «Историко-революционного сборника» 1926 г., но там о кружке, в котором участвовала Л. Лойко, не упоминается). Группа вела пропаганду среди рабочих и выпустила к 25-летию крестьянской реформы 19 февраля 1886 г. три прокламации: «Слово к народу», «Русский народ» и «К русской интеллигенции». Просуществовала группа с августа 1885 г. до апреля 1886 г., когда и была разгромлена. Л. Лойко была выслана в Восточную Сибирь, в село Тунку. Здесь она, между прочим, встретилась с Иосифом Пилсудским, сосланным за прикосновенность к покушению 1 марта 1887 г. на Александра III (по этому делу его брат Бронислав попал на каторгу). Не лишен интереса набросанный Л. Лойко портрет И. Пилсудского, тогда юного пылкого социалиста, а ныне главы фашистской Польши (стр. 92—94).

В 1892 г. Л. Лойко вернулась в Россию, где после ряда переездов из города в город и поисков подходящего к ее настроению дела примкнула к партии «социалистов-революционеров». Описанию ее работы в рядах этой партии посвящена вторая половина воспоминаний, на которых мы не будем подробно останавливаться, так как ничего особенно нового она не дает. Трудно только согласиться с Л. Лойко, когда она уверяет, что в годы революции 1905—1906 гг. партия с.-р. «не была соглашательской партией» и что «во второй Думе эсеры боролись с кадетами» (стр. 167). Увы, уже в то время верхушка партии с.-р. выявила свою соглашательскую сущность настолько, что Столыпин счел возможным игнорировать ее парламентскую делегацию, обратив всю силу полицейской репрессии на с.-д. фракцию Государственной думы.

После подавления первой революции и до 1917 г. Л. Лойко занимается преимущественно культурной работой, разделяя в этом отношении участь большинства интеллигентов того периода. С момента февральской революции она снова начинает работать в партии с.-р., проделывая вместе с нею всю кампанию борьбы с большевиками, т. е. с революционным пролетариатом и крестьянством. Вместе с эсерами она попадает по ту сторону чехословацкого фронта, и на ее глазах развертывается вся позорная деятельность этой выродившейся партии, отдавшей свои силы и свой былой авторитет на дело реставрации помещичье-буржуазной власти. По отношению к буржуазии эсеры сразу проявляют «примирительную политику», по отношению к рабочим и крестьянам они применяют массовые порки и расстрелы. «Народная армия» эсеров, «состоящая в это время исключительно из офицеров и интеллигентов», свирепствует в деревнях, население которых отказывается подчиниться эсеровским приказам о мобилизации. Права владельцев предприятий, домов и земель эсерами восстанавливаются, большевики и просто оппозиционные рабочие арестуются сотнями. Поезд учредиловцев, направляющийся в Уфу, сопровождается «большой охраной с известным белогвардейцем, полковником Галкиным, во главе». Неудивительно, что через несколько месяцев такой политики даже те крестьяне и рабочие, которые сначала сочувствовали эсерам, поворачиваются к ним спиною. Зато под крылышком эсеров поднимает голову буржуазия, которая, убедившись, что почва для реставрации эсерами достаточно подготовлена, совершает переворот и при иностранной помощи устанавливает диктатуру Колчака. И Л. Лойко отмечает любопытный факт: «министры при Колчаке почти все те же, что во Временном всероссийском правительстве», созданном эсерами (стр. 218).

Теперь у некоторых эсеров начинают открываться глаза. Этому проспянию ума (у подавляющего большинства, впрочем, неполному и преходящему) способствует зверская расправа колчаковцев с рядом видных эсеров (и меньшевиков). Вслед за сибирскими крестьянами (о рабочих нечего и говорить), которые теперь ждут прихода красных и берутся за оружие, начинают высказываться за Советскую Россию против колчаковской и некоторые эсеры, в том числе и сын рассказчицы Борис Лойко, впоследствии трагически погибший при переходе на сторону красных (стр. 222). С 1919 г. начинается новый «послужной список» и у автора воспоминаний. Сначала она работала в кооперативных учреждениях, этом обычном убежище меньшевиков и эсеров, затем стала работать в Томском губполитпросвете. С ноября 1922 г. она переезжает в Москву и здесь по рекомендации томского губкома поступает в главполитпросвет, где непрерывно работает вплоть до июня 1927 г., когда вынуждена уйти оттуда по совету врача. В июле 1921 г. Л. Лойко вступила в РКП(б) и формально порвала с партией с.-р., моральный разрыв с которою у нее произошел уже раньше. Обоснованию причин этого разрыва и посвящены последние страницы книги.

Нелегкое дело менять радикально свои взгляды в преклонном возрасте. Еще труднее разрывать давние политические и персональные связи с людьми, с которыми вместе прожил чуть ли не целую жизнь, которых любил и уважал, которым доверял и чье дело считал своим. Немногие способны на такую решимость, и мы знаем много случаев, когда революционеры прежних поколений, давно разочаровавшиеся в партии с.-р. и понявшие позорную роль, сыгранную этой партией во время революции, все-таки не находят в себе достаточно мужества для того, чтобы, не ограничиваясь молчаливым отходом от обанкротившейся организации, заявить об этом во всеуслышание и этим предостеречь политически неопытных людей от ошибочного шага. Их удерживает какая-то ложная политическая стыдливость, которая должна отступить перед интересами революции. Но у Л. Лойко хватило этого высшего гражданского мужества, и она была достаточно последовательна для того, чтобы, признав ошибочность старого пути, не просто сойти с него, но и стать на новый, ибо в ней живо было революционное чувство, стремление не прекращать живой работы, желание вместе с трудящимися массами строить новое общество, во имя которого она боролась около полувека.

Но она сумела пойти и дальше. Действия эсеров во время и после октябрьской революции убедили ее в том, что эта партия изменила социализму, предала трудящихся и стала слугою эксплоататоров; поэтому она порвала с нею и вступила в ту партию, которая единственно верна рабочему классу и вместе с ним приступила к строительству социализма. Таким образом, она порвала бы с партией с.-р. за ее фактические преступления, даже если бы не порвала с ее идеологией. Но придя к такому решению, она, естественно, должна была поставить перед собою вопрос: а не было ли в прошлом этой партии, в ее програме и тактике, словом — в ее общем мировоззрении, таких элементов, которые предопределили ее предательское поведение во время революции 1917 г. и после нее? И стоило ей поставить перед собой этот вопрос, чтобы немедленно ответить: да, конечно, были! Эсеры по своей идеологии, характеризующейся преклонением перед формальною демократиею и непониманием классовых отношений в капиталистическом обществе, были по существу буржуазною партиею. Отсюда их ненависть к марксизму, их непонимание роли пролетариата в социалистической революции, их эклектизм, облегчавший проникновение в их партию неустойчивых и прямо контр-революционных элементов.

Но и на личной судьбе автора воспоминаний оправдалось, что бытие определяет сознание, а не наоборот. Не потому Л. Лойко порвала с эсеровской контр-революцией, что поняла марксизм, а сумела она правильно понять его только тогда, когда отошла от партии с.-р. и встала в ряды борющегося пролетариата. Раньше теория марксизма не трогала ни ее ума, ни сердца: она всячески отмахивалась от этого учения, наивно оправдывая свою глухоту теми или иными недостатками и неумелостью тех его проповедников, с которыми она встречалась и которые принадлежали к «экономистам», хотя уже в начале XX века достаточно явно сказалось растущее влияние революционного крыла марксизма и кроме Акимова и Богучарского на свете существовали Плеханов, Ленин, наконец существовали сочинения самого Маркса (отголоски такого наивного объяснения и сейчас встречаются в книге Л. Лойко). Но примкнув к борьбе рабочего класса, Л. Лойко уразумела дух и сущность марксизма, этой пролетарской теории par excellence, и теперь она пишет: «Ознакомившись с подлинным (революционным) марксизмом, я удивлялась тому отсутствию анализа и критики, тому, грубо выражаясь, недомыслию, с которым мы, «критически мыслящие личности», подходили к признанию и распространению политических лозунгов: «народовластие», «демократическая республика», «демократия», «учредительное собрание»; мне стало мучительно стыдно, что я пропагандировала, отстаивала их как таковые, так сказать вне времени, вне классовых отношений, вне конкретных условий. Между тем не очень много ума надо было иметь, чтобы вскрыть то, что содержится в понятии «народовластие», когда этот лозунг выдвигает буржуазия, и что кроется в нем, когда за него борется пролетариат» (стр. 238—239). В том-то и штука, что дело здесь не столько в уме, сколько в классовом подходе.

Всем опытом своей жизни Л. Лойко пришла к выводу, что «для того, чтоб участвовать в борьбе за социализм и в строительстве социалистического общества, надо не только уйти из партии эсеров (и меньшевиков), но и войти в ВКП(б)... Я счастлива, что в меру своих сил работаю в ее рядах. Лишь об одном жалею: не знала ее раньше, узнала тогда, когда возраст берет свое — силы не прежние». И заканчивает она свою книгу словами: «Какое громадное счастье — жить и работать в СССР!»

Е. Бройдо. В рядах РСДРП. С предисловием В. И. Невского. Изд. Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев. Москва 1928, стр. 123.

Воспоминания Е. Бройдо принадлежат перу деятельницы меньшевистской фракции с.-д. партии. Написанная с большим чувством, а местами и в художественной форме, книжка содержит не только рассказ о работе ее автора в рядах с.-д. движения, но и трогательную повесть о борьбе заброшенной в захолустье женщины, которая энергично пробивает себе дорогу из затхлой атмосферы еврейского местечка конца прошлого века к свету, к бурной жизни интеллектуальных центров, к участию

в активной общественной борьбе. Рассказ об общественной работе автора охватывает период с весны 1899 г. по август 1905 г.

Подобно всей почти молодежи, систематически тянувшейся из местечек в культурные центры, Е. Бройдо после упорной подготовки сдала в Дерпте экзамен за 4 класса гимназии и в возрасте 15 лет поступила ученицей в аптеку в Двинске. Работая по ночам над своим самообразованием, она через три года получила в Казанском университете диплом на звание провизора. В Риге она впервые узнала о существовании политических партий и политической борьбы, а трехмесячное пребывание в 1896 г. в Берлине, где она познакомилась с с.-д. литературой, превратило ее в «убежденную социалистку». Весной 1899 г. она переехала в Петербург, где и началась ее революционная деятельность.

Здесь она, познакомившись случайно с рабочими, приняла затем участие в работе остатков с.-д. групп «Рабочее знамя» и «Группа 20-ти», носивших по сравнению с «экономическим» Союзом борьбы более «политический» характер, а позже в работе групп «Социалист» и «Рабочей библиотеки». Струве, заигрывавший в те патриархальные времена с с.-д., оказывал этим группам кое-какое содействие. Он же свел их с провокатором Гуровичем, провалившим обе организации (как, впрочем, и многие другие).

В январе 1901 г. Е. Бройдо была арестована и после 14-месячного тюремного заключения сослана в административном порядке в Восточную Сибирь. После ряда тяжелых передряг она попала в Якутск, где приняла участие в известном втором «Якутском протесте» ссыльных (знаменитая «Романовка»). По этому делу муж ее, М. Бройдо, приговорен был к каторге и отослан в Александровский централ подле Иркутска, куда ей, равно как и женам других осужденных, разрешено было также переехать для отбывания ссылки. С пути муж ее бежал за границу, а через некоторое время туда бежала и сама рассказчица.

За границей они пробыли недолго. Революционное движение, оживившееся в России после 9 января 1905 г., предъявляло усиленный спрос на работников, и Е. Бройдо, встретившись в Женеве с бакинцами-меньшевиками, решила уехать в Баку, что в скором времени и выполнила. Следующий рассказ, посвященный ее работе в Баку, особенно армянскому погрому в августе 1905 г., и занимающий последнюю треть книжки, представляет значительный интерес не о новизне темы, а по ее индивидуальной, почти беллетристической обработке: здесь чуть ли не впервые изображается, что переживал рядовой участник с.-д. партии при виде массового взрыва варварской дикости, вылившейся в повальное зверское избиение татарами армянского населения. Татарские рабочие и сторожа нефтяных источников, превращенные в цепных псов капитала, и татарская мелкая буржуазия, ставшая агентурою царского правительства, составили разбойничью и грабительскую банду, терроризировавшую население города и даже многих революционеров. Для того, чтобы получить представление о том состоянии, в какое ввергло несчастный город, и особенно армян, разнузданное хозяйничанье насильников-дикарей, достаточно сказать, что жителям для защиты от разбойничьих подвигов татарских бандитов приходилось обращаться к казакам.

Страницы, посвященные описанию пожара нефтяных вышек, на зловещем фоне которого разыгрывалась ужасающая трагедия человеческой бойни, производят потрясающее впечатление. Насколько силен был массовый психоз, порожденный атавистической вспышкой националистических чувств, видно из приводимого автором примера: на заводе Ротшильда работал татарин, входивший в с.-д. организацию и даже переводивший с.-д. прокламации на татарский язык; его неразлучным другом был армянин, работавший там же; во время резни татарин, правда, спрятал у себя своего приятеля, «однако психологический момент пережили оба, и когда кончилась резня, бывшие друзья стали злейшими врагами, и всякая встреча являлась пыткой для обоих» (стр. 116).

Если бы после таких описаний в душе оставалось место для смеха, то трудно было бы удержаться от невольной улыбки при чтении тех строк книжки, на которых неожиданно открывается существование... еврейской «привилегии». Татары старались

убивать одних армян; в этом отношении они хотели быть «безупречными», и когда им в руки попадались евреи, по наружности похожие на армян, они производили «медицинское» освидетельствование и, убедившись в принадлежности задержанных к «избранной нации», отпускали их с миром. «Это, — прибавляет автор, — был, кажется, первый случай в истории тысячелетий, когда принадлежность к еврейской нации оказалась завидной привилегией» (стр. 114).

Особенно тяжело было положение людей, вынужденных беспомощно лицезреть совершающиеся на их глазах ужасы и лишенных возможности активно вмешаться в бойню на стороне ее жертв. Как раз таково было положение рассказчицы, и она не выдержала. Правда, рабочие организации первыми оправились после имевших место событий, а кое-где даже вооружились для отпора разгулявшимся насильникам. Но для автора книжки, натуры, повидимому, менее закаленной и с более обнаженными нервами, «пережитые ужасы трудно было так скоро позабыть. Кровавый кошмар давил грудь, выглядывая из каждой обгорелой вышки, из каждого разрушенного дома. И хотя было совестно перед остающимися товарищами, но (она) не выдержала этой пытки и оставила Баку спустя две недели после резни». На этом кончаются воспоминания Е. Бройдо о семи месяцах ее работы среди балаханских рабочих.

Искренность, с которою написаны воспоминания Е. Бройдо, составляет немаловажное достоинство ее книжки. Имеет значение для историка и рассказ ее о с.-д. группах, выше упомянутых, и о тюремной жизни, протестах и побегах, а в особенности прочувствованное и захватывающее описание ее работы в рядах «Организации балаханских и биби-эйбатских рабочих». Но эта организация была меньшевистской, меньшевичкой же была и сама рассказчица, а потому, при всем ее субъективном стремлении быть правдивой, ее рассказ нуждается в существенных поправках. Все, что выходило за пределы этой меньшевистской организации, остается для Е. Бройдо в полном смысле слова неведомой землей, о существовании которой она будто и не подозревает. В то время в Баку, как правильно указывает автор предисловия к книжке, В. И. Невский, существовал большевистский комитет, существовала и его борьба с описываемой в книжке меньшевистской организацией, существовали и другие революционные группы, но всего этого Е. Бройдо не замечала, обо всем этом она умалчивает. Впрочем, здесь дело, может быть, не столько в предвзятости и тенденциозности автора книжки, сколько в ее фракционном мироощущении, не позволяющем видеть ничего, кроме своего околотка, а еще вероятнее — в совершенном незнакомстве рассказчицы со всеми событиями, протекавшими вне ограниченного поля ее зрения.

Н. К. Бух. Воспоминания. Изд. О-ва политкаторжан и ссыльно-поселенцев, М. 1928, стр. 200.

Как отмечает в предисловии к рассматриваемой книге Феликс Кон, «Воспоминания» Буха, в отличие от появившихся до сих пор мемуаров крупных светил революции, как Фигнер, Фроленко и т. д., занимают особое место, поскольку они принадлежат не «генералу от революции» и потому приковывают внимание читателя прежде всего не к личности мемуариста, а к окружающей его среде. Автор «Воспоминаний» много пережил, бродил по всей России, много видел и слышал и потому сообщает много интересного материала, ценного для характеристики студенческой, крестьянской и профессионально-революционной среды, в которой он долго вращался. Перед читателем проходит масса лиц как из чиновного мира (напр. генерал Селиверстов, впоследствии убитый в Париже эмигрантом Подлевским), так и из мира народного, из так называемого «общества», а преимущественно из революционных кругов. И благодаря несомненно присущей автору наблюдательности и умению в нескольких словах набросать портрет многие из упоминаемых им лиц выступают перед читателем в довольно рельефной форме.

Основной вопрос, естественно встающий при чтении таких мемуаров, а именно вопрос о причинах, обусловивших поворот автора «Воспоминаний» в революционную сторону, в рассматриваемой книге не выявлен с достаточной определенностью. Что

толкнуло Н. Буха, выходца из крупно-чиновничьей, помещичьей семьи, в революцию, так и остается неясным. Ведь не сообщение же директора гимназии о полученном им тайном циркуляре относительно пропаганды злоумышленных лиц среди учащейся молодежи (стр. 30—31) сыграло роль решительного толчка. Но повлияли ли здесь неудачи автора на почве гимназической учобы, или неурядицы в его семье, или товарищи его по гимназии, или чтение передовой литературы — так и остается для читателя непонятным.

В «Воспоминаниях» Буха описано зарождение самарского кружка, к которому он принадлежал и история которого проходит красной нитью на протяжении всей книги. Об этом кружке в исторической литературе сообщалось сравнительно мало сведений, и то, что рассказывает о нем Бух, является несомненным вкладом в историю народнического движения. Равным образом интересно сообщение его о движении в Петербурге, об идейных спорах, происходивших в начале 70-х годов в столичных кружках, в частности о борьбе между сторонниками политической революции и анархии (стр. 53), о зарождении бунтарства, которое, как показывают «Воспоминания» Буха, начиналось одновременно с «хождением в народ», а не после его неудачи (стр. 54). Между прочим любопытно указание автора на то, что участники движения ожидали вспышки народного восстания не позже, чем через 10 лет, а некоторые горячие бакунисты, как Рабинович, даже утверждали, что через 3 года в России восторжествует анархия.

Как правильно указывает Бух, ясной программы у движения 70-х гг. не было. В этом отношении чрезвычайно характерен его рассказ о попытке Петропавловского-Каронина вступить с Войнаральским в теоретический программный спор. Войнаральский оборвал своего оппонента, заявив, что забираться в дебри теории некогда, что для революционеров такие споры составляют «бланманже», что теперь для болтовни нет времени, а нужно действовать (стр. 87).

В народничестве была та здоровая черта, что оно признавало значение масс в революционной борьбе и пыталось пробудить их. Много интересных подробностей сообщает Бух по поводу пропаганды среди рабочих, которые в то время в массе были еще чрезвычайно отсталы, мало выделялись из крестьянства и сплошь и рядом разочаровывали революционеров. Бух утверждает, что крестьяне, попадавшие в город, на фабрику или завод, в первое время чувствовали даже некоторую благодарность к своим хозяевам, около которых «кормится столько народу». Они в массе не только не были настроены революционно, но даже не понимали обращенной к ним социалистической пропаганды и смотрели на пропагандистов как на сумасшедших людей или подозревали их в корыстных целях. Совершенно другая психология была, на взгляд народников, у крестьян, которые были враждебно настроены к помещикам и нуждались только, как казалось тогда, в агитации и организации. Теперь автор признает радикальную ошибочность этого взгляда. Он подчеркивает, что занятиям с рабочими тогда не придавали особенного значения (стр. 52), считали пропаганду среди них второстепенным делом, приписывали ей лишь значение подготовки кадров для деревенских пропагандистов (так, по словам автора, смотрел на дело землеволец Оболешев еще в конце 70-х гг.), при первых вполне естественных неудачах готовы были махнуть рукой на рабочих благодаря народническим настроениям. В этом отношении «Воспоминания» Буха во многом подтверждают то, что рассказывал Плеханов в своих «Воспоминаниях» о деятельности народников среди рабочих. Но соответствующие места «Воспоминаний» Буха производят такое впечатление, что автор невольно переносит современные оценки на тогдашнюю жизнь. К сожалению, это — неизбежное явление, когда приходится писать мемуары через полвека после описанных в них событий.

Не менее интересны воспоминания Буха о бунтарском периоде движения. Кстати он сообщает, что участники хождения в народ не сразу разочаровались в своем предприятии и что весною 1875 г. они хотели возобновить свою работу (стр. 98). Но в воздухе уже пахло бунтарством. Сам автор, попав на юг, примкнул там к южным бунтарям, собиравшимся вести агитацию среди масс (читай: крестьян-

ства) с целью поднять их на вооруженное восстание. В этом пункте «Воспоминаний» Бух удачно дополняет уже имеющиеся в литературе воспоминания Дебагорио-Мокриевича, Дейча, Фроленко и др. Несколько характерных штрихов сообщает Бух относительно участия русских радикалов в герцеговинском восстании: здесь играло роль не только приписывание этому восстанию социалистического характера, но и главным образом желание приобрести навыки к партизанской войне ввиду ожидавшегося восстания в России (стр. 116—119).

Как известно, единственной более или менее серьезной попыткой применения бунтарями своих взглядов была попытка организовать заговор и восстание среди чигиринских крестьян. Мысль поднять восстание среди чигиринцев именем царя, по словам Буха, сначала не встретила сочувствия (стр. 113). Хотелось поднять это восстание под знаменем «земли и воли». Революционеры, допускавшие использование царского авторитета, смотрели на него «как на затравку, как на пистон, который разлетится, утратив свое значение, после первого же взрыва» (стр. 113). Характерно, что Бакунин, осведомленный о замысле бунтарей поднять крестьянское восстание с помощью подложного царского манифеста, отнесся к этому плану отрицательно. «Нельзя, — сказал он, — шить черный костюм белыми нитками, они сейчас же выступят по всем швам». Но В. Дебагорио-Мокриевич, который был более ярым бунтарем, чем сам учитель, нисколько не смутился отзывом Бакунина о сообщенном ему проекте. «Старик плох уже, — говорил Мокриевич, — потерял свой революционный пыл» (стр. 130). Уверенность в том, что организовать восстание чигиринцев возможно и что к этому восстанию быстро присоединятся окрестные села, в конце концов взяла верх над всеми соображениями. Вера бунтарей в свое предприятие была настолько велика, что они мечтали об организации конного отряда, который стал бы во главе крестьянского восстания, причем деньги на оружие и на лошадей обещал дать старый революционер Чубаров (впоследствии повешенный Тотлебеном в Одессе).

Но наиболее интересной частью «Воспоминаний» Буха являются те главы его книги, которые посвящены зарождению землевольческой тайной типографии. До сих пор о кружке, издававшем газету «Начало», известно было очень мало, да и те немногие сведения, которые появлялись по этому вопросу в нашей литературе, носили чрезвычайно отрывочный характер. Теперь, после «Воспоминаний» Буха, мы впервые можем составить себе точное представление о зарождении знаменитой «Вольной типографии» конца 70-х годов.

Оказывается, что кроме маленькой типографии, организованной землевольцами-«троглодитами» и печатавшей отчеты о процессе 193-х, среди одного революционного кружка возникла мысль о необходимости поставить новую тайную типографию для печатания революционных прокламаций. Это был кружок Л. Буха, брата автора «Воспоминаний» и впоследствии писателя по экономическим вопросам. В этот кружок входил какой-то социал-демократ, известный под именем «итальянца» (точную фамилию его автор «Воспоминаний», к сожалению, забыл), Астафьев, И. Головин, мичман Луцкий, офицер Дубровин (повешенный в 1878 г. за вооруженное сопротивление), Дегаев (будущий предатель), поляк Венцковский, несколько студентов и офицеров. Кружок не имел определенной политической программы, но был проникнут смутным революционизмом с естественным тяготением к преобладавшему тогда народничеству. Рекомендованный Венцковским студент купил зеркальное стекло, а наборщики типографии Вольфа достали 12 пудов нового шрифта, что и послужило основанием для типографии. Затем Зунделевич по поручению кружка закупил в Германии станок и другие типографские принадлежности и удачно доставил их в Петербург. Наборщики пришли из «Русской вольной типографии» народников-«троглодитов», к тому времени прекратившей свою деятельность, и таким образом создалась новая, довольно порядочная, а по тому времени прямо-таки невиданная в России подпольная типография, которой предстояло славное будущее.

Заполучив в свои руки такие технические средства, кружок, уже не ограничиваясь мечтами о печатании отдельных прокламаций, задумал издавать революционную газету, которая и получила название «Начало». Редакция состояла почти из всех

членов кружка, к которому для этой цели был присоединен известный беллетрист-народник Засодимский. Так создались «Петербургская вольная типография» и первая довольно регулярно выходившая подпольная русская газета, которую, ввиду отсутствия определенной политической программы, землеволец Клеменц остроумно прозвал «Мочалом».

Из авторов, писавших в этой газете, Н. Бух, кроме себя самого, называет своего брата Л. Буха, указанного выше «итальянца», ведшего в ней хронику социалистического движения на западе, Засодимского и Петропавловского-Каронина, впоследствии известного беллетриста.

Позже, в 1879 г., эта типография перешла в распоряжение партии «Земля и воля», а затем, после раскола последней, в распоряжение партии «Народная воля», и была захвачена полицией в 1880 г. после знаменитого вооруженного сопротивления в Саперном переулке.

Мы не станем излагать всего богатого содержания «Воспоминаний» Буха (демонстрация при похоронах Подлевского, суд над В. Засулич, встречи с Кравчинским, А. Михайловым, Г. Плехановым, появление на сцене Рачковского, впоследствии известного деятеля Департамента полиции и т. д.). Бо̀льшая часть относящихся сюда событий уже освещена в нашей исторической литературе, но «Воспоминания» Буха к старым сообщениям присоединяют новые детали и дают новые характерные черточки. Укажем только на то, что эти интересные «Воспоминания» неожиданно обрываются на весне 1879 г. Таким образом, наиболее интересный период «Земли и воли» — развитие политического террора (впрочем, уже подготовленного бунтарским периодом), раскол, образование партии «Народной воли» и т. д. — «Воспоминаниями» Буха пока не освещен. Между тем его деятельность в партии «Народной воли», участие в качестве подсудимого в первом крупном народовольческом процессе, пребывание на каторге и т. д. представляют весьма интересную страницу в жизни Н. Буха, от которого мы, естественно, ждем продолжения его мемуаров. Надо полагать, что это продолжение будет написано и что О-во политкаторжан даст нам и следующую часть «Воспоминаний» Буха.

Нужно только указать на одну мелкую, но чрезвычайно неприятную сторону этих мемуаров. Так, говоря о бакунисте Рабиновиче, автор прибавляет «маленький еврейчик» (стр. 54), а говоря о Франжолли, тоже считает почему-то нужным прибавить «щупленький еврейчик» (стр. 167). Прежде всего, насколько мы знаем, Андрей Афанасьевич Франжолли вовсе не был евреем, хотя не видели бы особенного преступления в том, если бы он и принадлежал к этой нации. Но должны признаться, что такого рода «литературные красоты» производят чрезвычайно неприятное впечатление в издании О-ва политкаторжан.

Последнему надо пожелать, чтобы его редакция внимательнее относилась к чтению представляемых на ее просмотр рукописей.

О. К. Буланова-Трубникова. Три поколения. Госиздат, М.—Л. 1928, стр. 214.

Нельзя лучше выразить значение этой книги, чем это сделано самим автором в словах: «Как в капле воды отражается целый ландшафт, так и эти этапы революционного движения в России» (восстание декабристов, освободительное движение 60-х годов и революционное движение 70—80-х годов) «нашли свое отражение в истории одной семьи, пронесшей революционное настроение на протяжении ста лет через три поколения, и представительница третьего из них соединила в этой книге историю деда-декабриста, матери — борца за равноправие женщины и свои собственные воспоминания как участницы революционного движения 70—80-х гг.» (стр. 4). К этому можно только добавить, что намеченная задача выполнена так, что книга читается от начала до конца с захватывающим и все возрастающим интересом.

В первой части излагается жизнь декабриста В. П. Ивашева. Характерно, что «милосердие» Николая I имело своим результатом то, что даже у таких людей, как отец В. П. Ивашева, который «в государстве русском привык видеть все лучшее», «преклонение перед монархией и верноподданнейшие чувства значительно поубавились» (стр. 22—23).

Вторая часть, посвященная деятельности М. В. Трубниковой, одной из активнейших участниц женского освободительного движения, представляет собой ценный вклад в историю борьбы русских женщин за право на высшее образование. М. В. Трубникова, в самом деле, была «добрым гением» этого движения. Интересны характеристики участников и участниц освободительного движения, близко стоявших к М. В. Трубниковой: братьев Серно-Соловьевичей, А. А. Черкесова. Большой исторический интерес представляет составленный «не кем другим, как П. Л. Лавровым», устав «Общества женского труда», возникшего по инициативе М. В. Трубниковой, поддержанной ее единомышленницами (стр. 89—90). При оценке значения деятельности М. В. Трубниковой и ее сподвижниц, с таким трудом отстоявших право женщин на высшее образование, не следует упускать из виду, что, как констатировал П. А. Кропоткин в «Записках революционера», «ни одна из женщин, стоявших во главе движения, не была просто феминисткой. Права, за которые они боролись, — как вожаки, так и масса этих женщин,— были вовсе не права на получение лично для себя высшего образования, а гораздо больше, несравненно больше, права быть полезными деятельницами среди масс, среди народа» (стр. 114). Внутренняя связь между женским движением и «крайним крылом», т. е. участниками революционного движения, выясняется в «Трех поколениях» детально и весьма конкретно.

Третья часть книги О. К. Булановой-Трубниковой представляет исключительный интерес не только живым изображением той среды, в которой в 70-е годы так легко и естественно совершался переход многих и многих от культурной работы, соединявшейся с поддержкой, всемерно оказываемой активным революционерам, к непосредственному участию в революционном движении. Очень хороши страницы, посвященные детству, образованию и формированию убеждений автора. Образы деятелей движения 70-х годов, напр. О. Э. Веймара, нарисованы с трогательной симпатией и в самом деле дают конкретное представление об этих деятелях: читая книгу, видишь и слышишь упоминаемых в ней лиц. Для истории «Земли и воли» эта книга — ценный первоисточник. Еще важнее она для истории «Черного передела», в котором принимала деятельное участие О. К. Буланова-Трубникова и о котором так мало конкретного можно найти в литературе предмета.

Главы, относящиеся к жизни автора воспоминаний в ссылке в Минусинске и к дальнейшей общественной деятельности О. К. Булановой-Трубниковой, дают существенные и конкретные указания для историка русской общественности.

Покушение Каракозова. Стенографический отчет по делу Д. Каракозова, И. Худякова, Н. Ишутина и др. Том I. Подготовили к печати М. М. Клевенский и К. Г. Котельников. Издание Центроархива РСФСР, Москва 1928, стр. XX+320.

Книга состоит из предисловия М. Клевенского, вводных замечаний от редакции, стенографического отчета заседаний Верховного уголовного суда 18, 20, 22, 24 и 31 августа 1886 г. по делу главных обвиняемых (Д. Каракозова, И. Худякова, Н. Ишутина, П. Ермолова, Н. Страндена, Д. Юрасова, М. Загибалова, О. Моткова, В. Шаганова, П. Николаева, А. Кобылина), приложений, примечаний и именного указателя. Главную часть книги составляет перепечатка первого тома стенографического отчета Верховного уголовного суда, специально учрежденного под председательством кн. Гагарина для разбора дела о покушении Д. Каракозова на Александра II и о членах тайного общества, раскрытого благодаря этому покушению. В текст стенографического отчета введены взятые из I тома дела Верховного уголовного суда одиннадцать обвинительных актов (для каждого подсудимого в отдельности), поставленные судом вопросы и вынесенные им резолюции по делу Каракозова и Кобылина (врача, обвинявшегося в снабжении Каракозова ядами), а также две речи прокурора (он же министр юстиции) Замятина по делу Каракозова и Кобылина. В приложениях даны приговоры суда по делу Каракозова и Кобылина, прошение Каракозова на имя Александра II и черновые наброски к нему, постановление и представление Верховного уголовного суда, а также протокол об исполнении приговора. В примечаниях приводятся биографические сведения о подсудимых первой группы.

Дело каракозовцев — точнее было бы сказать ишутинцев — до сих пор изучено недостаточно. В литературе существует небольшая брошюра А. Шилова, несколько воспоминаний (И. Худякова, адвоката Д. Стасова, секретаря Верховного уголовного суда Я. Есиповича и др.), немногочисленные отрывки из показаний некоторых подсудимых (в «Красном архиве») — и это все. А между тем дело этого кружка представляет значительный интерес, так как деятельность его относится к переломному периоду русской революционной истории, являясь одною из первых попыток непосредственного обращения к массам для вовлечения их в борьбу за свое политическое и экономическое освобождение. Известно, что участники этого дела мечтали о переходе к пропаганде среди трудящихся, а у самого Каракозова при аресте было обнаружено воззвание к «братьям рабочим», которым он пытается объяснить смысл своего террористического акта и которых призывал к активной борьбе с существовавшим режимом.

Ишутинский кружок, существовавший в Москве с 1863 по 1866 г., состоял в большинстве из последователей Н. Г. Чернышевского, освобождение которого ишутинцы, между прочим, и подготовляли (обвинительные акты и судебное следствие содержат много материала по этому вопросу). Однако учение Чернышевского подверглось в этом кружке своеобразному истолкованию и переработке, свидетельствующим о том, что жизнь сильнее теории и что последняя у практических деятелей приобретает тот вид, который обусловливается уровнем реального развития. Программа Чернышевского слишком опережала тогдашний уровень России и потому его учениками была недостаточно понята, подвергшись с их стороны некоторому упрощению, чтобы не сказать огрублению, в смысле приспособления ее к условиям отсталой страны, какою являлась Россия 60-х годов.

Так, Чернышевский считал первым шагом народной революции радикальный политический переворот, устраняющий самодержавие вместе с его социальной помещичьей базой и ставящий на их место трудовую демократию, которая с помощью революционной диктатуры должна осуществить свои политические и экономические задачи. По схеме Чернышевского, политическая революция должна была предшествовать социальной. Каракозовцы, подобно некоторым своим предшественникам, действовавшим в самом начале 60-х годов (напр. Стахевич), и преемникам вплоть до конца 70-х годов (за исключением нечаевцев), поняли данную Чернышевским критику буржуазного либерализма и формальной демократии как отказ социализма от политических задач, как проповедь политического индифферентизма, как программу непосредственной социальной революции — точка зрения, от которой Чернышевский под влиянием событий 1848—1849 гг. отказался еще на студенческой скамье. Каракозовцы в своем пренебрежении западными формами, в частности конституционными, и в своем представлении о полном своеобразии русского общественного развития фактически отошли от учения Чернышевского и в этом смысле явились основоположниками народничества, которое ведь тоже было убеждено в своей верности идеям Чернышевского. Только Худяков представлял в этом пункте особое течение среди каракозовцев и стоял особняком от общего их направления, являясь в этом смысле как бы предшественником народовольцев.

Правда, по имеющимся в распоряжении исследователей материалам трудно составить себе вполне точное представление об идеологии каракозовцев (каковая, впрочем, и не успела как будто вылиться в окончательную форму). Поэтому в частности нелегко объяснить и отношение их к террористическим методам борьбы, особенно к цареубийству. Повидимому, отдельные члены кружка держались на этот счет различных взглядов. В то время как одни считали цареубийство способом всколыхнуть «общество», а значит приписывали террору «экситативное значение, другие (а таким было, вероятно, большинство) смотрели на него как на пролог социального переворота. Руководящая группа кружка («Организации»), вошедшая в обвинительные акты и в историю под названием «Ада» (как окончательно сложившаяся форма видимо, не существовавшая), усматривала в терроре не метод борьбы за политическое освобождение страны или за захват власти, а средство заставить правительство путем непрерывных покушений на его коронованного главу приступить к со-

циальному преобразованию в интересах трудящихся масс. Впрочем, несмотря на словоохотливость подсудимых, своими откровенными показаниями доставившими главный материал для сыщиков и судей, их показания по этому пункту, поскольку они зарегистрированы в протоколах судебного следствия, не отличаются особенной точностью и ясностью и не дают возможности сделать вполне определенные выводы о взглядах каракозовцев на значение террористических методов борьбы.

Впрочем, террор вовсе не занимал главного места в программе действий ишутинского кружка. Если бы не громкое покушение Каракозова на царя, совершившееся преждевременно и вопреки прямой воле кружка, последний не вошел бы в историю с обликом террористического общества. По существу это было скорее общество пропаганды в народе, к каковой оно, впрочем, не успело перейти, так как было разгромлено в результате каракозовского выстрела. Будучи сами в большинстве представителями революционной интеллигенции, эти ученики Чернышевского хорошо понимали, что сила — в народе и собирались поднимать широкие массы. В этом отношении они явились предшественниками «хождения в народ», причем в своих планах предусматривали обе формы пропаганды семидесятников — бродячую и оседлую. Можно сказать, что в этом кружке заключались в зародыше и в состоянии смеси все главные отличительные черты последующих революционных партий: и пропаганда, и агитация, и террор, как это, впрочем, естественно для первого эмбрионального периода движения, не успевшего еще дифференцироваться.

Со всех точек зрения изучение этого оригинального кружка представляет значительный исторический интерес. Подобно другим проявлениям революционного движения 60-х годов, ишутинская организация была естественной реакцией на лживую крестьянскую реформу 1861 г., знаменовавшую вступление России на путь капиталистического развития, которое уже не мирилось со старой политической оболочкой, его стеснявшей. Поскольку рассматриваемое издание дает много материала для характеристики движения, его можно приветствовать. Но при этом приходится высказать пожелание, чтобы кроме судебного отчета по делу каракозовцев (предстоит выход еще одного тома) были опубликованы наиболее существенные показания подсудимых в извлечениях более обширных, чем это было сделано до сих пор. Разумеется, опубликование всех 16 томов «Производства верховной уголовной следственной комиссии» под председательством Муравьева-вешателя теперь немыслимо, но главнейшее можно было бы извлечь из дела и сгруппировать в 1—2 томах с пояснениями и комментариями. Это было бы хорошим подарком нашей исторической науке.

Декабристы и их время. Изд. Общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев, М. 1927, стр. 240.

Сборник «Декабристы и их время» является первым томом трудов московской и ленинградской секций по изучению декабристов и их времени при Всесоюзном обществе политических каторжан и ссыльно-поселенцев. Как сам сборник, так и напечатанный в приложении к нему список докладов, прочитанных в секциях за два года, свидетельствуют о широком размахе производимой Обществом исследовательской работы. В первом томе напечатаны статьи: «К истории «Зеленой лампы» Б. Модзалевского, «Конституция Никиты Муравьева» Н. Дружинина и «Н. И. Тургенев в тайном обществе декабристов» А. Шебунина и ряд весьма интересных документов.

Б. Модзалевский детально выясняет, на основании недавно разысканных в остатках архива «Русской старины» и приобретенных Пушкинским домом бумаг, круг деятельности и интересов членов кружка «Зеленая лампа» и негласную связь этого кружка с «Союзом благоденствия». Интереснейшим из опубликованных Б. Модзалевским литературных упражнений членов «Зеленой лампы» является «Сон» (стр. 53—56), отражающий мечтания и настроения, характерные для ранней эпохи деятельности «Союза благоденствия», для «будущих умеренных декабристов-конституционалистов». Заслуживает внимания указание на то, что этот «Сон» напоминает «Путешествие в землю Офирскую» кн. М. М. Щербатова и некоторые другие утопии западно-европейского происхождения (стр. 57).

В статье «Конституция Никиты Муравьева» Н. Дружинин обстоятельно рассматривает вопрос о происхождении проекта Н. Муравьева и дает детальный критический анализ различных вариантов: рукописи самого Н. Муравьева (представленного им 13 января 1826 г. Следственному комитету изложения своего «Конституционного устава»), копии, сохранившейся в бумагах И. И. Пущина, и рукописи кн. С. П. Трубецкого. Н. Дружинин устанавливает, что главным отличием вариантов конституционного проекта Н. Муравьева от первоначального текста является ослабление элементов федеративности: «слагаемые части союза... теряют свой государственный характер и еще более приближаются к автономным провинциям». А в последнем варианте (в тюремной рукописи Н. Муравьева) черты федеративного строя «окончательно блекнут, заменяясь отчетливыми контурами унитарного децентрализованного государства» (стр. 105). Окончательный вывод Н. Дружинина: «Широкая местная автономия — вот настоящее desideratum Н. Муравьева, предмет первичных и давних чаяний дворянства, начиная с наказов Екатерининской комиссии». Ошибку прежних исследователей Н. Дружинин правильно усматривает в том, что они «не учитывали текучести конституции Н. Муравьева, рассматривали ее статически» (стр. 107).

Заслуживают внимания меткие характеристики образа действий Н. Муравьева в течение всего следственного процесса (в отличие от образа действий Рылеева, Оболенского, Поджио, Каховского и др.) (стр. 64—65) и соображения, в силу которых Н. Дружинин приписывает критические замечания на пущинском варианте — барону В. И. Штейнгелю (стр. 71).

Рассмотрение оправдательных записок Н. И. Тургенева приводит А. Шебунина к выводу, что «резкая оценка его поведения в данном случае, сделанная М. Н. Покровским, должна быть сильно смягчена» (стр. 146). Из опубликованных в сборнике документов письма И. Д. Якушкина и Н. Д. Шаховской выясняют существенные стороны личной жизни И. Д. Якушкина, а затерянное стихотворение кн. А. И. Одоевского (Молитва русского крестьянина) «впервые дает возможность судить о том, как отражались в литературе общественно-политические настроения Одоевского», тем более, что «в центре его стоят мотивы крепостного права».

А. А. Кункль. Общество «Земля и воля» 70-х годов. Дешевая библиотека журнала «Каторга и ссылка» № 30—34. Изд. О-ва политкаторжан и ссыльно-поселенцев. Москва 1928, стр. 39.

Во введении дана общая характеристика движения 70-х годов. Упомянув, что почвой для зарождения народнических идей послужило бедственное положение крестьянства, А. А. Кункль резюмирует программы и директивы «властителей дум разночинной молодежи 70-х годов» указанием на долг «критически мыслящих личностей» по отношению к «обойденному благами жизни большинству», выдвигаемый на первый план П. Л. Лавровым, и лозунг М. А. Бакунина: «надо поднять вдруг все деревни» во имя «организации снизу вверх вольного братского союза производительных общин».

Затем подводятся итоги происходившего весною 1874 г. «движения в народ» и выясняется значение вызванного неудачей этого движения пересмотра программы (стр. 8). Раз было признано целесообразным перейти «от пропаганды отвлеченных идей социализма к агитации на почве повседневных нужд крестьянства», пришлось создать организацию для основания деревенских «поселений». Такой организацией явилось знаменитое общество «Земля и воля», члены которого «прошли школу» хождения в народ.

Возникновение «Земли и воли», ее программа и устав, и выступления землевольцев изложены живо и объективно. Содержание не сохранившейся подлинной программы «Земли и воли» воспроизведено по книге Аптекмана «Общество Земля и воля» и по статье № 4 газеты «Земля и воля» за 1878 г. В главе «Деревенские поселения» приводятся характерные выдержки из воспоминаний Г. В. Плеханова, В. Н. Фигнер, М. Р. Попова и А. К. Соловьева. Итог этой стадии движения подводится в словах «Народникам на каждом шагу приходилось убеждаться в нереволюционности тогдаш-

него крестьянства. Совершенно иные результаты дала их деятельность среди пролетариата» (стр. 21).

Пропаганда землевольцев среди студенчества свидетельствовала о том, что «землевольцы, стоявшие субъективно на народнической почве, объективно стали сворачивать в сторону политической борьбы». В то же время землевольцы, сперва предполагавшие «создать из городского пролетариата кадры пропагандистов для деревни, вынуждены были отказаться от этой задачи и взять в свои руки руководство стачками» (стр. 23). Характерно, что сообщение III Отделения о росте классового самосознания среди петербургского пролетариата, выразившегося в том, что «два-три года тому назад... часто случалось рабочим не получать в срок жалованья, но все обстояло тихо... Теперь же стоит только самому любимому хозяину задержать расчет два-три дня, как толпа начинает шуметь, браниться и часто возникают стачки», — это сообщение побудило Александра II «начертать» на полях этого документа «Весьма грустно!»

В 3-й главе охарактеризованы пропаганда среди петербургских рабочих и роль Плеханова в этой пропаганде.

«Переход к террору», совещание сторонников террора в Липецке, прения на Воронежском съезде, раскол и возникновение на развалинах Общества «Земли и воли» двух новых организаций, «Народная воля» и «Черный передел», изложены сжато и чрезвычайно объективно. Вообще брошюра А. А. Куккля вполне удовлетворяет своему назначению: она в самом деле может дать современному читателю представление о деятельности «Земли и воли» и о существеннейших чертах идеологии землевольцев. Чрезвычайно желательны подобные краткие, но весьма содержательные, а главное непретенциозные очерки, и притом не только об эпохе 70-х годов, а и о временах более близких.

Г. Лозовик. Історія класової боротьби з найстарших часів. Державне видавництво України. (История классовой борьбы с древнейших времен. Государственное издательство Украины), 1927, стр. 434.

«Можна з великим задоволенням сконстатувати, що наші офіційні органи освіти в останніх програмах для Вузів, Робфаків та Профшкіл стали на цілком правдивий шлях, поширивши частину історичного курсу, що стосується до старого світу». (Можно с большим удовлетворением констатировать, что наши органы ведомства просвещения вступили на совершенно правильный путь, расширив программу преподавания древней истории). Но, продолжает Г. Лозовик, все еще господствует мысль, что можно ограничиться при изучении всей истории человечества до XIX века беглым обзором, причем моменты древней истории выбираются таким образом, чтобы внушать учащимся, что социальный строй древности ничем не отличался от современного; «жертвою подобного метода становится живая, реальная историческая действительность» (стр. 3).

Ввиду этого Г. Лозовик поставил себе задачу изобразить взаимные отношения между классами «в их конкретной форме». «История классовой борьбы от древнейших времен» дает обзор проявлений классовой борьбы от древнейших классовых обществ в бассейне Средиземного моря до Великой французской революции. Нельзя не отметить, что некоторым весьма существенным моментам в истории классовой борьбы уделено слишком мало внимания, например движению левеллеров в эпоху английского «великого бунта». Читать учащимся Г. Лозовик рекомендует исключительно книги, существующие на русском и украинском языках, и притом исключительно исторические труды и компиляции новейших авторов. Между тем некоторые из намечаемых в «Истории классовой борьбы с древнейших времен» тем для «доповідів та самостійної праці» (тем для докладов и самостоятельных работ) безусловно требуют для сколько-нибудь самостоятельного их трактования ознакомления с первоисточниками и выработки критического отношения к ним, без которых вообще сколько-нибудь серьезное ознакомление с проявлениями классовой борьбы «в их конкретной форме» по существу дела невозможно.

VI. ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ

П. В. Анненков. Литературные воспоминания. Изд. «Академия», Л. 1928, стр. XXIII+661.

В предлагаемом сборнике воспоминаний Анненкова напечатаны три мемуарные работы, представляющие различный интерес. Наиболее интересной и ценной работой являются воспоминания о десятилетии 1838—1848 гг., которое по справедливости названо «замечательным». Здесь приковывает внимание сама тема, тогда как другие работы представляют литературный интерес по преимуществу. Мы остановимся поэтому только на статье «Замечательное десятилетие».

По выражению Плеханова, «тридцатые и сороковые годы являются у нас фокусом, в котором сходятся, из которого расходятся все течения русской общественной мысли. Понимание этой эпохи безусловно необходимо» (Соч., т. XXIII, стр. 29).

Близкий друг Белинского, Герцена, Грановского и др., Анненков был знаком, правда недолго, с К. Марксом. В письме именно к Анненкову Маркс уже формулировал в сжатой форме основы материалистического понимания истории.

Настоящий сборник снабжен предисловием Н. К. Пиксанова и вступительной статьей Б. М. Эйхенбаума (редакция и примечания его же). Пиксанов дает в общем верную характеристику П. В. Анненкова, определяя его как типичного представителя умеренного дворянства с примесью буржуазного либерализма. Но автор предисловия делает слишком мягкий вывод: «читатель должен быть настороже»... И только.

Казалось бы, что в предисловии или в вступительной статье следовало бы указать на все ложное и фальшивое, что бесспорно имеется в мемуарах Анненкова. Кратенький критический комментарий, хотя бы в примечаниях, крайне необходим для нашего читателя. Ничего этого в книге, к сожалению, нет.

Очерк Эйхенбаума содержит на первых двух страницах весьма мало содержательные рассуждения о том, какое значение имеют годы рождения для мировоззрения того или иного деятеля. Мемуары Анненкова достаточно хорошо показывают, насколько далек в своем мировоззрении наш мемуарист от людей, ему близких по году рождения. Голые даты, конечно, ничего не выясняют. Нужно было со всей определенностью подчеркнуть, что кажущийся «объективизм» мемуариста таит в себе совершенно определенные тенденции. Дело не ограничивается, конечно, «злобным» отношением к Бакунину, тут автору вступительного очерка следовало бы поподробней остановиться на «тенденциях» туриста-эстетика.

Переходя к содержанию самих мемуаров, укажем, что первые одиннадцать глав характеризуют журналистику 30-х и начало 40-х гг. преимущественно в связи с деятельностью Белинского. Здесь и первые выступления Белинского в литературе, и его увлечение Гегелем, здесь же проходят Бакунин, Шевырев, Станкевич, Гоголь, Лермонтов, Боткин, Полевой, Катков и др. В 1840 г. Анненков покидает Россию и живет три года за границей. Поэтому четыре последующих главы дают нам впечатления, полученные мемуаристом во Франции, Германии и Италии. Анненкова интересует борющаяся и революционная Франция, богатая социалистическая литература того времени, но симпатии его всецело на стороне конституционного режима Гизо.

По возвращении в 1843 г. в Россию Анненков попадает в Москву в атмосферу довольно резкой борьбы, которая происходит между западниками и славянофилами. Здесь он знакомится ближе как с кругом Герцена, так и с группой друзей и сотрудников «Москвитянина». В последующих 14-ти главах находят свое отражение многообразные перипетии борьбы указанных групп. Анненков, более близкий к западникам, вообще всюду старается «сгладить» углы и примирить борющиеся стороны. Западники оказываются побежденными (стр. 464—466). С особой симпатией описывается дом Елагиных, который, по мнению Анненкова, заметно способствовал «умеренности суждений» противников (стр. 332). Глава 31-я переносит нас опять в Париж, куда наш турист прибыл весной 46 года. Во время этой поездки и происходит знакомство с Марксом, который жил в то время в Брюсселе. Следующие две главы касаются

преимущественно польской эмиграции в Париже, а также Бакунина и Герцена. Наконец три последних главы рисуют Белинского во время его поездки за границу в 1847 г. и ряд событий, связанных с этой поездкой (письмо к Гоголю и др.). Таково вкратце содержание «замечательного десятилетия».

В узких рамках рецензии невозможно подробно указать на все те мелкие и крупные искажения, которые допускает мемуарист, — приходится ограничиться немногим. По вопросу о том, насколько верно и хорошо «понял» Анненков Маркса, отсылаем к статье Д. Б. Рязанова «К. Маркс и русские люди 40-х годов». («Очерки по истории марксизма», т. II, Гиз, 1928). Отметим тут же, что против оценки Анненкова, данной Рязановым, возражал П. Н. Сакулин в статье «Русские пионеры научного социализма» (См. «Научное слово», Гиз, 1922). Но упрек в «легкости» мыслей едва ли может быть снят с Анненкова. Дилетантизм его совершенно справедливо отмечен и Пиксановым, и Эйхенбаумом. Анненков и сам признается Гоголю, что «он находится под обаянием простого чувства любопытства» (стр. 154).

Белинский в воспоминаниях Тургенева справедливо назван «центральной фигурой» эпохи. В мемуарах Анненкова ему отведено большое место. Но в оценке и характеристике этой «самой светлой среди русских писателей головы» (выражение Плеханова) мемуаристом допущены весьма значительные погрешности. Так, осталось для Анненкова совершенно непонятным увлечение Белинского и его друзей философией Гегеля. Мемуарист явно отрицательно относится и к «философированию» (стр. 191), и к увлечению «мертвыми философскими схемами» (стр. 226). Совершенно непонятным остался (стр. 222) интереснейший период деятельности Белинского, связанный с «Московским наблюдателем» (ср. Плеханов, Сочинения, т. X, стр. 276).

Все искания Белинского в области социальных вопросов сведены к проблемам нравственности. Наконец, мемуарист совершенно напрасно стремится смягчить все представления о революционности Белинского. Мемуарист полагает, что последний вовсе «не был любителем страшных социальных переворотов»; он не любил стихийных выступлений масс, которые обычно не имеют «никаких моральных основ». К «сожалению», письма Белинского дают полную возможность отвергнуть это фальшивое свидетельство. Об отношении Белинского к террору надлежащее представление дает и письмо к нему Т. Н. Грановского (см. «Переписка Грановского», том II, стр. 439—440 по изд. 1897 г. Ср. «Воспоминания И. И. Панаева», изд. «Академия», 1928, стр. 392—394).

Такова небольшая группа возражений, которые возникают в связи с оценкой Белинского. Оценки и характеристики других деятелей эпохи также нуждаются в значительных поправках. Редакция «Воспоминаний», повторяем, не нашла нужным снабдить издание кратким комментарием. Этим бесспорно умаляется польза издания. Но и в таком виде этот литературный памятник послужит хорошим возбудителем интереса к этой замечательнейшей эпохе, понимание которой, по указанию Плеханова, «столь необходимо». Изданы мемуары хорошо.

П. С. Коган. Очерки по истории западно-европейской литературы. Том I. Издание 9-е, исправленное, стр. 424. Том II. Издание 8-е, исправленное, стр. 446, Госиздат, М. — Л. 1928.

«Не имея в виду библиографической полноты и интересуясь, по завету Геттнера, в истории литературы не историей книг, а историей идей и их форм — научных и художественных», П. С. Коган выбирал «наиболее крупные творения, которые позволяют отметить главные вехи пути, пройденного европейским обществом» (том I, стр. 4). По мнению П. С. Когана, этим путем достигаются две цели: «читатель получает возможность хорошо познакомиться с величайшими писателями... и в то же время от него не ускользает процесс преемственности литературных фактов». Оба эти утверждения нельзя признать бесспорными. С одной стороны, неоднократно выражалось сомнение в том, что по изложениям, каковы бы они ни были, вообще можно «хорошо познакомиться» с литературными произведениями: крайние выразители этой тенденции

стремятся в сущности к устранению изложений литературных произведений — как по существу не могущих заменить чтения самих этих произведений или хотя бы отрывков их них — при преподавании истории литературы. С другой стороны, при рассмотрении только «наиболее крупных» произведений и игнорировании «боковых течений» вряд ли достижима вторая из намеченных П. С. Коганом целей: от читателя не может не ускользать именно «процесс преемственности литературных фактов».

Конечно, выбор «величайших писателей» и «наиболее крупных произведений» по существу дела не может не быть более или менее субъективным; если П. С. Коган несомненно прав, утверждая, что к этой категории нельзя не причислить «Данте, Шекспира, Мольера, Гете», то относительно «и других», как удостаиваемых, так и не удостаиваемых упоминания в «Очерках по истории западно-европейской литературы», весьма возможны разногласия. Так, например, ограничиваясь едва ли не важнейшим из вызывающих недоумение пропусков, следует указать, что П. С. Коган вовсе не упоминает об английском поэте Шелли. Это ничем не мотивированное умолчание не может быть оправдано тем, что автор очерков «не имел в виду библиографической полноты».

Начиная свое изложение с Данте, П. С. Коган резюмирует роль «главного культурного фактора, влиявшего на все стороны жизни в средние века», а именно христианства. Идеология раннего и средневекового христианства представляется в изложении П. С. Когана чем-то однородным и цельным; нет речи о чрезвычайно характерных для «главных вех пути, пройденного европейским обществом», боковых течениях, о сектах с более или менее выраженным уклоном в сторону принципиально отрицательного отношения к частной собственности. Из выступлений против католического духовенства упоминаются только обличительные тенденции в сатирических сирвентах, в пародиях на chansons de geste, в фабльо и шванках, но не рассматриваются более существенные для адекватного суждения о «главных вехах пути, пройденного европейским обществом», тенденции, нашедшие свое литературное выражение в «Vision of William concerning Piers the Ploughman», производившем сильное впечатление на всех стремившихся к социальной и церковной реформе и собиравшихся вокруг Джона Болла и Уота Тайлера.

Следует признать удачными характеристики эпохи Возрождения, гуманизма, и многие другие отделы работы, но многого из весьма существенного для истории западно-европейской литературы П. С. Коган не дает.

Например, автор считает, что Фауст — «по преимуществу философская трагедия». Если так, не лишне было бы уделить второй, по преимуществу философской части этой трагедии несколько больше внимания, чем делает П. С. Коган, ограничивающийся замечанием, что вторая часть Фауста, «это — апофеоз смирившегося индивидуалиста», и цитатой из конца второй части (т. I, стр. 411); не лишне было бы проследить главные вехи того пути, идя которыми, Фауст «наконец находит свой идеал»: ведь эти вехи чрезвычайно характерны для «пути, пройденного европейским обществом».

И во втором томе «Очерков по истории западно-европейской литературы» имеется не мало удачных характеристик, весьма содержательных обзоров, тщательно указана связь литературной деятельности разбираемых авторов с политическими и идеологическими надстройками. Особенно удачна характеристика реалистического направления в литературе и, в частности, основных черт характера и особенностей литературного творчества Бальзака. Но английская литература и во втором томе представлена слишком односторонне — только Диккенсом и Теккереем, благодаря чему весьма существенные литературные направления остаются без рассмотрения.

Г. Зиммель. Гёте. Пер. А. Г. Габричевского, Государственная академия художественных наук, М. 1928, стр. 269.

Во вступлении редакция характеризует книгу Зиммеля о Гёте, которая никак не может служить ни введением, ни предварительной ориентировкой в творчестве Гёте, как «не просто философскую, но прежде всего мировоззренческую», как «некоторый

реставрационный призыв к идеалистическому мировоззрению», открывающий «секреты и тайны современных настроений некоторой группы немецкой интеллигенции». Этой «тайной» оказывается «своеобразный родовой коллективизм», «монизм самой жизни», утверждение, что «познание зависит от бытия человека», хотя «это бытие — отнюдь не бытие социальное, понятое материалистически» (стр. 5).

Сам Зиммель подчеркивает в предисловии, что его книга «не биографична и не направлена на истолкование или оценку гётевской поэзии», но что он ставит себе вопрос: «каков духовный смысл гётевского существования вообще», имея в виду «пра-феномен Гёте, который едва ли до конца воплотился в каком-либо единичном своем проявлении, но тысячекратно преломляется во всех его противоречивых, намекающих, чрезвычайно многообразно дистанцированных высказываниях и намерениях» (стр. 9). Характерно, что сам Зиммель признает, что «гётевское непрерывное испытывание и переустанавливание возможных точек зрения... дают место необозримому числу толкований его единства и цельности». Поэтому мысль о возможности «одно из этих толкований документально установить настолько, что оно исключало бы все другие», Зиммель считает «самообманом».

«Наиболее чистый феномен решающей жизненной интенции» Гёте Зиммель усматривает в «установке себя на любительство», в заявлениях вроде «главное ничего не делать профессионально, это мне претит», причем это отвращение к «цеху», «профессионализму» не исключало страстной ненависти к дилетантизму.

Главу вторую — «Истина», в которой формулируется точка зрения Гёте на «витальный смысл истины», на «познание» как функцию всего человека», поднимающееся «над противоположением чувственности и рассудка», на «абсолютно истинное» как на «то функционально правильное, плодотворно включенное в целостность жизни, которое возвышается над обычным отношением истинно—ложно», нельзя не признать, как ни относиться к точке зрения самого Зиммеля, наиболее продуманным и содержательным из имеющегося в литературе о философских воззрениях Гёте. Нельзя не отметить, что подчеркивание не «случайного параллелизма или вторичного взаимоподчинения, а целостности жизни», того, что «если истина относится к совершенному процессу этой целостности, то она в то же время должна быть истиной и в отношениях объекта, потому что субъект и объект не могут распасться», того, что «динамическое единство жизни, пронизывающее все многообразие членов... добыто богатством, а не резиньяцией» и т. п., поразительно напоминают формулировки, данные в статье «Антропологический принцип в философии». Это совпадение объясняется, конечно, тем, что автор статьи «Антропологический принцип в философии» глубоко продумал и прочувствовал монизм Гёте и глубокий источник этого монизма — не извращенное в угоду схемам, подлинное учение Спинозы, дополняемое Гегелем там, где Спиноза «пожертвовал становление бытию». Формулировки Зиммеля, относящиеся к субъективности и объективности истины как индивидуализации, заслуживают внимания, так как в них немецкая гносеология возвышается, наконец, до преодоления тех условных перегородок между субъективным и объективным и т. д., которые мешали надлежащему пониманию точки зрения Гегеля. Истолковывая Гёте, «гносеолог» Зиммель возвышается до точки зрения Гегеля! Это в самом деле глубокий сдвиг, заслуживающий быть отмеченным и, конечно, не изолированный. Мысли о «человечестве как носителе познания», о «единстве с собой и другими», о «познании и единосущности» настолько удачно выражены, что эту часть книги Зиммеля можно рекомендовать как хорошее введение в гегелеву «Феноменологию духа».

Характеризуя «гениальную синтетику» Гёте, сам Зиммель признает, что «нам очень трудно вдуматься в установку Гёте, для которой первым и последним является мировая связь, а не познание», так как «наше мышление привычно ориентировано на Канте, а мысли Гёте не укладываются в «наши обычные теоретико-познавательные предпосылки и категории, но требуют, чтобы быть понятыми»... основной позиции, совершенно от них отличной» (стр. 64). Недаром Зиммель причисляет Гёте к числу «гераклитовских людей» (стр. 86), «великолепную особенность гётевского духа» усматривает в умении Гёте «обнаруживать господство какого-нибудь

принципа как раз из его противоположности» согласно «закону полярности» или «единства противоположностей». Заслуживают внимания и соображения Зиммеля о действительном — чисто гегельянском — «преодолении Спинозы — не в смысле отвержения его или опровержения, а путем достижения высшей ступени» (стр. 90). Недаром Зиммель отмечает, что «в отличие от Шиллера, у которого все всегда было готово, у Гёте в течение разговора все становилось».

В этом невольном гегельянстве Зиммеля, как истолкователя Гёте, и заключается главный интерес книги Зиммеля о Гёте. Своеобразный трагизм обнаруживается как в том, что так трудно было гносеологу Зиммелю дойти до того, чтобы возвыситься до диалектики даже в ее гегельянски-идеалистической форме, так и в том, что Зиммель только противопоставляет кантову теорию познания диалектике, а следовательно не возвысился хотя бы до точки зрения английских гегельянцев.

Суждения Зиммеля о творчестве Гёте заслуживают внимания; к сожалению, Зиммель слишком мало останавливается на «Годах странствий Вильгельма Мейстера» и на второй части Фауста.

В. Е. Евгеньев-Максимов. Некрасов как человек, журналист и поэт. Госиздат, М.— Л. 1928, стр. 341.

В первой части своей книги В. Е. Евгеньев-Максимов с особым вниманием останавливается «на тех северно-русских классовых, семейно-родовых влияниях, а также влияниях эпохи, которые в своем совокупном действии на личность Некрасова сделали ее именно такой, какой мы ее знаем» (стр. 3). Констатировав, что психический склад Некрасова «формировался под перекрещивавшимися влияниями целого ряда разнообразных факторов», автор выясняет прежде всего влияние, оказанное на Некрасова великорусской природой и великорусским усадебным бытом в том виде, в каком он сложился в 20—30-х гг. XIX века, точнее — «пребыванием в усадьбе помещика-крепостника и общением с крестьянскими детьми». «Основной тон некрасовской поэзии — ее унылость» (стр. 11) — представляется навеянным «тоскливыми песнями свободного ветра» и впечатлениями от народной жизни. Далее отмечаются специфически «великорусские элементы в духовном облике Некрасова»: его выносливость, его «именно великорусский», «удивительно трезвый, на редкость реалистический» ум. Затем В. Е. Евгеньев-Максимов доказывает, что Некрасов лишь отчасти принадлежал к общественно-психологическому типу людей 40-х гг., а потому и его органическое восприятие существенным образом отличалось от их восприятия» (стр. 44). Уже в детской жизни Некрасова «элементы барства не были преобладающими: «близость с крестьянской детворою, общее с нею чувство гнета и даже некоторой приниженности, непривычка к роскоши и комфорту, отсутствие какой бы то ни было утонченности, благоприятствующей развитию эстетизма и сибаритства и, наконец, полная изолированность от той тепличной и расслабляющей атмосферы, которая, в конечном результате, вела к обломовщине,— это все такие факторы, которые должны были сделать органическое восприятие Некрасова довольно близким к органическому восприятию разночинцев» (стр. 46).

На психике и на творчестве Некрасова не могло не отразиться и то, что в конце 30-х гг. он «в полном смысле принадлежал к литературному пролетариату», все «надежды бедного желудка которого», подобно надеждам героя одной из его ранних повестей «Без вести пропавший пиита», основывались на сомнительном гонораре за статейки, еще не написанные, которые предстояло «непременно» написать, и притом, за невозможностью купить чернил, ваксой (стр. 49).

Эта «разночинно-пролетарская психика осталась характерной для Некрасова по крайней мере в сфере ее литературных отражений». Ее не могли искоренить ни улучшение его материального положения, ни общественно-литературная деморализация в эпоху «мрачного семилетия» (1848—1855), ни даже общение с писателями, большинство которых по происхождению, по воспитанию и по материальному положению принадлежало к типичным баричам и после 1848 г. поддалось «барственно-сибаритским влечениям».

В. Е. Евгеньев-Максимов рисует весьма непривлекательную картину времяпровождения писателей старого круга «Современника», в эти годы представлявшую резкий контраст образу жизни «твердых, как сталь», Чернышевского и Добролюбова, возродивших этот журнал. В главе «К вопросу о нравственных падениях» Некрасова В. Е. Евгеньев-Максимов подробно разбирает обвинения в денежной нечистоплотности, исходившие от Герцена, который был вынужден сознаться, что он «совсем забыл» о данной им Тургеневу записке. Другие аналогичные обвинения, взводимые на Некрасова, оказываются не только совершенно несостоятельными, но и прямо «клеветническими». Выяснение этого путем приведения документов, в самом деле имеющих «огромное биографическое и вместе с тем историко-литературное значение», сделано В. Е. Евгеньевым-Максимовым исчерпывающим образом. Что же касается намеков литературных недоброжелателей Некрасова, то с ними особенно серьезно считаться не приходится. Приводя множество документальных данных, В. Е. Евгеньев-Максимов устанавливает, что Некрасов был «далек от мысли смотреть на свой журнал как на источник личного обогащения и, наоборот, проявлял по отношению к сотрудникам незаурядную щедрость, возведя в систему широкое авансирование и массовое списывание долгов» сотрудников, лишившихся платежеспособности «по обстоятельствам, от них не зависящим» (стр. 188). Окончательный вывод В. Е. Евгеньева-Максимова — «Некрасов придерживался в высшей степени бескорыстного отношения к материальным нуждам и потребностям литературной братии» — приходится признать вполне обоснованным.

В главах «Некрасов как журналист» и «Некрасов как редактор» детально и всесторонне выясняется огромная работа Некрасова, которая сама по себе обеспечила бы ему место в первом ряду русских просветителей, даже если бы он не написал ни одного стихотворения. Заслуживает внимания объективный анализ конфликтов в редакции «Современника».

В главе «Цензурные воздействия на Некрасова как поэта» изложен ряд чрезвычайно характерных эпизодов, свидетельствующих о том, как «обескрыливала цензура поэтическое вдохновение Некрасова» (стр. 226). Весьма удачными следует признать главы «Идеологические этапы поэтического пути Некрасова» и «Некрасов как художник». В заключительной главе «К вопросу об источниках поэзии Некрасова (как создавались «Русские женщины»)» на конкретном примере выясняется характерный для «Тиртея русской революции» метод художественного оформления литературных замыслов.

В. Иков. Николай Алексеевич Некрасов. Историко-биографический очерк. Под редакцией и с предисловием В. Ф. Переверзева. «Молодая гвардия», 1928, стр. 130.

Как говорит в предисловии к книге В. Икова В. Ф. Переверзев, автор дает «не механическую, а принципиально выдержанную органическую конструкцию, пользуясь марксистским методом установления классово-экономической базы писателей», и читатель найдет в этой книге «сжато и четко, но с достаточной полнотой нарисованную картину» жизни и деятельности Некрасова.

Марксистский метод проявляется преимущественно в «схематическом» рассмотрении общественных группировок, например славянофильства 40-х гг., в социально-политической идеологии которого «не трудно разглядеть мотивы чисто классового расчета — боязнь безземельного пролетариата, стремление обеспечить кадры дешевой рабочей силы для помещичьего хозяйства, сохранить в той или иной форме диктатуру в руках дворянства и т. д.» (стр. 28).

Сложность и богатство поэтического творчества Некрасова, его личные и художественные противоречия В. Иков объясняет «сплетением двух культур, деревни и города» (стр. 113). В книге В. Икова в самом деле «подытожены» все существенные достижения предыдущей критики Некрасова.

Ив. Фролов. Николай Гаврилович Чернышевский. (Его жизнь, революционная деятельность и научные взгляды.) «Московский рабочий», М.—Л. 1928, стр. 211.

Не претендуя на «исследовательский характер», книга Ив. Фролова ставит своей задачей дать популярно-научный очерк жизни, деятельности, борьбы и учения Н. Г. Чернышевского, имея в виду «квалифицированного рабочего, партийно-комсомольский актив, студентов рабфаков, слушателей совпартшкол и низовую советскую интеллигенцию». Заслуживает внимания, что в этом детальном перечне тех категорий читателей, на которых «рассчитана» популярная биография Н. Г. Чернышевского, нет упоминания о крестьянах, отстаиванию насущнейших интересов которых посвящен ряд первоклассных публицистических статей этого писателя. Как согласовать это умолчание с утверждением автора, что «фамилия Чернышевского... стала одной из самых близких, дорогих и популярных для десятков и сотен миллионов трудящихся»? (Стр. 261.)

Ив. Фролов правильно констатирует, что Н. Г. Чернышевский был центральной фигурой эпохи «60-х гг.» Для «биографического образа» Ив. Фролов использовал дневник Чернышевского, наконец опубликованный Госиздатом. На стр. 42 имеется неточное утверждение: Чернышевский «боится, что печатная пропаганда возбудит недоверие крестьян». На самом деле Чернышевский отказывается не от «печатной пропаганды», а от своей первоначальной мысли о подложном документе. Не отмечено влияние английских писателей и французских историков эпохи реставрации на Чернышевского. Эпизод с защитой Чернышевским магистерской диссертации изложен на стр. 55 неточно: вопреки утверждению Ив. Фролова, Чернышевский в конечном итоге был «удостоен» степени магистра.

Вопрос об отношении Чернышевского к политической свободе выяснен правильно, и в этом значительное преимущество Ив. Фролова перед многими, писавшими и пишущими о Чернышевском. Не отмечено значение составлявшихся Чернышевским обзоров иностранной политической жизни, по сию пору остающихся непревзойденными в русской литературе.

В общем книгу Ив. Фролова приходится признать сравнительно удовлетворительной.

П. Петренко. Марксівська метода в літературознавстві. Харків, Літ-друкарня Книгоспілки. (Марксистский метод в литературоведении. Харьков). 1928, стр. 132.

Во вступлении П. Петренко характеризует нынешнее положение науки о литературе как борьбу за объктивное литературоведение и указывает, что сведение борьбы направлений в этой науке к антагонизму марксистского и формального направлений «не развязывает гордиева узла литературной методологии», так как многие исследователи литературы являются «плюралистами». Отметив, что «формалисты» нередко впадают в субъективизм худшего рода (стр. 32), П. Петренко опровергает обычные извращения марксистской точки зрения на предмет истории литературы. Примыкая к взглядам Г. В. Плеханова на отношение литературы к экономике, автор намечает задачи марксистского литературоведения.

В главе четвертой («Литература и классы») заслуживает внимания исторический обзор сменявших друг друга в великорусской и в украинской литературах тенденций, обнаруживавшихся при изображении типов крестьян, а также общая схема параллелизма, проявляющегося между изменениями в классовой психологии и соответствующими изменениями в литературе. По вопросам о соотношении между литературой и географической средой и о роли творческой индивидуальности в литературном процессе П. Петренко также примыкает к формулировкам Плеханова. Заслуживает внимания приложение марксистской точки зрения к анализу классовой обусловленности идеологии украинских писателей, Шевченко, Кулиша.

Глава «Имманентные законы литературы» имеет полемический характер. Наконец, в главе «Диалектика искусства» выясняется значение диалектики в ее марксистском понимании для научной истории искусства.

VII. ИЗДАНИЯ ИНСТИТУТА К. МАРКСА и Ф. ЭНГЕЛЬСА

Фридрих Энгельс. Людвиг Фейербах. С предисловием Ник. Карева («Библиотека марксиста», под общей редакцией Д. Рязанова. Вып. XIV.) Госиздат. М.—Л. 1928, стр. XV+167.

Настоящий выпуск «Библиотеки марксиста» является изданием одного из наиболее замечательных сочинений Ф. Энгельса: «Людвиг Фейербах». Небольшое предисловие Энгельса знакомит нас с историей данного произведения и его основной задачей — дать систематическое изложение отношения Маркса и Энгельса к философии Гегеля и Фейербаха. Как известно, в первой главе Энгельс излагает свое отношение к системе и методу Гегеля, останавливаясь далее на разложении гегелевской школы и появлении «Сущности христианства» Фейербаха.

Вторая глава дает нам изложение основных положений гносеологии и диалектического материализма на фоне критики книги Штарке о Фейербахе. Глава третья посвящена анализу философии Фейербаха. Глава четвертая является блестящим изложением материалистической диалектики и основ материалистического понимания истории.

К настоящему изданию приложены страницы из черновой рукописи «Людвиг Фейербах». Здесь Энгельс указывает на то, что успехи естествознания, в особенности же «три великих открытия» — принцип превращения энергии, открытие органической клетки и теория развития Дарвина — превратили естествознание в «систему материалистического понимания природы», но все это прошло мимо Фейербаха, чем и объясняется то обстоятельство, что когда ему приходилось касаться вопросов естествознания, то он должен был довольствоваться «беллетристическими фразами».

Плехановский перевод тезисов о Фейербахе был недостаточно точен, а поэтому для настоящего издания текст был заново переведен с оригинала (из записной книжки Маркса), напечатанного впервые в первом томе «Архива К. Маркса и Ф. Энгельса».

Примечания Плеханова, приводимые в издании, особое значение имеют потому, что в них дано не только разъяснение некоторых понятий Энгельса, но и дальнейшее развитие некоторых положений диалектического материализма. Наиболее интересными являются примечания: 2-е — об отношении Белинского к Гегелю, 4-е — о Штраусе и Бауэре, 7-е — об агностицизме и 8-е — о категорическом императиве Канта. Предисловие Н. А. Карева знакомит читателя с жизнью и философией Л. Фейербаха. Кроме того, в нем дана критика трех замечаний Плеханова. Первое касается полемики Плеханова с Лениным по поводу отношений с.-д. к захвату власти в буржуазной революции, второе — теории «иероглифов» и третье — вопроса о «сведении» высших форм движения материи к низшей. К книге приложен указатель, составленный В. Поповой.

Фридрих Энгельс. Анти-Дюринг. («Библиотека научного социализма» под редакцией и с введением Д. Рязанова.) Госиздат, 1928, стр. XXVII+539.

Настоящее издание характеризуется рядом новых дополнений, приложений и других материалов, обогащающих и комментирующих основной текст «Анти-Дюринга». В своем предисловии Д. Б. Рязанов дает характеристику того нового, чем отличается рецензируемое издание не только от ряда более ранних немецких изданий, но от последнего третьего немецкого издания, вышедшего при жизни Энгельса и послужившего основой для настоящего русского издания. Из наиболее существенных дополнений, включенных в рецензируемое издание «Анти-Дюринга», необходимо отметить следующие: 1) в первую и вторую главы третьего издания включены объяснительные дополнения Энгельса, сделанные им для последнего издания «Развития социализма от утопии к науке», 2) в приложениях к «Анти-Дюрингу» дан новый материал, отчасти опубликованный во втором томе «Архива К. Маркса и Ф. Энгельса». Здесь

мы находим старое предисловие Энгельса к «Анти-Дюрингу», в котором детально трактуется вопрос об истории диалектики и ее роли в философии; три примечания Энгельса к «Анти-Дюрингу,» написанные в 1878 г.; один из вариантов вступления к «Анти-Дюрингу» и, наконец, ряд заметок Энгельса из его подготовительных работ к «Анти-Дюрингу». Таким образом, русский читатель получает возможность ознакомиться с рядом комментариев к философским и экономическим проблемам «Анти-Дюринга», сделанных рукою самого Энгельса. Помещенные в конце книги примечания и предметный указатель могут служить и комментарием, и справочником к основным понятиям и именам, встречаемым в «Анти-Дюринге».

Нет сомнений в том, что такая книга, как «Анти-Дюринг», в которой впервые была дана одним из творцов научного социализма не только критика взглядов Дюринга, но и положительное изложение философской и экономической концепции марксизма, представляет для понимания даже средне подготовленного читателя значительные трудности. Поэтому пояснения к понятиям и именам отвечают насущной потребности в такого рода ориентирующем материале. Редакция имела в виду особенно провинциального читателя, очень часто лишенного возможности навести интересующую его справку или выяснить тот или другой вопрос за отсутствием нужных книг.

Введение Д. Б. Рязанова дает новое освещение истории дюрингианства как на его родине в Германии, так и в России. Прочитав страницы, посвященные Д. Б. Рязановым общей характеристике германской социал-демократии того времени, читатель узнает тот несомненный (потому что основанный на документальных данных) факт, что в числе ярых дюрингианцев были не только Эд. Бернштейн, Мост, Фриче, Вальтейх и ряд других (что было известно и раньше), но и... Август Бебель; не был свободен от влияния Дюринга и В. Либкнехт. История борьбы вокруг полемических статей Энгельса против Дюринга, печатавшихся в центральном органе германской социал-демократической партии, борьбы, разыгравшейся на Готском конгрессе в 1877 году, показывает нам, как далеко еще были от марксизма тогдашние сторонники Маркса и Энгельса — «эйзенахцы», не только рядовые члены партии, но и такие фигуры, как Бебель. Автор введения решительно выступает против упрощенного представления о личности и трудах Дюринга, мелкобуржуазному влиянию которого, как это видно из приведенных примеров, поддались даже непосредственные ученики Маркса и Энгельса. Во введении приводятся также и факты из истории русского «дюрингианства». Здесь фигурируют в качестве «дюрингианцев», на-ряду с Н. Михайловским, Павел Аксельрод и Г. В. Плеханов...

В свете этих данных становится понятным революционизирующее, просвещающее умы значение классического труда Энгельса. Однако значение «Анти-Дюринга» этим не исчерпывается. Лучше всего это выражено в следующих словах Антонио Лабриолы («Социализм и философия»), цитируемых Д. Б. Рязановым во «Введении»: «Каждая нация имеет, к сожалению, своего Дюринга. Кто знает, сколько и какие «Анти» написали бы Энгельсы других стран. Настоящее значение «Анти-Дюринга» заключается, по моему мнению, в том, что он дает возможность социалистам других стран и других языков вооружиться критическими методами, без которых нельзя написать все «Анти-Иксы», необходимые для борьбы против всех, извращающих или портящих социализм во имя различных социологических систем».

К. Маркс. Нищета философии. («Библиотека марксиста». Вып. XII—XIII под. ред. Д. Б. Рязанова.) Госиздат, 1928, стр. VIII+216.

Полемическое произведение К. Маркса «Нищета философии» уж давно стало настольной книгой для каждого марксиста. Значение «Нищеты философии» заключается прежде всего том, что эта книга дает изложение основ материалистического понимания истории и экономической системы Маркса, как они сложились у автора накануне революции 1848 г. В «Нищете философии» Марксом впервые исследуется зависимость между способом производства и производственными отношениями, между этими последними и классовым строением буржуазного общества. В ней же он впервые выясняет

исторический и социальный характер экономических категорий, исследует связь их с определенной буржуазной структурой общества. В ней он, наконец, выясняет связь между ростом рабочего движением и развитием капиталистического способа производства и показывает, каким образом разрозненные пролетарии формируются в общественный класс со своими особыми интересами.

Настоящее русское издание «Нищеты философии» отличается от ряда предыдущих тем, что оно, во-первых, тщательно сверено с первоначальным французским текстом 1847 г. и с последующими изданиями (французским и немецким), вышедшими с исправлениями Энгельса. Благодаря этому некоторые пробелы, допущенные в старом переводе В. Засулич, здесь восполнены и исправлены. Во-вторых, в примечаниях к тексту дан ряд исправлений и дополнений, внесенных в свое время Энгельсом, на основании пометок Маркса, в немецкое издание. Кроме того, в текст внесен и ряд поправок на основании пометок Маркса на полях книги и рукописной заметки Энгельса (фотокопия которых имеется в Институте К. Маркса и Ф. Энгельса). В этих заметках Маркса и Энгельса указан перечень желательных исправлений в тексте книги. В примечаниях редакторов исправлены неточности, допущенные Марксом при цитировании или при ссылке на авторов, и сделаны пояснения, необходимые для понимания текста. В приложениях даны письма К. Маркса к П. В. Анненкову и к редактору «Социал-демократа», в которых содержится характеристика и критика взглядов Прудона. На-ряду с основным текстом «Нищеты философии» эти письма имеют и самостоятельное научное значение.

Помещенные в конце книги примечания (к понятиям и именам) имеют своей целью помочь неподготовленному читателю легче ориентироваться в тексте «Нищеты философии».

Г. В. Плеханов. Materialismus militans (Воинствующий материализм). С пред. А. Деборина. («Библиотека марксиста» под общей редакцией Д. Рязанова. Вып. XI.) Госиздат, М.—Л. 1928, стр. VIII+129.

Под названием «Materialismus militans» изданы три письма Плеханова к Богданову, являющиеся ответом на его «Открытое письмо тов. Плеханову», напечатанное в сентябрьской книжке журнала «Вестник жизни» за 1907 г. Первое письмо устраняет мелкие нападки и обвинения со стороны Богданова, расчищая путь для постановки коренных вопросов спора. Здесь следует указать на интересные замечания Плеханова относительно «российской Клеопатры» — интеллигенции, настроения и симпатии которой крайне непостоянны, а также на очень ценные замечания относительно причин идеалистической реакции и отвращения буржуазии от материализма. В первой части второго письма центральными вопросами являются проблема материи, проблема опыта и проблема различия между видом и формой. Вторая часть письма содержит анализ воззрений Эрнста Маха. Третье письмо посвящено разбору и критике воззрений А. Богданова.

Предисловие А. М. Деборина знакомит читателя с историей возникновения писем и передает вкратце их содержание.

К книге приложен указатель, составленный В. Поповой.

Е. В. Тарле, академик. Рабочий класс во Франции в первые времена машинного производства (1815—1834). «Исследования по истории пролетариата и его классовой борьбы» под общей редакцией Д. Рязанова. Госиздат, 1928, стр. 279.

Настоящая работа входит в серию «Исследования по истории пролетариата и его классовой борьбы» и этим уже заранее определяется ее характер как исследовательского труда. И действительно, ценность книги Е. В. Тарле заключается в том, что она основана на изучении архивного материала, найденного автором в Archives Nationales. Литература вопроса, как указывает сам автор, чрезвычайно немногочисленна, а в некоторых своих частях и неудовлетворительна. Первые две главы являются как бы вступительными и освещают вопросы о состоянии промышленности

в изучаемую эпоху (I глава) и о материальном положении пролетариата (II глава).

Основная часть книги распадается на две части: одна из них анализирует движение пролетариата на экономической почве (III, IV и V главы), а другая — политические выступления рабочего класса (VI, VII и VIII главы).

Последняя глава, о лионском восстании, представляет как бы самостоятельную работу и была отдельно напечатана в «Архиве К. Маркса и Ф. Энгельса». Автор использовал по преимуществу архивные материалы серии F7, кроме того также обработаны материалы серии BB18 и F. 10. V (шифры Национального архива в Париже). Из серии F7 автор использовал донесения префектов министру внутренних дел, из BB18 — переписку министра юстиции и т. д.

Кроме того, автором использована также двухтомная книга Виллерме, которая представляет собой результат анкеты о положении рабочего класса, произведенной им по поручению Академии. Автор не забывает также и о современной изучаемой эпохе литературе, и в тексте мы встречаем ссылки на некоторые брошюры, сохранившиеся от этой эпохи в Национальной библиотеке.

КОЛЛЕКЦИЯ РУКОПИСЕЙ ИЗ АРХИВА Ф.-ДОМЕЛЫ НЬЮВЕНГУЙСА

В марте 1928 г. Институт приобрел у наследника основателя голландской социал-демократии (позднее ставшего анархистом), Ф.-Домелы Ньювенгуйса, исключительную по своей ценности коллекцию рукописей. Она насчитывает 250 архивных единиц и включает в себя (кроме голландского материала) письма деятелей международного рабочего движения к Ньювенгуйсу в 80-х гг., деятелей II Интернационала и анархического движения начиная от 1892 г. вплоть до смерти Ньювенгуйса в конце 1919 г.

Наибольшую ценность для нас, конечно, имеют письма Маркса и Энгельса, касающиеся таких вопросов, как диктатура пролетариата, популяризация учения Маркса и т. п. Как признанный руководитель голландской социал-демократической партии в 80-х гг., Ньювенгуйс находился в переписке со многими видными деятелями международного рабочего движения. Из писем таких лиц особенно следует отметить 30 писем Цезаря де Папа, содержащих интересные данные об организации и развитии демократического и социалистического движения в Бельгии (особенно Фламандии). Затем письма французских и английских социал-демократов 80-х гг., 4 письма Элеоноры Эвелинг-Маркс и, наконец, письма тогдашних вождей германской социал-демократии, Бебеля, Бернштейна, Каутского и Либкнехта. Продолжавшаяся до 1889 г. близкая дружба между этими лицами и их голландским товарищем, выразившаяся, между прочим, и в сотрудничестве последнего в «Neue Zeit», охладела после известной полемики Либкнехта с Ньювенгуйсом на Парижском конгрессе. Как видно из последнего письма Либкнехта (1890), он старался смягчить Ньювенгуйса, который, однако, продолжал резко нападать на Либкнехта в своей газете. Спор шел главным образом по вопросу о парламентаризме и пролетарской тактике. Отношения обострились еще больше, так как к этому времени в среде германской социал-демократии образовалась оппозиция, так называемые «молодые», обвинявшая «стариков» в оппортунизме и чрезмерном увлечении парламентаризмом. Ньювенгуйс своей полемикой против Либкнехта становился в известном смысле теоретической и моральной опорой этих «молодых», охарактеризованных Энгельсом как бунтующие студенты и интеллигенты. Сохранившиеся письма руководителей оппозиции к Ньювенгуйсу (Ауэрбаха, В. Брауне, П. Эрнста, М. Люксенбурга, Ганса Мюллера, Г. Пиккера, Е. Вернера и др.) дают весьма любопытный и интересный материал о деятельности этой оппозиции и выявлении ее идеологической физиономии. На Брюссельском конгрессе, где обсуждался вопрос о позиции, которую должна занять социал-демократия в случае войны, Ньювенгуйс уже возглавлял оппозицию внутри II Интернационала в международном масштабе; но как здесь, так и на Цюрихском конгрессе (1893) он остался в меньшинстве. В декабре 1893 г. на конгрессе голландской социал-демократии в Гренингене дело дошло уже до открытого раскола; Ньювенгуйс стоял за отказ от всякого участия в парламентских выборах, и с этого времени до конца своей жизни примыкал к анархическому движению.

Наибольшую часть коллекции и составляют письма анархистов всех стран к Ньювенгуйсу за 1893—1919 г.г. Особо богато представлены материалы, относящиеся к

организации международного антимилитаристического (анархического) конгресса в 1904 г. (письма Э. Арманда, А. Бейли, Г. Дариэна, Г. Пти, Хосе Прада и др.), затем письма разных деятелей религиозного свободомыслия и письма, связанные с переводом «Жизни Иисуса» и др. произведений Ньювенгуйса на другие языки. Имеется также письмо, характерное для позднейших политических воззрений Золя и письмо Георга Брандеса, бросающее яркий свет на его политические убеждения. И, наконец, имеются группы писем отдельных видных анархистов; из западно-европейских и американских нужно отметить: Л. Фабри, Фр. Феррера, Эмму Гольдман, Б. Кампфмейера, Б. Лазара, Э. Малатесту, С. Мерлино, И. Моста, М. Неттлау, Э. Реклю и др. Особенно интересно письмо Феррера от 13 августа 1909 г., т. е. приблизительно за два месяца до его расстрела, где он сообщает о бешеной травле его клерикальной партией в связи со взрывом в Барселоне. Из писем русских анархистов имеются: 23 письма П. Кропоткина, 14 писем В. Черкезова и 9 писем Алекс. Долинино-Ивантского, художника-анархиста (бывш. тульский помещик), проживавшего долгие годы в Мюнхене. В 1914 г. он вместе с женой покончил самоубийством, чтобы избежать ареста, угрожавшего ему как русскому подданному. В письмах Долинино главным образом говорится об издании популярной детской и воспитательной литературы и о переводе произведений Ньювенгуйса на язык эсперанто, которым Долинино хорошо владел. Интересны также документы и письма (Рогдаева), относящиеся к антимилитаристической деятельности группы русских анархистов-коммунистов «Набат» в 1915 г. в Женеве.

Ф. Шиллер.

«ПАРИЖСКАЯ КОММУНА 1871 г.»

(Выставка, организованная Институтом К. Маркса и Ф. Энгельса в Центральном доме Красной армии им. М. В. Фрунзе.)

Летом 1928 г. музей Института К. Маркса и Ф. Энгельса впервые вынес за стены Института свою музейно-экспозиционную работу.

На торжественном открытии Центрального дома Красной армии было высказано пожелание сделать его центром культурного просвещения не только красноармейских, но и широких рабочих масс, причем, как на одно из действенных средств пропаганды, указывалось на необходимость организации ряда выставок по истории пролетариата и его классовой борьбы.

Музей Института К. Маркса и Ф. Энгельса является до сих пор единственным в мире музеем, в котором история борьбы рабочего класса, история социализма и революционных движений на Западе прорабатываются методом не только показа истории в экспонате, современном изучаемой эпохе, но и рассказа истории при помощи этого экспоната — в передаче той действительной обстановки, тех условий, в которых жили и боролись классы. Благодаря этому, помимо обычных приемов экспозиции, здесь привлекается на помощь множество факторов чисто эмоционального характера. Многочисленные редкие документы, современные определенному этапу революционной борьбы, не только демонстрируются, но и тщательнейшим образом прорабатываются и классифицируются по намеченному историческому плану — так, чтобы вся внутренняя связь социально-экономических и социально-политических отношений была по возможности ясна.

Так как здесь необходимо рассчитывать главным образом на массового зрителя, пропаганда ведется всеми методами, какие были в распоряжении современников и участников событий: использованы современные иллюстрации, афиши, портреты главных деятелей и вождей, их переписка, законодательные акты, петиции, листовки, медали, периодика, главнейшие работы современников по интересующему вопросу, использована карикатура на классовых врагов — показатель скрытой подпольной работы, свидетельствовавшей о напряженном росте революционного движения в стране. Весь этот материал располагается в определенном порядке, — синтезируется в картах, диаграммах, надписях, цитатах, пояснительных текстах на языке, терминологически понятном и доступном массам.

Естественно, что именно на Институт К. Маркса и Ф. Энгельса была возложена задача организации выставок по истории пролетариата и его классовой борьбы.

Было решено начать с выставки Парижской Коммуны, одной из самых ярких страниц в истории международного пролетариата.

Так как за отсутствием необходимого помещения богатые материалы музея, в подавляющем своем большинстве, лежат в свернутом виде, Институт мог бросить в работу огромный музейный фонд, из части которого и выросла открывшаяся в Центральном доме выставка.

Выставка «Парижская Коммуна» дана впервые в таком развернутом виде. Она важна и интересна не только для историков и специалистов, не только для рабочего-пропагандиста, для вузовца и рабфаковца,—она ценна как культурное событие международного значения, ибо наглядно демонстрирует первый исторический опыт диктатуры пролетариата.

Считаясь с основным ядром посетителей, организаторам выставки пришлось снабдить материал большим количеством переводных текстов. Так, на 3003 единицы дано 570 переводов, не говоря уже об аннотациях, надписях и кратких данных о социальном положении, о политических группировках отдельных участников движения.

На выставке показано 3.003 экспоната.

Из 12-тысячного музейного фонда по Парижской Коммуне 1871 г. дано 2238 единиц, 375 рукописных и печатных документов-подлинников, 223 периодических издания того времени, 218 книг, 12 медалей, 97 фото-копий декретов, заснятых с газет, которые в подлинниках показаны по другому случаю, 18 диаграмм, 11 карт, 28 цитат из произведений Маркса, Энгельса и Ленина, 4 бюста, 2 знамени и 570 переводов.

Развернута выставка в четырех залах.

Большой вестибюль служит как бы введением.

В глубине на строгом сером фоне с краткой цитатой Ф. Энгельса: «Вы хотите знать, что такое диктатура пролетариата? Посмотрите на Парижскую Коммуну — это была диктатура пролетариата», протянуто красное боевое знамя 67-го батальона Национальной гвардии. На стенах — две карты-панно: 1) Франко-прусская война и 2) 72 дня Парижской Коммуны.

В двух первых залах дана вся предистория Парижской Коммуны, в двух последних — Коммуна и ее падение.

Первый зал—**Империя Наполеона III**—дает империю 60-х годов в период ее разложения, историческую ситуацию, предшествовавшую франко-прусской войне, и возникновение войны. Эпоха промышленного капитала во Франции представлена рядом гравюр и диаграмм, указывающих на рост крупной индустрии в стране, на роль торгового и финансового капитала; в ряде диаграмм показано соотношение ремесленного и промышленного пролетариата, расслоение деревни, приток крестьян в города и рост городов. Предприятия Франции иллюстрированы мощными заводами Крезо, видами мастерских, производящих так называемые «артикль де Пари».

Витрины «Идеологические течения в рабочем классе» характеризуют пестроту политических группировок, в которых не всегда ярко выражена строго пролетарская идеология: здесь и мелкобуржуазно-демократические группировки, и социалистические, и коммунистические; портреты вождей и ряд документов, свидетельствующих о росте революционных настроений среди рабочих масс, о том, что пролетариат Франции вышел на широкую дорогу самостоятельной политической борьбы: документы по профсоюзному движению, начало которого было положено при Наполеоне III, закон 1864 года, разрешивший рабочие коалиции, манифест 60-ти, в котором рабочие впервые выступают со своей самостоятельной политической программой. Чрезвычайно ярко представлена «Рабочая политика Наполеона», вся система подкупа и сыска со специальной организацией института филёров.

Разнообразным и красочным материалом иллюстрируется на выставке напряжение революционной жизни, выявившееся в ряде демонстраций по поводу убийства Виктора Нуара и в политических памфлетах сотен изгнанников, разоблачавших империю разврата и подкупа.

Возникновение Международного товарищества рабочих показано в связи с поездкой делегации французских рабочих на Лондонскую выставку. По Первому Интернационалу даны портреты вождей, группа делегатов на Базельском конгрессе и ряд печатных работ и отчетов, связанных с конгрессами 1866—1869 гг. Среди документов имеется подлинник договора на снятие помещения для французской секции Интернационала, составленный в 1870 году и подписанный Варленом, Тейссом и Пенди.

Стачечное движение второй половины 60-х годов представлено массовыми сценами стачек, портретами вождей и революционными листовками.

Разнузданный, разлагающийся, продажный двор с его системой подкупа, своеобразная «распутиниада» в образе Евгении и ее окружения представлены в политической карикатуре, гравированном памфлете того времени. Никакие цензурные рамки не были в силах приостановить поток едкой политической сатиры, являвшейся одним из самых действенных средств революционной пропаганды. Заимствованная еще в Англии в середине XVIII века, гравированная политическая агитка пережила Великую французскую революцию, прошла все этапы революционных бурь XIX века и чрезвычайно распространена была в период разложения Империи Наполеона III, накануне Седанской катастрофы и тотчас после нее. Только в последние годы тщательным и кропотливым исследованием удалось установить авторов и издательства этих анонимных литографированных и гравированных памфлетов. В большинстве случаев, это — постоянные сотрудники популярных журналов, скрывавшиеся за таинственными инициалами, а сами журналы — старые, известные сатирические серии.

В отделе Парижской Коммуны ведется теперь работа по классификации и раскрытию этих анонимных коллекций.

Целая группа художников из республиканской оппозиции: Фостен, Жиль, Хам, Домье, Адоль, Пилотель, Гронье и др. в своих сериях бичуют придворную камарилью, господина Баденг (прозвище Наполеона III), императрицу Евгению и наследного принца.

Франко-прусская война показана как результат антинародной политики двух держав. Дана фальсифицированная Бисмарком эмская депеша, главные сражения, войсковые части. Духовенство, полиция, генералитет, тесно спаянные единой политикой подлога и угнетения, осмеянные народной сатирой, завершают свое победное шествие Седанской катастрофой. Подробно проработанной картой «Схема военных действий до Седана включительно» и чрезвычайно показательной картой «Военные предположения Энгельса до Седанской операции», составленной по его корреспонденциям в газету «Pall-Mall», заканчивается военный раздел этого зала.

Период напряженной революционной мысли и подпольной борьбы завершается переворотом 4 сентября 1870 года, представленным рядом современных фотографий и афиш.

Второй зал — **«Осада Парижа»** — разработан в плане пяти основных тем, вокруг которых концентрируется весь материал. Зал построен так в целях облегчения групповых занятий. Предательская политика продержавшегося около шести с половиной месяцев правительства национальной обороны подготовила ряд политических и социальных предпосылок для революции 18 марта 1871 года. Эти предпосылки, как основные узлы, даны на хронологически разворачивающейся исторической канве событий периода 4 сентября 1870 года—18 марта 1871 г.

Таких тем пять: 1) Военные действия и переговоры о сдаче Парижа. 2) Продовольственный и жилищный кризисы. 3) Революционные вспышки. 4) Выборы в Национальное собрание, перемирие и мир с Пруссией. 5) Центральный комитет национальной гвардии, его возникновение, первые шаги и деятельность до 18 марта 1871 года.

В центре зала в 20 вращающихся рамах показаны сцены голода и предательства в работах лучших мастеров-современников.

В каждом из основных отделов даны все документы, иллюстрирующие тему. После разгрома французской армии при Седане прусские войска подходят к Парижу. Состав буржуазного правительства национальной обороны с неизменно сопутствующими карикатурами, напряженная атмосфера всеобщей мобилизации, формирование новых воинских частей, воззвание французской секции Интернационала «К немецкому народу» о прекращении войны, подписанное виднейшими ее членами, вводит в этот зал. И тотчас же воля пролетариата противопоставляется актам правительства, назвавшего себя правительством национальной обороны. Переписка Маркса и Энгельса в фотокопиях от 6, 7 и 10 сентября, формирование пролетарских частей в батальонах Национальной гвардии (роты Флуранса), план Трошю о сдаче Парижа, Фавр, умоляющий Бисмарка спасти Париж от пролетариата, дают уже этому правительству оценку: «правительство национальной измены». Множество карикатур на побежденный фран-

цузский генералитет, хозяйничающие в Версале пруссаки, сдача Меца, кошмары Вильгельма, преследуемого призраками республики в Пруссии, сцены разоренного и разрушенного снарядами Парижа передают настроение Парижа в дни осады и бомбардировки.

В отделе продовольственного кризиса показаны в подлиннике продовольственные карточки на мясо и хлеб, порционки на обед, общественные столовые, в которых собирался пролетариат предместий, сцены голода, побоища у мясных лавок, очереди за крысой, продажа собачьего мяса, колка мебели на топливо, такса на предметы продовольствия.

Восстания 31 октября 1870 года и 22 января 1871 г. представлены на фоне интенсивно растущей жизни клубов с их резолюциями об обысках и реквизициях, о возвращении к практике 1793 года. «Через три дня Коммуну!» — гласят многие из них. Тут же показан ряд выходивших тогда левых газет. Выборы в Национальное собрание, избирательная кампания, списки правых и левых кандидатов, окопавшаяся в Бордо «деревенщина», избрание «карлика-чудовища» Тьера главой исполнительной власти заполняют стену пестрыми карикатурами, которыми общественное мнение бичевало новое правительство. Никогда еще, говорят исследователи того периода, Париж не изобиловал таким количеством листовок и памфлетов, как в месяцы гонения на них. За февраль 1871 года в одном Париже вышло до 5000 листовок.

Мимо красной афиши о сконструировании Центрального комитета Национальной гвардии от 4 марта с подписями будущих активных участников Коммуны, диаграммы результатов голосования членов федерации, мимо сцен капитуляции Парижа, спасающегося правительства зритель проходит к дверям с надписью «**Коммуна**».

Добившись во имя войны с революцией мира с Пруссией, правительство прежде всего стремилось разоружить народные массы. Этим начинается третий зал— **Парижская Коммуна.** — На высотах Монмартра происходит первая схватка парижской демократии с буржуазией. Современная гравюра и литография передает эту героическую ночь, в несколько часов поставившую у власти народ. Коммуна победила.

С первых же дней революции ясно вырисовывается распределение классовых сил: бегущий в Версаль Тьер, чтобы оттуда, собрав подкрепления, ринуться на блокированный Париж, и революционная демократия Парижа, уже осознающая, что дело идет не о борьбе с пруссаками, а об интернациональной борьбе во имя осуществления социализма и что организующийся в единый блок классовый враг единым сплоченным фронтом двинется на нее.

Большая рама с портретами людей, по большей части безымянных, фактически свершивших революционный акт захвата власти, на выцветших фотографиях, взятых в тюрьме Сатори, приобретает особую выразительность рядом с показанной тут же в подлиннике афишей Тьера: «Какой-то комитет, именующий себя Центральным комитетом, захватил власть... кто они—коммунисты, бонапартисты или пруссаки»... и ответ: «Центральный комитет — не анонимная организация; члены его подписывали своими именами все афиши, и если эти имена принадлежат неведомым людям, люди эти не снимали с себя ответственности, которая была достаточно велика».

Большая серия ценных афиш с распоряжениями Центрального комитета указывает на деятельность его с первого дня возникновения до выборов в Коммуну.

Отдельная витрина посвящена административным мероприятиям Центрального комитета и предвыборной агитации.

Раздел—«Выборы в Коммуну и ее состав» — самой пестротой политических группировок сразу показывает запутанный клубок социальных групп и разнообразие программ. В этом разделе даны напечатанные работы членов Коммуны, вышедшие в 1871—1878 гг.

В отделе «Организация аппарата Коммуны» дан декрет о создании комиссий показаны портреты делегатов, Коммуна по-новому строит государственную власть: в продемонстрированных здесь афишах и законодательных актах проводится принцип оплаты чиновников по ставке квалифицированных рабочих, запрещается совместительство, вводятся в коллегию при отдельных ведомствах представители от низших служащих

собственными силами налаживается разоренный правительственными чиновниками аппарат.

Специальный отдел посвящен вопросам социально-экономической политики Коммуны. В этом разделе особенно отчетливо можно проследить, какой сдвиг проделала Коммуна за два месяца своего существования, как постепенно совершался переход от мелкобуржуазной к ярко выраженной пролетарской идеологии. Коммуна осуществляет впервые во Франции законодательство по охране труда. Подробно разработан на выставке вопрос об отмене ночного труда булочников: показаны несколько афиш и отчеты в «Journal Officiel» о заседании Коммуны от 27 апреля, из которых видно, какие горячие дебаты вызвало обсуждение этого декрета среди членов Коммуны. Дан декрет об отмене штрафов и вычетов из жалованья рабочих. Вокруг диаграммы, показывающей число профессиональных организаций в Париже, сосредоточен ряд афиш и декретов, регулирующих вопросы профессиональной жизни рабочих. Здесь же собраны декреты, характерные как попытка Коммуны приступить к чисто социалистическому строительству: например, декрет о национализации мастерских, оставленных бежавшими предпринимателями, устав Луврских мастерских и пр.

По продовольственному вопросу и жилищной политике подчеркивается роль Коммуны в деле защиты неимущего населения. Даны в подлинниках твердые таксы на предметы продовольствия, декреты о создании муниципальных лавок.

В деле социального обеспечения Коммуной впервые выдвинут вопрос об уравнении брачных и внебрачных детей. Группа мальчиков с надписью «Беспризорные питомцы Коммуны» показывает, что в борьбе с беспризорностью Коммуной были предприняты некоторые шаги.

Отдельно проработана ведомственная политика: 1) финансы с банковским балансом и с графическим изображением сумм, взятых в Французском банке Коммуной и Тьером за тот же промежуток времени, декрет о безвозмездном выкупе заложенных в ломбарде вещей бедняков, 2) народное просвещение, в котором выдвинуты вопросы: Коммуна и наука, Коммуна и искусство, Коммуна и школа. Целым рядом декретов и афиш показана школьная политика Коммуны: изгнание духовенства из школ, бесплатное светское обучение, открытие профессиональных школ, диаграмма о повышении жалованья учителям.

В витрине «Политическое просвещение населения» красочным материалом представлено отделение церкви от государства: декреты, статьи в газетах и карикатура на духовенство. Художники-коммунары — Пилотель, Молох, Дюпандан — дают серии блестящих литографий на антирелигиозные темы.

Роли женщины в Коммуне уделено большое место. Помимо многочисленных групп женщин-коммунарок, где особенно отчетливо выделяется классовый характер этой революции, где видна женщина демократка, женщина предместья, — уже самым подбором материала выявляются те разнообразные функции, которые выполняла она: клубный оратор, литератор, учительница, маркитантка, национальная гвардейка, формирующая свои собственные батальоны и умирающая на форпостах, санитарка, наводчица, обслуживающая артиллерию. Женщина — активная участница в борьбе за профессиональное движение среди женщин, ведущая в своих клубах антирелигиозную пропаганду, закрывающая церкви, открывающая школы. Показано несколько подлинных рукописей Луизы Мишель.

В отделе «Пресса» даны газеты всех направлений, и среди них несколько выпусков газеты «Père Duchêne» со всем его многочисленным семейством. Популярность этой газеты характерно подчеркнута серией еще неопубликованных писем из редакционного портфеля «Père Duchêne». В архиве Института К. Маркса и Ф. Энгельса хранится большая коллекция таких писем.

Ввиду того, что выставка организована в Центральном доме Красной армии, военному делу Коммуны отведен большой и детально разработанный отдел. Показаны в подлинниках документы и иллюстрации по реорганизации армии, ее структуре, дан социальный состав ее командной верхушки, афиши по формированию новых, добро-

вольческих отрядов, рукописные проекты декретов и распоряжений начальствующих лиц. Ряд документов свидетельствует о том, какую борьбу вела Коммуна с дезертирством и падением дисциплины в армии.

Отдельный уголок зала занимает рама «Интернационал и Коммуна». Международный характер революции отмечен рядом приветствий рабочих организаций других стран, показаны декрет о поручении иностранцам ответственных командных постов, портреты делегатов иностранцев, газета секции Интернационала вокзалов Иври и Берси и ряд отчетов о рабочих митингах в связи с событиями в Париже.

В центре зала в двадцати вращающихся рамах собраны документы по законодательной деятельности Коммуны, расклассифицированные по отдельным затрагиваемым ими проблемам.

Четвертый зал—**Падение Коммуны**—подводит итоги делу Коммуны.

В середине на двух мольбертах даны две карты гражданской войны, специально составленные для выставки: 1) Вторая осада Парижа (бои от 2 апреля до 21 мая) и 2) Кровавая неделя (занятие Парижа версальцами день за днем). На стене с надписью «Коммуна в борьбе с Версалем» показаны сражения, начиная с вылазки Флуранса и Дюваля до вступления версальской армии в Париж; вырастающие на фоне этих событий трения между ЦК и Коммуной, создание Комитета общественного спасения, его состав, афиши с последними воззваниями комитета и последние декреты, в которых впервые Коммуна осуществляла диктатуру пролетариата (закрытие правых газет, введение паспортов, аресты и обыски среди буржуазных слоев населения).

Отдельным черным пятном с заревом от пожаров дана Кровавая неделя: горящие здания, наспех сооруженные баррикады, судорожные усилия женщин и детей, расстрелы «волчиц и волчат», фальшивки, распространяемые версальским правительством, последнее воззвание Делеклюза «Довольно милитаризма», гибель его на баррикаде, офорты с изображением последних боев на улицах Парижа, кровавая схватка на кладбище Пэр-Лашез и расстрел коммунаров у кладбищенской стены.

В центре стены несколько акварелей из собрания оригинальных рисунков о Парижской Коммуне, принадлежащего Институту К. Маркса и Ф. Энгельса.

Два последних отдела отведены расправам версальцев и откликам Коммуны в провинции. Ряд сцен — в версальских тюрьмах, уличные расстрелы, содержание в бастионах, суд над коммунарами, коммунары на каторге — дают представление о не останавливающейся ни перед чем неукротимой ненависти победителей.

В отделе «Расправы версальцев» на одиннадцати густо испещренных текстом афишах даны списки пленных коммунаров, содержащихся в тюрьмах Версаля, и две большие диаграммы «Итоги тьеровского правосудия» и «Жертвы Коммуны; потери версальцев». Среди документов и работ по кровавым дням показан в подлиннике протокол о приведении в исполнение казни над Росселем, Ферре и Буржуа в Саторн 28 ноября 1871 года.

Завершает выставку отдел: «Отклики Коммуны за границей, Маркс и Энгельс о Коммуне и Коммуна и III Интернационал».

Выставка Парижской Коммуны, организованная Институтом К. Маркса и Ф. Энгельса, является научной лабораторией для изучения этого героического этапа в истории рабочего движения не только для русского, но и для международного пролетариата, ибо только в СССР удалось собрать такую ценную коллекцию, только в Москве можно было так широко развернуть эту страницу истории социализма и рабочего движения.

Выставка снабжена цитатами из произведений Маркса, Энгельса и Ленина.

«Дело Коммуны — дело социальной революции, дело полного политического и экономического освобождения трудящихся; это—дело всесветного пролетариата и в этом оно бессмертно». Этими словами Ленина заканчивается выставка. Под знаком этого лозунга и велась вся подготовительная работа по ней.

Ниже печатается общий обзор выставки с перечнем наиболее ценных документов.

ОБЩИЙ ОБЗОР ВЫСТАВКИ

ЗАЛ ПЕРВЫЙ [1]

ИМПЕРИЯ НАПОЛЕОНА III

I. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И РАБОЧИЙ КЛАСС

Техника

Р н/с	1	Виды промышленных предприятий. (Ксилография.)
	2—3	Производственные моменты. (Механическая хлебопекарня, производство кринолинов.)
	4	Виды торговых предприятий.

Положение крупного промышленного и банковского капитала

Р н/с	5	Рост применения парового двигателя в промышленности. (Диаграмма.)
» »	6	Рост внешторгового оборота Франции с 1850 по 1869 г. (Диаграмма.)
» »	7	Рост производства в основных областях тяжелой индустрии с 1852 по 1872 г. (Диаграмма.)
	8	Число промышленных заведений в Париже. (Диаграмма.)
» »	9	Рост железнодорожной
» »	9	сети во Франции. (Диаграмма.)
»	10	Рост крупных городов — промышленных центров Франции. (Диаграмма.)

Пролетариат

Р н/с	11	Состав парижского пролетариата. (Диаграмма.)
М 1		Диаграмма заработной платы французских рабочих в период второй империи в сопоставлении с ростом цен на предметы первой необходимости.
Р н/с	12	Лондонская выставка 1862 года.

Рабочая политика Наполеона III

В 1 а		Литература о положении рабочего класса.
» 1 б		Кодификация. (Закон о свободе стачек и собраний.)
Р н/с	13	Филёры.
» »	14—15	Строительство городов.

Польское восстание

» »	16	Польское восстание 1863 г.
» »	17	Вожди польского восстания.

Идеологические течения в рабочем классе и I Интернационал

В 2		Французские секции Интернационала.
» 2 а		Прудон и прудонисты. (Варлен, Малон, Флаго, Шемале, Моллин, Ришар).
Р н/с	18	Толэн.
В 2 б		Бланки и бланкисты. (Мильер, Гайяр, Риго).

[1] Сокращения: Р н/с — Рама на стене. Р н/щ — Рама на щите. В — витрина. М — мольберт. Вр.р. — вращающаяся рама.

М. Бакунин и К. Маркс

В 3 а		М. Бакунин.
» 3 б		К. Маркс. Манифест Генсовета Международного товарищества рабочих. Процессы членов Интернационала. Отчет Женевского конгресса 1866 г. Отчет Лозаннского конгресса 1867 г. Протокол конгресса Международного товарищества рабочих, состоявшегося в Лозанне в 1867 г. Отчет Генсовета Международного товарищества рабочих на конгрессе в Лозанне. Отчет о 4-м Базельском конгрессе 1869 г. Договор о снятии помещения в Париже для французской секции Интернационала, подписанный членами секции в январе 1870 г.
Р н/с	19	«Красный призрак».
» »	20	Плакаты Интернационала в память июньских дней 1848 г.
» »	21	Базельский конгресс I Интернационала. (Фотография.)
»	22	Эжен Потье — автор гимна «Интернационал».
» »	23—24	Стачечное движение второй половины 60-х годов.

II. РАЗЛОЖЕНИЕ ИМПЕРИИ

Наполеон III и государственный переворот 1851 г.

Р н/с	25—29	Наполеон III — кандидат на пост президента.
В 4 а, б		Памфлеты на Наполеона.

Наполеон III — император

Р н/с	30—34	Карикатура на императорскую семью и ее окружение.
»	35	Законодательный корпус и сенат.

Выборы 1869 г. и радикальная оппозиция

Р н/с	36	Выборы 1869 г.—Гамбетта, Пикар, Симон, Ферри, Фавр.
» »	37—38	Анри Рошфор.
В 5 а, б		Памфлеты и радикальная пресса.
Р н/с	39	Призвание к власти министерства Оливье.

Убийство Виктора Нуара

Р н/с	40	Убийство Виктора Нуара Пьером Бонапартом. Демонстрации в связи с убийством.
» »	41	Процесс Пьера Бонапарта.

Плебисцит

»	42	Плебисцит 8 мая 1870 г.

III. ФРАНКО-ПРУССКАЯ ВОЙНА

Объявление войны

Р н/с	43—44	Наполеон III и его штаб. Бисмарк. Мольтке. Эмсская депеша.
» »	45—46	Политическая карикатура на Вильгельма.
» »	47	Карикатура на виновников войны.

Первые бои

» »	48	Битва при Вейсенбурге 4 августа 1870 г.
» »	49	Битва при Рейсгофене 6 августа 1870 г.
» »	50	Битва при Гравелотте 16 августа 1870 г.
» »	51—52	Карикатура на французский генералитет.
» »	53	Формы прусской армии.
Р н/щ	54	Воззвание императора к армии от 28 июля 1870 г.

Разгром французской армии

Р н/с	55	Поражение при Седане.
» »	56—58	Наполеон после Седана.
Р н/щ	59	Схема военных действий от начала войны и до Седана. (Карта, разм. 93 × 131 *см.*)
» »	60	Предположения Энгельса о расположении и вероятных действиях сторон после обложения германцами Меца. (Карта, разм. 93 × 127 *см.*)

Бегство Наполеона III. Наполеон в изгнании

Р н/с	61—67	Наполеон в замке Вильгельмсхау. (Подлинная фотография.)
Р н/щ	68—80	Карикатура на Наполеона и его семью в изгнании.
Р н/с	81—91	Карикатура на Наполеона и его семью в изгнании.

Революция 4 сентября 1870 г. и падение империи

Р н/ш 92—93 Низложение империи. (В литографии и ксилографии).

М 2 Афиша временного правительства, объявляющая империю низложенной.

М 3 Афиша временного правительства о провозглашении правительства национальной обороны 4 сентября 1870 г.

Р н/с 94—98 Серия: «Императорский зверинец». Лит. Адоля. Изд. Кульбёф. Карикатура на императорское правительство.

» » 99—101 Серия: «Позорный столб». Лит. Майи. Изд. Майи. Карикатура на Наполеона и его приближенных.

» » 102 Карикатура Розамбо, Молока и Делатрамбле на Наполеона и общественных деятелей его времени.

Р н/с 103 104 Из серии: «Сезонная зелень». Лит. Альфреда Ле-Пти. Изд. Кульбёф. Карикатура на радикальную оппозицию.

» » 105 Серия: «Человек-музей». Лит. Фостэн. Изд. Сайан. Карикатура на правительство и политических деятелей.

» » 106 Карикатура на императорскую семью и министерство. Лит. Делатрамбле. Изд. Гронье.

» » 107 Патриотические карикатуры на Вильгельма. Лит. Кленка и Стока. Изд. Лемэн и Талон.

» » 108 Карикатура на Наполеона как вождя французской армии. Лит. Фостэн и де Фронда. Изд. Кульбёф.

ЗАЛ ВТОРОЙ

ОСАДА ПАРИЖА

I. ПРАВИТЕЛЬСТВО НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ

Состав правительства и его деятельность

Р н/с 109—110 Состав правительства.

» » 111 Карикатура на правительство национальной обороны.

» » 112 Афиша правительства национальной обороны о принятии власти.

В 6 а Литература о временном правительстве и осаде Парижа.

Интернационал и революция 4 сентября

М 4 Второе обращение французских секций Международного товарищества рабочих к немецкому народу и немецкой социал-демократии о прекращении военных действий от 9 сентября 1870 г. (Подлинная афиша.)

В 6 а Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса по вопросу о планах французских членов Интернационала использовать революционное настроение в Париже. (Фотокопии писем, находящихся в архиве Ин-та К. Маркса и Ф. Энгельса.)

Военная организация и защита Парижа

Р н/с 113 Блокированный Париж. (Серия литографий.)

» » 114 Численность и состав гарнизона Парижа в период осады 1870—1871 г. (Диаграмма.)

» » 115 Вылет Гамбетты на воздушном шаре для формирования новых армий.

» » 116 Битва при Бурже 30/X 1870 г. и подкрепления из провинции.

» » 117 Реорганизация Национальной гвардии. (Типы, быт.)

» 118 Серия: «Приключения деревянной сабли». Лит. Пёшё. Изд. Барусс.

» » 119—123 Типы военных. Серия: «Воспоминания об осаде Парижа». Лит. Драпер. Изд. Кульбёф.

» » 124 Запись добровольцев. (Литография.)

» » 125 Организация обороны. (Литография.)

В 7 а Энгельс о франко-прусской войне 1870 г. Корреспонденция в газету «Pall Mall».

В 7 б Вовлечение пролетарских масс в состав Национальной гвардии. (Флуранс. Организация пролетарских батальонов. «Восьмые роты».)

II. ПРАВИТЕЛЬСТВО «НАЦИОНАЛЬНОЙ ИЗМЕНЫ»

Р н/с 126—127	План Трошю и тайное совещание Фавра с Бисмарком. (Цветная литография.)
» » 128	Предатели. (Трошю, Пикар, Кремье.)
» » 129	Карикатура на Трошю в связи с его планом спасения Парижа.
М 5	Схема военных действий от Седана до падения Парижа. (Карта, разм. 102 × × 122 *см.*)
Р н/с 130	Битва при Шампиньи на Марне 1—2 декабря 1870 г.
» » 131	Карикатура на Винуа и других виновников поражения.
» » 132	Пруссаки в Версале. (Быт.)
» » 133	Кошмары Вильгельма. Страх пред революцией. (Карикатура.)
В 8 а	Литература о сдаче Меца. Дело Базена.
В 8 б	Литература об осаде Парижа.
Р н/с 134—135	Карикатура на жизнь парижан во время осады. Серия: «Парижская Национальная гвардия». Лит. Фронда. Изд. Дюкло.

III. ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ КРИЗИС

Р н/с 136	Голодные очереди.
» » 137	Недостаток топлива. (Типы.)
В 9 а, б	Продовольственные карточки эпохи осады, очереди за продовольствием. (Подлинные документы.)
В 10 а, б	Таблица цен на съестные припасы. Реквизиция муки и зерна. Жилищный вопрос.
Р н/с 138	Карикатура на «голодную буржуазию» в Париже.
» » 139	Увеличение смертности в Париже в период первой осады 1870—1871 гг. (Диаграмма.)

IV. БОМБАРДИРОВКА ПАРИЖА

Р н/с 140	Организация обороны. (Литография).
» » 141	Лагери.
» » 142—143	Сцены бомбардировки.
» » 144—145	Новые карты Европы 1870—1871 гг. (Психологический этюд в литографии.)
М 6	1-я осада Парижа. (Карта, разм. 103 × 148 *см.*)
М 7	Падение Меца 27 октября 1870 г.
Р н/с 146—147	Плебисцит 3 ноября 1870 г.

V. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ПАРИЖЕ

Клубы и пресса

В 11 а	Клубы и клубные ораторы. Отдельные резолюции клубов. Пресса якобинцев: «Мститель», «Борьба».

ЦК 20 округов

В 11 б	Создание ЦК 20-ти округов, его состав. Воззвание к народу: «Правительство, исполнило ли оно свой долг..?» (Красная афиша.) Бланки и его роль в политическом движении.

Восстание 31 октября 1870 г.

В 12 а	Захват ратуши. Назначение выборов в Коммуну. Список кандидатов. Выборы окружных мэров 5—7/XI 1870 г.

Восстание 22 января 1871 г.

В 12 б	Освобождение Флуранса из тюрьмы Мазас. Захват мэрии 20-го округа. 22 января у ратуши. Закрытие всех клубов.

VI. НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Выборы в Национальное собрание

Р н/с 148	Буржуазные республиканцы: Гюго, Луи Блан, Ледрю-Роллен.
М 8	Кандидаты в Национальное собрание, выставленные блоком революционных организаций.
Р н/с 149	Монархисты.
» » 150	Открытие Национального собрания и его физиономия. Деревенщина.
» » 151	Тьер — глава исполнительной власти.
» » 152—153	Гарибальди.

Предательская политика Тьера

Р н/с 154—156	Предательство Тьера.
» » 157	Кандидаты на престол.
» » 158	Предательское соглашение с Бисмарком.

VII. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ

Р н/с 159—166	Типы французской армии.
» » 167	Манифестации у июльской колонны и захват пушек Национальной гвардией.

М 9	Приказ Винуа 27 февраля по поводу захвата пушек. (Афиша.)
М 10	Выборы в ЦК Национальной гвардии. (Диаграмма.)
В 13 а, б	Назначение Ореля де-Паладіна главнокомандующим Национальной гвардии. Избрание Гарибальди.
Р н/с 168	Воззвание ЦК от 4/III 1871 г. (Красная афиша.)
» » 169-176	Состав ЦК (портреты.)
В 14 а, б	Окончательная форма федерации. Документы по ее подготовке. Первое обращение к армии: «Солдаты, сыны народа...»

VIII. ПРУССАКИ В ПАРИЖЕ

М 11 и 12	28 января 1871 г. объявление правительства о капитуляции. (Афиша.)
М 13	Правительственное сообщение о временной оккупации прусскими войсками Елисейских полей.
В 15 а, б	Условия перемирия с пруссаками. Радикальная пресса о заключении мира.
Р н/с 177—179	Карикатура на Вильгельма.
» » 180	Торжественный въезд Вильгельма в Париж. (Литография.)
» » 181	Оккупация Елисейских полей.
» » 182	Подписание перимирия и утверждение его Национальным собранием.
» » 183—187	Карикатура на виновников позорного мира.
» » 188	Мир и уступка Эльзас-Лотарингии.
Р н/с 189—192	Пруссаки в Париже.
» » 193	Переезд правительства из Бордо в Версаль.
В 16 а, б	Политика Тьера. Декрет о погашении векселей в двухнедельный срок. Закрытие Винуа пяти левых газет. Ответ левой прессы на это закрытие. (Революционные памфлеты.)

IX. СЕРИИ НА ТЕМУ «ОСАДА ПАРИЖА»

Серия: «Альбом осады». Литогр. Хама и Домье. Журн. Шаривари

194 Хам: I 1—4	Карикатура на пруссаков.
195 II 1—4	Аллегории и карикатуры на бедствия Франции.
196—200 III—VII	Карикатура на быт парижан во время осады.
201 Домье: VIII 1	Обложка. Рис. Хама.
2	Ужас перед наследием.
3	Одно убило другое.
4	Сквер Наполеона.
202 IX 1	Новая колесница победы.
2	Империя — это мир.
3	Пейзаж 1870 г.
4	Единение Германии.
203 X 1	Бедная Франция.
2	Моряки.
3	Буржуй.

Серия: «Осада Парижа». Офорты Мартиаля

204—206 XI—XIII	Календарь осады Парижа с первого дня осады — 18 сентября 1870 г. — по 29 января 1871 г.

Серия: «Париж и его форпосты». 1870—1871 гг. Литографии Дебросса

207 XIV	1	Народ на страже.
	2	Враг истребляет наших жен и детей.
	3	Траншея в Шампиньи.
208 XV	1	Ночь на 1 марта.
	2	Атака Бюзенваля.
	3	Жертвы.
209 XVI	1	Снабжение продовольствием.
	2	Беженцы.
	3	Идиллия.
210 XVII	1	Бурже.
	2	Ночная атака.

Серия: «Члены Национального собрания». Карикатура Дорэ.

211—220 XVIII—XXVII

Серия: «Наши налоги». Литогр. Демара

221 XXVIII	1	Налог на бумагу.
	2	» на этих маленьких дам.
	3	» на напитки.
	4	» на кошек и собак.
222 XXIX	1	» на спички.
	2	» на холостяков.

Серия: «Новые налоги». Рис. Фостэна

	3	Налог на керосин.
	4	Принудительный налог на охотничьи ружья.
223 XXX	1	Налог на соль.
	2	» на экипажи.
	3	» на кошек.
	4	» на поцелуи.

Серия: «Блокированный Париж». Литогр. Фостэна

224 XXXI	1	Моряк.
	2	Бакалейщик.
	3	Национ. гвардия в траншеях.

	4	Калифы на час.
225 XXXII	1	Защита любимца.
	2	Бульонное мясо.
	3	Базар кроликов.
	4	Порция хлеба.
226 XXXIII	1	Очередь у мясной.
	2	Тяжелая муштровка.
	3	Карикатура на правительство.
	4	В ресторане.
227 XXXIV	1	Осажденные.
	2	Прощание двух мобилей.
	3	Горячее блюдо.
	4	Молоко.

Серия: «Осажденный Париж». Литогр. Дранера

228 XXXV	1	Латы.
	2	Публичные собрания.
	3	Маршевые роты Национальной гвардии.
	4	Действие осады.
229 XXXVI	1	Барабанщик и горнист Национальной гвардии.
	2	Наблюдатели.
	3	Торговый мораторий.
	4	Во время бомбардировки.
230 XXXVII	1	Освещение.
	2	Новогодние подарки.
	3	Бомбардировка.
	4	Съестные припасы.
231 XXXVIII	1	Действие бомбардировки.
	2	Ордер на помещение.
	3	Хлебный паек.
	4	Протест нейтральных.

Серия: «Женщины осажденного Парижа». Рис. Фостэна

232 XXXIX	1	Самоотвержение.
	2	Бомбардировка лазарета.
	3	Женщины во время осады.
	4	Наши амазонки с берегов Сены.
233 XL	1	Ушел на войну.
	2	Покинутые.
	3	Сестра.
	4	Помолвленные.

ЗАЛ ТРЕТИЙ

КОММУНА

I. 18 МАРТА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ У ВЛАСТИ

Р н/с 234	Ночь на 18 марта 1871 г.
» » 235	Захват пушек на Монмартре.
» » 236, 237	Последнее воззвание правительства. (Афиша.)
» » 238	Бегство правительства в Версаль. (Карикатура.)
» » 239, 240	Революционные дни 18—22 марта. (Отдельные эпизоды, в литографии.)
» » 241	Провозглашение Коммуны ЦК Национальной гвардии 19/III. Первые заседания ЦК в Ратуше. (Фотография с подлинной гравюры, находящейся в архиве музея Института.)
» » 242	Первое обращение ЦК к народу от 19/III. (Афиша.)
» » 243	Воззвание ЦК о выборах в Коммуну от 22 марта. (Афиша.)
В 17 а, б	Борьба ЦК с саботажем, реакцией и хулиганством. (Декреты. «Официальная газета» 20—21/III 1871 г.)
Р н/с 244	Контр-революционная демонстрация 21 марта на Вандомской площади. (Литография.)
Р н/с 245	Вручение военной власти Эду, Брюнелю и Дювалю. (Афиша.)
» » 246	Первое воззвание Эда, Брюнеля и Дюваля: «Все, кто не с нами, против нас». (Афиша.)
» » 247	Обращение Тьера к населению с вызовом, брошенным ЦК Национальной гвардии.
М 14	Разъяснение ЦК, что он — не «анонимная организация». (Афиша.)
М 15	Воззвание о выборах, подписанное Вайяном и Арно.
Р н/с 248	Перенесение выборов на 26/III 1871 г.
Р н/с 249	Группа участников революционного восстания 18/III. (Современные портреты, заснятые в тюрьме.)

II. ВЫБОРЫ В КОММУНУ И ЕЕ СОСТАВ

В 18 а, б	Воззвания к избирателям. Состав Коммуны, политические группировки: якобинцы, беспартийные, буржуазные радикалы; члены Интернационала, прудонисты, бланкисты. Монографии по истории Коммуны наиболее видных участников движения, изданные в ближайшие годы после падения Коммуны.
М 16	ЦК передает власть Коммуне. (Афиша.)
Р н/с 250—281	Портреты членов Коммуны и ЦК Нац. гвардии.
М 17	Первая прокламация Коммуны от 29 марта. (Афиша.)

Р н/с 282	Декларация Коммуны от 19 апреля. (Афиша.)
М 18	Социальный состав Коммуны. (Диаграмма.)

III. ОРГАНИЗАЦИЯ АППАРАТА КОММУНЫ

В 19 а, б	Провозглашение Коммуны после выборов 26 марта. Заседание Коммуны. Декрет о создании комиссий: делегаты (Клюзере, Вайян, Журд, Груссе, Прото, Риго, Франкель). Состав комиссий: общественной безопасности, финансовой, труда и обмена, внешних сношений, просвещения, военной, продовольственной и общественных работ. Первые мероприятия Коммуны.
Р н/с 283—286	Коммуна выметает правительство Тьера. (Плакаты и литографии.)
» 287—288	Борьба с саботажем чиновников. Привлечение к управлению низших служащих. (Афиши.)
» » 289	Передача административного управления членам Коммуны. (Афиша.)
» » 290—292	Песни Коммуны, изданные в Брюсселе в 1871 г. (Подлинники с переводами.)

IV. ИНТЕРНАЦИОНАЛ И КОММУНА

Р н/с 293	Связь между французской секцией Интернационала и Генсоветом в Лондоне. Газета французской секции Интернационала железнодор. станций Иври и Берси «Революция».
» » 294	Портрет Карла Маркса.
В 20 а	Письмо Карла Маркса к Франкелю и Варлену. Протоколы заседаний французской секции Интернационала.
Р н/с 295	Интернациональный характер революции: поручение иностранцам ответственнейших административных и военных постов: Франкель—делегат труда и обмена; Домбровский, Врублевский — генералы.
» » 296	Связь Коммуны с иностранными рабочими организациями: приветствия английских, флорентийских, немецких и других обществ. (Перепечатки из газет.)

V. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КОММУНЫ

Зачатки рабочего контроля над крупными предприятиями

В 20 а	Законодательство об охране труда. Декрет о брошенных мастерских. Запрещение штрафов и вычетов из заработной платы. Введение рабочего контроля в луврских военных мастерских. (Газетные статьи и афиши.)
М 19, Р н/с 297	Запрещение ночной работы булочников. (Афиша.)

Профессиональное движение

В 20 б	Борьба с безработицей. Возникновение биржи труда. Производственные корпорации в Париже. (Афиши, газетные статьи.)
М 20	Рабочие корпорации в Париже в период Коммуны. (Диаграмма.)

Обеспечение продовольствием и борьба с дороговизной

В 21 а	Правительственное сообщение об улучшении в продовольственном вопросе. Продовольственная карточка на 1 *кг* белого хлеба. (Подлинный документ, извлеченный из пожарища 25/V 1871 г.)
Р н/с 298	Разрешение свободного вывоза товаров, следующих транзитом. (Афиша.)
» » 299	Такса на продовольствие (Афиша.)
Р н/с 300	Такса на главные продукты питания в Париже в период Коммуны. (В графическом изображении.)
» » 301	Такса на мясо. (Афиша.)
Вр. рама 302	Регулирование рыночной торговли. (Афиша.)
» » 303	Запрещение свободной продажи топлива. (Афиша.)
» » 304	Реорганизация палаты мер и весов. (Афиша.)

Социальное обеспечение

В 21 б	Декрет о предоставлении пенсии вдовам и сиротам нац. гвардейцев от 10 апреля. Жалованье больным и раненым нац. гвардейцам. Уравнение законных и незаконных вдов и детей нац. гвардейцев (от 11—19 мая). Портреты беспризорных «питомцев Коммуны». Фо-

тографии, заснятые в тюрьме Сатори после падения Коммуны. (Подлинники хранятся в архиве Института.)

Жилищный вопрос

В 22 а — Декрет Коммуны об отсрочке квартирной платы от 29/III. Отмена квартирной платы за время с 1/X—1870 по 1/VII—1871 г. Учет свободных помещений. Вселение жителей окраинных кварталов в свободные помещения в центре. Карикатура на домовладельцев.

VI. КОММУНА И КРЕСТЬЯНСТВО

В 22 б — Смычка крестьянства с Коммуной. (Ст. Андре Лео. «Коммуна» 10/IV 1871 г.) К деревенскому люду. (Ст. из «Réveil du peuple» 28/IV—1871 г.) К рабочему люду деревень. (Ст. Жюля Валлеса.)

VII. ФИНАНСЫ

В 23 а — Декрет о безвозмездной выдаче из ломбарда заложенных вещей на сумму до 15 фр.
Декрет об отсрочке уплаты долгов на два года.

Р н/с 305 — Бюджет Парижской Коммуны. (В графическом изображении.)

» » 306 — Финансовый отчет Журда и отчет о наличности Французского банка. (Газетные статьи.)

М 21 — Сумма денег, полученная Парижской Коммуной за все время ее существования из Французского банка, в сопоставлении с суммой, полученной правительством Тьера за то же время. (Диаграмма.)

VIII. ЮСТИЦИЯ

В 23 б — Декрет Коммуны об арестах, обысках и реквизициях. Введение и организация суда присяжных. (Газетные статьи.)

IX. ВНЕШНИЕ СНОШЕНИЯ

Нота Коммуны иностранным державам, которая была вручена их представителям в Париже вместе с конституцией Коммуны.

X. НАРОДНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Коммуна и наука

Р н/с 307 — Вайян — делегат по просвещению. Просветительные учреждения и их руководители: Эли Реклю, Гастино. (Фотоснимки музеев и библиотек.)

Вр. р. 308 — Декрет о восстановлении медицинского училища. (Афиша.)

Коммуна и искусство

Вр. р. 309 — Передача музеев и театров в ведение делегата по просвещению.

Р н/с 310 — Создание ассоциации художников: Курбэ, Пилотелль, Далю.

» » 311 — Карикатура на Курбэ, Жиля и Берталя.

Р н/с 312—321 — Серия литографий художника-коммунара Пилотеля.

Вр. р. 322—323 — «Коммунары» — литографии Альфреда Ле Пти.

» » 324—325 — Члены Коммуны. Рис. пером Андре Тома.

Антирелигиозная пропаганда

Р н/с 326 — Отделение церкви от государства. Отмена бюджета культов и национализация церковных имуществ. Изгнание духовенства из школ. (Декреты, литографии.)

» 327 — Карикатура на духовенство. Антирелигиозная пропаганда в литографиях.

» 328—329 — Карикатура на духовенство худ. Дюпандана, автора работ на антирелигиозные темы.

Вр. р. 330—331 — Преступление в церкви св. Лаврентия. (Листовки и плакаты.)

» » 332 — Карикатура на нравы духовных лиц.

Политическое просвещение населения

Р н/с 333—334 — Свержение Вандомской колонны и искупительной часовни Людовика XVI.

Вр. р. 335 — Карикатура на Наполеона I в связи с свержением Вандомской колонны.

Школьное дело

Р н/с 336	Увеличение заработной платы учителям. (Диаграмма.)
Вр. р. 337	Предоставление школьникам бесплатных пособий. (Декреты, афиши.)
» 338	Открытие первой профессиональной школы в V округе. (Афиша.)
» » 339	Вопрос о профессиональном образовании. Инструкция преподавателям.
340	Дошкольное воспитание. (Декреты и афиши.)

XI. ПРЕССА КОММУНЫ

В 24 а, б	Газета «Пер-Дюшен» (Père Duchêne) под ред. Вермеша. Отдельные выпуски «Из портфеля Пер-Дюшена». (Неопубликованные письма, полученные редакцией «Пер-Дюшена» во время Коммуны. В подлинных рукописях с переводами.)
Р н/с 341—344	«Социальная революция» (La Sociale). (Ред. Андре Лео.) «Гора» (La Montagne). (Ред. Марото.) «Крик народа» (Le cri du peuple). (Ред. Жюль Валлес.) «Красный колпак» (Le bonnet rouge). (Ред. Секондиньё.)
В 25 а, б и 26 а, б в вестибюле	«Республиканец» (Le Républicain). «Новая республика» (La nouvelle République). (Ред. Паскаль Груссе.) «Пароль» (Le mot d'ordre). (Ред. Анри Рошфор.) «Свободный Париж» (Paris libre). (Ред. Везинье.)

XII. ЖЕНЩИНЫ И КОММУНА

Р н/с 345—356	Портреты женщин-коммунарок. (Увеличения, сделанные с подлинников, хранящихся в архиве музея Института.)
» » 357	Женские клубы в иконографии.
» » 358	Борьба женщин с духовенством. (Литографии, ксилографии и афиши.)
» 359	Объединение женщин в профессиональные организации. (Афиша.)
Вр. р. 360	Женские клубы в карикатуре. (Литография.)
» » 361	Контр-революционная карикатура на Луизу Мишель. (Литография.)
362	Женское профдвижение. (Декреты и афиши.)
363	Женский труд. (Декреты и афиши.)
364	Устав Союза женщин для помощи раненым. Декрет Коммуны о материальном обеспечении женщин, требующих развода. Борьба с проституцией.
365	Женщина и защита Парижа. (Афиши и декреты.)
В 27 а, б	Статья Андре Лео «Революция без женщин». Изгнание из Парижа жен и детей полицейских агентов, бежавших в Версаль. Женские организации помощи раненым. Мемуары Луизы Мишель с ее подлинной подписью; письмо ее Пилотеллю и разные статьи в рукописях (подлинники).
Р н/с 366	Заметка Росселя о женских батальонах и ответ Андре Лео.
Вр. р. 367	Призыв женщин к оружию. Манифест Центрального комитета Союза женщин для защиты Парижа и помощи раненым. (Афиша.)

XIII. КЛУБЫ

Р н/с 368	Церкви, отведенные под заседания клубов. Извещения об открытии клубов. (Литографии, афиши.)
» » 369	Кандидаты в Коммуну от клубов. (Портреты.)
Вр. р. 370	Клубная работа.
» » 371	Требование клубов возвращения Бланки.
» » 372	Манифест от имени населения Парижа к французскому народу. (Газетная статья.)

XIV. ВОЕННЫЕ СИЛЫ КОММУНЫ

Р н/с 373	ЦК Национальной гвардии передает власть Коммуне. (Афиша.)
» » 374	Обращение ЦК к Национальной гвардии от 24/III 1871 г. (Афиша
» » 375—382	Портреты главных) военных деятелей Коммуны. (По подлинникам, хранящимся в архиве музея.)
» » 383	Военные делегаты Коммуны. (По подлинникам архива музея.)
Р н/с 384	Упразднение постоянной армии и замена ее Национальной гвардией. (Декрет.)
» » 385	Упразднение поста главнокомандующего.
» » 386	Реорганизация маршевых

	рот, проведенная Клюзере. (Афиша.)
Р н/с 387—388	Циркуляр о внутренней организации Национальной гвардии от 9/IV 1871 г. (Афиша.) Рукописный черновик этого циркуляра.
Вр. р. 389	Организация Национальной гвардии. (Афиша.)
М 22	Доклад военной комиссии об организации Национальной гвардии.
Р н/с 390	Приказ Авриаля о реорганизации артиллерии.
» 391	Добровольческие отряды и дружины. (Фотографии, автографы, афиши.)
» 392	Высший и средний командный состав Национальной гвардии. (Подлинные фотографии.)
393	Состояние легионов на 2—3/V. (Афиша.)
» 394	Создание военных судов. (Афиша.)
» 395—396	Организация военного суда. (Афиша.)
Вр. р. 397	Борьба за дисциплину. (Декреты, афиши.)
Р н/с 398	Призыв рабочих на защиту Парижа. (Афиша).
Вр. р. 399	Призыв моряков и кавалеристов. Организация саперных работ. (Афиша.)
Р н/с 400	Приказ Клюзере о назначении заключенных на саперные работы.
М 23	Призыв граждан на работы по обороне Парижа.
Вр. р. 401	Категория лиц, освобождаемых от обязательной военной службы. (Афиша.)
» 402	Приказ Клюзере о повышении оклада. Приказ Росселя об артиллерийском сборе.
» 403	Призыв Делеклюзом населения на саперные работы.
» 404	Борьба с дезертирством.
405	Помощь раненым, лазареты и перевязочные пункты.
» » 406	Организация помощи жертвам войны.
В 28 а, б	Подлинные рукописи военных деятелей Коммуны.
Р н/с 407	Женщина в гражданской
Вр. р. 408	войне. (Декреты, афиши.)
» » 409	Служебные пропуска в военную зону и воинский билет национального гвардейца. (Подлинник.)
» 410	Типы национальных гвардейцев. (Литографии Раффе.)
» 411—435	Типы национальных гвардейцев. Диапозитивы, изготовленные по рис. Раффе.

ЗАЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

ПАДЕНИЕ КОММУНЫ

I. КОММУНА В БОРЬБЕ С ВЕРСАЛЕМ

Р н/с 436—442	Версальское правительство и типы Национального собрания.
» » 443—444	Версальская армия и генералитет. (Афиши, литографии.)
М 24	Соотношение между вооруженными силами Коммуны и Версаля. (Диаграмма.)
М 25	Военная реформа, проведенная Клюзере 28 апреля 1871 г. (Афиша.)
Р н/с 445	Вылазка 3 апреля и гибель Флуранса.
» 446	Извещение Коммуны о погребении убитых в боях.
» 447	Дело под Шатильоном.
» » 448	Форт Мон-Валерьен.
» » 449	Первые бои под фортами Исси, Ванв и Мон-Руж.
» 450	Начало отступления федератов. Падение Аньера.
» 451	Сражение под Нейи.
452—453	Помощь жителям Нейи.
454	Борьба за обладание фортами Ванв и Исси. Падение фортов.
Р н/с 455	Борьба у ворот Майо.
М 21	Вторая осада Парижа. (Карта, разм. 78×108 *см.*)

II. КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННОГО СПАСЕНИЯ

Организация Комитета и его состав

В 29 а, б	Проект Мио и его обсуждение. Раскол в Коммуне по вопросу о создании Комитета общественного спасения.
	Большинство, голосовавшее за создание Комитета.
	Меньшинство, голосовавшее против него.
	Состав Комитета общественного спасения.
	Комиссия общей безопасности.

III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА ОБЩЕСТВЕННОГО СПАСЕНИЯ

В 30 а, б	Декрет Комитета общественного спасения об отделении военной власти от

	административной. Снесение дома Тьера. Запрещение правых газет. Введение паспортов. Обыски. Сложение Росселем звания военного делегата. Назначение Анри начальником главного штаба при военном министерстве.
М 27 в вестибюле	Приказ Делеклюза об учете артиллерии. (Афиша.)
М 28 в вестибюле	Объявление Коммуны о том, что она присоединяется к Женевской конвенции. (Афиша.)
М 29	Обращение ЦК к населению Парижа и к Национальной гвардии о прекращении трений между ним и Коммуной. (Афиша.)
М 30, Р н/с 456	Расстрел заложников. (Афиша.)
М 31	Декрет Комитета общественного спасения о мобилизации железнодорожников (Афиша.)
М 32, Р н/с 457	Дело о взрыве на заводе Рапп. (Афиша.)

IV. КРОВАВАЯ НЕДЕЛЯ

Версальцы в Париже

Р н/с 458—459	Проникновение версальцев в Париж через ворота Сен-Клу 21/V 1871 г. Обращение Комитета общественного спасения к населению с призывом к оружию. (Афиша.)
» » 460	Зверства версальцев в Париже. (Афиша.)

Действия и распоряжения Комитета общественного спасения

М 33	Список баррикад, сооруженных в Париже. (Афиша.)
Р н/с 461	Приказ о реквизициях для постройки баррикад. (Афиша.)
» 462—463	Воззвание Коммуны и Комитета общественного спасения к солдатам Версаля от 3 прериаля 79 г. (23 мая 1871 г.). (Афиша.)

Баррикадные бои день за днем

Р н/с 464	22 мая. Сооружение баррикад.
» » 465	22—23 мая. Захват Триумфальной арки и ворот Майо. Захват Монмартра. Сражение на площади Клиши.
» » 466—467	24 мая. Эвакуация коммунарами Тюильери и Ратуши. Занятие версальцами Лувра, Пале-Рояля и банка. Начало пожаров. Защита ратуши.
Р н/с 468	24 мая. Расстрел заложников.
» » 469	Расстрел Рауля Риго. (Фотография.)
470—474	События кровавой недели в Париже. (Подлинные рисунки акварелью из коллекции подлинников музея Института.)
» 475	25 мая. Смерть Делеклюза на баррикаде на ул. Вольтера. Взятие Пантеона.
476	26 мая. Падение Бастилии, Шато-д'О, Сент-Антуанского предместья и Шаппель.
477—480	Париж в огне. Серия: «Развалины Парижа», изд. Шарпантье.
481—489	Серия: «Взятие Парижа». Литографии Молока, Шерера и Корсо. Изд. Дефоре и Сезар.
490	Последнее заседание Коммуны. (Фотография.)
491	Женский батальон под командой Луизы Мишель.
Р н/с 492	27 мая. Сражение на кладбище Пер-Лашез.
» 493—494	Аллегория на Коммуну. Серия: «Великая распятая». Лит. Курто, изд. Гриво.
В 31 а, б	Фальшивки о поджогах, изготовленные версальским правительством. Автограф Варлена. Медаль в честь Комитета общественного спасения и медали в память подавления Коммуны.
М 34	Карта кровавой недели. (Разм. 78 × 118 *см*.)

V. ПАРИЖ ВО ВЛАСТИ ВЕРСАЛЬЦЕВ

Р н/с 495—499	Серия: «Париж в погребах». Лит. Молока, изд. Талон.
» » 500—502	Правительственные сообщения о подавлении Коммуны.
» 503—512	Списки заключенных коммунаров. (Афиши.)
» » 513	Потери, понесенные парижским пролетариатом по данным муниципальных обследований. (Диаграмма.)
» » 514	Кровавые дни в Париже 25—28 мая. Расстрел Мильера у Пантеона.
» » 515	Аресты и массовые расстрелы.
» » 516	Аресты Росселя, Груссе и Межи. Допрос.
» » 517	Коммунары в Версальской тюрьме.
» » 518	Процессы коммунаров.

Р. н/с 519 Путь коммунаров в ссылку и заточение.
» » 520—521 Версальские палачи.
» » 522 Стена коммунаров. (Репродукция с картины Пичио.)
» » 523 Стена коммунаров в ее теперешнем виде.
» » 524 Судьба членов Коммуны и ЦК после падения Коммуны.
» » 525 Женщины-коммунарки в тюрьме.
» » 526 Социальный состав женщин, судившихся 4-м трибуналом. (Диаграмма.)
» » 527 Стихотворение Луизы Мишель, написанное в тюрьме.
» » 528 Дети-коммунары в тюрьме.
» » 529 Коммунары в изгнании.
» » 530 Итоги тьеровского правосудия. (Диаграмма.)
В 31 а, б Расстрел Росселя, Буржуа и Ферре. Автографы расстрелянных коммунаров. Работы о Коммуне и монографии, посвященные отдельным деятелям Коммуны. Карикатура на тьеровское правительство.

VI. КОММУНА В ПРОВИНЦИИ

Р н/с 531 Провозглашение Коммуны в Тулузе. (Афиша.)
» » 532—534 Провозглашение Коммуны в Лионе. (Афиша.)
» » 535—537 Коммуналистическое движение в Марселе. Портреты вождей революционного Марселя и казнь Гастона Кремье 30 ноября 1871 г.
» » 538 Обращение Парижа к большим городам. (Афиша.)
» » 539 Прием делегации от провинциальных городов.
» » 540 Коммуна и Париж. (Карикатура.)
М 35 в вест. Коммуна в провинции. (Карта, разм. 71×102 *см.*)
Р н/с 541 Марсельеза.
В 33 а, б Процессы коммунаров. Изд. Интернациональной библиотеки Парижа 1871 г. «Каледонский болтун», еженедельник, издававшийся ссыльными коммунарами в Кайенне в 1871 г.
Членский билет коммунаров-эмигрантов 1879 г.
Литература о Коммуне.

VII. ОТКЛИКИ КОММУНЫ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Карл Маркс, Фридрих Энгельс и Парижская Коммуна

Р н/с 542 Портрет Фр. Энгельса.
» » 543 » К. Маркса.
» » 544 Собственноручная корректура К. Маркса «Гражданской войны во Франции в 1871 г.».
» » 545 Письма К. Маркса к Кугельману от 12 и 17 апреля 1871 г.
В 34 б Письмо К. Маркса к Ньювенгуйсу от 22 февраля 1871 г.
Письмо Энгельса к матери от 21 октября 1871 г.
Иностранная литература о Коммуне.

Отклики в России

Р н/с 546 Портрет Сажина, принимавшего активное участие в борьбе Коммуны.
» » 547 Портрет Лаврова, современника Коммуны.
» » 548—549 Портреты коммунаров — Антуана Ге и Леруа.
» » 550 Портрет Гончарова.
В 34 а Дело Гончарова в «Правительственном вестнике» 1872 г.
Рассказ русского очевидца о первых днях Коммуны. («Русский вестник» 1871 г.)
Адрес русских рабочих к французским в «Общине» № 3—4 (за март — апрель) 1878 г.
«Парижская коммуна» Лаврова. «Парижская Коммуна» Кропоткина на немецком яз.

Коммуна и III Интернационал

Р н/с 551 Портрет Ленина.
В 34 а Статьи Ленина о Коммуне в «Рабочей газете» № 4—5 от 15 апреля 1911 г.
«Уроки Коммуны» (Собр. соч., т. XI). Государство и революция. Опыт Парижской Коммуны. Анализ Маркса. («Государство и революция»).

ВЕСТИБЮЛЬ

Знамя коммунаров, карты и литература о Коммуне

552 Знамя 67-го батальона национальной гвардии Парижской коммуны. (На красной шерст. материи, обшитой золотой бахромой и с надписью золотыми буквами. Разм. 115×150 *см.*)

Р н/с 553 Общая карта Франко-прусской войны 1870 г. (Разм. 221×422 *см*).

» » 554—556 Карикатура на виновников Франко-прусской войны.

» » 557—572 Юмористические журналы от середины 1870 г. до июня 1871 г.

» 573 Карта: «72 дня Парижской Коммуны», 18 марта—28 мая 1871 г. (Разм. 221× ×422 *см*).

В 35 а, б
36 а, б Литература о Коммуне на русском, французском, немецком и английском яз. и иллюстрированные издания.

Карикатуры на Коммуну

(Вращающиеся рамы)

574—578 Серия: «Шалости Коммуны». Лит. Хама, изд. Эклипс.

579—580 Серия: «Сыны Цербера». Лит. Молока, изд. Дефоре и Сезар.

581—582 Серия: «Их сиятельства извозчики». Лит. Молока, изд. Дефоре и Сезар.

583—589 Серия: «Воспоминания о Коммуне». Лит. Шерера, изд. Барусс.

590—592 Серия: «Париж во время Коммуны». Лит. Дюбуа, изд. Моронвиль.

593—597 Серия: «Коммунары в карикатуре». Лит. Дорэ, изд. Плон.

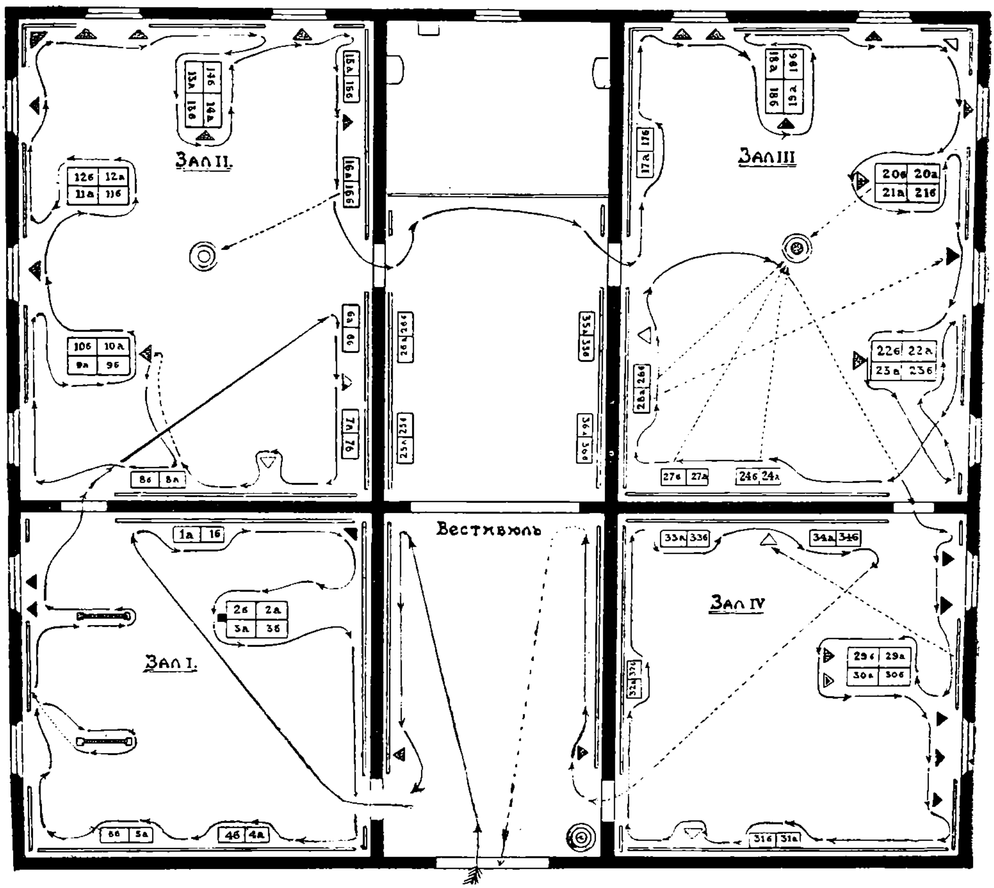
М. Голосовкер.

ПЛАН ВЫСТАВКИ

«ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

(8 марта — 29 мая 1871 г.)

(Организована институтом К. Маркса и Ф. Энгельса в Центральном доме Красной Армии имени М. В. Фрунзе)



Зал I — Империя Наполеона III.
Зал II — Осада Парижа.
Зал III — Коммуна.
Зал IV — Падение Коммуны.

СОДЕРЖАНИЕ

К СТОЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

(Доклады, прочитанные 13 декабря 1928 г. в Институте К. Маркса и Ф. Энгельса)

Ответственный редактор: Д. РЯЗАНОВ.

Редакционная коллегия: А. ДЕБОРИН. М. ДЫННИК. Д. РЯЗАНОВ.